



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

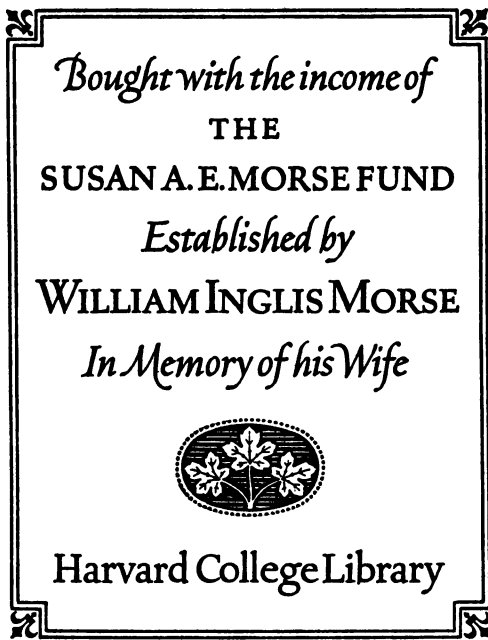


# Bairon

Alekseĭ Nikolaevich Veselovskii



Digitized by Google













*Алексей Веселовский.*  
Алексѣй Веселовскій.

32357

# БАЙРОНЪ

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ

съ двумя фототипіями работы *К. А. Фишера.*



МОСКВА.

Типо-литографія А. В. Васильева и К<sup>о</sup>, Петровка, д. Обидиной.  
1902.

Уважаемому профессору  
на почту  
от

Алексѣй Веселовскій.

# БАЙРОНЪ.

---

БЮГРАФИЧЕСКІЙ ОЧЕРКЪ.

---

Съ двумя фототипіями работы К. А. ФИШЕРА.



МОСКВА.

Типо-литографія А. В. Васильева и К<sup>о</sup>, Петровка, д. Обидиной.  
1902.

~~17495. 905~~

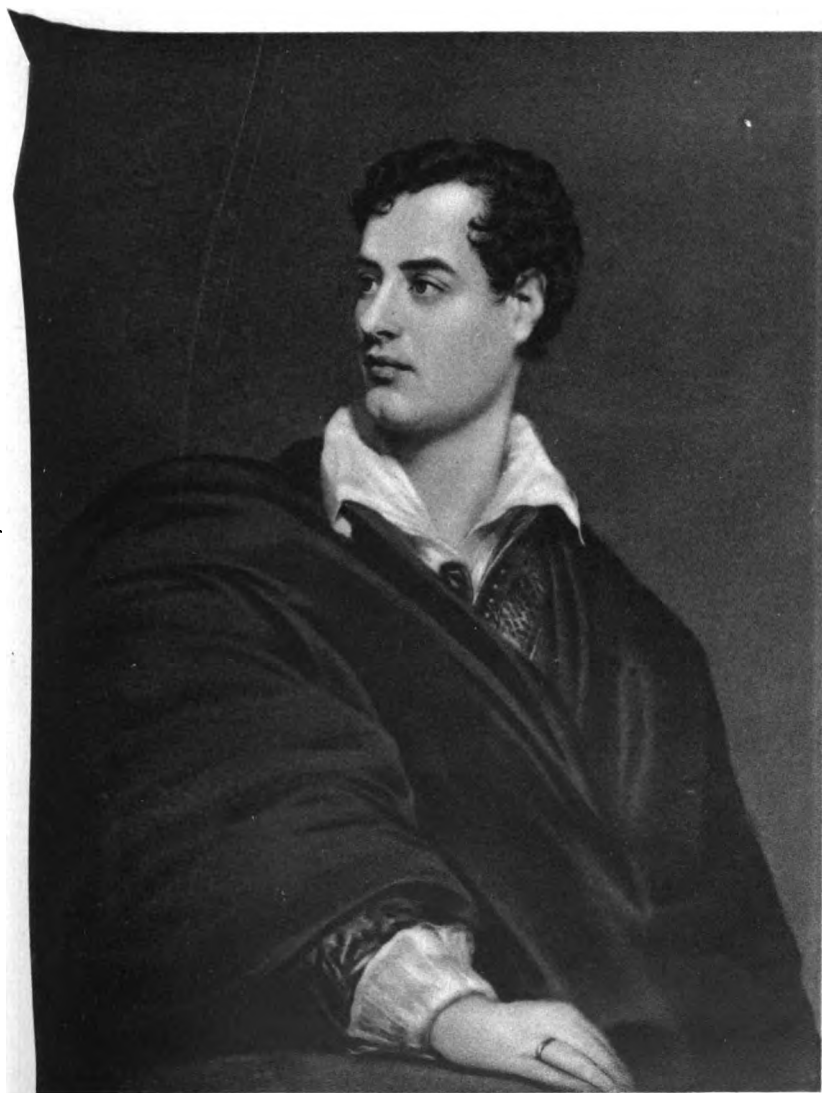
✓

17495.363

✓



Model)



Phillips pinx.

Худож. фотот. К. Фишеръ — Москва.

Байронъ.







Статуя Байрона,  
работы Торвальдсена.



Опытъ біографическаго очерка Байрона, составившійся изъ ряда статей въ „Вѣстникъ Европы“ (съ марта 1900 года), для отдѣльнаго изданія вновь переработанныхъ и дополненныхъ, задуманъ былъ въ виду своевременности обобщенія изслѣдованій о жизни и дѣятельности поэта, замѣтно умножившихся на западѣ, и появленія „окончательнаго“ изданія произведеній Байрона, предпринятаго подъ редакцію специалистовъ внукомъ его, лордомъ Ловлэсомъ, и массой новаго матеріала, стихотвореній, вариантовъ, писемъ (около шестисотъ, дотолѣ неизвѣстныхъ) разъяснившего существенныя черты біографіи автора „Донъ-Жуана“. Прежніе своды, характеристики, очерки, видимо устарѣли; блестящія этюды Тэна, Брандеса отстали отъ новѣйшей литературы о Байронѣ (статья перваго критика почти на сорокъ лѣтъ); считавшаяся чуть не классическимъ пособіемъ для пониманія личности поэта (несмотря на прорывающуюся часто суровость и нравственную нетерпимость біографа) книга Эльце также давно нуждается въ переработкѣ; несмотря на (очень запоздалый) поворотъ симпатій общества и литературы въ Англіи къ великому и многострадальному поэту-соотечествен-

нику, цѣльныхъ и безпристрастно выдержанныхъ характеристикъ мы не встрѣчаемъ; трудъ, котораго мы въ правѣ ожидать отъ превосходнаго знатока дѣла, м-ра Протеро, еще только намѣченъ въ статьѣ его о дѣтствѣ поэта.

Съ другой стороны руководило желаніе дать русскому читателю очеркъ жизни и творчества поэта, который былъ нѣкогда не только властителемъ думъ и художественнымъ образцомъ во всей европейской литературѣ, но, въ частности, въ русской поэзіи и общественной жизни отмѣтилъ своимъ вліяніемъ одинъ изъ наиболѣе содержательныхъ, умственно возбужденныхъ періодовъ. Кромѣ нѣсколькихъ переводныхъ характеристикъ (т.-е. опять Брандеса и Тэна), запасъ свѣдѣній по данному предмету, находящихся въ распоряженіи нашего читателя, очень скуденъ. Странно сказать, — послѣдняя обширная, хотъ и компилятивная, работа по Байрону на русскомъ языкѣ относится къ 1850 году (статьи Рѣдкина въ Современникѣ).

Собравъ, по возможности, все сколько-нибудь цѣнное изъ работъ по Байрону въ главныхъ европейскихъ литературахъ я пользовался кромѣ того рукописными или рѣдкими печатными матеріалами въ библіотекахъ Англіи и Италіи (Британскомъ Музеѣ, Національной Библіотекѣ во Флоренціи, Университетской въ Пизѣ) и прошелъ въ своихъ путешествіяхъ почти всюду по слѣдамъ Байрона, чтобъ на мѣстѣ многое провѣрить и объяснить себѣ въ фактахъ его жизни и творчества. Такъ сложился настоящій біографическій очеркъ. Разноплеменный байронизмъ сознательно оставленъ мною незатронутымъ, какъ тема сама по

себѣ богатая и сложная, къ которой, быть-можетъ, я вернусь.

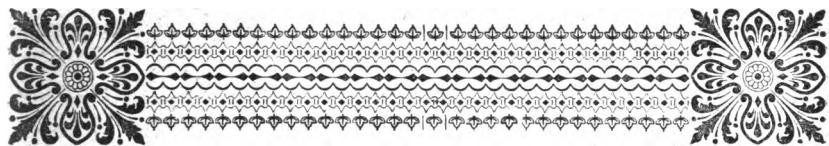
Закончу выраженіемъ благодарности за содѣйствіе моей работѣ издателю Байроновскихъ сочиненій, м-ру Джону Мэррею, редактору переписки поэта, м-ру Роуланду Э. Протеро, и ветерану итальянской науки, пизанскому профессору Алессандро Д'Анкаона.

---

Изъ прилагаемыхъ фототипій одна снята съ портрета Байрона, работы Филлипса, — по мнѣнію ближайшихъ къ поэту лицъ, лучшаго его изображенія, другая воспроизводитъ статую, изваянную Торвальдсеномъ, предназначавшуюся для Вестминстерскаго Аббатства и теперь красующуюся въ Кембриджскомъ университетѣ.







## I.

„О, какъ хотѣлъ бы я снова стать безпечнымъ ребенкомъ, жить въ глуши шотландскихъ горъ, то блуждая въ лѣсной, дикой чащѣ, то носясь по темной синевѣ волнъ! Съ спѣсью британцевъ никогда не помирится тотъ, кто родился свободнымъ!“—восклицалъ Байронъ въ одномъ изъ раннихъ стихотвореній своихъ „Часовъ досуга“ („I would I were a careless child“). Первые сознательныя впечатлѣнія дѣтства, семьи и школы неразрывно связались у него съ красотой и привольемъ Шотландіи, съ пѣснями, преданіями и духомъ вольности ея горцевъ, съ „могучими ея скалами“ и „немолчно шумящимъ океаномъ“. Хотѣлось вѣрить, что только страна свободы и могла быть родиной „of a free-born soul“. Но житейская проза обставила рожденіе поэта, вмѣсто величавой декораціи горъ и моря, сутолокой огромнаго города. Теперь уже давно снесенъ <sup>1)</sup> домъ (на Holles Street, 24), гдѣ въ нѣсколькихъ шагахъ отъ одной изъ главныхъ торговыхъ артерій Лондона, Oxford Street'a, на рубежѣ ея водоворота и затишья Cavendish Square, въ скромной обстановкѣ квартиры, нанятой проѣздомъ, на время, увидѣлъ свѣтъ, 22 января 1788 г., Байронъ. Но этотъ прологъ скрылся отъ него навсегда за густою пеленой,—когда же проснулось сознание, солнце ярко свѣтило, горы алѣли и рокотало море.

---

<sup>1)</sup> Онъ замѣненъ огромнымъ многоэтажнымъ зданіемъ (первый домъ отъ Oxford Street по направленію къ скверу, слѣва). На немъ, среди лѣпной рамы съ колонками, красуется медальонъ Байрона съ подписью „Byron born here 1788“).



Романтическая любовь мальчика къ предкамъ, вѣра въ блестящее прошлое своего древняго рода, красивый вымыселъ объ участіи Байроновъ въ крестовыхъ походахъ, пришли потомъ вмѣстѣ съ внезапно выпавшимъ ему на долю титуломъ, родовымъ замкомъ, приманками герба и рыцарскихъ традицій. Но, несмотря на то, что по его выраженію, мать была горда, какъ Люциферъ,—на его дѣтствѣ лежалъ отпечатокъ демократическій, не чистокровно-народный, плебейскій, а тотъ, что неизбѣжно является слѣдствіемъ заухудалости знатной семьи, принужденной „опроститься“. Ребенокъ родился словно на перепутьѣ, во время тревожныхъ скитаній разорившейся и несчастной матери, скрылся потомъ съ нею на восемь лѣтъ въ живописномъ, захолустномъ и дешевомъ для житія Эбердинѣ, любилъ свою деревенскую няню, игралъ съ деревенскими дѣтьми, лѣтомъ часто жила въ горахъ, слышалъ народныя пѣсни, началъ учиться въ первобытнѣйшей школѣ, не зналъ ни роскоши, ни блеска, но не замѣчалъ ни лишеній, ни мелочной борьбы за существованіе, и потому ранніе годы свои провелъ беззаботно. Когда, въ первое путешествіе, при видѣ дикихъ красот Албанскаго хребта ему вспомнились шотландскія горы, и мысль понеслась къ дѣтству, онъ увидѣлъ себя не холемымъ барченкомъ, сознающимъ, что онъ потомокъ рыцарей, а расцвѣтшимъ на волѣ деревенскимъ мальчикомъ, съ здоровыми, бодрыми инстинктами, общавшими дѣятельную, нормальную жизнь,—и ему стало грустно...

Блаженное ребяческое невѣдѣніе жизни, способное безпечно играть возлѣ горя, не дало ему слишкомъ рано осмыслить того, что его окружало, понять печаль и оскорбленное чувство матери, причину неровностей и вспышекъ ея нрава, тайну стѣсненности ихъ положенія, заброшенности ихъ среди богатой родни, а ранняя смерть отца (черезъ три года послѣ рожденія ребенка, въ 1791 г.), чей образъ совсѣмъ не сохранился въ его памяти <sup>1)</sup>, не дала ему понять характеръ

---

<sup>1)</sup> Взамѣнъ составилъ у поэта и его сестры фиктивный образъ отца,—какъ онъ грезился имъ по разсказамъ и слухамъ. Когда передъ отъѣздомъ въ греческую экспедицію Байронъ получилъ экземпляръ французскаго перевода своихъ сочиненій, изданнаго Amédée Pichot (*Oeuvres complètes de L. Byron*, Paris, 1823) и сопровождаемаго біографическимъ очеркомъ, очень

центрального лица въ разыгравшейся незадолго передъ тѣмъ семейной драмѣ.

Это была скорѣе тяжелая траги-комедія влюбчивой, эксцентричной и зажиточной провинціалки и неотразимаго, но промотавшагося красавца, игрока, удивительнаго танцора и Донъ-Жуана, печальный фарсъ любви и грубаго разочарованія, самопожертвованія и безцеремоннаго хищничества, съ циническимъ хохотомъ, семейными сценами, наконецъ разрывомъ,—и съ безграничнымъ обожаніемъ мучителя, обидчика и разорителя, которому бѣдная женщина готова была снова все отдать, когда онъ въ трудную минуту вспоминалъ о ней и удостоивалъ ее своего посѣщенія <sup>1)</sup>. Все это—черты болѣзненныя, ненормальныя. Когда мальчику пришлось, наконецъ, понять ихъ раньше другихъ житейскихъ противорѣчій,—впечатлѣніе было удручающее. Рано овдовѣвшая (всего 26-ти лѣтъ), съ годами все сильнѣе подпадавшая и горю, и раздраженію, мать, въ минуты аффекта вымещавшая на сынѣ грѣхи его отца, съ тѣмъ, чтобы потомъ кинуться ему на шею и душить поцѣлуями, — пугала его, казалась безсознательной, невмѣняемой. Дизраэли очень близко къ истинѣ описалъ подъ вымышленными именами отношенія Байрона къ матери въ своемъ романѣ „Venetia“ <sup>2)</sup>. Психическіе задатки съ обѣихъ сторонъ носили слѣды отравы.

---

сурово отнесимся къ отцу поэта, Байронъ поспѣшилъ переслать издателямъ свои недовольныя замѣчанія. Отецъ рисуется въ нихъ храбрымъ офицеромъ, красавцемъ, превосходнымъ собесѣдникомъ, блестящимъ свѣтскимъ человѣкомъ,—правда, безпечнымъ, увлекающимся и т. д.

<sup>1)</sup> Когда изданіе байроновской переписки было уже закончено, найдено было и напечатано (въ 1901 г., Letters, VI, 232) любопытное письмо матери поэта къ родственницѣ, сообщившей ей о смерти м-ра Байрона. Такъ много терпѣвшая отъ него женщина съ участіемъ вывѣдываетъ, не упоминалъ ли онъ передъ смертію о ней, и старается оправдать его поведеніе; „несмотря на всѣ его слабости, она всегда искренно его любила; необходимость, а не перемѣна въ чувствахъ разъединила ихъ“ и т. д.

<sup>2)</sup> По всему этому роману разсѣяны подобныя же точныя черты, но фабула до того (умышленно) перекутана изъ біографіи Байрона и Шелли, что его трудно счесть біографическимъ пособіемъ. Байронъ выведенъ то подъ именемъ Марміона Герберта, то подъ личиною лорда Кадорсиса. Дизраэли позволялъ себѣ иногда смѣлые вымыслы; такъ на островѣ святого Лазаря, близъ Венеціи, происходитъ у него *примиреніе* Марміона (Байрона) съ женою, которую притомъ зовутъ такъ же, какъ супругу поэта (Annabell).

Для изслѣдователя вліянія наслѣдственности родословная Байрона представляетъ много данныхъ, способныхъ объяснить сложный душевный его организмъ и своеобразныя свойства его характера, который принято называть „загадочнымъ“. Это—очень заманчивый приѣмъ, и онъ въ большемъ ходу у новѣйшихъ біографовъ и „эссеистовъ“; если поддаться ему,—можно притти къ томительной, по обилію преступности и психической болѣзненности, нисходящей лѣстницѣ, на послѣднемъ переходѣ которой ожидаешь встрѣтить не геніальнаго поэта и „благороднаго адвоката человѣчества“, а маніака, „маттоида“, или „uomo delinquente“, съ печатью Каина на челѣ. Искусно введенное Байрономъ въ XIII-ую пѣснь „Донъ-Жуана“ описаніе Ньюстэдскаго аббатства, съ памятниками старины, изображеніями предковъ и т. д., даетъ иногда поводъ къ мрачно разрисованной картинѣ: блуждая по длиннымъ галлереймъ дѣдовскаго замка, поэтъ во всѣхъ портретахъ и изваяніяхъ старыхъ рыцарей и новѣйшихъ безпутныхъ баръ видѣлъ наглядную лѣтопись ихъ бурнаго или кроваваго прошлаго и чувствовалъ роковое предопредѣленіе, нависшее и надъ его судьбой (такъ Тургеневскіе „Три портрета“ напоминали герою повѣсти ужасы самоуправства и крѣпостничества). Но, не насилуя истины въ угоду теоріи, и не обращая чуть не у cadaго изъ Байроновъ малѣйшихъ ихъ отклоненій отъ нормы въ тяжкіе грѣхи или болѣзни,—нельзя не признать, что накопленный нѣсколькими поколѣніями запасъ страстности, неукротимаго эгоизма, боевого задора, пылкой и эксцентричной фантазіи, привыкшей осуществляться во что бы то ни стало, несущейся къ цѣли, хотя бы на пути были чужая жизнь, чужое благо,—былъ великъ <sup>1)</sup>. Если дѣдъ Байрона, адмиралъ, сознательно растратилъ кипучую энергію на кругосвѣтныя плаванія, морскія войны, опасности, и тѣмъ смирялъ излишества темперамента, — безумная горячность его брата привела, въ разгарѣ ничтожнаго за то авторъ съ негодованіемъ бичуетъ нетерпимость, съ которою общество набросилось на „Марміона“... Романъ Дизраэли изд. впоследствии вновь Тауниномъ.

<sup>1)</sup> Обзору трагической части родословной Байрона посвящено было недавно нѣсколько любопытныхъ статей одного изъ ревностныхъ провинціальныхъ англійскихъ байронистовъ—Bullock, *Tragic adventures of Byron's ancestors*, Aberdeen Free Press, 1898, ноябрь.

наго спора, къ дуэли, походившей на убійство, и побуждала незаслуженно и тяжко оскорблять жену и домашнихъ. У отца поэта родовая пылкость осложнилась мотовствомъ, азартомъ игрока, храбростью воина (во время службы въ Америкѣ) и отвагой авантюриста, способностью увезти отъ мужа первую свою жену, продать себя второй, бравировать отцовскую суровость и происки кредиторовъ, въ полтора года промотать состояніе жены, грубо обращаться съ нею, бросить ее, а когда все сорвалось,—пустить себѣ пулю въ лобъ (преданіе, которому вѣрилъ Байронъ; отецъ его умеръ одиноко, въ Валансьеннѣ).

Въ жилахъ Гордоновъ, предковъ матери, текла такая же горячая кровь. Если отца поэта прозвали „сумасшедшимъ Байрономъ“, отецъ мистриссъ Байронъ кончилъ жизнь самоубійствомъ, бросившись въ каналъ въ Батѣ безъ всякой видимой причины <sup>1)</sup>, и передалъ дочери невыносимый нравъ, доводившій ея сына еще въ отрочествѣ до рѣзкихъ ссоръ съ нею, до желанія разрыва, и слитый изъ безумныхъ капризовъ, экстаза, гнѣва и меланхоли.

Психическое наслѣдіе несомнѣнно было, и наслѣдіе печальное (поэта назвали недавно „сыномъ своей матери“ <sup>2)</sup>). Оно проявилось всего рѣзче въ тяжелую пору семейнаго разлада поэта и его разрыва съ отечествомъ. Но его личность постепенно раздвоилась, и въ борьбѣ тѣхъ *двухъ* людей, которую самъ онъ (подобно Лермонтову) сознавалъ въ себѣ, встрѣчаясь въ этомъ съ наблюденіями такого зоркаго и любящаго свидѣтеля, какъ его сестра <sup>3)</sup>,—властныя требованія бьющей черезъ край индивидуальности подчинились со временемъ выспимъ цѣлямъ общаго блага. Еще Соути, ненавидя Байрона, назвалъ его сатанинскимъ поэтомъ; Ламартинъ въ напыщенномъ стихотвореніи спрашивалъ его, „ангелъ

---

<sup>1)</sup> Это утверждалъ самъ Байронъ въ письмѣ изъ Равенны 1821, (№ 937), затронувъ вопросъ о наслѣдственной передачѣ нервнои въ его семьѣ.

<sup>2)</sup> R. E. Prothero. Childhood and school days of Byron. „Nineteenth Century“, 1898, I, 63.

<sup>3)</sup> „Sometimes it strikes me he must have two minds! Such a mixture of blindness and perception“! Письмо Августы Ли къ Годгсону, 1816. Memoir of the rev. Francis Hodgson. 1878, II, 42.

онъ или демонъ“; въ наше время, любясь имъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко сожалья о немъ, Кастелярь <sup>1)</sup> вѣрилъ, что „съ рожденія онъ былъ обреченъ на жертву адскимъ божествамъ“; подъ стать къ демоническому освѣщенію его образа, какъ человѣка и поэта, принято твердить, что вся жизнь его и вся поэзія полны культа себялюбія, своенравнаго титанизма, вражды къ людямъ. Чѣмъ больше узнаемъ мы „настоящаго Байрона“—его появленіе возвѣщалъ еще въ восьмидесятыхъ годахъ Джэфрсонъ <sup>2)</sup>, запутавшійся, однако, въ произвольныхъ толкованіяхъ и натяжкахъ, нетерпимый, чопорный, неспособный понять страстную натуру своего героя <sup>3)</sup>—тѣмъ болѣе убѣждаемся, что его жизнь была постоянною борьбой съ этими склонностями, пробивалась къ гуманности, альтруизму—и закончилась освобожденіемъ...

Съ уцѣлѣвшаго портрета его матери смотреть на насъ дебелая, грузная, заурядная фигура молодящейся женщины въ бархатѣ и кружевахъ, съ приторной улыбкой, завитками и колечками на лбу и вискахъ, необъятнымъ декольтѣ, обнаженными массивными руками—предметомъ ея гордости. Величаясь своимъ происхожденіемъ отъ Іакова І шотландскаго, въ то же время вульгарная, безконечно болтливая, мелко обидчивая, неровная, она не годилась въ воспитательницы. Не то чтобы она была безъ всякихъ интеллигентныхъ интересовъ: Протеро удалось собрать свѣдѣнія, показывающія ее большою любительницей чтенія, сторонницей демократизма (?) въ политикѣ, новыхъ направленій въ поэзіи, заботливо собиравшей всѣ критическіе разборы произведеній ея сына; но и эти культурныя склонности и несомнѣнная любовь къ сыну парализовались психопатическими пароксизмами. Въ ранніе годы его дѣтства любовь ея еще брала верхъ, выражаясь въ баловствѣ; потомъ строптивость одолѣла, и трудно было догадаться, до чего эта женщина, превращавшаяся порою въ фурію, въ глубинѣ души любила сына, заботилась о немъ,

---

<sup>1)</sup> Life of Lord Byron and other essays, transl. by mrs. A. Arnold, 1875.

<sup>2)</sup> John Cordy Jeaffreson, The real Lord Byron. New views of the poet's life. 1883.

<sup>3)</sup> Въ остроумной статьѣ о книгѣ Джэфрсона (Ninet. Century, 1883, авг.) Фрудъ сравнилъ ее съ „описаніемъ Везувія, составленнымъ человѣкомъ, который все время не зналъ, что Везувій—огнедышущая гора“.

обрѣзала себя, чтобы обставить его всѣмъ необходимымъ. Недавно напечатано <sup>1)</sup>, пока единственное, письмо отца поэта къ своей сестрѣ; заговоривъ о женѣ, Джонъ Байронъ признаетъ, что она „очень мила—издали“, и что „никто, будь это хоть одинъ изъ апостоловъ, не въ силахъ былъ бы прожить съ нею и двухъ мѣсяцевъ“.

Возлѣ матери, совершенно неспособной вліять на сына, стояла преданная няня Мау Грау, баловница, рассказчица сказокъ. Не мать, а она научила его читать, молиться, запоминать псалмы; безупречною, впрочемъ, и она не была; со временемъ, вѣроятно для обузданія слишкомъ горячаго нрава своего питомца, она стала прибѣгать къ рѣзкимъ и грубымъ приемамъ, и, по настоянію одного изъ друзей дома, была удалена. Изъ-за двухъ этихъ женщинъ рано показывается, въ качествѣ совѣтника-законовѣда, выручающаго изъ дразгъ и житейскихъ превратностей, симпатичная, хотя и сухо дѣловитая фигура лондонскаго адвоката Гансона, то издали хлопотавшаго о матеріальномъ обезпеченіи Байроновъ, то появлявшагося среди нихъ, всегда съ дѣльнымъ совѣтомъ и добрымъ намѣреніемъ. Вотъ и всѣ геніи-хранители ребенка, отъ которыхъ зависѣло направленіе его жизни и воспитанія. Но мать и няня, ревностныя кальвинистки, способны были прививать ему сектантскую доктрину, нетерпимую ко всему мірскому,—впослѣдствіи онъ не разъ сожалѣлъ, что въ такомъ именно свѣтѣ предстала передъ нимъ религія. Вполнѣ подчиниться этому вліянію не позволило глубокое, словно прирожденное чувство независимости и страстное влеченіе извѣдать жизнь. Все-же въ впечатлѣніяхъ этой поры коренится поражавшее потомъ многихъ у Байрона знаніе священныхъ книгъ, внезапно сказывавшееся въ произведеніяхъ зрѣлаго періода (*Каинъ, Небо и Земля*), и въ особенности то, долго не расходившееся съ господствующими традиціями, воззрѣніе на жизнь, ея основы и грядущее возмездіе,—которое лишь въ полной сомнѣній и тоски „Prayer of Nature“ <sup>2)</sup>, написан-

<sup>1)</sup> Byron's Letters, I, (1898), предисловіе.

<sup>2)</sup> Относительно развитія міросозерцанія Байрона—см. прекрасную работу гельсингфорскаго ученаго, проф. Доннера: „Lord Byrons Weltanschauung“. Helsingfors, 1897.

ной, когда автору было уже почти 19 лѣтъ, уступило мѣсто скептицизму и свободной мысли.

Одинъ только Гансонъ, соединяя въ своемъ лицѣ и роль семейнаго адвоката, и заботливость педагога, могъ взять на себя руководство воспитаніемъ. Послѣ допотопной начальной школы въ Эбердинѣ, куда Байрона, всего лишь по пятому году, помѣстила мать, и дальнѣйшаго блужданія мальчика по учителямъ и школамъ, Гансонъ выбралъ, уже въ Англіи, болѣе серьезно обставленное училище, потомъ помѣстилъ его въ Гарроу, бралъ его къ себѣ на вакаціи, наконецъ настоялъ на завершеніи образованія въ Кэмбриджѣ.

Томасу Муру удалось добыть (благо еще невдалекѣ была тогда пора Байроновскаго ученія) въ первой же школѣ, у мистера Боуэрсса, записъ о занятіяхъ мальчика, пробывшаго тамъ всего годъ; въ бумагахъ поэта нашелся—подъ заголовкомъ: „My Dictionary“—разсказъ о его раннихъ школьныхъ впечатлѣніяхъ; наконецъ, удалось собрать воспоминанія его товарищей <sup>1)</sup>. Школа Боуэрсса была однимъ изъ тѣхъ учрежденій для дѣтоуродованія, которыя потомъ такъ рѣзко обличалъ Диккенсъ. Кучка мальчиковъ и дѣвочекъ окружала воспитателя—невѣжду и драчуна, требовавшаго безсмысленнаго зубренія. По словамъ Байрона, единственное, что онъ при этомъ выучилъ, былъ первый примѣръ „односложныхъ словъ“: God made man, let us love him“; эти слова повторялись много разъ разъ *по памяти*, причемъ ученикамъ не было показано ни одной буквы... Потомъ ребенокъ очутился въ рукахъ ласковаго педагога-пастора, который много съ нимъ читалъ, возбудилъ въ немъ страстный интересъ къ исторической литературѣ и грезы о былыхъ временахъ. Ничѣмъ инымъ, кромѣ каприза матери, нельзя объяснить новой перемѣны, которая передала привязавшагося къ наставнику мальчика въ руки степеннаго и серьезнаго латиниста; это безпорядочное перебрасываніе ребенка завершилось отдачей въ „Grammar School“, заведеніе стариннаго типа, въ родѣ стратфордской школы, гдѣ нѣкогда учился Шекспиръ. Четыре класса прошелъ въ немъ Байронъ, не вспомнивъ потомъ

---

<sup>1)</sup> Moore. Letters and journals of L. Byron with notices of his life, p. 9—7.—My Dictionary напечатанъ теперь въ V томѣ Byron's Letters.

добрымъ словомъ ни объ одномъ изъ учителей; очевидно, это были заурядные и равнодушные къ дѣтямъ ремесленники.

Но взглянемся пристальнѣе въ несчастную жертву безтолковой педагогикѣ, смѣнившую нескладницу „семьи“ на сумбуръ „школы“. Байронъ былъ поразительно красивый мальчикъ, съ тонкими чертами лица, обрамленнаго волнами каштановыхъ волосъ, съ блестящими голубыми глазами, нѣсколько полный (позднѣйшая стройность была результатомъ сложной системы воздержанія и физическаго закала), но „живой, подвижный, страстный, чуткій, въ высшей степени предприимчивый, безстрашный“, желавшій болѣе отличатся въ играхъ и спортѣ, чѣмъ въ ученѣ. На всю жизнь сохранившаяся склонность къ атлетическимъ упражненіямъ сказала уже въ дѣтствѣ, несмотря на упорный недугъ, въ которомъ современная намъ медицина признала „дѣтскій параличъ“. Во время усидчивыхъ занятій боли въ ногахъ бывали невыносимы, но онъ заглушалъ ихъ силою воли. „Не обращайтесь на меня вниманія; вы никогда болѣе не замѣтите, больно ли мнѣ“, — отвѣтилъ онъ однажды на соболѣзнованіе репетитора, и сдержалъ свое слово. Острые страданія со временемъ прошли, хотя на лѣченіе у всевозможныхъ медиковъ и шарлатановъ ушло также не мало и времени, и силъ, но на всю жизнь осталась легкая хромота. Одна нога была немного короче другой; это сначала отражалось на походкѣ; потомъ, скрытый специально придуманной обувью, недостатокъ этотъ почти ступевался. Въ позднѣйшіе годы люди, только тогда узнававшіе впервые Байрона и слышавшіе о ненормальности строенія его ногъ, не могли, даже приглядываясь къ нимъ, рѣшить, *которая* изъ нихъ короче... Но никогда не могъ забыть о своемъ физическомъ недостаткѣ Байронъ, убѣжденный, что при первомъ же взглядѣ всѣ замѣчаютъ его „уродство“. По письмамъ и поэмамъ разбросаны грустные намеки на жестоку ю шутку судьбы; въ основѣ одного изъ произведеній его предсмертнаго періода „The deformed transformed“, лежитъ то же неисходное сожалѣніе; разсѣять или ослабить его не могли даже успѣхи поэта среди женщинъ и лучезарная популярность, затмившая все и всѣхъ въ недолгій періодъ его славы послѣ „Чайльдъ-Гарольда“. Такъ Лермонтова могло удручать



сознаніе, что свѣтлая прядь рѣзко выдѣляется надъ лбомъ изъ темнорусаго оклада лица, что линіи этого лица некрасивы и рѣзки. Обобщенная, принимавшая къ сердцу горькую долю всѣхъ подобныхъ неудачниковъ, эта скорбь влилась незамѣтною струей въ меланхолію лирики Байрона, вызванную болѣе глубокими и общими причинами.

На родовомъ гербѣ семьи красовался краткій и гордо звучащій девизъ — „Crede Byron“ („Положись на Байрона“),—и, говорятъ, еще въ самые ранніе школьные годы, до той минуты, когда титулъ и представительство перешли къ нему, мальчикъ сознательно стремился осуществлять завѣтъ предковъ. Чувство собственного достоинства, вѣрность своему слову, были замѣтны въ немъ наряду съ замкнутостью внутренняго міра, куда онъ не допускалъ ничьего вмѣшательства. Первое изъ его дѣтскихъ писемъ (8 ноября 1798 г.) съ виду еще полно ребячества: онъ пишетъ отъ имени матери о томъ, что картофель для сосѣдки приготовленъ, предлагаетъ для катанья пони, который сталъ слишкомъ малъ, чтобы носить его на себѣ, посылаетъ въ подарокъ кому-то вороненка, и въ заключеніе проситъ извиненія за свои ошибки, „такъ какъ это—первое письмо, которое онъ когда-либо написалъ“, но, по его же словамъ, онъ къ тому времени много прочелъ, особенно историческихъ сочиненій, много думалъ, начинаетъ осмысливать жизнь. Въ слѣдующемъ письмѣ онъ уже споритъ съ матерью о направленіи школьныхъ занятій и отстаиваетъ свою честь, а два письма спустя, уже изъ Гарроу, протестуя противъ обращенія съ нимъ тьютора, онъ гнѣвно восклицаетъ: „пусть лучше онъ отниметъ у меня жизнь, но не оскорбляетъ моей личности!“—и грозитъ уйти изъ школы.

Быстро и рѣзко развивавшаяся индивидуальность не смягчалась ничьей лаской, ничьимъ участіемъ. Дочь его отца отъ перваго брака, Августа, жила вдали, у бабушки, съ которой мать Джорджа была въ ссорѣ. Мальчику отвлеченно представлялось, что гдѣ-то у него есть сестра, съ которой онъ могъ бы близко сойтись. Они увидались не раньше 1802 года; онъ сразу привязался къ ней, часто писалъ ей, дѣлая ее повѣренною своихъ думъ, желаній и печалей. Въ ея лицѣ вошло въ его жизнь, быть можетъ, самое свѣтлое, искренно

преданное ему существо, множество разъ прославленное его поэзіей, вспомнившееся ему въ предсмертную минуту, — и оклеветанное въ наше время дикою сплетней, созданіемъ психопатическаго бреда, къ счастью теперь изобличенною и разбитою. Но раньше братской дружбы онъ испыталъ любовь, только не на радость себѣ.

Незавишій умѣренности ни въ одномъ чувствѣ, — „I was always violent“, признается онъ, объясняя, почему и школьныя привязанности превращались у него въ „страсти“, — онъ весь охваченъ былъ нѣжнымъ лиризмомъ на порогѣ отрочества, „когда дѣтямъ еще не снятся чарующіе сны“; онъ, всего восьми лѣтъ, полюбилъ Мэри Дэффъ; въ безсонныя ночи онъ мечталъ объ ея „очахъ газели“, черныхъ косахъ, ласковой улыбкѣ и мелодическомъ голосѣ. Переѣздъ въ Англію разлучилъ его съ нею; они никогда больше не встрѣчались, но среди своихъ блестящихъ лондонскихъ успѣховъ онъ донельзя обрадовался возможности узнать о ней, о ея замужествѣ, цвѣтущей красотѣ, и поразилъ отвѣчавшаго ему на эти разспросы необыкновенной сердечностью тона. Еще сильнѣе привязывается онъ черезъ три года къ своей кузинѣ, Маргаритѣ Паркеръ. Новый экстазъ передъ „черными глазами, длинными рѣсницами, греческимъ профилемъ, томной прозрачностью красоты, словно сотканной изъ лучей радуги“, блаженное сознаніе взаимности, снова безсонныя ночи, жгучее, нетерпѣливое ожиданіе встрѣчи съ нею — и *первые стихи*. „Я давно забылъ ихъ, — писалъ онъ много лѣтъ спустя, — но мнѣ трудно было бы забыть *ее*“... Тѣмъ печальнѣе развязка дѣтскаго счастья, первое горе. Въ отсутствіи своего друга, Маргарита умерла отъ чахотки; вскорѣ смерть стала совершать рядъ нападеній на его товарищескій кругъ, не прекращая своихъ опустошеній и во время студенчества, и позже, въ средѣ друзей, которыхъ онъ надѣялся встрѣтить, вернувшись изъ путешествія на Востокъ. Въ этихъ печальныхъ впечатлѣніяхъ, разбитыхъ надеждахъ — корень глубокой меланхоліи, которую Байронъ узналъ еще въ дѣтскіе годы. По словамъ товарищей, онъ въ Гарроу любилъ уединяться на кладбищѣ, всегда у одного и того же памятника, вскорѣ слышшаго у школьниковъ подъ именемъ Байроновской могилы, и проводилъ тамъ въ раздумѣ цѣлые часы, иногда послѣ

оживленныхъ игръ и атлетическихъ упражненій; скорбь его зародилась не въ годы пресыщенія, „вихря страстей“, разочарованія.

Таковы были переходы, колебанія настроенія въ его внутреннемъ мірѣ. Внѣшняя исторія его жизни не отмѣчена была въ ту пору ни однимъ выдающимся событіемъ, кромѣ перемѣны въ его общественномъ положеніи (послѣ смерти его двоюроднаго брата Вильяма Джона Байрона, въ 1794 г.), одарившей его титуломъ лорда и дѣдовскимъ помѣстьемъ. Но перемѣна, растрогавшая его въ первую минуту *до слезъ*, способная развить инстинкты суетности и славолѣбія, дремавшіе въ демократически (по неволѣ) выдержанномъ мальчикѣ,—перемѣна эта гораздо болѣе могла плѣнять театральною, романтическою декоративною, чѣмъ надеждой на возрожденіе захудалой семьи. Помѣстье было разорено и запущено, долги превышали наличныя средства; необходимость поддерживать свѣтскія связи, заботиться о представительствѣ рода, готовиться къ роли пэра Англіи,—налагала почти невыполнимыя обязательства. Много горькихъ минутъ и тягостныхъ положеній приходилось съ этой поры выносить изъ-за вѣчнаго разлада требованій свѣта и скудости семейной казны. По совѣту Гансона, мистриссъ Байронъ выхлопотала себѣ небольшую пенсію у короля; мальчикъ очутился подѣ верховной опекой „Chancery Court“. Какъ только его отдали въ Гарроу, мать выѣхала изъ Ньюстэда, и нѣсколько лѣтъ подѣ рядѣ въ рыцарскомъ помѣстьѣ жили чужіе наемщики.. А между тѣмъ красивая сторона древности манила къ себѣ и тѣшила взоръ. Старое аббатство, превращенное въ замокъ <sup>1)</sup>, подаренное Генрихомъ VIII предку поэта и украшенное башнями, арками и галереями, съ тонувшей въ сумракѣ залой прежняго храма, увѣнчанной статуей Мадонны; вокругъ—темная опушь лѣсовъ, прозрачное озеро, рѣка, убѣгающая вдаль, извиваясь по долинѣ,—все это сочетаніе монастырской мистики, рыцарской величавости и смѣющейся природы не могло не дѣйствовать на воображеніе. Двѣ элегіи, воспѣва-

<sup>1)</sup> Его не разъ описывали и въ старые годы (Вашингтонъ Эрвингъ — въ прекрасномъ очеркѣ, перепечатанномъ въ „Crayon Miscellany“, Philadelphia, 1874), и въ новѣйшее время (Newstead Abbey, its present owner, etc., 1857; „Byron's Newstead“, Athenaeum, 1884, aug. 30.

ющія Ньютэдъ въ первомъ сборникѣ Байроновскихъ стихотвореній, строфа въ „Чайльдъ-Гарольдъ“, чудный пейзажъ Ньютэда въ „Донъ-Жуанъ“ (XIII, строфы 55—67) и много мелкихъ воспоминаній, намековъ и отъывовъ въ стихахъ и письмахъ—сохранили сильное впечатлѣніе, произведенное когда-то на мальчика фантастической перемѣной декораціи. Въ зрѣлые годы для него казалась мучительною мысль продать Ньютэдъ... Но давнымъ-давно родовое гнѣздо это въ чужихъ рукахъ; мимо него пробѣгаютъ теперь десятки поѣздовъ; станція—у самаго замка. А въ нѣсколькихъ миляхъ оттуда, въ деревенской церквукѣ, спитъ вѣчнымъ сномъ прежній владѣлецъ-романтикъ.

Послѣ перемѣны въ судьбѣ и переѣзда въ Англію, Байронъ долженъ былъ почувствовать, что отнынѣ о его воспитаніи стануть серьезно заботиться. Школа доктора Гленни въ Дольвичѣ, близъ Лондона, была чѣмъ-то въ родѣ переходной ступени, и черезъ годъ съ небольшимъ (январь 1801) онъ очутился среди шумной толпы лицеистовъ моднаго Гарроу, гдѣ подборъ учениковъ и учителей, размѣры программы и обязательнаго спорта, обстановка и тонъ заведенія, какъ говорила молва, отличались утонченностью и образцовою выдержкой. Дѣйствительность оказалась ниже этихъ радужныхъ представленій. Не было и здѣсь недостатка въ рутинѣ и безжизненности. Фактическія свѣдѣнія приобрѣтались, конечно, — не пестрѣли бы такъ „Часы Досуга“ переводами изъ греческихъ лириковъ, не былъ бы въ состояніи Байронъ выдержать цѣлую дидактическую поэму: „Hints from Horace“, въ тонѣ „Ars poetica“, если бы школа не привила ему необходимыхъ знаній. Но онъ, впоследствии, искренно грустилъ о томъ, что учениковъ утомляютъ механическимъ изученіемъ произведеній раньше, чѣмъ они въ состояніи понимать всѣ красоты поэта; что будущія сознательныя наслажденія грубо парализуются; что ему такъ испортили, напр., впечатлѣніе Шекспира, заставивъ въ ребяческіе годы учить наизусть — „Быть или не быть“ <sup>1)</sup>... Въ

---

<sup>1)</sup> См. автобіографическое примѣчаніе къ IV-ой пѣснѣ „Ч. Гарольда“, строфа 75.—Преждевременность знакомства съ Шекспиромъ не помѣшала Байрону сдѣлаться однимъ изъ рѣдкихъ въ его время энтузіастовъ великаго драматурга. До сихъ поръ, однако, встрѣчаются утвержденія (см. напр.

стихотвореніи: „Дѣтскія воспоминанія“ („Childish recollections“) гораздо болѣе сочувственныхъ и благодарныхъ отзывовъ о товарищахъ, чѣмъ о воспитателяхъ. Одному изъ педагоговъ, д-ру Ботлеру, ставшему впослѣдствіи „Head-master'омъ“, посвящена ироническая характеристика, и фигура педанта „Promposus“—совсѣмъ невзрачная. Остальные, какъ кучка ремесленниковъ, не удостоились обрисовки порознь. На этомъ неприглядномъ фонѣ вырѣзывается только одно лицо,—любимецъ молодежи д-ръ Джозефъ Друри, занимавшій мѣсто главнаго воспитателя въ первые два года ученичества Байрона. Много лѣтъ спустя, среди опьяняющей славы, и позже, въ изгнаніи, Байронъ и въ письмахъ, и печатно, вспоминалъ о своемъ педагогѣ, называлъ его (въ примѣчаніяхъ къ „Гарольду“) „лучшимъ и достойнѣйшимъ изъ своихъ друзей“, сожалѣя о томъ, что слишкомъ поздно сталъ прилагать къ жизни его проницательные совѣты, и при встрѣчѣ съ нимъ смущенно увѣрялъ, что „онъ—единственный человѣкъ, который не долженъ былъ бы читать ни одной Байроновской строки“,—а черезъ нѣсколько минутъ все же спросилъ: „что вы думаете о *Корсарѣ*?“... Это—любопытный комментарий къ ходячему представленію о холодности и себялюбіи поэта.

Друри замѣтилъ выдающіяся способности и ярко обозначавшуюся оригинальность ученика. Онъ журилъ его, старался исправить и образумить; избытокъ того, что онъ называлъ въ Байронѣ „animal spirits“, тревожилъ его. Не могъ онъ также не подмѣтить пароксизмовъ болѣзненной возбужденности; „не подходите ко мнѣ, — во мнѣ чортъ!“ („don't come near me! I have a devil“) — кричалъ юноша тѣмъ, кто изъ участія или любопытства приближался къ нему въ эти минуты <sup>1)</sup>. Самъ Байронъ называлъ впослѣд-

статью Venables, „Byron and his biographers“, Fortnightly Review, 1883, IV), будто Байронъ почти игнорировалъ Шекспира. Противъ этого свидѣлствуютъ безчисленные (можно бы легко насчитать *нѣсколько сотъ*) ссылки и цитаты изъ шекспировскихъ произведеній, разсыянные по перепискѣ поэта; онѣ взяты изъ всевозможныхъ пьесъ и всегда мѣтко и искусно приведены. Такъ можно цитировать только любимаго писателя.

<sup>1)</sup> Новыя показанія, собранныя Prothero въ статьѣ о дѣтствѣ и школьныхъ годахъ Байрона, Nineteenth Century, 1898, I. Укажемъ кстати на приводимое Краббомъ Робинзономъ, со словъ Вордсворта, показаніе Бунзена,

ствіи такіе отголоски наслѣдственной немощи припадками „безмолвнаго бѣшенства“ („silent rage“); они не разъ пугали и тревожили его жену; опираясь на нихъ, ея сторонники хотѣли узаконить разрывъ супруговъ ссылкой на душевную болѣзнь мужа... Одно время Друри даже предлагалъ матери Байрона ускорить переходъ его въ университетъ, такъ какъ тамъ онъ поселится въ колледжѣ, отдѣльно, подѣ наблюдениемъ тьютора, и не будетъ около него толпы, которая передавала ему свое возбужденіе, и сама заражалась отъ него. Но старый педагогъ невольно любовался, изумлялся и заслушивался Байрона въ минуты блестящаго проявленія его таланта. Въ Гарроу были заведены ораторскія и декламационныя упражненія; ученики произносили классическіе отрывки изъ античныхъ и англійскихъ писателей, или же свои разсужденія и разборы этихъ отрывковъ. Сохранились записи о трехъ состязаніяхъ съ участіемъ Байрона; въ первый разъ онъ выступилъ съ рѣчью о *Виргиліѣ*; во второй—избралъ тему изъ трагедіи Юнга: „*The Revenge*“ (рѣчь *Занга* надъ могилой *Алонзо*); третью рѣчь вдохновили монологи Шекспировскаго *Лира* въ пустынѣ и обращенія его къ бурѣ. Всѣ ораторы придерживались своего текста, одобреннаго директоромъ. Превосходно начавъ одну изъ своихъ рѣчей и соединяя изящество позы съ жестами и дикціей, Байронъ, къ изумленію Друри, „внезапно отклонился отъ написаннаго имъ разсужденія, и съ такою смѣлостью, съ такимъ порывомъ, что можно было опасаться, сведеть ли онъ рѣчь къ заключенію. Но онъ не сдѣлалъ ни одной ошибки и свободно пришелъ къ концу, ничего не замѣтивъ самъ и въ горячности употребляя обороты и образы ярче и поразительнѣе тѣхъ, что сложились подѣ его же перомъ“<sup>1)</sup>).

---

которому Байронъ въ зрѣлые годы будто бы говорилъ, что иногда склоненъ считать себя порожденіемъ демона“; *offspring of a demon*“. *Diary, reminiscences and correspondence of H. Crabb Robinson, 1872, II, 192.*

<sup>1)</sup> Изъ (напечатанныхъ теперь вполнѣ) „*Detached thoughts*“, отрывочныхъ воспоминаній, набросанныхъ Байрономъ въ Италіи, мы узнаемъ, что кромѣ славы декламатора онъ въ ранніе годы пользовался репутаціею хорошаго актера; онъ называетъ титулы *веселыхъ фарсовъ*, въ которыхъ онъ выступалъ съ большимъ успѣхомъ передъ сосѣдской публикой среди труппы, составленной изъ деревенской же молодежи. Прологъ къ этимъ спектаклямъ

Рвавшаяся на волю талантливость скрашивала школьные недочеты. „Нельзя сказать, чтобы я медленно подвигался тогда впередъ, все же я былъ лѣнивымъ ученикомъ“—таковъ его позднѣйшій приговоръ. За то самообразование его шло необыкновенно быстро. Въ списокъ прочтенныхъ имъ книгъ, составленномъ къ 30 ноября 1807 и напечатанномъ у Мура (I, 46), находимъ десятки, чуть не сотни изслѣдованій по исторіи различныхъ странъ (даже Россіи,—Вольтеръ о Петрѣ, Горнъ Тукъ объ Екатеринѣ), сочиненія по философіи права, много біографій, *etc.* англійскихъ классиковъ и „тысячи повѣстей“... На товарищѣ дѣйствовали и даровитость его, и поразительное искусство въ физическихъ упражненіяхъ. Знаменитая переправа его вплавь черезъ Геллеспонтъ была подготовлена школьными триумфами въ этомъ родѣ; въ игрѣ въ крикетъ онъ былъ однимъ изъ первыхъ. Но онъ шелъ впереди и въ различныхъ ученическихъ манифестаціяхъ, дѣйствіяхъ скопомъ, безъ которыхъ не живетъ ни одна школа. Въ „Childish recollections“ онъ вспоминаетъ, какъ толпа товарищѣ любила выставлять его своимъ вождемъ. То, чего не пришлось ему достигнуть въ низшей школѣ, теперь широко осуществлялось. У него были не только единомышленники, стачечники, но и *друзья*,—и съ этой поры у „мизантропа“ проявляется сохранившійся до самой его смерти культъ дружбы. Первое его выраженіе—въ тѣхъ же неискусныхъ по формѣ, но душевныхъ „Дѣтскихъ воспоминаніяхъ“. Они пестрѣютъ силуэтами товарищѣ, скрытыхъ подъ псевдонимами (Alonzo, Davus, Lycus, Euryalus, Cleon); отбѣнки характеровъ, привычки, странности—взяты съ натуры; каждому посвящено теплое слово, благодарная память; можно подумать, что школьный кругъ былъ рѣдкимъ подборомъ великодушныхъ, преданныхъ друзей. Преувеличеніе и идеализація несомнѣнны; тѣмъ понятнѣе горе, охватившее вскорѣ Байрона, когда смерть опустошила ряды бывшихъ его школьныхъ и университетскихъ товарищѣ, и восторги его, даже много лѣтъ спустя, когда случай сводилъ его съ уцѣлѣвшими свидѣтелями его дѣтства

---

былъ, по его словамъ, *сочиненъ имъ*. Это происходило въ Соутвеллѣ, въ 1806 году.

(на дорогѣ близъ Болоньи, въ 1821 г., онъ увидалъ „своего единственнаго друга“, лорда Клэра, и своей радостью изумилъ Терезу Гвичіоли). Судьба не дала ему разочароваться въ друзьяхъ молодости и оставила его подъ впечатлѣніемъ незамѣнимой утраты.

Но любовь снова освѣтила его жизнь. Съ каждымъ увлеченіемъ онъ, какъ будто не замѣчая того, повторялъ пламенное заявленіе, что *никогда* такъ сильно не любилъ; на этотъ разъ онъ былъ вполне правъ, — во всю его дальнѣйшую жизнь не испыталъ онъ такой глубокой, трепетной страсти, какъ та, что загорѣлась въ немъ къ его кузинѣ, Мэри Чэвортъ. Чтобы остаться близко отъ нея, имѣть возможность чаще ее видѣть, онъ въ началѣ своего гарроускаго періода отказался наотрѣзъ отправиться въ колледжъ и гостилъ невдалекѣ отъ помѣстья родныхъ Мэри. Мать встревожилась, предполагала какой-нибудь недугъ, пока не убѣдилась (письмо къ Гансону, октябрь 1803 г.), что виною всего любовь, „отчаянная любовь, худшая изъ всѣхъ болѣзней“. Байронъ безумствовалъ, поклонялся <sup>1)</sup>; ему казалось, что сама судьба должна соединить ихъ, примиривъ въ ихъ любви старые, кровавые счеты двухъ семей, — въ семьѣ дѣвушки не могли забыть, что всего за сорокъ лѣтъ передъ тѣмъ „сумасшедшій лордъ Байронъ“ убилъ ея дѣда. И этотъ залогъ примиренія на почвѣ старой вражды, и сродство душъ, и беззавѣтная преданность любимой дѣвушкѣ, и все, что въ аффектѣ любовной горячки кажется безспорнымъ правомъ на взаимность, — все это обѣщало счастье. Слова признанія не вырвались изъ его устъ, хотя Мэри догадывалась о его чувствахъ. Но прозаическій провинціальный сквайръ Джонъ Мэстерсъ одержалъ верхъ надъ этой сильной любовью и преданностью, и въ ту пору, когда Байронъ вступалъ въ кэмбриджскій университетъ (августъ 1805 г.), Мэри вышла замужъ. Бракъ ея былъ несчастенъ; она много страдала, нѣсколько времени была даже больна душевно,

---

<sup>1)</sup> Сохранившійся въ семьѣ Чэвортъ и теперь впервые воспроизведенный (въ I томѣ соч. Байрона, *Poetry*, 1898) портретъ Мэри передаетъ красоту большихъ черныхъ глазъ, пышность стана, кокетливый нарядъ, но не въ состояніи, конечно, передать того обаянія, которое вліяло на поэта во всю его жизнь.



пережила поэта на восемь лѣтъ, скоро пожалѣла объ ошибкѣ, по временамъ какъ будто искала сближенія, писала ему ласковыя (къ сожалѣнію, не сохранившіяся) письма съ воспоминаніями о „прежней дружбѣ“ <sup>1)</sup>.

Горе Байрона было неутѣшно. Съ виду онъ примирился съ своею участью, смогъ окончить образованіе, выйти на литературное поприще, достигнуть славы, но рана не зажила, и временами тоска мучительно вѣдалась въ него. Тогда единственнымъ прибѣжищемъ являлась для него поэзія („всѣ конвульсіи разрѣшались у меня обыкновенно римами“, — говорилъ онъ). „Часы досуга“ полны выраженій его сердечной тоски; пять стихотвореній имѣютъ прямое отношеніе къ Мэри Чэвортъ; одно изъ нихъ: „Итакъ, ты счастлива“ („Well thou art happy“) внушено только-что пережитою сценой свиданія съ любимой женщиной, которую онъ увидалъ счастливой матерью. Нѣсколько лѣтъ спустя, набрасывая на дальнемъ югѣ, въ Албаніи, первыя строфы „Гарольда“, описывающія раннюю жизнь героя, онъ надѣляетъ его своимъ сердечнымъ горемъ; Гарольдъ —

Had sighed to many though he loved but one,  
And that loved one, alas! could ne'er be his.

Онъ вздыхалъ обо многихъ, но любилъ только одну, и любимая женщина, увы, никогда не могла ему принадлежать). Самая мысль о продолжительномъ путешествіи была болѣе всего внушена желаніемъ размыкать среди другой природы и другихъ людей свое горе. Но прошло опять нѣсколько лѣтъ, и въ іюлѣ 1816 г., въ Швейцаріи, онъ, „со слезами на глазахъ“, пишетъ задумчивое стихотвореніе: „Сновидѣніе“ („The Dream“), одно изъ замѣчательнѣйшихъ его автобіографическихъ признаній. Въ грѣзахъ переносится онъ въ давно-прошедшее, видитъ среди мирной обстановки родины себя и Мэри, ее въ блескѣ красоты и безопасности, себя — въ блаженномъ экстазѣ; потомъ надвигается мракъ, передъ нимъ — сцена послѣдняго разставанья съ нею, еще свободною. Вотъ она — жена другого человѣка; вотъ и онъ подъ вѣнцомъ съ другою, но полный и въ эту минуту воспоминаніями о навѣ-

<sup>1)</sup> Byron's Works, Letters, 1898, I, 193, 202, III, 12, 15, 108.

ки утраченномъ счастьѣ. Сонъ замыкаютъ собой два скорбныя видѣнія: она—несчастливая, съ разбитою жизнью, онъ—отвергнутый всѣми изгнанникъ, оба осужденные кончить: онъ—безуміемъ, она—неутѣшнымъ горемъ <sup>1)</sup>).

Томленія несчастной любви совпали съ нестерпимыми семейными отношеніями. Напечатанный теперь обильный сводъ писемъ Байрона къ сестрѣ даетъ возможность прослѣдить развитіе размолвки между сыномъ и матерью. Въ письмѣ отъ 2-го ноября 1804 г. онъ впервые сообщаетъ Августѣ, „какъ тайну“, о только что происшедшемъ столкновеніи. Она обошлась съ нимъ оскорбительно, и онъ „не только не чувствуетъ сыновняго почтенія, но съ трудомъ сдерживаетъ антипатію“. Три быстро слѣдующихъ за этимъ письма полны такого же возбужденія; тяжелыя сцены продолжаются. „Она не оставляетъ въ покоѣ даже праха моего отца, поносить его, перечисляетъ грѣхи всѣхъ его предковъ, начиная съ завоеванія Англіи норманнами, говоритъ, что я буду настоящимъ Вуггоне (худшій эпитетъ, который она можетъ придумать). И такую женщину я долженъ называть матерью!..“ Въ письмахъ онъ уже обозначаетъ ее иногда прозвищемъ „вдовы“ (the dowager). „Я начинаю убѣждаться въ томъ, что она—сумасшедшая. Какое счастье, что она—моя мать, а не жена, и что я могу разстаться съ нею, когда захочу!“—восклицаетъ онъ, и уже обсуждаетъ планъ разрыва. Осенью 1805 г. онъ пишетъ Гансону: „м-ссъ Байронъ и я совсѣмъ разошлись; оскорбляемый ею, я ищу убѣжища у чужихъ людей“.

Вступленіе его въ университетъ содѣйствовало разрыву, или, по крайней мѣрѣ, продолжительному разобщенію. Въ-

---

<sup>1)</sup> Стих. „The Dream“ издано въ новѣйшее время съ комментаріями во 2-мъ выпускѣ образцоваго и, къ сожалѣнію, недоконченнаго изданія, предпринятаго знаткомъ Байрона, бреславльскимъ проф. Кельбингомъ (The Prisoner of Chillon and other poems. Weimar, 1896). Не мало было потомъ плохихъ англійскихъ подражаній и пародій Байроновскаго стихотворенія. Тема его была переработана энтузіастомъ Байрона, Карломъ Блейбтрей, въ формѣ повѣсти: „Der Traum. Aus dem Leben des Dichterlords, v. K. Bleibtreu. 1880.—Къ числу пародій или каррикатуръ на байроновскій замыселъ можно отнести и толкованіе Джефрсона, который видитъ въ стих. „The Dream“ актъ мести со стороны поэта...

сто Оксфорда, куда онъ стремился и гдѣ не нашлось свободнаго мѣста, онъ очутился въ Кэмбриджѣ и избралъ Trinity College " (іюль 1805). Но было бы бесполезно говорить о культурномъ вліяніи на него университета. Первые же впечатлѣнія были неблагопріятны. Онъ устроился удобно, отдѣльно, рядомъ съ очень покладистымъ тьюторомъ, имѣетъ прислугу, держитъ лошадь, опекуны назначили ему 500 фунтовъ въ годъ,—но что за странное заведеніе! „Всего менѣе думаютъ здѣсь о наукѣ; кажется, никто и не заглядываетъ въ какого бы то ни было автора, классическаго или современнаго, если только можетъ обойтись безъ этого. Бѣдныя музы въ загонѣ“. Нѣсколько дней спустя, онъ восклицаетъ: „Это мѣсто — настоящая резиденція дьявола. Оно называется университетомъ, но всякое другое названіе подошло бы къ нему несравненно лучше, потому что здѣсь забота о наукѣ — на послѣднемъ мѣстѣ. „Master“ только и дѣлаетъ, что ѣстъ, пьетъ и спитъ; „fellows“ — пьютъ, ссорятся и отпускаютъ плоскія остроты; о занятіяхъ „undergraduates“ вы легко догадаетесь и безъ моего описанія. Я принялся за письмо съ головой, отяжелѣвшей отъ безпутства, которое я ненавижу“. Ни одного симпатичнаго имени не называетъ онъ изъ профессорскаго персонала; ни одна гуманная личность, въ родѣ Друри, не примиряетъ его съ тѣневыми сторонами университета, къ которому не сохранилось у него добраго чувства. Въ числѣ товарищей были рѣдкія исключенія. Именно въ Кэмбриджѣ встрѣтилъ онъ преданнѣйшаго изъ своихъ друзей, своего спутника по Востоку, повѣреннаго самыхъ сокровенныхъ его тайнъ, стойкаго защитника во время борьбы съ общественнымъ мнѣніемъ, оберегателя его посмертной репутаціи, Джона Кэма Гобгоуза. Но довольно долго они не сходились; Гобгоузъ избѣгалъ его, — а подавляющая масса товарищей своимъ вѣтреннымъ, кутящимъ и вѣчно празднымъ образомъ жизни захватывала и увлекала Байрона. Скучное житіе въ постыломъ городѣ, раздумье, сердечное горе, семейный разладъ, все внушало желаніе забыться; разсѣяться,—и онъ чувствовалъ, что „волна несетъ его“.

Къ развлеченіямъ и пирамъ въ Кэмбриджѣ присоединились частыя отлучки въ Лондонъ, гдѣ онъ попадалъ въ

еще болѣе веселую, прожигавшую жизнь, компанію. Бывали недѣли сплошныхъ пировъ и приключеній. „А propos,—писалъ онъ, лѣтомъ 1807 г., своей давнишней пріятельницѣ, провинціальной барышнѣ-сосѣдкѣ, умной, участливой, повѣренной многихъ его тайнъ миссъ Пиготтъ<sup>1)</sup>, давая отчетъ въ своемъ поведеніи: — я долженъ, къ сожалѣнію, сказать, что былъ навеселѣ каждый день, и теперь еще несовсѣмъ трезвъ“... „Отпѣтый народъ—всѣ эти кэмбриджцы“ („sad dogs all the Cantabs“),—воскликаетъ онъ, и тутъ же, не безъ грустной ироніи, прибавляетъ: „кстати, мы надѣемся исправиться съ слѣдующаго января“. Но въ январѣ 1808 г. онъ уже былъ на свободѣ.

Угаръ веселья и удалства не пересилилъ, однако, недовольства и грусти, не далъ забвенія. Строгій судъ надъ собою, произносимый среди разгара страстей, обнаруживалъ усиливающееся раздвоеніе личности: „Приключенія моей личной жизни, начиная съ шестнадцати лѣтъ до девятнадцати-лѣтняго возраста, и та распущенность, въ которую меня втянули въ Лондонѣ,—говорилъ онъ, напр., въ письмѣ Джону Пиготту (январь 1807),—придали моимъ мыслямъ сладострастный оттѣнокъ“. Но писавшій такъ судья своихъ поступковъ едва достигъ того рубежа—девятнадцати лѣтъ—съ высоты котораго уже обозрѣвалъ свою жизнь... Многие очевидцы сходятся въ показаніяхъ о томъ, что герой столькихъ приключеній казался въ нормальномъ своемъ состояніи робкимъ, застѣнчивымъ (инымъ удавалось именно въ его сдержанности открывать слѣды гордости); сосредоточенный, задумчивый, понурый, онъ потомъ переходилъ въ противоположныя крайности. Желая показать, какъ мало цѣны придаетъ онъ людскимъ привязанностямъ, онъ рано сталъ окружать себя любимыми животными; эта страсть, все усиливаясь, дошла въ послѣдствіи до широкихъ размѣровъ,—напр. въ Италіи, гдѣ во время переѣздовъ его сопровождалъ цѣлый странствующій звѣринецъ. На переходѣ отъ студенчества къ

---

<sup>1)</sup> Ихъ отношенія, остроумная переписка и откровенный тонъ—любопытная подробность юности Байрона. Въ статьѣ „Lord Byron und miss Elizabeth Pigott“, Englische Studien, XVII, 3 Heft, Кельбингъ напечаталъ забавное стихотвореніе товарки поэта „Удивительная исторія лорда Байрона и его собаки“ (Ботсвейна).

самостоятельной жизни, его любимцемъ является сначала ручной медвѣдь, приобрѣтеніе котораго было оповѣщено близкимъ людямъ, какъ прибытіе *новаго друга*; такую же браваду встрѣчаемъ въ письмѣ къ миссъ Пиготтъ, въ которомъ воспоминаніе о нравившейся ему одно время дѣвушкѣ, чьи черты лица напомнила какая-то встрѣченная имъ незнакомка, вдругъ обрывается вопросомъ: „кстати о женщинахъ, какъ здоровье моего терьера Фанни?“. Потомъ появился главный любимецъ, безконечно, по собачьи преданный ему, ньюфоундлендъ Ботсвэйгъ, оплаканный имъ въ послѣдствіи, какъ „единственный другъ“ въ искренней эпитафіи, тяжело дѣйствующей своимъ безрадостнымъ, мизантропическимъ настроеніемъ <sup>1)</sup>.

Желаніе забыться привело въ крайнемъ своемъ выраженіи къ тѣмъ пресловутымъ маскараднымъ сценамъ въ Ньюстэдскомъ аббатствѣ, которыя были непомѣрно преувеличены сосѣдскою сплетней и помогли позднѣйшимъ огульнымъ обличеніямъ Байроновской безнравственности. Самъ поэтъ далъ къ тому поводъ, усиливъ краски въ описаніи жизни Гарольда въ замкѣ предковъ, также бывшемъ прежде монастыремъ, увѣряя, что „въ прежнемъ логовищѣ суевѣрій раздавались пѣсни и хохотъ паеосскихъ дѣвъ“, что „тамъ происходили товарищескія вакханаліи (fellow Bacchanals). Одинъ изъ біографовъ вѣрно замѣтилъ, что черствая проза житейская должна была сильно сбавить эти краски, хотя бы похроническому безденежью главнаго инициатора веселья, неспособнаго слишкомъ тратиться на „дѣвъ“ и настоящія „вакханаліи“. Но даже въ достовѣрномъ и почти современномъ ньюстэдскимъ сценамъ пересказѣ одного изъ участни-

<sup>1)</sup> Эта привязанность Байрона къ любимой собакѣ дала мотивъ тому скромно задуманному памятнику, который, являясь уступкой славы поэта, наконецъ воздвигнутъ въ Лондонѣ, правда, не всенародно, на площади, а въ Гайдъ-паркѣ, въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Hyde-Park Corner (притомъ въ сторонѣ отъ торнаго пути, такъ что массу проходящаго люда должна всего скорѣе привлечь воздвигнутая въ честь Веллингтона громадная и безвкусная статуя *Ахилла*, стоящая на почетномъ и эффектномъ мѣстѣ). Байронъ изображенъ очень молодымъ, въ минуту творчества; онъ задумался, держитъ перо въ рукахъ, какъ будто хочетъ записать свою импровизацію; рядомъ съ нимъ—большой песъ, поднявшій къ нему голову и нѣжно смотрящій на него.

ковъ, Чарльза-Скиннера Мэтьюса, эксцентричность Байроновской затѣи слишкомъ очевидна. Монастырское прошлое внушило мысль придать забавамъ иноческую внѣшность. Самъ хозяинъ заготовилъ себѣ нарядъ абата; для друзей, прѣзжавшихъ гостить, были сдѣланы костюмы монаховъ, парики съ тонзурой, церковная утварь. Послѣ обѣда ходила круговая чаша, полная бургонскимъ,—но то былъ оправленный металлическими украшеніями черепъ, вокругъ котораго вырѣзано было стихотвореніе, напоминавшее отъ имени черепа, что и „онъ прежде жилъ, любилъ, кутил“, какъ пьющій теперь изъ него гость. Братія пѣла пѣсни, но то были не гимны, а вакхическіе куплеты. Двѣ, три „паеосскія дѣвы“, вѣроятно, вставляли и свои пѣсенки (Мэтьюсъ молчитъ о женскомъ персоналѣ). Главнымъ зачинщикомъ всего былъ *аббатъ* (за которымъ на нѣсколько лѣтъ закрѣпилось это дружеское прозвище).

Такъ проходили вечера и ночи. Дни же были полны игръ и физическихъ упражненій. Новичокъ, попадая въ братство, переходилъ отъ изумленія къ изумленію, когда его встрѣчалъ на порогѣ одной комнаты медвѣдь, въ другой—волкъ, когда онъ слышалъ раскатъ пистолетныхъ выстрѣловъ монаховъ, упражнявшихся въ стрѣльбѣ, попадалъ то въ фехтовальную атаку, то въ кавалькаду, то въ шумную партію крикета... Но и это оживленіе, эта пестрота, удалъ, жажда наслажденія—не давали ни душевной свѣжести, ни забвенія.

Байронъ рѣзко порвалъ съ Кэмбрижемъ; потомъ, годъ спустя, по необходимости, чтобъ получить степень (для этого требовалось „to reside“, на нѣсколько времени снова зачислить себя въ университетъ), онъ вернулся туда и наконецъ добылъ ученый патентъ. Впереди, уже невдалекѣ, были совершеннолѣтіе, политическая зрѣлость, вступленіе въ верхнюю палату, начало самостоятельной дѣятельности, но не было ни подготовки къ политикѣ, ни опредѣленныхъ, выработанныхъ соціальныхъ взглядовъ; ихъ замѣняло довольно смутное недовольство застоємъ и господствующими охранительными теоріями; само оно мирилось съ барски-словнымъ сознаніемъ юноши,—конечно, подъ условіемъ, чтобы дворянство выполняло культурную миссію. Чувствовались

также отголоски вліянія Руссо, чьи произведенія рано очутились въ рукахъ Байрона и должны были со временемъ многое опредѣлить въ его воззрѣніяхъ <sup>1)</sup>,—но Руссо дѣйствовалъ не демократическою проповѣдью, а протестомъ противъ растлѣвающей цивилизаціи и призывомъ уйти въ природу, на волю.

Ничто не привлекало Байрона, не захватывало. Безотчетная меланхолія раннихъ лѣтъ переходила въ преждевременное утомленіе жизнью. Выражаясь на языкѣ Гарольда—„he was sore sick at heart“. Въ юной, но уже удрученной памяти мелькали милыя когда-то лица, минуты счастья, высокіе порывы, измѣна, притворство, предательство. Жаль было растраченной — Пушкинъ-лицеистъ въ нѣсколько приподнятомъ стилѣ сказалъ бы: „въ безумствѣ гибельной *свободы*“—и погибшей юности. Вспоминались женщины, которыми онъ пытался замѣнить Мэри, мимолетныя, опьяняющія увлеченія,—вспоминалось многое, чего намъ такъ и не удастся разгадать. Въ юношескомъ его сборникѣ мы находимъ стихотвореніе: „Къ моему *сыну*“, полное нѣжности и грусти, ласковаго любованія золотистыми кудрями мальчика-сиротки, чье личико напоминаетъ ему „Елену“, и обѣщаній всегда быть его защитникомъ, любящимъ отцомъ. Эти стихи помѣчены 1807 годомъ...

Признаній въ дѣлахъ и помышленіяхъ, сочувствій и антипатій, смутныхъ надеждъ и желаній, свѣта и тѣней этого тревожнаго пролога къ еще болѣе тревожной жизни—нужно искать въ стихотворныхъ первинкахъ Байрона. Начиная съ перваго наброска, воспѣваемаго Мэри Дэффъ, его стихи стали зеркаломъ его души. Четыре редакціи его перваго сборника,—въ общемъ 107 стихотвореній,—даютъ возможность заглянуть въ его душу, многое объясняютъ, бросаютъ намеки на будущее. Вначалѣ желаніе высказаться борется съ нерѣшительностью и застѣнчивостью, можетъ быть, и съ опасе-

---

<sup>1)</sup> Вліяніе Руссо на Байрона разсмотрѣно въ книгѣ Otto Schmidt'a „Rousseau und Byron“, Oppeln, 1890, собравшей до мелочей все, что было сходнаго въ жизни и писательской дѣятельности обоихъ, но не свободной отъ забавныхъ натяжекъ. Такъ выдвинуто, напр., любопытное совпаденіе: Руссо, скрываясь въ Швейцаріи, носилъ одно время армянскій костюмъ,—Байронъ во Венеціи сблизился съ армянами и учился ихъ языку.

ніемъ раздражить пуристовъ прямыми указаніями фактовъ и лицъ, или слишкомъ свободнымъ изображеніемъ страсти. Борьба эта привела къ выпуску первыхъ двухъ сборниковъ безъ имени автора. Но опасенія оправдались. Небольшая книжка, всего 38 пьесъ, озаглавленная: „Fugitive pieces“ и представляющая собой первую редакцію (конецъ 1806 г.) была изъята изъ продажи и сожжена <sup>1)</sup>, по настоятельному совѣту друга семьи Байроновъ, пастора Бичера, нашедшаго, что подобная чувственная поэзія своими нескромностями унижаетъ автора. Онъ, конечно, имѣлъ въ виду не только довольно безобидную эротическую вещицу: „Къ Лесбіи“, съ воспоминаніями о любви Байрона къ сестрѣ сосѣда, капитана Ликрофта, едва не вызвавшего поэта на дуэль, но и посланіе: „To Mary“,—очевидно, къ куртизанкѣ, съ которой пережито было много опьяняющихъ часовъ, но съ которой и разрывъ былъ легокъ; измѣнивъ ему, она взяла другого, а онъ скоро увлекся иною женщиной. Когда авторъ вспоминаетъ о томъ, что—

No more with mutual love we burn,  
No more the genial couch we bless <sup>2)</sup>,

—его сожалѣніе сливается съ острымъ и прянымъ ощущеніемъ оживающихъ снова наслажденій былого.

Послушавшись совѣта уважаемаго имъ, хотя несходнаго по убѣжденіямъ, критика-дуританина, Байронъ, однако, черезъ два мѣсяца повторилъ изданіе; устранивъ два стихотворенія и прибавивъ двѣнадцать новыхъ, онъ озаглавилъ книгу: „Poems on various occasions“ (январь 1807). Но, полгода спустя, рѣшившись поднять забрало и выпустить сборникъ уже отъ своего имени, онъ подвергнулъ пересмотру обѣ редакціи, отбросивъ изъ первой почти половину ея состава, сокративъ вторую, но внеся зато много новаго. Весь сводъ получилъ общеизвѣстное съ той поры названіе „Часовъ Досуга“ („Hours of idleness“). Съ этого свода, увеличившагося во

<sup>1)</sup> Уцѣлѣло два экземпляра—неполный въ Ньюстэдѣ, и другой—у издателя Шелли, Бэкстонъ-Формана.

<sup>2)</sup> Это стихотвореніе остается до сихъ поръ подъ запретомъ. Редакторъ послѣдняго „окончательнаго“ изданія сочиненій Байрона не нашелъ возможнымъ его напечатать. Но оно все же было помѣщено въ „Englische Studien“ (1899, 3 Heft) М. Фарстеромъ: „Zu Byron's Jugendgedichten“.



второмъ изданіи, уже въ 1808 г., еще пятью пьесами, обыкновенно ведутъ исторію творчества Байрона, забывая почти двухлѣтную подготовительную работу.

Когда перечитываешь сборникъ въ полномъ его составѣ, стараясь уловить характеристическія черты этой юношеской поэзіи,—разнородныя, порою странно противорѣчивыя впечатлѣнія смѣняють другъ друга. Несмотря на обычную у подростковъ страсть казаться старше, поэтъ настойчиво, на главномъ же листѣ, спѣшитъ объяснить читателямъ, что онъ—несовершеннолѣтній. Послѣ заголовка: „Poems on various occasions“, еще безыменныхъ стихотвореній, читаемъ: „Единственная оговорка, которую необходимо прибавить въ оправданіе ошибокъ, встрѣчаемыхъ въ настоящемъ сборникѣ, заключается въ томъ, что автору еще нѣтъ девятнадцати лѣтъ“. На первомъ листѣ „Часовъ Досуга“, вмѣсто этихъ извиненій, поставлено при имени автора словечко: „несовершеннолѣтній“ (by George Gordon, Lord Byron, *a minor*). И точно, во многихъ мѣстахъ чувствуется или отпечатокъ школы, или отголосокъ недавно покинутой школьной среды: это—стихи къ товарищамъ, остроумная пародія экзаменовъ, классные переводы изъ римскихъ авторовъ, переложеніе одного мѣста изъ Эсхилова „Прометея“, цѣлое стихотвореніе на тему „о перемѣнѣ директора въ большомъ публичномъ училищѣ“ (отставка д-ра Друри), прощаніе съ Ньюстэдомъ передъ отправленіемъ въ Гарроу, элегическая картинка, вызванная посѣщеніемъ гарроускаго кладбища, наконецъ обширныя „Дѣтскія воспоминанія“. Воспѣвающія приволье Шотландіи и ея горы, стихотворенія уносятъ, правда, изъ пансіонской жизни въ природу,—зато они внушены воспоминаніями о раннемъ дѣтствѣ.

Въ эти незатѣйливыя отроческія изліянія вкрадывается, однако, перерождая самого поэта, иная, быстро развивающаяся, стихія. То, по мѣткому выраженію Саади, *могучій султанъ — любовь*. Первые впечатлѣнія, правда, наивны. Сгруппировавъ пьесы на любовныя темы, получишь прежде всего что-то вродѣ донъ-жуановскаго списка, настоящіе святцы женскихъ именъ: „Къ Лесбіи“, „Къ Каролинѣ“, „Къ Элизѣ“. Потомъ идутъ: Анна, Мэри, Гарріетъ, Маріонъ, Джесси; есть нѣсколько стихотвореній: „To a lady“; одно даже озаглавлено: „Къ Женщинѣ“ („To Woman“); можно бы подумать, что юный

поэтъ еще не вышелъ изъ безличнаго культа „des Ewig Weiblichen“. Между тѣмъ, рано слышатся слова ласки, страсти, нѣги; онъ проходитъ всю гамму, воспѣваетъ „первый поцѣлуй“, потомъ любитъ подареннымъ ему золотистымъ локономъ и показываетъ его друзьямъ; потомъ, какъ мотылекъ, несется съ одного цвѣтка на другой, увѣряетъ, что уже „любилъ многихъ“, и шалитъ стихами во вкусѣ Анакреона или Тибулла. Но проблески его настоящаго душевнаго состоянія—не въ этой игрѣ въ любовь и эпикурейство, облеченной, притомъ, въ устарѣвшую уже тогда, но для него еще авторитетную форму лирики Пѣпа, а—въ элегіяхъ, внушенныхъ несчастною любовью. На третьемъ же мѣстѣ въ началѣ сборника помѣщено стихотвореніе: „На смерть молодой дѣвушки, кузины автора, очень дорогой ему“; это—думы на могилѣ ея Маргариты, куда пришелъ онъ „осыпать цвѣтами тотъ прахъ, который онъ такъ любитъ“. Еще дальше—нѣсколько задушевныхъ изліяній въ память о Мэри Чэвортъ. „Другой обладаетъ ею, но для меня ея имя всегда будетъ благословенно. Вдыхая, я уступаю то, что считалъ нѣкогда моимъ, и, въ слезахъ, прощаю ея измѣну“,—говоритъ онъ въ стихотвореніи: „The Tear“. Ему кажется, что еслибъ до него дошла горестная вѣсть о ея смерти, онъ умеръ бы у ея гроба. „Я ищу теперь другихъ отрадъ,—признается онъ въ стихотвореніи: „To a lady“.—Вѣдь, думая все о тебѣ, я могу дойти до сумасшествія. Даже у моихъ враговъ шевельнется состраданіе при видѣ того, что я испытываю, потерявъ тебя навсегда“. Въ послѣднихъ страницахъ сборника мысль поэта снова обращается къ Мэри. „Итакъ, ты счастлива“,—начинается одно стихотвореніе, и ему вторять „Стансы къ одной лэди передъ отъѣздомъ изъ Англіи“, стоящіе на рубежѣ Гарольдовскаго періода и перваго путешествія. „Онъ долженъ покинуть этотъ край, потому что можетъ любить только одну“; онъ переплыветъ бѣлогривые валы, будетъ искать на чужбинѣ пріюта, но не найдетъ покоя, пока не изгладятся изъ памяти черты предательскаго, но прелестнаго лица“ (a false fair face).

Отъ сѣтованій и протестовъ противъ гоненій судьбы поэтъ уже въ состояніи переходить къ обобщеніямъ и выводамъ; его міросозерцаніе начинаетъ обозначаться, и оно—безрадостное,

скептическое, презрительное. Въ стихотвореніи къ Бичеру, убѣждавшему его чаще показываться въ обществѣ, Байронъ оправдываетъ свою любовь къ уединенію нежеланіемъ „спускаться до уровня свѣта, который онъ презираетъ“; говоритъ о ничтожествѣ толпы, завидуетъ славѣ Фоксовъ или Чатамовъ: онъ считалъ бы достойнымъ жить только для подвиговъ, подобныхъ ихъ благородной дѣятельности. „Немного мнѣ лѣтъ, но я уже чувствую, что въ свѣтѣ нѣтъ для меня удѣла“,—воскликаетъ онъ въ другомъ стихотвореніи; онъ желалъ бы имѣть крылья, чтобы улетѣть далеко отъ земли, вглубь неба, и тамъ найти успокоеніе. Въ напечатанномъ теперь впервые стихотвореніи: „Pignus amoris“, онъ до того выражаетъ равнодушіе къ настоящему, что считаетъ драгоценнѣйшимъ даромъ своимъ—„видѣнія прошлаго“.

Краски все сгущаются. То онъ берется за перо подъ давленіемъ неотвязной мысли, что скоро умереть; то спрашиваетъ какую-то участливую къ нему женщину, прольетъ ли она слезу, когда его схоронятъ (стихъ: „And wilt thou weep, when I am low?“); то пишетъ грустно ироническую надпись на черепъ, служившій чашей, и смѣшиваетъ картины пира съ упоминаніемъ о могильныхъ червяхъ, которые прикасались къ черепу раньше губъ пирующихъ людей; то оплакиваетъ въ Ботсвэйнѣ *единственную* друга. Всего сильнѣе и сосредоточеннѣе выразилась меланхолія поэта въ „Молитвѣ Природы“ („Prayer of Nature“), помѣченной еще 1806 годомъ, но, по искренности настроенія и зрѣлости формы—поразительной въ этомъ сборникѣ юношескихъ опытовъ. Взволнованный пережитымъ и передуманнымъ, онъ взываетъ: „О, Отецъ свѣта, великій Богъ въ небесахъ, услышь мой вопль *отчаянія*“, зоветъ взглянуть, „какъ мрачна его душа“ <sup>1)</sup>; молить указать ему путь къ правдѣ, удержать отъ гибели и грѣха. Въ патетическомъ обращеніи къ божественному началу нѣтъ и слѣда традиціонныхъ религіозныхъ воззрѣній, державшихся въ жизни и поэзіи Байрона до той поры. Отрываясь отъ нихъ, отрицая главныя ихъ основы, онъ переходитъ къ деизму, возсылаетъ свое моленіе къ Высшему Разуму, разлитому

<sup>1)</sup> Мотивъ, предвѣщающій извѣстное стихотвореніе въ „Еврейскихъ Мелодіяхъ“, переложенное потомъ Лермонтовымъ.

въ природѣ; отъ человѣческой нетерпимости, отъ людскихъ законовъ, догматовъ, предразсудковъ, онъ вызываетъ къ вѣчнымъ законамъ, проявляющимся въ жизни природы; чтеніе Руссо (и, какъ думаетъ Доннеръ <sup>1)</sup>), Локка) укрѣпило его въ тѣхъ взглядахъ, которые внушены были опытомъ, раздумьемъ и сильнымъ художественнымъ влеченіемъ къ природѣ. Благонамѣренный оптимизмъ „Всеобщей молитвы“ его любимца, Попа (Universal Prayer), на первый взглядъ столь сходной по главному мотиву, остался далеко позади. Въ стихотвореніи Байрона корень многого, впоследствии вошедшаго въ его поэтический, нравственный и философскій символъ вѣры.

Взятый въ цѣломъ, во всемъ своемъ разнохарактерномъ составѣ, отъ ученическихъ работъ до поэзіи отчаянія, сборникъ производитъ, быть можетъ, и смутное впечатлѣніе, но далеко не въ томъ смыслѣ, какъ это нашла вскорѣ враждебная критика, и какъ это рутинно повторяется до сихъ поръ въ біографіяхъ поэта. Въ стихотворныхъ опытахъ новичка гораздо менѣе общихъ мѣстъ и избитыхъ приѣмовъ, чѣмъ, напримѣръ, въ Пушкинскихъ „Часахъ досуга“, т.-е. въ лицейскихъ стихотвореніяхъ (такъ Байронъ сразу былъ свободенъ отъ тягостей обязательной мѣлологіи). Зависимость отъ образцовъ замѣтна,—хотя въ числѣ ихъ мы видимъ и чопорнаго Попа, и окруженнаго романтическимъ туманомъ Оссіана, и страстнаго Тибулла. Но уже на нашихъ глазахъ происходитъ высвобожденіе отъ гнета авторитетовъ; горе, любовь, тоска—выражаются искренно, внѣ правилъ старой поэтики; въ сарказмѣ, вызванномъ пока темными сторонами школы или свѣтской жизни, мелькаютъ искры будущей Байроновской сатиры; приступы міровой скорби уже сказались. Еще неясно, но несомнѣнно обрисовывается *самостоятельная* личность поэта.

Чѣмъ могъ такой сборникъ вызвать критическіе громы—трудно понять. Среди обычнаго балласта стихотворныхъ первенцевъ дебютантовъ—приѣмоплетовъ онъ долженъ былъ выдѣляться проблесками дарованія и оригинальности. Нѣсколько второстепенныхъ изданій: „The Critical Review“, „Monthly literary recreations“ и „Anti-Jacobin“, признали эти

---

<sup>1)</sup> Lord Byron's Weltanschauung, S. 50.

достоинства, другія <sup>1)</sup> подтрунили надъ юнымъ поэтомъ. Но книга вызвала противъ себя настоящій походъ, стратегически обдуманной, — и не какой-нибудь борзописецъ-наѣздникъ, гарцуя на журнальной аренѣ, вонзиль въ нее съ наскока свою пику. Редакція вліятельнѣйшаго „Эдинбургскаго Обозрѣнія“ нашла нужнымъ заказать одному изъ лучшихъ своихъ сотрудниковъ, скрытыхъ по обычаю подъ анонимомъ, уничтожающую статью; мало того, она написана была при участіи нѣсколькихъ лицъ; желчность и остроуміе стали еще напряженнѣе; каждый отзывъ взвѣшивался, оттачивался. Къ выпуску статьи долго готовились, въ кухнѣ вѣдмы варили и вываривали зелье; медлили настолько, что слухи дошли до поэта, и въ письмахъ близкимъ людямъ онъ уже сообщалъ, что готовится нападеніе. Статью хотѣли напечатать въ январьской книгѣ 1808 г.; выпускъ ея опоздалъ до февраля, — наконецъ она явилась, бранчивая, нетерпимая, позорная.

При жизни Байрона авторъ статьи настойчиво опровергалъ молву, приписывавшую разборъ именно ему, и только въ сороковыхъ годахъ рѣшился признаться. Со стороны изящнаго оратора и либеральнаго министра, лорда Брума, покаяніе въ грѣхѣ молодости было самоотверженіемъ. Позднѣйшій его образъ мыслей шелъ въ разрѣзъ съ грубостью этой критической напраслины. Очевидно, онъ находился тогда подъ сильнымъ вліяніемъ своего владыки, избалованнаго непогрѣшимостью, внушаемымъ имъ трепетомъ, безнаказанностью своихъ критическихъ капризовъ и разносовъ.

Въ дни реставраціи, при Іаковѣ II, всеобщій ужасъ возбуждала расправа съ врагами монархіи объѣзжавшаго наиболѣе мятежныя провинціи судьи Джеффриса, который позади себя оставлялъ страшный слѣдъ, — висѣлицы, пытки, костры. Не одному только Байрону — воспользовавшемуся сходствомъ именъ для гнѣвныхъ строфъ противъ критика въ слѣдующемъ же своемъ произведеніи — вѣшатель и мучитель Джеффрисъ напоминалъ новѣйшаго литературнаго палача Джеффри, основателя „Edinburgh Review“. Такая оцѣнка была, правда, очень одностороннею. Превращеніе Джеффри послѣ „Гарольда“ и восточныхъ поэмъ, обнару-

---

<sup>1)</sup> Haup. The Satirist, a monthly meteor, 1807, october.

жившихъ талантъ Байрона, изъ обличителя въ искренняго и умѣлаго защитника показываетъ, что онъ далеко не лишенъ былъ ни тонкаго пониманія художественныхъ красотъ, ни сочувствія прогрессу литературы. Рядъ другихъ примѣровъ, радужное приглашеніе новичка-Карлейля въ сотрудники журнала, и много другихъ,—свидѣтельствуютъ о томъ же. Но когда юношеская поэзія Байрона имѣла несчастіе привлечь его вниманіе, Джефри предавался еще самоуправству диктатора - громовержца, встрѣчая безпрекословное повиновеніе въ редакціонномъ штабѣ, изъ рядовъ котораго онъ могъ высылать въ дѣло вмѣсто себя такихъ клеветовъ, какъ Брумъ.

Въ статьѣ нѣтъ ни одного дѣльнаго замѣчанія или совѣта, которымъ поэтъ могъ бы воспользоваться, и нѣтъ именно потому, что критикъ не признаетъ его поэтомъ, даже хотѣлъ бы вѣрить, что „настоящія стихотворенія—последнія, которыми онъ докучаетъ читателю“, и совѣтуетъ примѣнить въ другой области свои способности. „Подобныя упражненія писались и пишутся всѣми въ школѣ и университетѣ, но, конечно, не печатаются; изъ десяти человѣкъ девять несомнѣнно грѣшатъ ими, а десятый пишетъ стихи лучше лорда Байрона“. Затѣмъ идутъ насмѣшки надъ малолѣтствомъ стихотворца, надъ частыми, будто бы, и хвастливыми указаніями на древность его рода. Эти промахи, встрѣчаемые болѣе всего въ раннихъ пьесахъ и уступившіе мѣсто презрительнымъ отзывамъ о суетности свѣта и сознательнымъ рѣчамъ рано развившагося человѣка, выдвинуты на первый планъ, словно они — типическое отличіе книги. О задушевности, искренности чувства—ни слова; сравненіе съ стихами старшихъ поэтовъ, Грэя, Роджерса, на тѣ же темы даетъ зато поводъ обличить дерзость новичка, осмѣливашагося тягаться съ истинными стихотворцами. Выписаны лишь неудачныя строфы, причемъ критикъ утверждаетъ, что „во всемъ сборникѣ благороднаго отрока *нѣтъ ничего* лучше этихъ плохихъ стансовъ“. Статью заканчиваетъ ироническое выраженіе признательности автору: подумавъ только, онъ снизошелъ съ высотъ своего благородства къ читателямъ-плебеямъ! За это слѣдуетъ его благодарить „и не смотрѣть въ зубы дареному коню“ („not to look the gift horse in the mouth“).

„Лорда Байрона нельзя раздражать, сэръ; это—юноша съ потрясающими страстями“ (tremendous passions), — говорилъ о своемъ воспитанникѣ кэмбриджскій тьюторъ. Джеффри, въ лицѣ котораго изрекла приговоръ вся старая, самодовольная литературная братія, скоро пришлось испытать на себѣ справедливость этого совѣта. Жертвъ критическихъ наѣздовъ „Эдинбургскаго Обзорѣнія“ было много (первые годы состояли почти сплошь изъ разгромовъ; цѣлыми гекатомбами сокрушены были Томасъ Муръ, Чарльзъ Ламъ, „лакисты“ и мн. др.), но никто такъ отважно не отвѣчалъ, какъ осмѣянный поэтъ-недоросль, никто не сумѣлъ отвлечь сочувствіе массы отъ царя критики на свою сторону.

Но пора установить точную исторію этого отвѣта, съ котораго обыкновенно ведется лѣтопись самостоятельнаго, *байроническаго* творчества. Въ первоначальной редакціи не было отвѣта ни на что. Шотландскій журналъ еще не изрекъ тогда своего приговора. Байронъ, ободренный относительнымъ успѣхомъ „Часовъ Досуга“, взялся за перо, чтобы, въ качествѣ новаго пришельца „на Парнасъ“, оглядѣться на немъ, произвести смотръ его наличнымъ силамъ, возстать противъ затхлости и формализма, выдѣлить въ лицѣ немногихъ писателей залогъ возрожденія, и на развалинахъ педантизма воздвигнуть свѣтлое зданіе эстетики будущаго! Работа должна была состоять изъ полемической, критической части и изъ кодекса поэтики. Заглавіе надписано было—„Британскіе Барды“. Сатира закончена была въ октябрѣ 1807 года и состояла изъ 360 стиховъ <sup>1)</sup>. Во время набора и корректуръ авторъ увеличилъ ея объемъ до 520 стиховъ. Между тѣмъ явилась статья Брума. По словамъ Байрона, она произвела на него сначала ошеломляющее впечатлѣніе, но вслѣдъ затѣмъ оно перешло въ гнѣвъ и страстное желаніе мести. Готовыя рамки генеральнаго смотра литературы съ ея вождями и критиками пришлись какъ нельзя болѣе кстати. Сатира была снова пересмотрѣна, увеличилась вдвое (въ окончательномъ видѣ—1.070 стиховъ) и, появившаяся уже въ 1809 г., украсилась заглавіемъ, указывавшимъ на выдержанное нападеніе: „Англійскіе барды и шотландскіе журналисты“.

---

<sup>1)</sup> Рукопись принадлежитъ въ настоящее время м-ру Мэррею.

Въ англійской поэзіи восемнадцатаго вѣка, перенявшей этотъ обычай у Буало и его школы, была въ ходу сатира на литературные нравы, смѣявшаяся надъ плохими писателями, изображая муки кропанія стиховъ, — мотивъ, съ такимъ мастерствомъ привитый русской литературѣ Дмитріевскимъ „Чужимъ толкомъ“. Остроумнѣйшимъ образцомъ такой пародіи была потѣшно-высокопарная „Дунсіада“ Пѡпа („The Dunciad“, — отъ жаргоннаго словечка: „dunce“, олухъ), собравшая галерею бездарныхъ писаекъ въ ихъ зависти и заговорѣ противъ вдохновенныхъ поэтовъ. Байрону достаточно было бы поданнаго Пѡпомъ примѣра, чтобы произвести облаву на современные ему педантизмъ и бездарность. Англійское стихотворство, къ тому же, и послѣ Пѡпа было богато варіаціями на ту же тему: „Ролліадами“, „Мэвіадами“, „Симплиціадами“. Но и до столкновенія съ Джеффри подобныя нападки — обветшавшія и, въ свою очередь, рутинныя — не могли удовлетворить Байрона; у него сложились новыя оцѣнки, новые выводы; уже въ „Британскихъ бардахъ“ онъ сказалъ *свое* слово. Наконецъ сильный импульсъ потрясъ его, заставилъ вдуматься въ положеніе дѣлъ, опредѣленно поставить свои требованія и отстоять личную независимость.

Повторять вслѣдъ за Байрономъ, болѣзненно раздраженнымъ и безсильнымъ совладать съ собой, — будто состояніе англійской литературы въ ту пору не могло не возмущать торжествующею въ ней пошлостью и бездарностью, — было бы большою напраслиной. Много мелкаго люда, дѣйствительно, копошилось на ея задворкахъ; въ критикѣ, часто преданной именно ему во власть, господствовали личное усмотрѣніе и бандитскіе нравы. Но въ то же время, опираясь на нѣсколько несомнѣнныхъ поэтическихъ дарованій, все яснѣе обрисовывалась *англійская* варіація романтизма, съ ея корнями въ народолюбіи и археологическихъ симпатіяхъ 18 вѣка, съ ея культомъ природы, деревни и старины, съ богатымъ запасомъ фантастики. Вальтеръ Скоттъ, учась у народа, собралъ уже „Пѣсни менестрелей съ шотландской границы“, и уносилъ въ своихъ поэмахъ читателя въ заманчивый міръ далекаго прошлаго; Вордсвортъ уже выступилъ рѣдкимъ по колоритности пѣйзажистомъ природы родныхъ озеръ и горъ, поэтомъ простыхъ людей; „Старый морякъ“ и уже набро-



санная тогда вчераѣ „Christabel“ (такъ восхищавшая въ послѣдствіи Пушкина, подѣ конецъ достойно оцѣненная и Байрономъ) выказали въ Кольриджѣ искуснаго балладника и завлекательнаго рассказчика легендъ. Отзывчивость на нужды современности, идейная чуткость были также далеко не чужды литературѣ. Томасъ Муръ внесъ искренній ирландскій патріотизмъ и любовь къ свободѣ въ свои „Irish melodies“, Кэмпбеллъ въ воинственныхъ пѣсняхъ отстаивалъ національную свободу отъ французскихъ враговъ, а Вильямъ Годвинъ, доживая свой вѣкъ, оставался живымъ выразителемъ идей просвѣщенія, гуманности и безостановочнаго прогресса, которыя украсили собой въ послѣднія десятилѣтія 18-го вѣка англійскую общественную мысль... Но, не сумѣвъ еще ориентироваться, распознаться въ сложной области литературныхъ явленій, поэтъ-новичокъ словно не видѣлъ отгѣнковъ, исключеній, достоинствъ. Его горячий натурѣ былъ антипатиченъ чинный, добропорядочный, нравственный тонъ однихъ, напыщенные притязанія другихъ, формальность, педантизмъ, безжизненность. Передъ нимъ былъ *одинъ*, надъ всѣмъ господствующій и собственнымъ опытомъ дознанный фактъ: ряды старшей, титулованной писательской братіи не разомкнулись для новаго пришельца, среди бѣлаго дня всѣ равнодушно стерпѣли звѣрское нападеніе на неповиннаго ни въ чемъ дебютанта, не захотѣли признать за нимъ элементарнѣйшихъ, неотъемлемыхъ правъ. Такъ покажетъ же онъ имъ, *кого* они оскорбили!..

Можно ли было ожидать, что онъ выскажется съ чувствомъ мѣры и безпристрастіемъ? Онъ едва владѣетъ собой, въ схваткѣ способенъ не различить своихъ отъ чужихъ, слить въ насмѣшкѣ и писакъ, и далеко не бездарныхъ поэтовъ; онъ вѣрить слуху, будто нападеніе подстроено лордомъ Голландомъ, нанявшимъ продажнаго борзописца, чтобы оскорбить въ лицѣ Байрона отпрыскъ враждебной, торійской знати, и включаетъ въ обличеніе и вельможу-предателя. Порою ему самому какъ будто странно зрѣлище произведеннаго имъ опустошенія. „Вѣдь было время, говоритъ онъ, когда ни одинъ рѣзкій звукъ не исходилъ изъ устъ, теперь словно пропитанныхъ желчью. Но я измѣнился со времени моей молодости, я научился мыслить и сурово высказывать

истину“. Эпитетъ суровости, серьезности—не подходитъ къ тону его сатиры. За небольшими исключеніями, онъ или язвительнъ, или яростенъ.

Однимъ изъ такихъ исключеній, среди гнѣва и расправы выдающихся по плавному и стройному складу рѣчи, служить воспоминаніе объ истинныхъ поэтахъ далекаго прошлаго; рядъ ихъ начинается съ Шекспира, переходитъ къ Мильтону, Драйдену, Отвэю, Шеридану, Бёрису, и заканчивается всего двумя, тремя современниками,—Роджерсомъ, Гиффордомъ,—теперь давно забытыми. То были носители вдохновенія, правды, красоты. Теперь же царствуютъ малоуміе, посредственность, идиотство; авторъ задорно собирается прославить героевъ дня („Моя тема—хвала глупцамъ; моя пѣснь—сатира; писаки—та дичь, за которой я охочусь“), и передъ читателемъ проходятъ длинной процессіей жертвы сатирика. Въ ихъ числѣ не мало ничтожествъ, когда-то не безъ успѣха сыгравшихъ свою роль, разные Коттли, Стотты, Грехамы, Гэйли; но за ними показываются въ потѣшномъ видѣ и съ забавными претензіями „маленькій Катуллъ Little“ (псевдонимъ, подѣ которымъ впервые выступилъ Том. Муръ), приторный и скучный балладникъ Вальтеръ Скоттъ съ его „Пѣснью послѣдняго менестреля“ и „Марміономъ“, озерные поэты: вулгарный, простоватый Вордсвортъ, „доказывающій на дѣлѣ, что проза есть стихи, а стихи—проза“, претенціозный Соути съ своими мавританскими поэмами, „пѣвецъ ослиной породы“ Кольриджъ; плетется кучка драматурговъ; показываются критики. Это—самая желанная минута для обличителя.

Критика теперь необыкновенно легка, говорить онъ. Хотите вы ею заняться и зарабатывать немалыя деньги <sup>1)</sup>,—идите къ Джеффри, будьте послушны и покладливы, лгите, клеветайте, кощунствуйте, подавите въ себѣ человѣчность, и вы будете критикомъ, васъ будутъ ненавидѣть и въ то же время ласкать“. Во главѣ разбойничающей клики, „стаи сѣверныхъ волковъ, завывающей въ сумеркахъ, алча добычи“, стоитъ „великій Джеффри“; Байронъ то сравниваетъ его съ

---

<sup>1)</sup> „Эдинбургское Обозрѣніе“, подобно „Библіотекѣ для Чтенія“ Смирдина, производило большое впечатлѣніе высокими литературными гонораромъ.

кровожаднымъ судьей XVII вѣка, то вторить молвѣ, будто „сатана уступилъ ему часть своей власти, предоставивъ ему расправу надъ словесностью“, то требуетъ кары тирану за всѣ преступленія, „заслужившія ему петлю“. Во власти подобнаго человѣка, окруженнаго толпой „негодяевъ или идіотовъ“, находится литература, когда-то краса Англіи. „*Такими* стали мы теперь“ („So are we now“!),—негодюя, восклицаетъ сатирикъ, и, въ параллель, набрасываетъ нѣсколькими штрихами характеристику общественной среды, въ особенности двусмысленныхъ притоновъ, гдѣ добродѣтельное общество предается тонкому разврату. Мысль ясна:—по обществу и литература; безстыдный журналъ и модные „Argyle rooms“ стоятъ другъ друга. Но не пощажены и наука, политика, университетъ и парламентъ; недавній студентъ съ знаніемъ дѣла смѣется надъ пустотою и ограниченностью официальной науки; поклонникъ славы Питта и сторонникъ новѣйшаго либеральнаго оратора Каннинга съ презрѣніемъ говорить о реакціонномъ большинствѣ палаты, издѣвающимся надъ благородствомъ подобныхъ людей. Картина современности все расширяется. Начатый для личной защиты и сведенія литературныхъ счетовъ, памфлетъ обличаетъ весь строй. Автору кажется, что „имъ руководило желаніе отстоять честь страны отъ идіотовъ, наводнившихъ ее“.

Въ раздраженіи полемики онъ не замѣтилъ, что слишкомъ много мѣста отвелъ обличенію и недостаточно развилъ положительную сторону,—то эстетическое ученіе, которымъ онъ желалъ бы замѣнить педантизмъ противниковъ. Когда онъ созналъ необходимость пополнить пробѣлъ,—сдѣлать это въ видѣ дополненій къ новымъ изданіямъ сатиры было уже неудобно. Явился планъ послѣсловія къ „Англійскимъ бардамъ“, въ видѣ отдѣльной поэмы. Но оно написано было много позже, въ Греціи; Байронъ придалъ своему разсужденію форму переложенія Горация (отсюда заглавіе: *Hints from Horace*) на современные нравы, высказалъ рядъ общепользныхъ и несложныхъ требованій и правилъ (естественность и искренность тона, неподдѣльный драматизмъ, психологическая правда, *изученіе природы*, „умѣнье нравиться и быть полезнымъ людямъ“), не всегда удачно справляясь съ ролью теоретика, по временамъ опираясь на мало подходящіе и

отжившіе свой вѣкъ образцы, словно не замѣчая, что самъ опередилъ ихъ, стремясь къ свободѣ творчества. При жизни Байрона поэма не была напечатана,—къ счастью, потому что живымъ примѣромъ „Гарольда“, написаннаго одновременно, онъ прочнѣе узаконилъ новую поэзію, чѣмъ поучительной поэмой, въ которой къ нему совсѣмъ не шелъ нарядъ „временъ новѣйшихъ Буало“.

Впослѣдствіи, вспоминая споръ съ Джеффри и перечитывая „Бардовъ“, въ особенности нападки на людей, ставшихъ дорогими и близкими ему, или вообще по праву занявшихъ почетное положеніе въ литературѣ, Байронъ чувствовалъ раскаяніе и досаду. Есть экземпляръ „Бардовъ“ съ замѣтками его на поляхъ, относящимися къ 1816 г., гдѣ часто читаемъ: „несправедливо“, „незаслужено“, или даже: „это совершенное безуміе“, „характеръ оскорбленія не оправдываетъ такихъ нападокъ“. Перемѣна взглядовъ скоро отразилась на судьбѣ сатиры. Первые три изданія (1809 – 1810) не только не сокращали, а увеличивали текстъ; въ четвертомъ есть смягченія, выброски; пятое было уничтожено по волѣ автора.

Но потребность въ частыхъ перепечаткахъ произведенія, имѣвшаго, казалось, лишь временное значеніе, уже говорить о силѣ сдѣланнаго имъ впечатлѣнія. Горячность, мужество, искренность убѣжденій, мастерской контрастъ величія и пошлости, призывъ къ возрожденію дѣйствовали, несмотря на излишества и рѣзкости. Послѣднія едва не повели къ личнымъ столкновеніямъ; и Томаса Мура, и Вальтеръ-Скотта (съ которымъ Байронъ встрѣтился только въ 1815 г.) едва удержали отъ дуэли. Но и они, и Джеффри, и вся публика, сошлись въ изумленіи передъ народившимся сильнымъ талантомъ. „Часы Досуга“ остались гдѣ-то позади; въ первые ряды словесности смѣло прошелъ теперь зрѣлый и оригинальный поэтъ. Чудо произвела безтактная, вздорная статья. Если впослѣдствіи на глазахъ Байрона подобный же критическій разгромъ мучительно подѣйствовалъ на Китса и ускорилъ его смерть<sup>1)</sup>, то выходкѣ „Эдинбургскаго Обзорѣ-

---

<sup>1)</sup> Онъ не разъ вспоминалъ объ этомъ печальномъ эпизодѣ: въ „Д.-Жуанѣ“, 60, XI: „John Keats, who was kill'd off by a critique“, etc., въ стихотвор. „John Keats“ (1821) и т. д.

нія“ современники обязаны были тѣмъ, что она вызвала на свободу таившіяся въ Байронѣ силы.

Но, несмотря на успѣхъ, льстившій его самолюбію, пережитое столкновѣніе оставило на Байронѣ тяжелый слѣдъ. Оно совпало съ другими непріятными впечатлѣніями при вступленіи въ дѣйствительную жизнь. Когда онъ захотѣлъ воспользоваться своими политическими правами и занять мѣсто въ верхней палатѣ, его возмутили холодность и равнодушіе пэровъ, сколько-нибудь знавшихъ его, но уклонившихся поголовно отъ роли его воспріемниковъ, требуемой парламентскимъ обычаемъ. Его *никто* не ввелъ; одинокій, съ брезгливымъ выраженіемъ лица, онъ вошелъ въ залу (13-го марта 1809), опустился на нѣсколько мгновѣній на одно изъ мѣстъ *левой* стороны и вышелъ,—чтобы вернуться, и то не надолго, лишь по пріѣздѣ изъ путешествія. Въ это раннее время, когда поэзія еще не захватила всѣхъ лучшихъ его силъ, онъ колебался между политикой и литературой („Когда вернусь, я, быть можетъ, сдѣлаюсь политическимъ дѣятелемъ“—„I may possibly become a politician“,—писалъ онъ матери незадолго до отъѣзда), но тогда уже рѣшилъ сохранить независимость, не поддаваться тиранніи партій, не итти на компромиссъ съ министерствомъ. Такія колебанія повторялись и въ дальнѣйшую его жизнь. Въ Италіи онъ спрашивалъ иногда себя, не была ли ошибкой его поэтическая дѣятельность, а призваніемъ—политика. Наканунѣ греческой экспедиціи онъ думалъ о возвращеніи въ Англію для активнаго участія въ политической борьбѣ.

Матеріальныя невзгоды также стали сильнѣе прежняго удручать его. Студенчество закончено было съ тремя тысячами долга. Съ той поры займы и обязательства продолжали расти. Выйти изъ затруднительнаго положенія можно было, на его взглядъ, лишь однимъ изъ трехъ способовъ: продажей имѣній, женитьбой на золотой куклѣ (golden Donny), наконецъ—пулей въ лобъ. Отъ третьяго способа его удерживало самосохраненіе или, какъ онъ презрительно выражался, его лѣнь; второй представлялся ему только въ очень мрачныя минуты, когда съ горя онъ напускалъ на себя цинизмъ и съ дѣланымъ хладнокровіемъ приписывалъ себѣ способность продать свою свободу. Первый путь былъ проще,—

но съ Ньюстэдомъ онъ не хотѣлъ разстаться, а продажа рочдэльскихъ каменноугольныхъ копей тянулась до безконечности, дразнила и волновала. Когда Байрона заставляли за картами и видѣли, съ какою горячностью, часто проигрывая, онъ отдавался состязанію, тщетно споря съ фортуной, врядъ ли многіе понимали, что страсть къ игрѣ (какъ онъ признался потомъ въ „Detached thoughts“) привлекала его сильными ощущеніями и возможностью *забыться*.

Семейныя, сердечныя, литературныя, политическія невзгоды, наконецъ злословіе—если не общественнаго мнѣнія, то общественной сплетни, чудовищно преувеличивавшей рассказы о его ньюстэдскихъ пирахъ, лондонскихъ и кэмбриджскихъ шалостяхъ,—вотъ та сложная основа, изъ которой развилось лихорадочное желаніе уйти куда бы то ни было и надолго изъ „этой проклятой страны“ („from this cursed country“).

Когда встрѣчаешь это выраженіе въ письмѣ 1809 года—чудится, не ошибкали это. Такъ могъ бы выразиться лишь человѣкъ среди открытой борьбы съ своимъ народомъ; это стало умѣстно въ устахъ Байрона, когда вторично и навсегда онъ покинулъ Англію, чтобы вернуться только мертвымъ. Наканунѣ же перваго путешествія у него были очень несложные счеты со *страною* и съ *обществомъ*. Ихъ нельзя было винить въ томъ, что Мэри разбила его душу; въ томъ, что среди журнальныхъ отзыовъ нашелся одинъ грубый и несправедливый; что пары Англіи полны спѣси, а ноттингэмскія кумушки не въ мѣру болтливы; что мать поэта—наслѣдственный маниакъ. Но если обобщеніе поспѣшно и произвольно, то личныхъ поводовъ къ удаленію все же было достаточно, и принятое на себя сильно затосковавшимъ поэтомъ изгнанничество можно понять—и сочувствовать ему; вѣдь еслибъ, сдѣлавъ надъ собой насиліе, онъ остался, надѣясь пріучить себя къ повседневности,—развитіе его дарованія не двинулось бы такъ быстро впередъ, какъ это случилось, благодаря обвѣянному просторомъ моря, горъ, дальняго юга и знойнаго востока паломничеству Чайльдъ-Гарольда.

Еще съ 1807 г. встрѣчаются въ письмахъ Байрона намеки на предстоящее путешествіе; въ 1809 году, они становятся безсмѣнной темой. И сразу бросается въ глаза отли-

чительная особенность: ни на минуту не поманила его къ себѣ культурная Европа, большіе центры ея, въ родѣ Парижа, классическая Италія, веселые водные города (по забавной англійской кличкѣ — „the Spas“) съ ихъ азартной игрой и международной сутолокой,—обычные притоны англичанъ-туристовъ того времени. Идетъ рѣчь о посѣщеніи дальнихъ, азіатскихъ странъ, то о поѣздкѣ въ Константинополь, то о путешествіи въ Персію, даже въ Индію (въ одномъ письмѣ, предшествовавшемъ на нѣсколько мѣсяцевъ путешествію, допущена возможность очутиться черезъ годъ „за Кавказскими горами“). Байронъ увѣряетъ мать, что ему хочется изучить индійскую политику Англии, и запасается въ правительственныхъ кругахъ рекомендаціями. Но это—мимолетный замыселъ, вродѣ промелькнувшей послѣ путешествія затѣи поселиться гдѣ-нибудь въ Архипелагѣ и заняться ориентализмомъ. Гораздо важнѣе — стремленіе вдаль отъ культуры, въ природу, къ простымъ людямъ и опростившимся народамъ, въ страны, гдѣ нѣкогда цвѣла свобода и гдѣ должно произойти ея возрожденіе. Въ этомъ снова видно вліяніе любимца Байрона, Руссо,—того Руссо, съ которымъ мать не разъ сравнивала его и по характеру, и по темпераменту, и по взгляду на жизнь и людей. Онъ спорилъ съ матерью (слѣдъ такого спора остался въ одномъ письмѣ<sup>1)</sup>), отстаивалъ свою самостоятельность, но никогда не избавился отъ вліянія женевского философа.

Къ веснѣ 1809 г. былъ выработанъ планъ путешествія, или, по крайней мѣрѣ, двухъ его третей (до посѣщенія Малой Азіи и Константинополя). Переѣздъ въ Персію подразумѣвался, и для усвоенія интернаціональнаго на Востокѣ арабскаго языка завязаны были сношенія съ оксфордскимъ арабистомъ, проф. Памеромъ. Объ Индіи нѣтъ рѣчи; зато подробно разработана первая часть маршрута, посѣщеніе южныхъ европейскихъ окраинъ, Албаніи, Ионическихъ острововъ, Греціи, которые по своей запущенности или примитивности подходили къ бѣгству отъ культуры. Пріохотить

<sup>1)</sup> Отъ 7-го октября 1808: „я не имѣю притязаній походить на этого знаменитаго безумца; знаю только, что проживу на свой ладъ и въ возможно большемъ одиночествѣ“. Въ „Detached Thoughts“ Байронъ набросалъ впослѣдствіи параллель фактовъ своей жизни съ судьбою Руссо.

къ изученію ихъ, даже поставить его чуть не на первый планъ, быть можетъ, удалось занимательному поэтическому разсказу о греческомъ югѣ, принадлежавшему знатоку его, бывшему генеральному консулу Англіи при „Республикѣ Семи Острововъ“, Уоллеру Родуэллу Райту<sup>1)</sup>, о которомъ нашъ поэтъ сочувственно отзывался въ своихъ „Англійскихъ бардахъ“. Райтъ не былъ профессиональнымъ поэтомъ, но природа и великія традиціи края, съ которымъ онъ сроднился, пробудили въ немъ вдохновеніе. Онъ былъ скромнаго мнѣнія о своемъ талантѣ. „Умолкни, моя муза,—воскликаетъ онъ.—Не тебѣ дано слагать на землѣ пѣсни, подобныя небеснымъ гимнамъ. Ты не сестра, а только прислужница девяти музъ“. Любуясь красотами моря и горъ, онъ даетъ прочувствованныя описанія природы. Старина оживаетъ въ его мечтахъ объ историческихъ событіяхъ и великихъ людяхъ, нѣкогда прославившихъ запустѣвшую теперь страну; онъ способенъ на галлюцинаціи—и вызываетъ тѣнь Гомера. Контрастъ свободы и новѣйшаго рабства возбуждаетъ его негодованіе на тирановъ:—

The iron despot tracks his path with blood  
And proudly tramples on the great and good...

— гнѣвно восклицаетъ онъ. Это — предвѣстіе лирическихъ изліяній Гарольда, внушенныхъ эллинскимъ міромъ. И странно, самъ Райтъ, какъ будто предчувствуя появленіе великаго преемника, отводитъ себѣ роль его предтечи. „Чтобы достойно воспѣвать безсмертныя темы (immortal themes), нужно дарованіе могучаго художника; умолкая, я поклоняюсь и благоговѣю; объятый трепетомъ, выпускаю изъ рукъ лиру“.

Приближался день отъѣзда. Добыты были средства, образовавшіяся главнымъ образомъ изъ займа въ „Providential Institution“; составленъ штатъ небольшой свиты: въ нее вошли трое англійскихъ слугъ, въ томъ числѣ юный и малоопытный Рэштонъ, оригиналь пажа въ „Гарольдѣ“, Флетчеръ, съ этой поры до смерти поэта вѣрный его наперсникъ, и нѣмецъ Фризе, только-что вернувшійся съ Востока. Изъ

---

<sup>1)</sup> Horae Ionicae, a poem descriptive of the Ionian islands, and part of the adjacent coast of Greece, 1809.



друзей, которыхъ Байронъ въ разныя времена звалъ съ собою, отправился лишь Гобгоузъ, и своимъ бодрымъ участіемъ въ трудностяхъ странствія, наблюдательностью, богатствомъ историческихъ свѣдѣній, даромъ рисовальщика, — принесъ большую пользу другу. Онъ забавлялъ его внушительными запасами письменныхъ и рисовальныхъ принадлежностей, — но, не отставая отъ товарища и въ литературныхъ результатахъ путешествія, вывезъ матеріалы для книги, обратившей на себя вниманіе <sup>1)</sup>).

Настроеніе Байрона при отъѣздѣ біографы часто отождествляютъ съ тоской Гарольда и его щемящимъ чувствомъ одиночества. На дѣлѣ, мысли и чувства этого рода, если и проносились, то не надолго, смѣняясь впечатлѣніями новизны, заманчивой дали, отраднымъ сознаніемъ того, что замыселъ наконецъ выполняется. Въ прощальныхъ письмахъ къ матери и друзьямъ мелькаютъ Гарольдовскія выраженія. „Я покидаю Англію безъ желанія увидать снова что-нибудь въ ней, — кромѣ васъ и вашей настоящей резиденціи“ (Ньюстэда), — пишетъ онъ м-ссъ Байронъ; или: „я беру съ собой Роберта (Рэштона), — я люблю его, потому что онъ, кажется, подобно мнѣ, совсѣмъ безъ друзей“ (a friendless animal). „Я напоминаю собою Адама, перваго человѣка, осужденнаго на изгнаніе“, — пишетъ онъ Годгсону: — „но у меня нѣтъ Евы, и яблоко, которое я отвѣдалъ, было допельзя кисло. Такъ кончается моя первая глава“... Когда насталь часъ отъѣзда, мѣловые берега Англіи стали тонуть и исчезать въ туманѣ, и корабль выходилъ въ открытое море, — въ памяти поднялось, конечно, все пережитое, покидаемое, дорогое, невозвратное; воспоминанія вереницей неслись за бѣглецомъ. Но... тотъ, кто называлъ себя „a friendless animal“, передъ отъѣздомъ заказалъ лучшему миниатюристу портреты всѣхъ товарищей, загадывая впередъ, съ какимъ чувствомъ будетъ онъ впослѣдствіи пересматривать лица этой юной братіи и подводить итоги жизни. Но... тотъ, кто

---

<sup>1)</sup> A journey through Albania, London, 1813, большой томъ съ прекрасными рисунками (картины природы, типы), описаніями народныхъ плясокъ и т. д.; изложенію придана форма писемъ (всѣхъ 51). Авторъ постоянно говоритъ о своемъ *друзѣ* и спутникѣ, но подъ конецъ прямо называетъ Байрона.

считалъ себя новымъ Адамомъ, уходящимъ въ изгнаніе (изъ рая?), набросалъ шутивную пѣсенку за два дня до отъѣзда и вложилъ ее въ письмо Годгсону. Пѣсенка бойкая, во вкусѣ водевильнаго куплета:

Huzza! Hodgson, we are going.  
Our embargo's off at last;  
Favorable breezes blowing  
Bend the canvass o'er the mast...

— такъ начинается эта стихотворная шалость, а заканчивается она призывомъ къ веселью и смѣху (хотя, можетъ быть, и сквозь слезы):

But, since life at most a jest is,  
As philosophers allow,  
Still to laugh by far the best is,  
Then laugh on—as I do now.  
Laugh at all things,  
Great and small things, etc.

Что брало верхъ въ этомъ „преніи жизни и смерти“, унынія и жизнерадостности, надежды и преждевременнаго пессимизма? Выдержанное, въ связи съ задуманнымъ характеромъ Гарольда, извѣстное „прощаніе его съ отечествомъ“ рѣшаетъ вопросъ въ пользу грусти и разочарованія; но Байронъ, двѣ недѣли спустя, писалъ уже изъ Лиссабона, что „до настоящей минуты путешествіе доставляетъ ему безконечное удовольствіе“.

Молодость брала свое; поэзія океана захватывала. Когда, послѣ переѣзда, длившагося четыре съ половиною дня, путешественники вышли на португальскій берегъ, ими завладѣли, послѣ сѣрыхъ тоновъ Англіи, послѣ отечественной флегмы, впечатлѣнія жаркаго юга, чудной природы, страстной расы. Оригинально придуманная путевая линія наперерѣзъ отъ Лиссабона къ Гибралтару показала имъ въ теченіе мѣсяца рядъ бытовыхъ, мирныхъ и воинственныхъ картинъ полуострова, — Португаліи, въ особенности Испаніи; смѣная одна другую, онѣ то очаровывали страстью и нѣгой, культомъ красоты, веселья, пѣсни, — то говорили о порабощеніи народа, о его страданіяхъ, о хищничествѣ державъ, и прежде всего наполеоновской Франціи. Испанія для Байрона была страной серенадъ, гитаръ, любовнаго шопота, жгучихъ гла-

зокъ, „корридь“, торреадоровъ; страной, гдѣ дѣвушка, за-  
любовавшись красивымъ юношей, говоритъ ему (какъ ска-  
зала Байрону, поцѣловавъ его на прощанье и обрѣзавъ себѣ  
на память локонъ его волосъ, его домохозяйка): „Adios, tu  
hermoso, me gusto mucho!“ (Прощай, красавецъ, ты мнѣ очень  
нравишься); той классической страной свободной любви, ко-  
торая дала ему краски и для первой главы „Гарольда“, и  
въ особенности для первой пѣсни „Донъ-Жуана“. Но та же  
Испанія дала ему первый урокъ практической политики, по-  
ставивъ его лицомъ къ лицу съ бѣдствіями и угнетеніемъ  
народовъ, со сладостями стараго режима и тиранніей бона-  
партовской солдатчины. Испанію терзали внутреннія язвы,  
невѣжество, суевѣріе, клерикализмъ, королевскій произволъ;  
ее изнуряла война; путь Байрона пролегалъ невдалекѣ отъ  
полей сраженія, „еще дымившихся“, усѣянныхъ ядрами, по-  
литыхъ кровью (битвы при Талаверѣ, Альбуэрѣ и др.) <sup>1)</sup>. Бе-  
зуміе войнъ впервые возмутило его; борьба еще не вымершей  
въ народѣ любви къ свободѣ съ властолюбіемъ Наполеона  
навела его на мысли, намѣченные, хотя и слабо, въ „Часахъ  
Досуга“.

Онъ могъ бы, конечно, прервать свое занимательное стран-  
ствіе и вмѣшаться въ борьбу. Такъ поступилъ прямой его  
предшественникъ въ заступничествѣ за народныя вольности,  
Вальтеръ Сэведжъ Ландоръ, поэтъ, философъ и политикъ,  
непонятый современниками и донесшій свою искреннюю ти-  
ранофобію до глубокой старости (умеръ въ 1864 г.) <sup>2)</sup>. Онъ  
явился въ Испанію, организовалъ отрядъ волонтеровъ, пере-  
далъ юнтѣ 10,000 реаловъ, примкнулъ къ испанскимъ вой-  
скамъ,—и не сыгралъ своей роли до конца только вслѣд-  
ствіе столкновеній, вызванныхъ его безконечнымъ самолю-  
біемъ. Въ одномъ письмѣ передъ отъѣздомъ изъ Испаніи  
Байронъ обронилъ драгоцѣнный намекъ на то, что, не зная  
о Ландорѣ, онъ самъ чуть не поступилъ въ его духѣ <sup>3)</sup>.

<sup>1)</sup> Впечатлѣнія эти мѣтко характеризованы у Dallois, „Etudes morales  
et politiques à propos de L. Byron“, 1890, p. 37.

<sup>2)</sup> О немъ см. John Forster, „W. S. Landor“, a biography, 1869; Sidney  
Colvin, „Landor“, 1881. Юмористическая и односторонняя характеристика  
его сдѣлана была близко его знавшимъ Диккенсомъ въ „Bleak-House“, гдѣ онъ  
выведенъ подъ именемъ мистера Бойторна.

<sup>3)</sup> Byron's Works. Letters („I should have joined the army“). 1898. 241.

Зато въ горячихъ строфахъ „Гарольда“ онъ прославить мужество сарагосскихъ женщинъ, которыя замѣнили на городскихъ валахъ перебитыхъ французами мужчинъ, будетъ громить Наполеона, звать народъ, когда-то свободный, къ полному возрожденію. Но его еще ждутъ новые уроки позорной политической исторіи.

На кораблѣ, отплывшемъ изъ Гибралтара въ Мальту, увидалъ Байрона, необыкновенно заинтересовался, потомъ сошелся съ нимъ соотечественникъ, Джонъ Гольтъ, со временемъ авторъ Байроновской біографіи <sup>1)</sup>, единственно цѣнной лишь по воспоминаніямъ именно объ этой порѣ. Гольтъ путешествовалъ для здоровья, держался на палубѣ поодаль; когда явился новый пассажиръ, — его внѣшность, изящно-простой нарядъ, выраженіе лица, поражавшее красотою и умомъ, странные переходы въ его настроеніи и разговорахъ, то оживленныхъ, то грустныхъ, тѣни, пробѣгавшія по лбу, — заставляя брови сдвигаться и морщиться, точно отъ тяжелой думы или непріятныхъ воспоминаній, — все казалось необычнымъ. На третій день Байронъ какъ будто успокоился, сталъ общительнѣе, веселѣе: но, едва взошла луна, онъ ушелъ на вышку, и цѣлыми часами сидѣлъ тамъ, „влюбленными очами“ глядя на луну и игру ея свѣта въ волнахъ, — и въ своей неподвижности казался привидѣніемъ. Наблюдателю представлялось потомъ, что онъ былъ свидѣтелемъ зарождавшагося вдохновенія. То проносились, словно прелюдія къ „Гарольду“, первая импровизація его стансовъ.

Отплытіе корабля въ Мальту ускорилося, посѣщеніе африканскаго берега не состоялось; послѣ небольшой остановки въ Сардиніи (въ Кальяри) <sup>2)</sup> и нѣсколькихъ дней морскаго пути, Байронъ перенесся на Мальту. Мечтательное любованье Средиземнымъ моремъ, открывшее поэту — послѣ величія океана — новый оттѣнокъ обаянія моря, какъ будто подготовило его, уже возбужденнаго, ожидающаго, къ романтиче-

<sup>1)</sup> John Galt, „The Life of Lord Byron“, 1830.

<sup>2)</sup> Съ посѣщеніемъ Кальяри Гольтъ и Тереза Гвиччіоли (My recollections of L. Byron etc., 1869, I, 26) связывали первоначальный замыселъ байроновскаго *Лары*, возникшій будто бы при встрѣчѣ въ театрѣ съ однимъ мѣстнымъ аристократомъ, о которомъ поэту рассказали исторію таинственнаго убійства.

скому эпизоду. Тому, кто „увлекался многими, но любилъ только одну“, судьба показала мимолетно, на перепутьѣ, одно изъ украшеній его поэтической галереи. Онъ увѣрялъ потомъ и себя, и друзей, устно и печатно, что поклоненіе было платоническое; біографы вторятъ ему. Но въ потокѣ стихотворныхъ импровизацій, вызванныхъ встрѣчей съ „Флоренсой“, при всей молитвенности позъ и благоговѣйности настроенія, слишкомъ много земной любви, сдерживаемой лишь сознаніемъ, что любимая женщина несвободна, что она должна вернуться къ мужу, и что неосторожность погубить ея доброе имя. „Среди вихря sciogesso я въ послѣдній разъ припалъ къ твоимъ губамъ“, — одна уже подобная строчка (въ „Стансахъ, написанныхъ во время бури“) говоритъ объ истинномъ отбѣнкѣ чувства. Когда же другія увлеченія смѣнили мальтійскій эпизодъ, и Байронъ признался, что „очарованіе прошло, волшебство разлетѣлось“, онъ этимъ подтвердилъ, что чары дѣйствительно *были*, что онъ былъ въ плѣну у своей „Калипсо“.

Полное художественнаго удивленія изображеніе ея, принадлежащее *женщинѣ* (герцогинѣ Д'Абрантесъ)<sup>1)</sup>, объясняетъ, что именно могло въ ней нравиться Байрону. Это была — „сама грація, воздушное созданіе, съ нѣжнымъ, словно прозрачнымъ лицомъ, чудной русой косою, волнистыми тѣлодвиженіями“ и т. д. Необычайная судьба этого, совсѣмъ еще молодого существа, испытывшаго много опасностей, гонимаго Наполеономъ, захваченнаго французами, чудесно спасеннаго, на морѣ снова очутившагося на краю гибели, укрывшагося на Мальтѣ послѣ кораблекрушенія, — и все такого же изящнаго, воздушнаго, — плѣнила поэта столько же, какъ и красота. Онъ былъ неразлученъ съ „Флоренсой“. Врядъ ли много осталось у него въ памяти рыцарскихъ преданій или даже контуровъ скалистаго гнѣзда, родины витязей-иноковъ, и пиратовъ, — ни въ письмахъ, ни въ поэмѣ нѣтъ и слѣда ихъ, — а стихотвореніе, надписанное „Farewell to Malta“, комически прощающееся съ... карантинномъ, красными мундирами, мальтійскими лавочниками, танцорами на губернаторскихъ ба-

---

<sup>1)</sup> Mémoires historiques sur Napoléon, la révolution etc., 1833, vol. XV, 4—5.

лахъ и т. д., словно умышленно усиливаетъ юморъ, чтобъ заглушить имъ глубокое чувство. Въ преддверіи Востока, словно грёза, явилось передъ нимъ олицетвореніе того родного, британскаго типа красоты, который когда-то вызвалъ у него столько блаженства и столько горя,—вѣдь у незнакомки было прозаическое имя—мистриссъ Спенсеръ Смитъ, и мужъ ея былъ посланникомъ въ Вюртембергъ. Но фантазія поэта облекла ее въ одѣянія Калипсо, создала для нея нѣжный псевдонимъ—„sweet Florence“ — и не хотѣла разстаться съ ея образомъ. Прощаніе съ нею вызвало „Стансы къ Флоренсъ“; лирическое настроеніе во время переѣзда по Амвракійскому заливу выразилось въ новыхъ стансахъ къ ней; послѣ бури въ Зитцѣ, въ Албаніи, мысль понеслась къ ней съ тревогой и запросомъ, гдѣ она въ эту минуту, достигла ли твердой земли, и въ стихахъ отразились любовь, заботливость и благодарность. Нѣсколько мѣсяцевъ спустя, въ Малой Азіи, среди работъ надъ второй пѣснью „Гарольда“, въ нѣсколькихъ строфахъ снова, но въ послѣдній разъ, обрисовывается образъ „sweet Florence“.

„Для береговъ отчизны дальней“ она покинула Мальту; Байронъ, только ради нея зажившійся на островѣ, отплылъ на военномъ англійскомъ бригѣ, черезъ восемь дней высадился въ Превезѣ, и передъ нимъ открылся греко-восточный міръ, такъ сильно манившій его къ себѣ. Вступивъ въ него, онъ впервые выказалъ поразительныя способности выносливаго путешественника. Верховая прогулка по Пиренейскому полуострову, съ аккомпаниментомъ кастаньетъ, серенадъ, и дальняго грохота пушекъ, была дилеттантическимъ вступленіемъ, морской путь—мечтой; теперь настала пора трудныхъ походовъ, безъ дорогъ, по горнымъ тропамъ, въ глуши, съ опасностью нападеній и грабежа, съ необходимостью вооруженнаго прикрытія. Переѣзды длились недѣлю, дней девять; съ краткими остановками приходилось проѣзжать по 150 миль; ночлегомъ служили монастырь въ горахъ, горская сакля, загонъ для овецъ—или дворецъ паши. Въ долинахъ стояла теплая осень; въ ноябрьскій жаркій день Байронъ съ наслажденіемъ бросился въ волны Артскаго озера; на поднебесныхъ высотахъ его охватывала альпійская бодрящая свѣжесть. Когда онъ видѣлъ себя безконечно далеко отъ какой бы то ни было

культуры, въ „невѣдомой странѣ“, верхомъ, среди усатыхъ, увѣшанныхъ оружіемъ богатырей, дѣтей природы, албанцевъ или суліотовъ, казалось, онъ на яву переживаетъ фантастическій сонъ. Вокругъ все было величественно, тихо, первобытно. Надъ головой проносились или рѣяла въ воздухѣ стая орловъ, и ему чудилось, что это—благодатный символъ. Почти безсознательно онъ пустилъ однажды пулю въ слѣдъ царственнымъ птицамъ, тяжело ранилъ одну изъ нихъ; она такъ грустно смотрѣла своими необъятными глазами, что Байронъ, измученный сожалѣніемъ, тщетно старался спасти ее,—и съ тѣхъ поръ не могъ уже застрѣлить ни одной птицы.

Эпиръ и Албанія были первыми греко-турецкими краями, которые узналъ онъ. Такъ же легко, какъ въ послѣдствіи, въ Венеціи, онъ усвоилъ основы армянскаго языка, онъ овладѣлъ элементами новогреческаго и еще болѣе труднаго—албанскаго. Формы быта, пѣсни, пляски, костюмы, отмѣчались, наблюдались, зарисовывались то поэтомъ, то Гобгоузомъ; въ память врѣзывался военный танецъ албанскихъ горцевъ <sup>1)</sup> или мотивъ разбойничьей пѣсни изъ окрестностей Парги. Строгія требованія поста, Рамазана, сковывавшія народную жизнь, соблюдались только днемъ, и (по словамъ Гобгоуза) съ заходомъ солнца вся пестрота и разнообразіе жизни вырывались наружу, начинались пляски, пѣніе, игры. Чѣмъ глубже уходили въ страну путешественники, тѣмъ ярче становилась этнографія и величественнѣе природа. Изъ Превезы черезъ Арту и Санъ-Деметрѣ они прибыли въ столицу Албаніи, Янину, и, послѣ стоянки, вернулись бы къ морскому берегу, но до слуха Али-паши янинскаго, занятаго войной противъ смежнаго властителя Измаила-паши, дошло, что въ его владѣнія прибылъ представитель англійской знати, и онъ оставилъ приказъ пригласить пріѣзжаго въ его главную квартиру. Поѣздка возобновилась по еще болѣе глухимъ и дико-красивымъ мѣстамъ сѣверо-западной Албаніи, черезъ Зитцу (гдѣ по преданію, донинѣ сохранившемся въ

---

<sup>1)</sup> См. статью G. Meyer, Die albanischen Tanzlieder in Byron's „Childe Harold“, Anglia, 1892, XV, 3.

мѣстномъ монастырѣ<sup>1)</sup>, онъ до того увлекся живописностью ландшафта, что не могъ рѣшиться ѣхать далѣе, и цѣлые дни проводилъ подъ тѣнью древнихъ дубовъ), Дельвинаки и Либихово до Тепелени, гдѣ очутились лицомъ къ лицу поэтъ, въ расцвѣтѣ молодости и красоты, на здоровомъ просторѣ горъ, среди жизни по природѣ, казалось, изгладившій всѣ слѣды недуговъ и терзаній,—и турецкое подобіе Ивана Грознаго, жестокій, самоуправный и, въ то же время, проныцательный, себѣ на умѣ старикъ-паша, ласково привѣтствовавшій юношу-красавца, осыпая его нѣжными заботами, видя въ немъ чуть не отрока, неосторожно отпущеннаго матерью въ даль. Впослѣдствіи Байронъ приводилъ его въ примѣръ того, какъ бываетъ обманчива внѣшность: „однажды меня обокралъ человѣкъ обходительнѣйшей любезности, говорилъ онъ, — однимъ же изъ наиболѣе ласковыхъ людей, какихъ я встрѣчалъ, былъ несомнѣнно Али-паша“. Ласка приземистаго, полнаго, съ густой сѣдой бородой, типическаго турка, который „просилъ считать его отцомъ, по двадцати разъ въ день присылалъ лакомствъ, любовался крохотными ушами, вьющимися кудрями, маленькими бѣлыми руками,—признаками хорошей породы“,—не мѣшала поэту видѣть въ немъ грознаго изверга, котораго боялись даже въ Константинополѣ, зная, что онъ только номинально подвластенъ Портѣ,—вождя янычаровъ-опричниковъ, искусно соединявшаго съ безумнымъ деспотизмомъ чутье къ западной культурѣ и кокетство съ дипломатіей, особенно англійской, — злодѣя, отъ котораго правительство смогло избавиться, только приславъ зарѣзать его, какъ онъ рѣзалъ и вѣшалъ сотнями своихъ враговъ. Черты Али навсегда сохранились въ памяти Байрона (въ 1813 г. паша напомнилъ ему о себѣ *латинскимъ* письмомъ, посланнымъ съ Голландомъ,—съ обращеніемъ: „Excellentissime nec non Carissime“, и просьбой со-

1) Въ Зитскомъ монастырѣ, какъ передаетъ современный итальянскій путешественникъ по Албаніи (Nuova Antologia, 1901, 15 giugno, „Impressioni d'Albania“, Francesco Guicciardini) показываютъ комнату, въ которой онъ останавливался; нѣсколько лѣтъ тому назадъ на ея выбѣленныхъ стѣнахъ еще видны были написанные имъ стихи, а въ книгѣ посѣтителей его подпись. Но стихи современемъ стерлись, а книга пропала,—быть можетъ, была продана какому-нибудь англійскому коллекционеру.



дѣйствовать заказу какой-то пушки <sup>1)</sup>); когда бы ни приходилось обрисовывать старческій отгѣнокъ восточнаго типа, онѣ служили ему большую службу; кромѣ II-й пѣсни „Гарольда“, гдѣ онѣ является самолично, мы съ нимъ встречаемся и въ „Донъ-Жуанъ“, и особенно въ „Абидосской невѣстѣ“, гдѣ Джаффиръ—копія съ Али.

За все время восточной поѣздки Байронъ настойчиво повторялъ въ своихъ письмахъ, что, въ противоположность Гобгоузу, который вѣчно скрипитъ перомъ, онѣ не ведетъ дневника. Это, однако, было лишь отчасти правдой. При массѣ впечатлѣній, подъемѣ силъ, невозможно предположить отсутствіе желанія закрѣпить навсегда въ видѣ набросковъ съ натуры видѣнное и пережитое. На листкахъ, безъ связи и плана, стали возникать бѣглыя очерки въ стихахъ. Первый листокъ исписанъ былъ 31 октября 1810 въ Янинѣ, по возвращеніи отъ Али; начинался онѣ воспоминаніемъ объ отгѣздѣ изъ Англіи и морскими картинами по пути въ Португалію. Стихотворный разсказъ двигался впередъ, догоняя фактическое путешествіе. Сцены въ Испаніи, на Мальтѣ и Ионическомъ морѣ писались на албанскихъ и морейскихъ стоянкахъ; въ Аѣинахъ поэзія и дѣйствительность, стихи и маршрутъ, сравнивались и пошли параллельно. *Поэтический* дневникъ незамѣтно создался. Къ концу путешествія авторъ, не придававшій ему особаго значенія, насчитывалъ до четырехъ тысячъ стиховъ „во вкусъ Спенсера“ Это—первичная редакція „Чайльдъ-Гарольда“.

Албанская глава странствія смѣнилась другою, еще могущественнѣе подѣйствовавшею. Она открылась сильной бурей, которую Байронъ стойко вынесъ среди обезумѣвшаго отъ опасности экипажа турецкаго военнаго корабля. Путь лежалъ въ Аѣины. Изъ Мисолонги, гдѣ, пятнадцать лѣтъ спустя, Байронъ нашелъ смерть, онѣ направился въ Морею. Перерѣзавъ Патрасскій заливъ; онѣ изъ Патраса круто повернулъ на востокъ, снова очутился на морѣ, переправился на другой берегъ Коринѣскаго залива—и вступилъ на клас-

---

<sup>1)</sup> Объ этомъ курьезномъ латинскомъ письмѣ турка, подписанномъ: „Ali Vizir“, Байронъ сообщилъ Томасу Муру въ нѣсколькихъ словахъ, въ письмѣ 8 сентября 1813.

сическую почву, гдѣ каждый шагъ вызывалъ воспоминанія объ эллинской старинѣ. Вотъ Дельфы, Кастальскій источникъ, Оивы, вотъ, наконецъ, Аѣины; любознательность разгорается: изъ Аѣинъ онъ устремляется къ Саламину, посѣщаетъ Элевзисъ, задумчиво бродитъ по Мараѣонскимъ полямъ, входитъ въ храмъ Паллады въ Суніумъ. Но чѣмъ болѣе оживали преданія свободы, патріотизма, великаго творчества тѣмъ мучительнѣе угнетало зрѣлище рабства и одичалости. На родинѣ Перикла властвовалъ невѣжественный папа или „воевода“ (Байронъ пишетъ: „Waywode“); беззаконіе, грубость и алчность царили. Горячій лирическій протестъ противъ порабощенія, — первый фактъ заступничества Байрона за грековъ, — вырвался у поэта, еще сильнѣе потрясеннаго, чѣмъ въ Испаніи. Часто, даже въ минуту душевнаго затишья, произволъ и жестокость рѣзко напоминали о себѣ. Такъ, во второй прїѣздъ въ Аѣины, возвращаясь изъ Пирея съ купанья, Байронъ увидалъ солдатъ, тащившихъ мѣшокъ съ зашитой въ немъ женщиной<sup>1)</sup>, чтобы бросить ее въ море; угрозами и деньгами онъ сумѣлъ отбить несчастную, скрыть ее въ монастырѣ, потомъ отправить на родину, — и со временемъ ввелъ этотъ эпизодъ въ „Гяура“.

Кругомъ была благодатная природа, „красивѣйшіе въ мірѣ пѣйзажи, небо вѣчно безоблачное, нѣжно-голубое“. Отъ тяжелыхъ впечатлѣній Байронъ переходилъ къ истинно эллинскому наслажденію. Въ дивной рамкѣ казалась еще привлекательнѣе женская красота. Когда поэтъ, въ письмѣ къ Генри Друри, говоритъ, что „умираетъ отъ любви къ тремъ дѣвушкамъ-гречанкамъ, въ чьемъ домѣ онъ живетъ, и огорчивается, что ни одной изъ нихъ нѣтъ и пятнадцати лѣтъ, опасность любовнаго недуга не можетъ показаться слишкомъ серьезною. Но въ числѣ трехъ грацій, Терезы, Маріанны и „Катиньки“ („Katinka“) Макри, находилась воспѣтая Байрономъ „Аѣинская дѣва“ (Maid of Athens), Тереза<sup>2)</sup>, — а тѣ, кто

1) Совершенно праздными были прежніе толки о томъ, будто она замѣшана была въ какомъ-то любовномъ похищеніи самого поэта. Теперь считается болѣе или менѣе вѣроятнымъ, что это была подруга одного изъ Байроновскихъ слугъ.

2) Новѣйшій издатель соч. Байрона, Кольриджъ, считаетъ, что кромѣ извѣстнаго стихотворенія „Maid of Athens. ere we part“, къ Терезѣ Макри

еще не такъ давно (она умерла 80-ти лѣтъ, въ 1875 г.) видѣлъ ее и въ память о поэтѣ позаботился о ней, совсѣмъ обнищавшей <sup>1)</sup>), узнавали въ величавой, „внушавшей уваженіе“, старой женщинѣ слѣды поразительной красоты.

Рѣшивъ вернуться въ Аеины, Байронъ оторвался отъ впечатлѣній Эллады, чтобы продолжать путь. Первая группа набросковъ, или, пожалуй, первая пѣснь поэмы, пока безформенной и безыменной, была закончена 30 декабря 1809 г., а въ началѣ марта 1810 онъ былъ уже на англійскомъ фрегатѣ, направлявшемся въ Малую Азію. Два мѣсяца ушло на посѣщеніе ея западной окраины, отъ Аяслуга (прежняго Эфеса) до мыса Венальо, откуда путешественники направились въ Константинополь. Центромъ экскурсій была Смирна; отсюда Байронъ ѣздилъ на югъ, къ великолѣпному мраморному храму Артемиды эфесской, превращенному въ мечеть, изъ Смирны же проникъ на сѣверъ, къ легендарнымъ останкамъ Трои, которые рядами валовъ напоминали ему курганы сѣверной Англіи; вѣроятно, были и менѣе выдающіяся поѣздки и блужданія. Если съ картой въ рукѣ не всегда легко прослѣдить его странствіе, то за эту пору почему-то чувствуется особенная скудость хронологіи и деталей. Но иногда, даже въ значительно позднѣйшихъ произведеніяхъ, вдругъ послышится отголосокъ этой доли юношескаго путешествія. Такъ, въ IX-ой пѣснѣ „Донъ-Жуана“ (строфы 26—27), въ горячей выходкѣ противъ ненавистниковъ прогресса, нетерпѣливо и жадно подстерегающихъ случай повредить ему, поэтъ вспоминаетъ, какъ ночью вокругъ чуднаго эфесскаго храма стаи голодныхъ шакаловъ завывали, требуя добычи; быть можетъ, тогда же подумалось ему, что „хищники пустыни не такъ опасны, какъ пауки человѣческаго рода, раскидывающіе всюду паутину, чтобы ловить и мучить своихъ жертвъ“. Эфесъ и Троя снова пе-

---

относится и вставленная въ I-ую пѣснь „Гарольда“ лирическая импровизація: *To Inez*“.

<sup>1)</sup> „New York Times“, 22 октября 1875, статья американскаго консула въ Аеинахъ, Martelaus'a, познакомившагося съ „аеинской дѣвой“. Въ полѣу нея устроенъ былъ концертъ въ Парижѣ, при чемъ Шарль Гуно написалъ музыку на слова Байрона къ „аеинской дѣвѣ“.

реносили мысль въ прошлое, картины современной Азіи говорили воображенію, стихи лились свободно,—и въ Смирнѣ закончена была вторая пѣснь будущаго „Гарольда“.

Впереди, казалось, было еще много странствій и впечатлѣній. Не выполнѣ рѣшенъ былъ вопросъ, поѣдетъ ли Байронъ изъ Константинополя въ Персію; относительно Египта, наоборотъ, рѣшеніе было принято, и необходимый фирманъ полученъ. Между тѣмъ конецъ путешествія былъ уже близокъ. Послѣ бравурнаго вступленія, во вкусъ студенческихъ традицій поэта и легенды о Леандрѣ и Геро, — когда ему удалось переплыть Геллеспонтъ на протяженіи *четыре*хъ англійскихъ миль при сильномъ теченіи и въ почти ледяной водѣ, — насталъ періодъ константинопольскаго житія. Всѣ краски, которыя со временемъ оказались въ распоряженіи автора „Донъ-Жуана“ при изображеніи жизни и нравовъ турецкой столицы (отчасти и Измаила, куда онъ перенесъ нѣсколько чертъ Стамбула), были сняты теперь съ натуры. Изъ французской гостиницы въ Перѣ друзья принимали походы и поѣздки во всѣ направленія; такъ они проникли черезъ Босфоръ въ Черное море; Байрону захотѣлось побывать на легендарныхъ Кіанейскихъ островахъ (при самомъ выходѣ въ Понтъ), нѣкогда будто бы преграждавшихъ путь кораблямъ, зловѣще сталкиваясь между собой, — и вскорѣ онъ уже взобрался на гребень „Симплегадовъ“; начиная съ св. Софіи, осматривали они съ фирманомъ въ рукахъ, древнія мечети, любовались видомъ Золотого - Рога во всей его сказочной фантастикѣ, объѣзжали окрестности (напр. деревню Бѣлградъ, около Буюкдере, въ которой когда-то жила извѣстная въ свое время англійская путешественница лэди Монтэгю), всюду видѣли крайнюю нищету и невѣжество, изнанку надменнаго величія и роскоши. Наконецъ, воспользовавшись прощальной аудіенціей англійскаго посла, Байронъ, одѣтый въ парадный костюмъ, былъ принятъ султаномъ,—и Махмудъ II очутился лицомъ къ лицу съ своимъ позднѣйшимъ врагомъ, предтечей греческаго освобожденія. Но центръ турецкаго міра произвелъ все же слишкомъ удручающее впечатлѣніе, и житіе въ немъ излѣчило отъ дальнѣйшихъ оріентальныхъ плановъ. Байронъ, правда, все еще говорилъ въ письмахъ

объ экскурсіи въ Египетъ, даже о посѣщеніи Іерусалима<sup>1)</sup>,—но „вѣдь я словно ртуть“ („I am quicksilver“),—прибавлялъ онъ, приготавливая своего корреспондента къ перемѣнѣ плана,—и очутился въ Аѳинахъ, въ францисканскомъ монастырѣ. Гобгоузъ былъ уже на пути въ Англію, съ богатымъ матеріаломъ наблюденій и рисунковъ, готовымъ къ печати, съ письмами и подарками отъ поэта; а другъ его, казалось, предался блаженному „*far niente*“, уединялся въ своей келіи или одиноко странствовалъ по Пелопоннезу, все тѣснѣе сближаясь съ греческой жизнью и изучая страну (съ перваго приѣзда въ нее онъ, напр., восемь разъ переходилъ, по его словамъ, Коринескій перешеекъ), наполняя досуги стихотворными работами (въ теченіе марта 1811 написаны были и „*Hints from Horace*“<sup>2)</sup> и раздраженно-обличительное „Проклятіе Минервы“, бичевавшее расхищеніе англичанами художественныхъ античныхъ памятниковъ). Перерывъ въ его перепискѣ съ февраля по іюнь дѣлаетъ тѣмъ поразительнѣе перемѣну декораціи. Письмо къ матери, отъ 25 іюня, написано уже на фрегатѣ „*Volage*“, въ пути изъ Мальты въ Портсмуть.

Байронъ неохотно объяснялъ причину ускореннаго возврата; вѣроятно, ее нужно искать въ гнетѣ матеріальныхъ условій. Гансону въ отсутствіи поэта не сообщилъ ему ни строчкой о положеніи дѣлъ. Мать, вдали отъ него полная заботъ о его благѣ, дѣлала чудеса бережливости, чтобы дать ему возможность пользоваться жизнью,—но едва справлялась съ задачей. Вопросъ о продажѣ имѣній былъ насущнымъ. „Если я могу сохранить Ньюстэдъ, я вернусь; если нѣтъ, останусь здѣсь“,—писалъ поэтъ матери, а Годгсону признавался:—„домашнія дѣла мои разстроились, страсть къ путешествіямъ утолена странствіями, многія надежды мои въ этомъ свѣтѣ угасли, а шансы на томъ свѣтѣ не блестящи. Первое, что я увижу, высадившись, будетъ—адвокатъ, потомъ кредиторъ, потомъ рудокопы, фермеры, управляющіе, всѣ

---

<sup>1)</sup> Вновь найденныя письма къ Гансону, напечатанныя въ приложеніи къ послѣднему тому переписки (VI, 455).

<sup>2)</sup> Ближайшимъ поводомъ къ этой вариациіи гораціевскихъ правилъ на современнй ладъ была находка *Arg poetica* въ скудной библіотекѣ монастыря.

пріятные атрибуты испорченной и потрясенной собственности. Я боленъ и раздраженъ; когда сколько-нибудь устрою распатанныя дѣла, уйду или на испанскую войну, или назадъ на Востокъ, гдѣ надо мной будетъ, по крайней мѣрѣ, безоблачное небо, и я буду свободенъ отъ дрягъ“.

Приступъ лихорадки, вынесенный въ Патрасъ и по невѣжеству врачей едва не кончившійся трагически, оставилъ слѣдъ на его здоровѣ. Безконечный морской путь (одно письмо написано, напр., на 35-й день пути) утомлялъ чрезвычайно; проза, ожидавшая на родинѣ, волновала и бѣсила. Хмурый и нездоровый туристъ, который плылъ теперь по тому же морю къ берегамъ Англіи, мало походилъ на энтузіаста, мечтавшаго, за два года передъ тѣмъ, ночи напролетъ при лунѣ; не похожъ онъ былъ и на бодраго странника, взбиравшагося на горы, переплывавшаго проливы, трепетавшаго отъ любви, отъ вдохновенія, отъ жажды великихъ подвиговъ. Можно было подумать, что привидѣлся красивый поэтический сонъ, смѣнившійся, при пробужденіи, людской злобой, измѣной, неудачами. Но въ тайникахъ памяти сохранилось все, что пережито и передумано было во время путешествія. Поэзія Байрона за слѣдующія пять лѣтъ, періодъ наибольшей его популярности, исключительно питалась этими отголосками.

Чѣмъ ближе подходилъ фрегатъ къ Англіи, тѣмъ мрачнѣе становилось на душѣ; гамлетовское раздумье томило его. Кстати, вмѣсто черепа Юрика, онъ везъ съ собой, какъ лучший подарокъ самому себѣ, четыре афинскихъ черепа, вырытыхъ изъ саркофаговъ; онъ привыкъ ставить ихъ на столъ и долго смотрѣть на нихъ. Но то, что ждало его на родинѣ, превзошло ожиданія. Его встрѣтила вѣсть о томъ, что задѣтый имъ въ „Англійскихъ Бардахъ“ наемный писака Гьюзонъ Кларкъ отмстилъ ему, помѣстивъ въ одномъ періодическомъ изданіи („The Scourge“, мартъ, 1811) пасквиль, гдѣ утверждалъ, что поэтъ—„незаконный потомокъ убійцы“, низкій развратникъ, а „мать его дни и ночи проводить въ безуміи пьянства“,—и въ гнѣвъ онъ рѣшилъ добиться наказанія оскорбителя, заступаясь главнымъ образомъ за доброе имя матери. Долгое отсутствіе съ родины смягчило отношенія его къ виновницѣ многихъ его страданій; письма

изъ-за границы написаны были почти исключительно къ матери, въ тонѣ остроумной и дружеской бесѣды. Вернувшись, онъ хотѣлъ, устроивъ дѣла въ Лондонѣ, поѣхать къ ней, — и она ждала его, употребляя послѣднія усилія, чтобы задержать надвигавшійся денежный кризисъ, но одинъ изъ кредиторовъ внезапно предъявилъ взысканіе; со дня на день грозила опись; м-съ Байронъ почудилось, что и она, и сынъ — на краю гибели, разорены <sup>1)</sup>, и отъ потрясенія она внезапно умерла. Глубокое горе охватило Байрона, горе, силы котораго онъ даже не ожидалъ; въ Ньюстэдѣ цѣлую ночь просидѣлъ онъ у постели умершей, тоскуя и рыдая, захотѣлъ было переломить себя, объявивъ, что не будетъ на похоронахъ, и занялся — фехтованіемъ, но ясно показалъ яростью нападеній на противника и смѣнявшими ихъ паузами самоубвенія, какъ тяжело у него на душѣ. Едва перенесъ онъ смерть матери, какъ въ нѣсколько дней лишился такихъ друзей молодости, какъ Скиннеръ Мэтьюсъ и Уингфильдъ; двое близкихъ знакомыхъ, Игльстонъ и младшій Гансонъ — также погибли. Судьба ожесточилась. Она готовила новый ударъ.

Нѣсколько строфъ „Гарольда“ (II, 9, 95, 96) и пять безъисходно грустныхъ стихотвореній, посвященныхъ памяти „Тирзы“, всегда останутся поразительнымъ выраженіемъ лирической силы Байрона. „Euthanasia“, „One struggle more and I am free“, „And thou art dead, as young as fair“ — вызываютъ навѣки скрывшійся образъ свѣтлаго, прекраснаго существа, добраго генія; его поэтъ любилъ искренно, но любовь не была чувственною, поцѣлуи не жгли крови; появленіе его въ жизни его друга было чуднымъ сновидѣніемъ; „на что мнѣ жизнь, когда тебя нѣтъ въ живыхъ!“ — восклицаетъ Байронъ въ „Гарольдѣ“... Множество догадокъ и комментаріевъ <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Новая свѣдѣнія, собранныя Prothero, Ninet. Century, 1898; I.

<sup>2)</sup> Говорили, напр., о томъ, будто бы Байрона съ 1806 г. до отъѣзда на Востокъ вездѣ сопровождалъ пажъ, похожій на него лицомъ, и подъ этимъ костюмомъ скрывалась влюбленная въ него „Тирза“. Джефрсонъ довольно неудачно ищетъ ключа къ загадкѣ въ отголоскахъ любви Байрона къ Маргаритѣ Паркеръ, и только смущенъ тѣмъ, что Маргарита умерла за много лѣтъ передъ тѣмъ. Авторитетный судья, Лесли Стифенъ (авторъ статьи о Байронѣ въ Dictionary of national biography, 1886, стр. 137) нашелъ воз-

окружаетъ этотъ загадочный эпизодъ, много именъ было подыскано для оригинала таинственнаго псевдонима. Поэтъ, въ письмахъ къ Долласу, опредѣленно высказывается, говоря, что стихи относятся къ смерти лица, неизвѣстнаго корреспонденту даже по имени, и не имѣютъ никакого отношенія къ утратѣ друзей-*мужчинъ* (male friends), что оплаканная имъ смерть случилась вскорѣ послѣ пріѣзда его въ Англію, и не при немъ. Ему, очевидно, удалось окружить непроницаемою тайной одно изъ своихъ юношескихъ увлеченій,—и вмѣстѣ съ новѣйшимъ издателемъ сочиненій поэта слѣдуетъ посоветовать „оставить тайну въ томъ видѣ, какой захотѣлъ придать ей Байронъ“.

Одиночество стало его тяжело угнетать; „дорогой Скропъ—молить онъ одного изъ немногихъ уцѣлѣвшихъ товарищей,—если вы можете пожертвовать мнѣ временемъ, пріѣзжайте; мнѣ нуженъ другъ. Спѣшите, спѣшите, я въ отчаяніи, я теперь почти одинъ на всемъ свѣтѣ“. Онъ составляетъ завѣщаніе, дѣлаетъ распоряженія о своихъ похоронахъ, которыя должны быть крайне просты, въ Ньюстэдѣ, въ склепѣ среди сада, рядомъ съ могилой его друга Ботсвэйна (трогательная заботливость о немъ сказалась въ оговоркѣ: „я желаю, чтобы мою вѣрную собаку не потревожили при этомъ“).

Но никогда слава и могущество не были такъ близки отъ Байрона, какъ въ эти тяжелые дни. Въ первую же встрѣчу съ Долласомъ, въ отвѣтъ на вопросъ, что онъ привезъ съ собой новаго, Байронъ показалъ ему Переложеніе изъ Горация, и только на другой день, замѣтивъ недоумѣніе собесѣдника въ виду скуднаго литературнаго результата долгаго и занимательнаго путешествія, онъ позволилъ порыться въ сундукѣ и взять стихотворные путевые наброски. Долласъ унесъ ихъ, пришелъ въ восторгъ, пристыдилъ друга равнодушіемъ къ сокровищу, отыскалъ издателя; когда же тотъ смутился вольномысліемъ поэта,—свелъ съ нимъ Мэррея, отнынѣ неизмѣннаго Байроновскаго publisher'a <sup>1)</sup>. Затихли

---

можнымъ категорически заявить, что *никто* не подходитъ подъ оригиналъ Тирзы.

<sup>1)</sup> Товарищъ его по школѣ, Долласъ, сыгравшій столь важную роль при появленіи первыхъ пѣсень *Гарольда*, а затѣмъ и восточныхъ поэмъ, постепенно отдалился отъ Байрона и захотѣлъ воспользоваться послѣ смерти

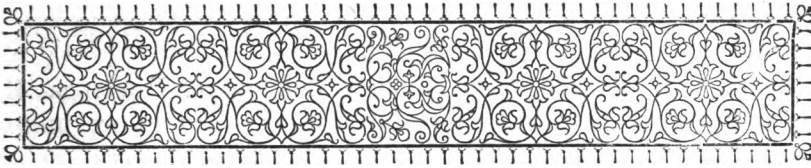


тревоги и горести; закипѣла работа пересмотра и улучшеній; написаны новыя строфы (посвященіе „Янтѣ“, прелестному ребенку, дочери лорда Оксфорда; тридцать-четыре строфы въ концѣ II-ой пѣсни); объединены бѣглыя черты центрального лица, Пилигрима; придуманы—ему имя, а поэмѣ—заглавіе; двѣ пѣсни, приготовленныя къ печати „въ видѣ опыта“ („these two cantos are merely experimental“), вышли въ свѣтъ 10-го марта 1812 г.,—и внезапно произошло то литературное событіе, о которомъ потомъ Байронъ вспоминалъ, говоря, что „въ одно прекрасное утро онъ проснулся и—увидаль себя знаменитымъ“.

---

---

поэта прежней близостью къ нему для изданія полной нескромностей, хотя дающей и фактическій матеріалъ книги: Correspondence of L. Byron with a friend, including his letters written to his mother etc, also recollections of the poet. Противъ ея изданія протестовали Гобгоузъ и Августа Ли; судъ остановилъ книгу, но сынъ Долласа напечаталъ ее въ Парижѣ (1825, Galignani).



## II.

„Моя пора прошла,—что жъ!—у меня все же *была* своя пора“!..—My day is over—what then!—I have had it<sup>1)</sup>—такъ, вспоминая среди бѣдствій о дняхъ счастья, Байронъ отзывался позже о краткомъ періодѣ безспорной славы, внезапно наставшемъ послѣ появленія первыхъ главъ его „Чайльдъ-Гарольда“. Иногда онъ преувеличивалъ непродолжительность своей диктатуры, сводя ее къ нѣсколькимъ мѣсяцамъ, чуть не недѣлямъ. Чарующее впечатлѣніе, произведенное „Гарольдомъ“, поддержанное восточными поэмами и „Еврейскими мелодіями“, сохраняло силу, хоть и не новизну, до 1815 года. Горячность творчества, изумительная смѣна картинъ, образовъ, фабулъ, красота формы, возрастающая таинственность излюбленнаго поэтомъ героя, не давали современникамъ очнуться послѣ плѣнительной грезы. Правда, враждебные элементы уже обозначались, организовывались, но не смѣли выбиться на свѣтъ. Только острый кризисъ въ личной, общественной и писательской жизни Байрона нарушилъ очарованіе, придалъ смѣлости и энергіи его противникамъ и вызвалъ ожесточенную борьбу.

Итакъ, своей канонизаціей Байронъ, наканунѣ мало извѣстный, обязанъ былъ появленію на литературной аренѣ

---

<sup>1)</sup> Works, 1899, Letters, III, 386.

своего задумчиваго и печальнаго двойника, Гарольда. Необходимо взглядѣться въ него, отдать себѣ отчетъ въ причинахъ вліянія поэмы на умы и чувства цѣлой эпохи.

Самъ авторъ видимо сознавалъ неясность и неполноту образа вымышленнаго героя, которымъ онъ, изъ осторожности и подчиняясь совѣту друзей, захотѣлъ подмѣнить свою собственную личность <sup>1)</sup>. Въ двухъ предисловіяхъ къ поэмѣ, — одномъ при первомъ ея появленіи, другомъ — послѣ сужденій и комментаріевъ критики, — онъ нѣсколько разъ возвращается къ оцѣнкѣ характера Гарольда, и приговоръ его суровъ. Это — „фигтивное лицо, введенное для того, чтобы придать произведенію хоть нѣкоторую связь, не говоря уже о стройности“; „лицо непривлекательное, выставленное со всѣми его недостатками, которые авторъ легко могъ сгладить, заставивъ его болѣе дѣйствовать, чѣмъ разсуждать“; „это не образцовый герой, — наоборотъ, онъ показываетъ, какъ извращеніе ума и нравственности ведетъ къ пресыщенію, портитъ всѣ радости жизни“. Поэтъ не только возражаетъ (подобно Лермонтову въ его предисловіяхъ къ „Герою нашего времени“, сильно напоминающихъ Байроновскіе приемы) противъ привычки читателей смѣшивать автора съ созданнымъ имъ характеромъ, но въ интимныхъ письмахъ заявляетъ, что „ни за что на свѣтѣ не желалъ бы походить на такого человѣка“, хотя мѣстами и придавалъ ему нѣсколько своихъ чертъ. Ему казалось, что онъ когда-нибудь „углубить“ и объяснить Гарольда; но, возвращаясь къ нему въ разные періоды жизни, и время отъ времени напоминающая современникамъ о прежнемъ ихъ любимцѣ то третьею, то четвертою пѣснью „Паломничества“ <sup>2)</sup>, онъ постепенно свелъ на нѣтъ разсказъ о фиктивномъ героѣ, — въ послѣдней главѣ вытѣснилъ его совсѣмъ, выступая уже отъ своего лица, — и только передъ паденіемъ занавѣса вспомнилъ, что

---

<sup>1)</sup> Тѣ же совѣты побудили его замѣнить Гарольдомъ его первоначальное, слишкомъ близкое къ фамиліи автора, имя *Childe-Burton*. Приставка къ нему отзывается рыцарски-археологическими претензіями. *Childe* — въ старину обозначалъ юнаго, еще непосвященнаго рыцаря.

<sup>2)</sup> Въ 1822 году, задумывая поѣздку въ южную Италію, — именно въ Неаполь, незатронутый въ итальянскихъ картинахъ его поэмы, Байронъ сби-

у него прежде былъ спутникъ, была фабула; но въ эту минуту для него они казались ненужной, поблекшей сказкой.

Передъ нами, стало быть, только контуръ Гарольда. Байрону, конечно, не удалось бы объективно „углубить“ и объяснить его. Въѣдь, общая это сдѣлать, онъ прибавлялъ, что въ его первоначальный планъ входило представить въ немъ „современнаго Тимона или опозитизированнаго Zeluco“. Это—одинъ изъ разительныхъ примѣровъ неудачнаго самоанализа, встрѣчающихся иногда у величайшихъ мастеровъ. Чуткій къ народнымъ страданіямъ, поклонникъ свободы, доступный впечатлѣніямъ искренней женской ласки или величавой природы, меланхоликъ Гарольдъ не могъ выродиться въ лютаго ненавистника людей, психопата—Тимона<sup>1)</sup>, хотя бы „современность“ и сняла съ него слишкомъ рѣзкія черты, завѣщанныя преданіемъ. Такъ же мало годится ему въ прототипъ Zeluco, герой совсѣмъ посредственнаго англійскаго романа восемнадцатаго вѣка<sup>2)</sup>, прочтеннаго Байрономъ очень рано. Даже бѣглаго знакомства съ этой безвкусной страпней, кажется, достаточно было бы, чтобъ остановить біографовъ поэта<sup>3)</sup> отъ повторенія сдѣланной имъ, быть можетъ, даже шутливой ссылки, принимаемой ими на вѣру. Низкопробный авантюристъ, игрокъ, хищникъ, мучитель своихъ рабовъ-негровъ, соблазнитель и обманщикъ женщинъ, герой скучнѣйшаго и притомъ поучительнаго романа, итальянецъ Зелуко цѣлой бездной отдѣленъ отъ мірового скорбника Гарольда.

Освободимъ же Байроновскаго пилигрима отъ неподходящей къ нему родословной, признаемъ также, что съ другими представителями скорби его связывало лишь элементарное сходство темы; родоначальникъ ихъ, Вертеръ, не оставилъ и слѣда на характерѣ Гарольда; итальянскаго Вер-

---

рался, изучивъ страну, написать пятую и шестую пѣснь „Гарольда“. См. письмо къ Мэррею, 25 окт. 1822 г., (Letters, VI, № 1048).

<sup>1)</sup> Литературная исторія этого типа—въ моихъ „Этюдахъ о Мольерѣ. II. Мизантропъ“. М. 1881.

<sup>2)</sup> Zeluco. Various views of human nature, taken from life and manners, foreign and domestic“. 1789, два тома. Авторомъ былъ Джонъ Муръ.

<sup>3)</sup> Elze, „Lord Byron“, 1886, p. 21, находитъ даже нѣсколько сходныхъ біографическихъ чертъ у Байрона и героя романа!

тера, Якопо Ортиса, Байронъ тогда не зналъ; эгоизмъ Шатобріанова Ренэ непримиримъ съ народолубіемъ,— не говоря уже о томъ, что нѣтъ слѣдовъ изученія Байрономъ романа его предшественника<sup>1)</sup>; только одинъ Руссо завѣщалъ Гарольду вмѣстѣ съ протестомъ противъ лживой цивилизаціи тонкость чувства и пониманіе природы. Установивъ же перевѣсъ самостоятельности Гарольда, мы придемъ къ убѣжденію, что, слабый, какъ поэтический характеръ, онъ пріобрѣтаетъ значеніе и силу, сливаясь съ самимъ авторомъ. Нѣсколько начальныхъ строкъ первой главы какъ будто должны ввести насъ въ *особую* біографію героя: онъ говоритъ о его родныхъ, о замкѣ предковъ, о шумномъ кругѣ его друзей и любовницъ, о безумной растратѣ силъ, — но „костюмъ странника оказывается простымъ домино, и маска неплотно прилегаетъ къ лицу“<sup>2)</sup>. Съ фикціею никогда не существовавшаго героя разлетается и фабула, зачѣмъ-то снабженная завязкой. *Поэмы* нѣтъ, — но сохранившійся въ ея нарядѣ первообразъ,—поэтический дневникъ путешествія и искренняя лирическая исповѣдь,—полонъ красотъ.

Пусть мѣстами (хотя и рѣдко) форма устарѣла, а подражаніе не только Спенсеру, но—въ языкѣ—даже средневѣковымъ поэтамъ<sup>3)</sup> несвойственно дарованію Байрона и натянуто; пусть рассказъ иногда отягченъ обиліемъ историческихъ, географическихъ

---

1) Въ старости Шатобріану чудилось, будто онъ получилъ вскорѣ послѣ появленія Ренэ привѣтственное посланіе отъ кэмбриджскаго студента Байрона, — показаніе совершенно фантастическое, такъ какъ въ 1802 году, когда напечатанъ былъ романъ, Байронъ былъ еще школьникомъ въ Гарроу; о французскомъ письмѣ не можетъ быть и рѣчи, потому что, свободно читая авторовъ, Байронъ всегда избѣгалъ французскаго разговора и писанія; но не видно и сильнаго впечатлѣнія отъ чтенія Ренэ,—въ любительномъ спискѣ прочтенныхъ Байрономъ въ Гарроу книгъ, приводимомъ Муромъ (томъ I, стр. 46—47), значится въ отдѣлѣ поэзіи лишь: „нѣсколько французскихъ, изъ которыхъ *Сидъ* наиболѣе мною любимая“.

2) Спасовичъ, „Байронъ и нѣкоторые изъ его предшественниковъ“. Спб. 1885, стр. 106.

3) Оно замѣчено въ первыхъ, біографическихъ строфахъ, однимъ изъ новѣйшихъ историковъ англійскаго романтизма, Henry Beers, „History of romanticism in the XVIII century“. 1899, p. 98. Такія слова, какъ *whilome* (нѣкогда), взятое изъ англо-саксонскаго, или „was he *hight*“ (былъ онъ названъ)—довольно неожиданные архаизмы.

ческихъ подробностей,—самою нестройностью своей, вѣчными отступленіями и эпизодами, смѣною описаній задушевными наліяніями, силой личной грусти, рѣзкостью гнѣва на поработителей и тирановъ—это небывалое, непредвидѣнное никакою поэтикой произведеніе и теперь вызываетъ изумленіе. Съ виду,—по выраженію послѣдняго издателя Байрона,—это—„поэтическая діорама“ съ яркими картинами юга,—но въ то же время это—либеральный памфлетъ, смѣло брошенный въ европейскую толпу, приниженную и обезличенную военной бонапартизмомъ и узкимъ націонализмомъ англійской охранительной политики; наконецъ, это—циклъ чудныхъ меланхолическихъ стихотвореній, выдѣляющихся изъ фона описаній и разсужденій, оставляя позади себя какъ ихъ, такъ и все, что дала за нѣсколько вѣковъ англійская поэзія чувства и рефлексіи. Въ поэмѣ, быть можетъ, не видно было Гарольда, но въ ней показался „истинный Байронъ“.

Онъ весь здѣсь, съ своими слабостями и великими достоинствами. Онъ преувеличиваетъ испорченность Гарольда, ищетъ мелодраматическаго эффека, говоря о томъ, какъ, по временамъ, по лицу героя „проходили странныя тѣни, точно мучило его въ эти минуты воспоминаніе о смертельной враждѣ или разбитой любви,“—и потомъ будетъ надѣлять героевъ своихъ восточныхъ поэмъ таинственнымъ, чуть не преступнымъ прошлымъ,—но онъ же даетъ волю глубокой и искренней скорби, душевному одиночеству въ „Прощаніи Гарольда“, или въ „Стансахъ къ Инесѣ“. Первое стихотвореніе—говоритъ онъ—зародилось подъ вліяніемъ такого же „Прощанія“ шотландскаго изгнанника, лорда Максуэлла, чью балладу, начала XVII-го вѣка, онъ прочелъ въ сборникѣ Вальтеръ-Скотта: „Minstrelsy of the scottish border“,—но, свободное отъ подражанія, оно вылилось изъ души въ минуту сильнаго аффека. Во второмъ сказала уже мучительная рефлексія позднѣйшихъ лѣтъ; оно говоритъ о безысходной душевной усталости, о томъ „taedium vitae“, которое возбуждается въ поэтѣ всѣмъ, до чего ни коснется онъ, всѣмъ, что онъ слышитъ, видитъ, встрѣчаетъ,—о проклятіи, которое преслѣдуетъ его, „какъ Вѣчнаго-Жида легенды“; о мучающемъ его „Демонѣ Мысли“ (Demon Thought). Въ разсказъ то-и-дѣло врывается личное, пережитое; экзотическій ландшафтъ блѣд-

нѣтъ, и передъ читателемъ—скорбный поэтъ, оплакивающий безвременно погибшую Тирзу. Печаль о личныхъ утратахъ окончательно сливается съ меланхолическими отголосками міровой исторіи, говорящей о гибели народовъ, цивилизацій великихъ городовъ, великихъ людей. Путешествіе, почти все время проводившее странника по развалинамъ былого величія, придадо въ поэмѣ основному мотиву „міровой скорби“ особую силу. Впослѣдствіи, въ Италіи, когда писалась четвертая пѣснь „Чайльдъ-Гарольда“, Байронъ вспомнилъ, какъ въ молодости онъ прошелъ по слѣдамъ друга Цицерона, Сервія Сульпиція; какъ, послѣ отплытія изъ Эгины, оглядѣлся вокругъ себя, и слова Сульпиція пришли ему на память: „Позади меня была Эгина, передо мной Мегара; Пирей былъ справа, слѣва же Коринѣ; все города, нѣкогда славные, цвѣтушіе,—теперь же похороненные подъ обломками. Увы! какъ мучимся мы, бѣдные смертные, когда лишаемся друга, чья жизнь была коротка,—тогда какъ передо мной жалкіе остатки такого множества великихъ и могучихъ городовъ!“ <sup>1)</sup> Но этотъ любопытный античный образецъ „Weltschmerz’a“, какъ бы близко ни сошлись въ мысли о бренности всего существующаго задумчивый римлянинъ и одинъ изъ виновниковъ міровой скорби XIX-го вѣка, не исчерпываетъ настроенія Байрона. Безрадостный и безнадежный по отношенію къ себѣ, онъ, при видѣ гибели, развалинъ, упадка, порабощенія народовъ, преодолагаетъ свою грусть и находитъ въ себѣ мужество пророка возрожденія, политическаго поэта; скорбникъ становится Тиртеемъ. „Возстаньте, испанцы!“— „Возстаньте, греки!“ восклицаетъ тотъ, кого личная жизнь, казалось, убѣдила въ ничтожествѣ всякихъ иллюзій,—и къ „Чайльдъ-Гарольду“ прилагаетъ свой переводъ гимна къ свободѣ, сложеннаго предшественникомъ всѣхъ участниковъ въ греческой революціи и освободительныхъ войнахъ,—въ томъ

---

<sup>1)</sup> „Childe Harold’s Pilgrimage“, canto IV, XLIV.—Байронъ дѣлаетъ выписку изъ письма Сульпиція къ Цицерону, по поводу смерти его дочери. Но ему извѣстна была также прекрасная варіація на ту же тему, введенная Тассомъ въ его „Освобожден. Іерусалимъ“; одинъ изъ его мѣткихъ оборотовъ онъ усвоилъ во 2 пѣснѣ *Гарольда* (LIII,—„and shall man repine that his frail bonds“ etc.). Справ. „Gerusalemme liberata“, XV, 20.

числѣ и самаго Байрона,—разстрѣляннаго турками въ 1796 году Константина Ригаса,—настоящей эллинской Марсельезы.

Такой лирики унынія и раздумья, и такихъ горячихъ воззваній не слышало ни отъ кого современное англійское поколѣніе,—ни отъ балладниковъ, увлекавшихъ читателя въ даль среднихъ вѣковъ или въ романтику испанскаго рыцарства,—ни отъ „озерныхъ“ поэтовъ, въ чьей поэзіи, какъ въ „лонѣ водъ“, безмятежно отражалась родная природа и идеализованная деревенская жизнь,—ни отъ мистиковъ или пантеистовъ, ни отъ немногихъ специалистовъ по политической лирикѣ, когда-то вольнодумствовавшихъ, а теперь холодно и отвлеченно декламировавшихъ о примиреніи и спокойствіи. Въ то время, какъ литература континента полна была отраженій разочарованности и недовольства, скопившихся послѣ крушенія революціи и возврата къ старому строю,—въ англійской литературѣ то былъ „вѣкъ Вордсворта“<sup>1)</sup>, богатый оптимизмомъ, фантазіей, поэтическими красками, платоническимъ народничествомъ, но безсильный отозваться на поднимающуюся въ жизни общества нервную тревогу, на политическій протестъ, на борьбу за права личности. Не трудно представить себѣ чарующую необычайность появленія въ этой средѣ Гарольда.

„Wer Vieles bringt, wird Manchem etwas bringen!“—Поэма различными своими сторонами вызывала разнообразные отѣнки интереса и энтузіазма. Автору прощали недочеты и небрежность въ строеніи стиха и риѣмахъ,—зато одни привѣтствовали зарожденіе Байроновскаго „героическаго типа“<sup>2)</sup> въ лицѣ первенца обширной семьи неудачниковъ; другіе любовались женскими головками, силуэтомъ Флоренсы, печальнымъ призракомъ Тирзы; третьи (въ противоположность опасеніямъ Мэррея, сначала убѣждавшаго автора ослабить рѣзкія мѣста относительно испанскихъ событій) радостно отзывались на починъ политической поэзіи, на заступничество за народныя права; инымъ нравились картины природы и

1) Исторія литературы въ Англіи настойчиво величаетъ и теперь этимъ именемъ эпоху, которая по справедливости должна быть названа „вѣкомъ Байрона“. Ср., напр., книгу Herford'a, „The age of Wordsworth“, L. 1899.

2) Специальная работа по исторіи развитія этого типа—Heinrich Kraeger, „Der Byronsche Heldentypus“, München, 1898.



быта, испанскія душистыя ночи, морское плаваніе, янычары, муэдзины, албанскія пѣсни („Tamburgi“), бой быковъ,—накопецъ, красивая этнографическая пестрота, зачѣмъ-то скрѣпленная множествомъ ученыхъ примѣчаній въ концѣ книги <sup>1)</sup>, разумѣется, не прочтенныхъ никѣмъ. Успѣхъ переходилъ въ фанатизмъ. Изданія быстро слѣдовали одно за другимъ; въ первый же годъ поэма была издана пять разъ, она все хорошѣла, развивалась, особенно послѣ седьмого изданія, обогащеннаго десяткомъ новыхъ строфъ, и при жизни Байрона достигла одиннадцати изданій. Любопытство было возбуждено въ высшей степени. Зная, что двѣ главы выпущены въ свѣтъ „въ видѣ опыта“, масса не сомнѣвалась въ томъ, что колоссальный успѣхъ побудитъ автора издать слѣдующія главы, которыя, конечно, у него давно готовы... Но кромѣ небольшихъ набросковъ изъ третьей главы, въ которой какъ будто должно было явиться продолженіе восточнаго путешествія (уцѣлѣло и напечатано лишь въ 1890 году <sup>2)</sup> 27 стиховъ съ красивымъ описаніемъ Аѳона, навѣвающаго „религіозное успокоеніе“ на отшельниковъ его безчисленныхъ монастырей величіемъ горъ, свѣжестью дремучихъ лѣсовъ, просторомъ моря),—кромѣ этихъ набросковъ у Байрона не было ничего готоваго. Водоворотъ житейскій вскорѣ закружилъ его и отвлекъ отъ мысли продолжать поэму въ задуманномъ направленіи <sup>3)</sup>; когда же, четыре года спустя, появилась одинокая третья глава,—она уже взята была изъ совершенно иного періода жизни поэта, и изображала другіе края,

<sup>1)</sup> Пристрастіе къ ученому аппарату усиливалось съ каждой новой главой; тутъ и археологія, и исторія, и филологія, образцы діалектовъ, новогреческихъ пѣсенъ и т. д. Въ письмѣ къ Долласу (№ 190, 17 сент. 1811) Байронъ говоритъ, что въ Аѳинахъ сталъ записывать свои замѣчанія о новогреческой жизни, озаглавивъ ихъ „Noctes Atticae“; когда печатался *Гарольдъ*, они вошли въ примѣчанія къ поэмѣ,—но отдѣльно не сохранились.

<sup>2)</sup> Этотъ единственный отрывокъ (The monk of Athos) былъ впервые напечатанъ Роденъ Нозлемъ въ его „Life of L. Byron“, 1890; біографъ до былъ эти стихи изъ бумагъ, оставшихся послѣ Долласа.

<sup>3)</sup> „Я очень польщенъ желаніемъ видѣть продолженіе моей поэмы“—писалъ Байронъ Долласу (Letters, II, 27), но для этого я долженъ былъ бы снова вернуться въ Грецію и Азію; мнѣ нужно горячее солнце, голубое небо; я не могу описывать дорогія мнѣ картины, сидя у камина“.

другую природу,—да и сложилъ ее, казалось, совсѣмъ иной поэтъ, измученный, негодующій.

Успѣхъ „Гарольда“ совпалъ съ мимолетной, но, по словамъ очевидцевъ, поразительной побѣдой Байрона въ парламентѣ. Авторъ поэмы неожиданно выказалъ такія способности оратора, которыя старожиламъ напомнили славные дни Питта, Фокса и Борка; заставилъ верхнюю палату выслушать рядъ горькихъ истинъ, выказалъ себя сторонникомъ демократіи; хотя, правда, не смогъ провести своего гуманнаго предложенія наперекоръ компактному охранительному большинству, но все-же рѣзко выдѣлился и внушилъ къ себѣ уваженіе. Зная ближе многихъ бѣдственное положеніе ткачей Ноттингэмскаго округа, своихъ земляковъ и сосѣдей онъ не могъ молчать. Введеніе машинъ ихъ разоряло; они стали толпами нападать на фабрики и уничтожать ненавистныя имъ орудія. Высланы были войска, и подъ конецъ — отрядъ въ 3.000 всадниковъ и пѣхотинцевъ; началась суровая расправа, для узаконенія которой понадобился билль, каравшій участниковъ въ порчѣ машинъ смертною казнью и поощрявшій доносы. Пэръ-новичокъ напоминалъ маститымъ товарищамъ, что прежде, чѣмъ карать насиліемъ, нужно выяснитъ причины, вызвавшія ихъ; съ горячностью глубоко потрясеннаго очевидца онъ изображалъ народное бѣдствіе, взывалъ къ справедливости и гуманности, не хотѣлъ вѣрить, чтобы нашлись кровожадные присяжные, способные засудить голодныхъ и несчастныхъ. Когда билль прошелъ и сталъ закономъ, Байронъ долго не могъ успокоиться, называлъ его позоромъ для цивилизованной страны, писалъ возбужденныя письма къ выдающимся политическимъ дѣятелямъ (лорду Голланду), называя себя единомышленникомъ ткачей, Блескъ политическаго дебюта, почти не имѣвшаго послѣдствій (Байронъ произнесъ еще только двѣ рѣчи въ палатѣ) затмился поэтической славой автора „Гарольда“; но такіе быстро слѣдующіе одинъ за другимъ триумфы <sup>1)</sup> убѣждали современниковъ въ необычайности дарованій Байрона. *Ею* *пора* настала.

<sup>1)</sup> Г. Брандесъ придаетъ дѣятельности Байрона, какъ политика, ироническое названіе дилеттантизма, направляемаго состраданіемъ и отзывчивостью, а не здравой обдуманностью государственнаго мужа. Но, быть мо-

Эта пора была полна сильныхъ, сладостныхъ, острыхъ, пряныхъ ощущеній; она тѣшила и мучила, манила все новыми иллюзіями и разбивала ихъ, льстила суетности, научала играть роль, эффектно драпироваться, возбуждала къ лихорадочной работѣ изъ-за новаго, опьяняющаго успѣха, кружила голову безумнымъ поклоненіемъ женщинъ, множествомъ сердечныхъ романовъ и свѣтскихъ приключеній,—и среди маскараровъ, баловъ, отчаянно смѣлыхъ свиданій, зарождала эксцентрическія поэмы, возникавшія въ три, четыре дня, уносившія поэта все дальше и дальше отъ грезъ и идеаловъ его творчества, отъ его искренней скорби, отъ его общественныхъ симпатій. Это была въ полномъ смыслѣ слова „жизнь подъ высокимъ давленіемъ“, быстро подтачивавшая силы, заставлявшая прибѣгать, для поддержанія ихъ, къ возбуждающимъ средствамъ—опіатамъ,—вызывая во всеобщемъ кумирѣ (многіе современники иначе и не называли Байрона, какъ „the idol of society“) тревогу о своемъ здоровьи, испугъ передъ возможностью сумасшествія. Эту боязнь находимъ мы у него еще въ 1811 г., (Letters, II, 54), вмѣстѣ съ признаніемъ, что онъ въ двадцать три года чувствуетъ себя такимъ старымъ, какимъ люди бываютъ въ семьдесятъ лѣтъ.

Байронъ окруженъ теперь свѣтилами литературы. Отнынѣ дружба связываетъ его съ Томасомъ Муромъ и Вальтеръ-Скоттомъ; не вступая въ ряды романтиковъ, не зачисляя себя ни въ какую партію, онъ свободно и смѣло занимаетъ совершенно независимое положеніе. Доживающій свой вѣкъ, дряхлый, вѣчно нетрезвый, но попрежнему остроумный авторъ „Школы Злословія“, Шериданъ, увлекается имъ; изъ „озерныхъ“ поэтовъ къ нему съ сочувствіемъ подходитъ Кольриджъ; даже у будущаго злѣйшаго врага и доносчика, Соути, отношенія къ Байрону—приличныя; на изящныхъ и полныхъ остроумія литературныхъ обѣдахъ свѣтскаго человѣка и даровитаго стихотворца Роджерса <sup>1)</sup>, Байронъ—желанный и

---

жесть, приложимое къ юношескому дебюту въ парламентѣ, названіе это непріятно удивляетъ, когда прикладывается критикомъ и къ послѣдовательной, многолѣтней дѣятельности Байрона-карбонара и избавителя Греціи.

<sup>1)</sup> Впослѣдствіи сдѣлана была попытка записать происходившее на оригинальныхъ банкетахъ этого литературнаго кружка: „Recollections of the table-talk of Samuel Rogers“, изд. 1887.

неизмѣнный гость. Онъ очаровываетъ г-жу Сталь, укрывшуюся отъ преслѣдованій Наполеона, послѣ скитаній по всей Европѣ въ Лондонъ <sup>1)</sup>, изумляетъ ее своею смѣлой критикой поддѣльной свободы англійскаго общественнаго строя, бесѣдуетъ съ нею о ея книгѣ „De l' Allemagne“, выпущенной въ свѣтъ въ Лондонѣ, и въ ея глазахъ онъ—„l'homme le plus intéressant de toute l'Angleterre“. Но его можно видѣть очень часто и среди high-life'a, даже въ обществѣ знаменитаго дэнди, законодателя моды, Броммеля, которому онъ способенъ былъ писать стихи въ альбомъ,—даже въ придворныхъ кругахъ, куда антипатичный ему принцъ-регентъ и его клеветы стараются привлечь всеобщаго любимца, приручить и подчинить его,—въ партерѣ театра въ тѣ дни, когда игралъ великій Кинъ, увлекавшій его до того, что во время представленія драмы „Sir Giles Overreach“ отъ потрясенія съ Байрономъ сдѣлался припадокъ судорогъ,—наконецъ даже за кулисами, гдѣ подъ конецъ этого періода онъ пронику въ комитетъ, управлявшій Дрюрилэнскимъ театромъ.

Съ избыткомъ подобныхъ впечатлѣній, встрѣчъ, знакомствъ, состязаній въ умѣ и дарованіяхъ, совпадала сильно возбужденная жизнь чувства; все волновало, разжигало и угнетало Байрона. По временамъ усталость и пресыщеніе доходили у него до того, что ему страстно хотѣлось уйти безъ оглядки отъ этихъ людей. Весной 1813 года онъ сообщаетъ друзьямъ, что рѣшилъ *навсегда* уѣхать изъ Англіи и поселиться на одномъ изъ греческихъ острововъ. Нѣсколько позже, когда мысль о бѣгствѣ снова овладѣла имъ, онъ хлопоталъ разрѣшеніе занять кабину одного изъ офицеровъ корабля „Boyne“, уходившаго въ Средиземное море, и въ письмѣ къ секретарю адмиралтейства извѣщалъ, что готовъ будетъ къ отъѣзду „въ субботу“... Но онъ не могъ уже болѣе твердо хотѣть чего бы то ни было, оставался въ Лондонѣ, и безумная жизнь снова начиналась.

---

<sup>1)</sup> Для характеристики своеобразныхъ отношеній его къ г-жѣ Сталь письма его даютъ не мало матеріаловъ, но ими пренебрегъ авторъ большого труда о Сталь, lady Blennerhasset: „Frau von Staël, ihre Freunde und ihre Bedeutung in Politik und Literatur“, Berlin, 1887—9.

Ея главными виновницами были женщины. Психопатическія проявленія обожанія и восторговъ на него почти не дѣйствовали, и забавно необузданныя его поклонницы, о которыхъ потомъ вспоминалъ Роджерсъ, способныя Богъ вѣсть чѣмъ пожертвовать за нѣсколько интимныхъ минутъ съ нимъ,—вызывали въ немъ брезгливость. Но на его пути были женщины, которыми онъ самъ увлекался, въ которыхъ—какъ идеализованный новѣйшими поэтами Донъ-Жуанъ—онъ вглядывался, страстно надѣясь найти, наконецъ, осуществленіе своей мечты,—и вѣчно ошибаясь. Связи продолжались недолго; одна изъ нихъ,—съ лэди Оксфордъ,—по его же словамъ, всего восемь мѣсяцевъ. Всевозможныя препятствія, ревнивые мужья, свѣтская огласка, вѣроятность дуэли, не останавливали его. Въ пылу страсти онъ воспѣвалъ парицу своей души; такъ, по свидѣтельству Мура, и въ „Абидосской Невѣстѣ“, и въ современныхъ ей стихотвореніяхъ лирической огонь вызванъ былъ увлеченіемъ лэди Фрэнсисъ, женою Уэддерборна Уэбстера, и въ новыхъ письмахъ немало слѣдовъ этой связи—совсѣмъ на глазахъ у мужа <sup>1)</sup>. Лэди Оксфордъ не только была, въ свою очередь, музой поэта; когда оба супруга собирались надолго уѣхать за границу, Байронъ готовъ былъ все покинуть, послѣдовать за любимую женщиной,—и въ гнѣвъ разорвалъ отношенія, убѣдившись въ ея невѣрности...

Но, отстранивъ всѣхъ соперницъ, взявъ Байрона съ бою, на его пути появляется одинъ изъ его злыхъ геніевъ, лэди Каролина Ламъ.

Дошедшая до насъ миниатюра, изображающая ее въ нарядѣ пажа, въ кокетливой бархатной курточкѣ съ наплечными нашивками въ испанскомъ вкусѣ и высокимъ кружевнымъ воротомъ, въ атласномъ жилетѣ, обрисовывающемъ стройную талію, съ вьющимися кудрями, зачесанными помужски на лобъ, съ большимъ хрустальнымъ блюдомъ, полнымъ крупныхъ кистей винограда, въ поднятыхъ рукахъ,—

---

<sup>1)</sup> Первое впечатлѣніе, произведенное открытіемъ ея измѣны, выразилось въ стихотвореніи, которое стало извѣстно лишь съ 1869 года (напеч. въ „Quarterly Review“, October, „The Byron mystery“). Оно начинается словами: Go, triumph securely, the treacherous vows thou hast broken“ etc., полно упрековъ—и въ то же время неисправимой любви.

какъ будто застаётъ ее въ одну изъ сумасбродныхъ ея выходовъ. Черты красивы, глаза большіе и выразительныя, но на лицѣ печать нервности, порывистой страстности. Сначала счастливая въ замужествѣ, потомъ вообразившая себя непонятою, одинокою, неудовлетворенною, <sup>1)</sup> она, увидавъ Байрона, въ первую минуту испытала необъяснимую тревогу, записала въ своемъ дневникѣ, что встрѣтила челоуѣка „безумнаго, дурнаго, съ которымъ сближеніе опасно“—*mad, bad and dangerous to know*,—но вслѣдъ затѣмъ увлеклась имъ до самозабвенія. Чего только она не дѣлала, чтобы быть съ нимъ! Переодѣваніе пажомъ, дававшее ей возможность проникать въ мужское общество, напимѣръ, во внутренніе покои парламента, было одною изъ привычныхъ ея выдумокъ <sup>2)</sup>. Въ напечатанномъ теперь письмѣ, одномъ изъ первыхъ послѣ ихъ сближенія, она говоритъ Байрону, что никого не боится, себя не жалѣетъ, идетъ навстрѣчу опасностямъ. Ее смущаетъ мысль, что онъ можетъ жениться, и она заклинаетъ его повременить,—вѣдь его никто не будетъ такъ сильно любить!.. Она показывалась съ нимъ всюду, надѣясь гласностью своей связи разстроить всѣ притязанія другихъ женщинъ. Въ ея поступкахъ было много несообразнаго, безтактнаго, необузданнаго. Заподозривъ охлажденіе, она сожгла однажды Байрона—*in effigie*—уничтоживъ вмѣстѣ съ портретомъ его подарки, кольцо и цѣпь, потомъ описала эту расправу въ стихахъ и послала ихъ вѣроломному. Въ другой разъ, зная, что ее уже не пустятъ къ нему, она одѣлась извозчикомъ и проникла въ его квартиру, въ третій—едва не закололась на его глазахъ. Но въ ея сумасбродствѣ было столько искренней любви, что Байронъ прощалъ ей многое, стараясь сдерживать и умѣрять ея нервность. Уцѣлѣло три интимныхъ его письма къ Каролинѣ; ихъ тонъ становится все нѣжнѣе; онъ зоветъ ее своею „Саго“, своею любовью—

---

<sup>1)</sup> Одинъ изъ друзей ихъ дома, Августъ Фостеръ, въ письмѣ къ герцогинѣ Элизѣ Девонширской, знакомой и Байрону, остроумно ставилъ въ вину мужу Каролины, что онъ „мало изучалъ Шекспировское „Укрощеніе строптивой“. The two duchesses of Devonshire“, by Vere Foster, p. 417.

<sup>2)</sup> Долгасъ (Correspondence of L. Byron with a friend etc. III, 41) описываетъ, какъ очевидецъ, появленіе на квартирѣ у Байрона Каролины въ необыкновенно красивомъ театральномъ костюмѣ пажа.

му *Саго, my love*; — слышатся рѣдкія у него признанія: „есть ли на землѣ или на небѣ что-нибудь, что сравнилось бы для меня съ счастьемъ назвать васъ моею!.. Я отдаю себя вамъ, свободно, всецѣло, повинуюсь, уважаю, люблю, готовъ бѣжать съ вами—когда и куда вы захотите“. Но мучительная неровность ея натуры, постоянные приступы ревности и слезъ, неожиданныя фанфаронады, — наконецъ, тяжелое впечатлѣніе горя, которое вызывалъ въ семьѣ молодой женщины ея психозъ, охладили увлеченіе. Байронъ теперь проповѣдывалъ умѣренность, совѣтовалъ сблизиться съ мужемъ. Она же увидѣла въ этомъ интригу соперницъ, особенно лэди Оксфордъ. Истерзавшись душой, она, наконецъ, отдалилась отъ него, затаивъ мщеніе, съ трудомъ перенесла вѣсть о женитьбѣ Байрона и съ злорадствомъ услышала о семейномъ разладѣ своего прежняго друга <sup>1)</sup>. Казалось, только ненависть могла внушить ей мысль избрать для мести такое тяжелое для Байрона время, какъ разлука съ дочерью, разрывъ съ женой, добровольное изгнаніе, — она взялась за перо, чтобы въ романъ-пасквилъ „*Glengarnock*“, обставленномъ сложнымъ аппаратомъ „убѣдительныхъ“ доказательствъ, писемъ поэта и т. д., рассказать исторію своей роковой любви, черня Байрона, обѣлая себя. Но когда поэта не стало, она опасно заболѣла, и съ одра болѣзни послала издателю извѣстныхъ въ свое время „Разговоровъ съ лордомъ Байрономъ“ Медвину, — Коборну, большое письмо съ поправками къ Медвиновскому тексту и любопытными признаніями, — письмо, проникнутое снова любовью и тяжкимъ горемъ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Къ біографіи байроновскаго издателя Мэррея, составленной Смайльсомъ и богатой матеріалами, письмами и т. д. (*A publisher and his friends. Memoir of the late John Murray, 1891*) приложенъ снимокъ съ собственноручнаго рисунка лэди Ламъ, изображающаго чету Байроновъ. Онъ во фракѣ, смотритъ въ сторону отъ жены, хотя держитъ ее за руку; она въ балномъ платьѣ, декольте, съ ожерельемъ, смотритъ прямо и самоувѣренно; на его лицѣ — страданіе.

<sup>2)</sup> „*Journal of the conversations of L. Byron, noted during a residence with his lordship at Pisa in the years 1821 and 1822*“, by T. Medwin. Lond. 1824. — Этой книгѣ необыкновенно посчастливилось; она была переведена на всѣ языки (недавно на нѣмецкій); въ русской литературѣ это была первая книга о поэтѣ (Записки о Лордѣ Байронѣ, Спб. 1835); такой репутаціи она не заслуживаетъ по массѣ вымысла. Гобгоузъ назвалъ автора „пре-

Разгоряченная, нездоровая была атмосфера, въ которой сложились ближайшія послѣловія „Чайльдъ-Гарольда“—*восточныя* поэмы, отвѣчавшія на запросъ общественнаго мнѣнія, которое жаждало повторенія плѣнительныхъ картинъ „Паломничества“. Ожиданія сбывались: *картины* дальняго юга, напоминавшія поэту, какъ свѣтлыя сновидѣнія, недавнее прошлое, много разъ проходили передъ читателемъ. Но на ихъ фонѣ выдѣлялись лица, событія, становившіяся съ каждымъ произведеніемъ все мрачнѣе, трагичнѣе. Первый опытъ въ новомъ родѣ, „Гяуръ“, былъ, по словамъ поэта (письмо къ Гиффорду, ноябрь 1813), написанъ въ такомъ *настроеніи*, вызванномъ обстоятельствами, которое побуждало умъ сосредоточиться на чемъ бы то ни было, только *не на дѣйствительной жизни* (any thing but reality). Лишь незначительная часть фабулы была реальна,—видѣнная имъ когда-то въ Пирей сцена расправы съ зашитой въ мѣшокъ женщиной. Остальное, какъ увѣряетъ авторъ въ заключительномъ примѣчаніи, будто бы воспроизводитъ рассказъ, случайно слышанный на востокѣ въ кофейной, изъ устъ профессиональнаго сказочника... Зато, трагическое освѣщеніе центрального лица, которое сначала просто пригрезилось поэту, въ извѣстной степени поддержано было литературнымъ вліяніемъ „разбойничьихъ“ сюжетовъ<sup>1)</sup> и окружено романтической дымкой преступности, тайны и невѣдомыхъ страданій,—рѣшило участь нововведенія, возбудившаго величайшее любопытство.

*Настроеніе*, вызвавшее „Гяура“, долго продержалось у Байрона, и за однимъ тяжелымъ сномъ наяву вскорѣ слѣдовалъ другой, еще тяжелѣе. Популярность росла, баловала и дразнила поэта; онъ началъ находить своеобразное, почти болѣзненное удовольствіе въ возбужденіи суетвѣрныхъ и фантастическихъ бредней о томъ, будто всѣ

---

зрѣлымъ обманщикомъ“ (infamous impostor); см. письмо его, неизданное, къ Августу Ли, 4 ноября 1824 г.

<sup>1)</sup> Древность „разбойничьей романтики“, какъ доказали изслѣдователи восходящей исторіи Шиллеровскихъ „Разбойниковъ“ (напр. Эрихъ Шмидтъ, Schiller, sein Leben u. seine Werke, 1890, I, 313 и слѣд.) очень внушительна. Первымъ „романтическимъ“ разбойникомъ можно считать грека Феликса, о которомъ говоритъ Діонъ Кассій.



ужасы его поэмъ были пережиты имъ, въ мистификаціи до-  
вѣрчивой толпы. Такъ—относительно эпизода съ избавлен-  
ной имъ дѣвушкой—онъ хотя и огласилъ письмо очевидца,  
маркиза Слэйго, тѣмъ не менѣе не скупился, въ разгово-  
рахъ съ легковѣрными людьми, на намеки, изъ которыхъ они  
выводили заключеніе, что онъ самъ былъ любовникомъ не-  
счастной, едва не поплатившейся жизнью за него,—и рядъ  
біографовъ повторилъ небылицу. Но досужая сплетня заби-  
ралась дальше въ глубь сюжета, готовая приписать автору  
мрачныя дѣянія Гяура и угрызения его совѣсти. Чего не  
могло случиться въ невѣдомыхъ дебряхъ востока!.. Образъ  
поэта становился все привлекательнѣе и таинственнѣе.

Связь частей въ поэмѣ и прерывистая форма разсказа уди-  
вительно слабы и небрежны; все говоритъ о томъ, что про-  
изведеніе писалось урывками, среди дрягъ, заботъ и раз-  
влеченій; потомъ, съ каждымъ новымъ изданіемъ, оно пе-  
ресматривалось, дополнялось, къ шестому изданію удвоилось  
размѣрами, но и въ окончательномъ видѣ поражаетъ фраг-  
ментарностью. Новый другъ Байрона, Роджерсъ, незадолго  
передъ тѣмъ выпустилъ поэмѣ „Columbus“, изображавшую  
открытіе Америки и пророческое видѣніе о будущихъ ея  
судьбахъ; свой сюжетъ онъ обработалъ въ рядѣ отрывковъ,  
увѣряя, будто нашелъ ихъ въ такомъ видѣ въ старой ис-  
панской рукописи и только перевелъ. Почему-то этотъ приѣмъ  
приглянулся Байрону, и, сдѣлавъ во введеніи намекъ на су-  
ществовавшую будто бы законченную, полную редакцію поэмы  
(„the story, *when entire*, contained“ etc.), онъ далъ читателю  
лишь „несвязанныя между собой части разсказа“ (disjointed  
members); отрывочность повѣствованія дошла у него до та-  
кой крайности, что развитіе сюжета можетъ быть понято  
лишь съ комментариемъ. Послѣ прекраснаго вступленія, из-  
ложеннаго отъ лица автора, идетъ чей-то разсказъ о собы-  
тіяхъ, составляющихъ канву поэмы; очень смутно намѣчено,  
что разсказчикъ—бѣдный рыбакъ съ береговъ Эгинскаго за-  
лива, случайный свидѣтель ужасныхъ дѣлъ. Притаившись  
у челнока, онъ, конечно, могъ видѣть скачущаго во весь  
опоръ Гяура и негодаевъ, бросившихъ въ воду женщину,  
но не былъ же онъ вездѣсущимъ и не могъ знать того, что  
происходило потомъ въ домѣ Гассана, и въ ущельѣ, гдѣ

мѣткая пуля Гяура положила на мѣстѣ его врага, и снова у Гассана, гдѣ мать тщетно ждетъ его возвращенія. Этого мало,—безъ оговорокъ дѣйствіе вдругъ переносится черезъ шестилѣтній промежутокъ въ греческій монастырь, и рассказъ возобновляется отъ чьего-то лица, задающаго одному монаху вопросъ: „Кто этотъ одиноко стоящій *капуеръ* (старецъ)“? Снова передъ нами рыбакъ, узнавшій въ „старцѣ“ Гяура, — но, нѣсколько десятковъ строкъ спустя, мы уже слышимъ предсмертныя признанія героя одному изъ старшихъ монаховъ. Очевидно, мелочи техники казались излишними при страстномъ тѣмплѣ работы, который, какъ свидѣтельствуемъ Муръ, мѣстами отразился и на внѣшности рукописи, исписанной бѣглыми, спѣшными, неразборчивыми строками. Воображеніе несло въпередъ, и перо едва успѣвало закрѣплять его образы на бумагѣ.

Но, при всей отрывочности формы, эта поэма была первой Байроновской попыткой „романтического разсказа“, какъ говорили въ старину; съ несравненно большимъ правомъ, чѣмъ къ „Ч.-Гарольду“, къ ней предъявлялись требованія ясной завязки и опредѣленной характеристики, — эти требованія совсѣмъ не удовлетворялись. Личность Гяура осталась туманной, его прошлое до смерти Лейлы и убійства Гассана и послѣдующая жизнь до вступленія въ монастырь — окружены таинственностью. Очевидно, пришелецъ на востокъ (въ разсказѣ, слышанномъ будто бы Байрономъ отъ сказочника, „молодой венеціанецъ“), Гяуръ кажется старику-монаху ренегатомъ, который передъ смертью кается въ измѣнѣ христіанству. Нѣтъ и намека на то, что могло его побудить къ ней. Ранніе годы, прошедшіе словно внѣ времени и пространства, дали ему „много разочарованій въ дружбѣ, любви и радостяхъ“; не они ли привели его къ мысли схоронить себя среди мусульманской жизни? Но вотъ онъ впервые сильно и счастливо полюбилъ. Черкешенка Лейла хочетъ бѣжать съ нимъ изъ гарема въ одеждѣ „грузинскаго пажа“; она схвачена, казнена,—онъ отмстилъ за нее. Съ той поры тоска преслѣдуетъ его. Когда она вызываетъ передъ нимъ образъ Лейлы и напоминаетъ ему, что любимая женщина погибла изъ-за него,—реальность этихъ мукъ захватываетъ читателя; но когда она ведетъ несчастнаго, послѣ его ут-

раты, къ озлобленной преступности, къ ряду убійствъ, отъ которыхъ гибнутъ неповинные передъ нимъ люди, когда онъ, повидимому, дѣлается бандитомъ, а съ другой стороны, когда его сердце обвивается ядовитыми змѣями рефлексіи и самоистязанія,—недочеты психологіи и мелодраматическія преувеличенія поражаютъ, особенно теперь, на большомъ отдаленіи отъ эпохи.

Но, когда указываешь на слабыя стороны этой поэмы и стараешься съ спокойной объективностью произвести неизбѣжный анализъ, чувствуешь не разъ, съ какимъ разсудочнымъ холодомъ подходишь къ тому, что въ сотнѣ мѣстъ полно горячей и искренней поэзіи. Большое вступленіе къ „Гяуру“,—само по себѣ одно изъ украшеній Байроновской живописи природы; это—роскошное описаніе Греціи, благословенной страны, царства боговъ,—и въ то же время—совершенно въ духѣ историко-политическихъ оцѣнокъ „Гарольда“—рѣзкій протестъ противъ тиранніи, доведшей чудный край до яетаргическаго сна:

Such is the aspect of this shore;  
‘T is Greece, *but living Greece no more!*

Это вступленіе—въ сущности законченное лирическое изліяніе, лишь внѣшнимъ образомъ связанное съ поэмой. А въ ней самой сколько вдохновенныхъ мѣстъ, которыя то и дѣло вспыхиваютъ во время разсказа, точно яркія искры: то восторженное описаніе красоты Лейлы, то живо представившаяся поэту смѣна чувствъ у старой мусульманки, матери Гассана, когда она прислушивается къ бубенчикамъ Гассановыхъ верблюдовъ, ждетъ сына, готовитъ ему встрѣчу,—и слышитъ вѣсть о томъ, что его убили,—то безконечныя и все-таки захватывающія своею задумчивостью, предсмертныя воспоминанія Гяура о его подругѣ и пластически-яркій разсказъ его о томъ, какъ въ его галлюцинаціи она пришла къ нему на послѣднее свиданіе! Въ тонѣ *этихъ* воспоминаній дѣйствительно отгадываешь пережитое поэтомъ, изъ недавнихъ его утратъ или разставаній *настки* перенесенное въ оріентальную обстановку и мрачную, вымышленную драму. Такого лиризма не вычитаешь, его нельзя заимствовать,—и старанія нѣмецкаго автора диссертациі о „Гяу-

рѣ" 1), со всѣми его ссылками и справками изъ двухъ Вальтеръ - Скоттовскихъ поэмъ, „Rokeby“ и „Marmion“, не привели къ правдоподобной генеалогіи Байроновскаго произведенія.

Очарованіе, вызванное „Гарольдомъ“, усилилось послѣ появленія новой поэмы, хотя оттѣнокъ былъ уже иной. Если „Гарольдовъ плащъ“ прикрывалъ собой политическое, социальное и личное недовольство, то „Гяуръ“ отвѣчалъ все еще не вымершимъ стремленіямъ къ чудесному, таинственному, потрясающему, и притомъ экзотическому, которыя поддерживались, бывало, романтизмомъ первой формаціи. „Гяуръ“ давалъ „any thing but reality“, волновалъ ужасами и преступленіями, плѣнялъ игрой страстей, загадочностью героя. То былъ, конечно, тоже неудачникъ, лишній человекъ, но „болѣзнь вѣка“ облечена была въ чужеземное одѣяніе и уносила читателя далеко за предѣлы лондонскихъ тумановъ, есплина и политическаго гнета;—въ гибкомъ и разнообразномъ дарованіи поэта - чародѣя открылась новая черта, показавшаяся необыкновенно завлекательною.

Волна, уже захватившая Байрона, понесла его дальше. Всѣ ожидали отъ него новыхъ „турецкихъ повѣстей“,—*въ четыре ночи* онъ набросалъ слѣдующую свою фантазію на восточныя темы, „Абидосскую Невѣсту“ или „Зюлейку“, какъ онъ назвалъ ее сначала. Запись въ его дневникѣ объясняетъ появленіе поэмы не желаніемъ поддержать разгорѣвшееся любопытство читающей массы, а глубокими личными причинами. „Я написалъ ее,—говоритъ онъ,—чтобы разсѣять мои мечты о \*\*\*. Еслибъ я не сосредоточился тогда на какомъ-нибудь трудѣ, я бы съ ума сошелъ, постоянно гложя свое сердце“. Но—принявшись за дѣло, чтобы заглушить грустные воспоминанія, онъ въ созданіи и въ выполненіи плана поэмы пошелъ по пути, намѣченному „Гяуромъ“. Благоклонный къ нему отнынѣ критикъ „Эдинбургскаго Обозрѣнія“, находя большія красоты въ „Гяурѣ“, сожалѣлъ о склонности поэта къ „мрачнымъ и отталкивающимъ сюжетамъ“. „Абидосская Невѣста“ подтвердила это наблюдение. Неясные намеки на разбойничество, которому преданъ

1) Karl Hoffman, Ueber Lord Byron's „The Giaour“. Halle, 1898.

Гяуръ съ отчаянія и изъ злобы на судьбу и людей, замѣнены профессиональнымъ пиратствомъ новаго героя, Селима. Воздухъ пропитанъ лютой враждой и кровожадностью; оба противника, старый деспотъ Джафиръ и его мятежный пріемышъ, бѣшено ненавидятъ другъ друга; схватка тѣлохранителей паши съ разбойниками превращается въ бойню, вода окрашивается кровью,—убиты и Селимъ, и Джафиръ; Зюлейка не можетъ пережить своего друга,—опять сколько мрака и ужаса!.. Одна лишь нѣжность Зюлейки къ тому, кого она долго считала братомъ, быстро переходящая въ любовь и самоотверженіе, смягчаетъ трагизмъ внезапно разразившагося бѣдствія, словно осѣняетъ его ореоломъ. И, конечно, никогда еще Байронъ не рисовалъ съ такимъ тонкимъ мастерствомъ женскаго образа.<sup>1)</sup> Какъ „Абидосская Невѣста“, по его словамъ, первое его цѣльное и стройное произведеніе, такъ героиня поэмы — первое жизненное и, вмѣстѣ, поэтическое лицо въ ряду „Байроновскихъ женщинъ“.

Но герой?.. Неужели, по заведенному обычаю, и въ немъ, какъ въ Гяурѣ, нужно искать снимка съ Байрона, отмѣчать его автобіографическое значеніе? Если для этого достаточно общаго освѣщенія порывистой, непокорной, властной натуры, пусть сойдетъ и онъ за клише съ великаго человѣка. Но для него найдется мѣсто въ другой связи художественныхъ фактовъ. Онъ—замѣтное звено въ эволюціи „байроническаго типа героев“, образующее переходъ къ „Корсару“. Трехъ дѣйствующихъ лицъ въ восточныхъ поэмахъ, Гяура, Селима, Конрада, объединяетъ — разбойничество, правда, значительно опозитизированное по Шиллеровскому образцу. Специальныя изслѣдованія развитія героическаго типа у Байрона и работы по генеалогіи „Разбойниковъ“ Шиллера и ихъ позднѣйшему вліянію показали, какъ мотивъ „Разбойниковъ“, сначала въ англійскомъ переложеніи (въ формѣ повѣсти „The Germans tale“ миссъ Гарриетъ Ли), прочтенномъ Байрономъ еще въ дѣтствѣ и такъ поразившемъ его, что онъ

<sup>1)</sup> Любопытно, что онъ еще не довѣрялъ своимъ силамъ въ этомъ отношеніи. Изъ письма къ Муру 28 авг. 1813, мы узнаемъ, что онъ задумалъ было поэму о любви Пэри къ смертному, „что-то во вкусѣ *Diable amoureux* Казотта“, но оставилъ эту мысль,—„для такого сюжета нужно много поэзіи, говоритъ онъ, а нѣжность не по моей части“...

задумалъ въ 1802 г. драму „Ulric and Ivina“ съ героемъ во вкусъ Карла Мора, — потомъ, при непосредственномъ знакомствѣ съ Шиллеровскою пьесой, опредѣлилъ его своенравную наклонность къ сюжетамъ этого рода. Но пора признать, что эта наклонность была преходящимъ явленіемъ; что она, и въ художественномъ, и въ нравственномъ отношеніи стоитъ значительно ниже другого героическаго склада, который, подъ вліяніемъ вынесенныхъ поэтомъ тяжелыхъ испытаній, смѣнилъ ее у Байрона, и на мѣсто Корсара (хотя бы онъ и велъ по-своему борьбу со всѣмъ общественнымъ строемъ) поставилъ *титана*, Прометея.

Оставивъ Селима въ обычныхъ рамкахъ романическаго героя и возвративъ фабулѣ значеніе пламеннаго вымысла, который своимъ ориентализмомъ и небывальщиной призванъ былъ отвлечь и разсѣять думы поэта, нельзя не отмѣтить значительнаго шага впередъ, сдѣланнаго Байрономъ. Дѣйствительно, это уже не кучка красивыхъ отрывковъ, а искусно выдержанный рассказъ, съ драматическимъ движеніемъ, захватывающими неожиданностями, живыми людьми, сильными характерами. Зрительная память, разившаяся во время путешествія, такъ еще была сильна, что снова вызвала яркія картины юга. Онѣ перевиты оригинальными отступленіями, сравненіями, варіаціями: то (во вступительной строфѣ) послышится вдругъ мотивъ Гётевскаго „Kennst du das Land“ (Know ye the land where cypress and myrtle“ etc.); то отголосокъ легенды о Геро и Леандрѣ; то—эхо арабской поэзіи. Природа, люди, страсти—не британскіе подъ восточнымъ нарядомъ, а съ подлиннымъ ориентальнымъ пошибомъ. Въ поэмѣ разсыпано въ затѣйливыхъ сочетаніяхъ красокъ много бытовыхъ, религіозныхъ, народно-поэтическихъ деталей, много отголосковъ древняго восточнаго творчества (напр. Сади, нѣжно-романтическихъ повѣстей о Лейлѣ и Меджнунѣ, Юсуфѣ и Зюлейкѣ и т. д.), которые придаютъ произведенію яркую *couleur locale*<sup>1)</sup>. Поэтъ своимъ волшебнымъ жезломъ

<sup>1)</sup> Поэтъ видимо очень дорожилъ ея вѣрностью, несмотря на быстроту работы обращался къ источникамъ, дѣлалъ много справокъ, снабжалъ соотвѣтствующія мѣста подстрочными комментаріями, которые въ наше время подтверждены были ориенталистами, и могъ отвѣчать за каждый свой шагъ. „Я ни во что не ставлю моихъ стиховъ, писалъ онъ, но *костюмъ* и точность обстановки буду отстаивать во что бы то ни стало.

переносить читателя всюду, куда захочетъ. Масса ликуетъ, поглощаетъ съ энтузіазмомъ одно изданіе за другимъ; критика побѣждена.

Байронъ уже не въ силахъ остановиться. Отзывчивая, гуманная поэзія „Гарольда“ еще дальше отодвинулась въ прошлое, хотя общественныя и политическія убѣжденія поэта ни въ чемъ не измѣнились. Соблазны успѣха, славы, честолюбія увлекаютъ его къ невѣдомымъ берегамъ фантастическаго царства. Но *такъ* не можетъ долго продержаться это насиліе надъ собой. Еще одна феноменальная, все затмевающая удача, — созданіе „Корсара“, и настанетъ упадокъ, отливъ. Все, что было болѣзненнаго, сумрачнаго, односторонняго, ультра-нервнаго въ принятомъ направленіи, — все это возьметъ верхъ и приведетъ по наклонной плоскости въ непостижимо таинственныя дебри „Лары“.

Но какой триумфъ доставилъ ему „Корсаръ“, какъ засіяла въ немъ во всемъ блескѣ изумительная даровитость! Послѣ летучихъ импровизаций Байронъ выступилъ съ обширной поэмою въ трехъ пѣсняхъ, полною драматизма, выработанной тщательнѣе всѣхъ другихъ его произведеній — она написана въ тринадцать дней, 18—31 дек. 1813, — созданной, по его же свидѣтельству, „*съ особымъ увлеченіемъ, соn amore, и въ значительной степени взятой изъ дѣйствительности*“ — *very much from existence.*

Послѣднее показаніе слишкомъ важно; стоитъ остановиться на немъ и разяснить вопросъ. Въ горячности его творческаго темперамента за это время нельзя сомнѣваться; все, что написалъ онъ тогда, отмѣчено ею; конечно, „Корсаръ“ могъ еще сильнѣе захватить его своимъ сюжетомъ, волновать грезившимися ему лицами, рѣчами, событіями. Но гдѣ же слѣды *дѣйствительности*? Общее мнѣніе повторило тогда шаблонную догадку о связи съ личною жизнью автора. Критика до нашихъ дней обнаруживала склонность вторить подобнымъ празднымъ догадкамъ. Полезно будетъ прислушаться, въ виду этого, къ важному свидѣтельскому показанію. Вотъ что говорилъ, умно и энергично возставая противъ всѣхъ такихъ пересудовъ, Вальтеръ - Скоттъ, тонко изучившій Байрона, какъ поэта и человѣка, и одаренный большою терпимостью къ его убѣжденіямъ, которыхъ онъ да-

леко не раздѣлялъ. Посмѣявшись надъ тѣми, кто ищетъ полного сходства автора и героя, — и кто, стало быть, долженъ притти къ подозрѣнію и въ тайномъ пиратствѣ Байрона, — В.-Скоттъ допускаетъ, однако, что поэтъ приписывалъ нѣкоторыя, часто совсѣмъ внѣшнія свои примѣты созданнымъ имъ лицамъ. По его мнѣнію, „эту склонность можно объяснить разнообразными причинами: меланхолическимъ душевнымъ складомъ, находящимъ особое удовольствіе въ вымышленныхъ положеніяхъ преступности и опасности, подобно тому, какъ иныхъ людей влечетъ бродить по самому краю пропасти, или, почти не имѣя никакой опоры, проходить надъ бездною, въ которую несется потокъ; это могло быть прихотливо придуманнымъ переряживаньемъ въ родѣ того, когда человѣкъ выбираетъ себѣ для маскарада плащъ, кинжалъ и потайной фонарь какого-нибудь bravo, — или, зная за собой большое мастерство въ изображеніи мрачнаго и ужасающаго, Байронъ въ своемъ рвеніи принималъ на себя точное подобіе описываемыхъ характеровъ, какъ актеръ, который выступаетъ на сценѣ въ одно и то же время съ чертами подлинной своей личности и въ образѣ трагическаго героя, чья роль на него возложена“.

Необходимо же, однако, отдѣлить въ „Корсарѣ“ правду отъ вымысла. „Дѣйствіе поэмы происходитъ на островѣ пиратовъ, *населенномъ созданными мною лицами* (my own creatures); вы можете себѣ представить, сколько бѣдъ они надѣлали на протяженіи трехъ пѣсенъ“, — такъ шутливо рекомендовалъ Байронъ поэму, посылая ее издателю. Не только Сеидъ-паша или разбойники и есаулы Конрада, не только обѣ героини, Медора и Гюльнара, но и самъ Конрадъ — *созданныя имъ* лица; поэтъ ни видѣлъ ихъ, ни слышалъ о нихъ рассказы. Что касается, въ частности, Конрада, — преступное его ремесло могло бы служить (говоря съ В.-Скоттомъ) маскараднымъ плащомъ, но подробно очерченныя душевныя его свойства рѣшительно разъединяютъ его съ поэтомъ, — и прежде всего ненависть къ людямъ — „онъ слишкомъ ненавидѣлъ людей, чтобы чувствовать раскаяніе“. Байрона всегда возмущалъ упрекъ въ мизантропіи, побудившій его подъ конецъ жизни съ горечью воскликнуть: „Зачѣмъ приписываете вы мнѣ ненависть къ людямъ? Оттого ли, что *вы* меня нена-



видите, а не я васъ"? Упрекъ этотъ въ значительной степени опирается на характеристику Конрада. Но ее нельзя назвать неосторожною, давшею врагамъ автора орудіе противъ него,—вѣдь въ предисловіи, какъ будто предвидя выводы этого рода, онъ сильнѣе прежняго разобщаетъ свои творческіе образы съ личною жизнью,—и, стало быть, былъ вполне воленъ обрисовывать Конрада, какъ существо, внѣ его стоящее. Но черты реальныя, личныя, все же проникли въ вымыселъ. Хотя Конрадъ жестокъ, суровъ,—самъ сознаетъ, что онъ негодяй (a villain), хотя за нимъ „одна добродѣтель и тысяча преступленій“, но одно чувство смягчаетъ, облагораживаетъ его,—любовь. Его привязанность къ Медорѣ, мечты о ней во время пиратскаго набѣга, внезапный чувственный капризъ, сблизившій его съ Гюльнарой, и отчаяніе, овладѣвшее имъ, когда измученной тоскою и разлукою Медоры не стало,—давали поэту просторъ для личныхъ признаній. Тутъ былъ и возвратъ къ неудачной юности, „когда дурныя страсти научали менѣ цѣнить ту, которая искренно любитъ, чѣмъ ту, что послушна его волѣ“,—и полныя раскаянія воспоминанія о разставаніяхъ, подобныхъ прощанію съ Медорой, когда безконечная нѣжность и самоотверженіе любящей женщины принимались, какъ что-то привычное и должное,—и воскрешавшее терзанія Байрона изъ-за утраты Тирзы и другихъ, глубоко подѣйствовавшихъ сердечныхъ разочарованій, неутѣшное горе Конрада надъ недвижимымъ, холодно прекраснымъ трупомъ той, которую онъ не умѣлъ цѣнить. Авторъ во-время спускаетъ занавѣсъ, не говоря о дальнѣйшей судьбѣ героя. Конрадомъ завладѣваетъ неотвязная мысль, онъ безслѣдно скрывается,—но все же онъ далъ поэту грустную отраду пережить бывшее, вложить въ вымыселъ свою исповѣдь.

Въ *такихъ* предѣлахъ „Корсаръ“ написанъ — „very much from existence“. Шагъ дальше или въ сторону,—и начнется вымучиваніе изъ поэмы желанныхъ доказательствъ „демонизма“ Байрона, о которомъ заговорили тотчасъ вслѣдъ за ея появленіемъ, приводя между прочимъ, какъ аргументъ, два, три неловкихъ выраженія, что вызвало въ Байронѣ тогда же ироническую догадку о лежащей въ основѣ этихъ пересудовъ *женской* сплетнѣ.

Но какъ велика, сравнительно съ долею „Wahrheit“, сила „Dichtung“ въ этомъ произведеніи! Сжатый, быстро идущій впередъ рассказъ, драматизмъ положеній, полныхъ такими смѣлыми эффектами, какъ появленіе Конрада, переодѣтаго дервишемъ, въ станѣ паши, искусная мистификація, внезапное нападеніе Конрадовой шайки,—два художественно выполненнхъ этюда женской психологіи, обособленные и своеобразные: Медора—вся преданность и обожаніе,—и пламенная, ревнивая, способная ради любви дойти до преступленія, до убійства, Гюльнара; наконецъ, несмотря на мелодраматическіе привѣски, окруженный сумрачной величавостю и отвагой центральный образъ; пестрота и оживленіе разбойничьей орды, пѣсня пиратовъ, и въ противоположность ей—глубоко грустная пѣсня одинокой Медоры; бодрая свѣжесть моря и просторъ природы, переданные въ чудныхъ описаніяхъ,—и зрѣлище развѣдающаго унынія, на изображеніи котораго поэтъ останавливается долго, настойчиво, не щадя читателя, но не переставая дѣйствовать на его потрясенное чувство,—какое богатство красоты!.. „Корсаръ“ по истинѣ сталъ—какъ выразился тогда изумленный Мэррей—Байроновскимъ „sacmen triumphale“; „въ первый же день совершился фактъ, неслыханный въ англійской книжной торговлѣ,—разошлось десять тысячъ экземпляровъ“. Издатель поэмы принимается, затѣмъ, перечислять знаменитыхъ цѣнителей, выражавшихъ при немъ удивленіе и восторгъ, но прерываетъ свой перечень,—до того много именъ. И всюду „Корсару“ суждено было явиться откровеніемъ Байроновской поэтической силы. Пушкинъ признавался Мицкевичу <sup>1)</sup>, что чтеніе „Корсара“ показало ему вполне величіе Байрона и оживило въ немъ вѣру въ свое поэтическое призваніе; первый же результатъ байронизма самого Мицкевича, „Конрадъ Валленродъ“, по мнѣнію польской критики, испыталъ сильное вліяніе „Корсара“ <sup>2)</sup>.

Но побѣдное шествіе поэта не исключало проявленій враждебности,—напротивъ, вызывало ихъ. Чѣмъ выше поднима-

---

<sup>1)</sup> Статья о Пушкинѣ въ журналѣ „Le Globe“, 1837 г., I. Ср. мою статью: „Пушкинъ и европейская поэзія“, въ журналѣ „Жизнь“, 1899, май.

<sup>2)</sup> Zdziechowski, „Byron i jego wiek“; w Krakowie, II, 1899, 427.

лись волны успѣха, тѣмъ злѣе становились зависть и раздраженіе въ тѣхъ литературныхъ и общественныхъ закоулкахъ и приходахъ, которые не могли перенести ни съ чѣмъ не соразмѣримаго триумфа, отодвигавшаго ихъ привычныхъ дѣятелей въ тьму и забвеніе. Старые счеты съ авторомъ „Англійскихъ бардовъ“ только съ виду замолкли; раны не зажили. Показавъ и въ прежнемъ столкновеніи съ поэтомъ способность бороться не литературными средствами, а инсинуаціями и доносами, вторгавшимися въ частную жизнь врага, соперники Байрона поспѣшили взять въ руки орудіе, которое онъ же далъ имъ противъ себя.

Къ изданію „Корсара“ было приложено небольшое стихотвореніе,—всего въ два куплета, — озаглавленное: „To a lady weeping“, Плачущей женщины. Они были написаны за два года передъ тѣмъ, въ 1812 г., стало быть, въ разгаръ славы „Гарольда“, и напечатаны въ газетѣ безъ подписи; авторъ, сумѣвшій сохранить анонимность, не былъ узнавъ, и стихотвореніе было приписано молвою Томасу Муру, имѣвшему уже репутацію политическаго вольнодумца съ окраской ирландскаго патріотизма. Байрону почему-то захотѣлось снять маску и подъ прикрытіемъ „Корсара“ признать эту вещицу, всего въ 8 стиховъ, своею собственностью. Но „плачущая женщина“, къ которой поэтъ обращался, была принцесса Шарлотта; ея горе, симпатичное автору, было вызвано упорнымъ нежеланіемъ правителя сдѣлать уступки народнымъ требованіямъ; надежда поэта, что она своими слезами искупитъ грѣхи и пороки отца, мѣтила прямо въ ненавистнаго Байрону принца-регента <sup>1)</sup>. Предлогъ для протестовъ противъ оскорбленія главы государства „безстыднымъ и вольнодумнымъ“ поэтомъ былъ найденъ, и по всей

<sup>1)</sup> „Я не писалъ эпиграммъ, которыя мнѣ приписываютъ,—говоритъ Байронъ въ одномъ изъ писемъ 1812 г.,—но еслибы мнѣ пришлось бросать въ кого-нибудь этими ручными гранатами, это было бы именно въ принца-регента“. Байронъ демонстративно навѣщалъ въ тюрьмѣ издателя журнала *Examiner*, радикала Ли - Гонта, арестованнаго за оскорбленіе принца въ ѣдко-остроумной статьѣ, переводившей на общепонятный языкъ лакейскости хвалы оды въ честь регента, явившейся въ *Morning Post*. Это была первая встрѣча Байрона съ Гонтомъ, сыгравшимъ впоследствии замѣтную роль въ его итальянскомъ періодѣ. Гонта выдержали въ тюрьмѣ два года.

консервативной печати пролился потокъ этихъ протестовъ, въ прозѣ, и въ особенности въ стихахъ. Байронъ былъ изумленъ тѣмъ, что „какихъ-нибудь *восемь* строкъ породили *восемь тысячъ* строкъ стихотворныхъ проклятій и ругательствъ“. Но и этого похода было мало; написанъ былъ пасквиль „Anti-Вугол“, въ которомъ собраны были и прежнія его дѣянія, и новыя вольности его поэмъ, выставляемыя верхомъ цинизма, безнравственности, либерализма и безбожія. Черезъ посредство Мэррея поэту удалось добыть въ рукописи этотъ доносъ; прочитавъ его, онъ посовѣтовалъ своему издателю взять на себя его печатаніе, и разсерженъ былъ его отказомъ. Но уже стало очевидно, что въ то время, какъ масса читателей еще предавалась восторгамъ, подкопъ былъ заложенъ и поворотъ общественнаго мнѣнія подготовлялся <sup>1)</sup>).

Авторъ „Восточныхъ поэмъ“—политическій вольнодумецъ,—что можно было придумать несправедливѣе этого упрека! Съ каждымъ новымъ произведеніемъ онъ нарушалъ традиціи „Гарольда“, и его поэзія нуждалась въ возстановленіи связей съ современностью. Другое дѣло—его интимныя убѣжденія. Письма и дневникъ говорятъ намъ, что онъ нисколько не измѣнилъ своихъ политическихъ взглядовъ. Запись въ дневникѣ 1813 г. отдаетъ рѣшительное предпочтеніе республиканской формѣ правленія, оплакиваетъ кратковременность существованія англійской республики и доходитъ до лирическаго восклицанія: „быть первымъ въ народѣ,—не диктаторомъ, не Суллой,—но Вашингтономъ, или Аристидомъ,—руководителемъ жизни въ силу справедливости и опираясь на талантъ,—участь, равняющая челоуѣка съ божествомъ!“ Если, наоборотъ, въ дневникѣ 1814 г. встрѣчается выходка, утверждающая, будто поэтъ „упростилъ свою политику рѣшительнымъ презрѣніемъ ко всѣмъ правительствамъ“, и что онъ, „какъ только была бы провозглашена повсемѣстная республика, способенъ превратиться въ защитника единоличнаго деспотизма“,—она является однимъ изъ тѣхъ парадоксовъ, которые, особенно въ минуты тяжелаго

<sup>1)</sup> Въ Британ. Музеѣ (Addit. manuscr. 31,037) есть чье-то (лорда Мэгона?) письмо къ Байрону, закликающее его сдѣлать первый шагъ къ примиренію съ принцемъ, и просить у него аудіенціи, которая несомнѣнно увѣнчается полнымъ успѣхомъ. Этого шага Байронъ не сдѣлалъ.

раздумья и разочарованія, вырывались у него, совершенно вразрѣзъ съ его поступками и неизмѣнными убѣжденіями. Иное дѣло—такой, тоже интимный, отзывъ: „Свобода,—я ея не знаю, нигдѣ я ея не видѣлъ“... Опытъ и наблюденія всей его молодости научили его среди всеобщаго застоя этой печальной истинѣ; онъ видѣлъ къ тому же, что, съ крушеніемъ Наполеона и насажденіемъ „добрыхъ сѣмянъ“ въ избавленной отъ него Европѣ, еще болѣе понизится значеніе того начала, которое онъ привыкъ считать величайшимъ благомъ. Въ побѣдахъ европейской коалиціи онъ отгадалъ торжество реакціи; вступленіе союзныхъ войскъ въ Парижъ обозвалъ рѣзкимъ словомъ: „воры въ Парижѣ!“—the thieves are in Paris!—„какъ якобинецъ“, отказался присутствовать при чествованіи Лудовика XVIII въ Лондонѣ; съ горестію воскликнулъ: „итакъ, всѣ надежды на республику во Франціи рушились!“; когда же Бурбоны возвратились къ власти, „ничему не научившись и ничего не позабывъ“, онъ въ негодovanіи остановилъ свой дневникъ и вырвалъ оставшіяся бѣлыя страницы. Вотъ послѣдняя его записъ, апрѣля 19, 1814: „Бурбоны возстановлены во власти!!! Повѣсьте же философію!.. 1) По истинѣ, долго я презиралъ и себя, и людей, но никогда не приходилось мнѣ плевать въ лицо ближнимъ! О, шутъ, я сойду съ ума!“ 2).

*Вольнодумства* Байрона въ эту пору отрицать нельзя. Для потомства оно ясно; порукою въ томъ служатъ недоступные его современникамъ письма и дневники,—даже стихотворенія политическаго содержанія, не проникшія тогда въ печать, особенно „Поѣздка дьявола“ (The devil's drive), написанная на мотивъ изъ Кольриджа 3), но смѣло и съ юморомъ, предвѣщающимъ „Донъ-Жуана“, освѣтившая современность „неоконченная рапсодія“. Желая развлечься, Люциферъ покидаетъ адъ, соскакиваетъ на землю, и тамъ „однимъ прыжкомъ изъ Москвы переносится во Францію“,—„но—спѣшитъ поправиться авторъ—я забылъ сказать, что когда онъ неся, онъ остановился на мгновеніе надъ полями лейпциг-

1) „Ромео и Юлія“, актъ III, 3.

2) „Король Лиръ“, II, 4.

3) „Die englische Romantik und Samuel Taylor Coleridge“ v. Alois Brandl. 1886, 119.

скаго сраженія, и сладостенъ былъ для разгорѣвшихся его глазъ видъ полей; съ наслажденіемъ смотрѣлъ онъ на покраснѣвшую отъ крови землю, и, дико захохотавъ, промолвилъ: „Кажется, здѣсь не очень нуждаются въ *моей* помощи!“ Отъ картинъ недавней битвы, отъ грудъ труповъ, дьяволъ отрывается, чтобъ очутиться, наконецъ, въ Англіи, пролетѣть по лондонскимъ улицамъ, войти въ парламентъ и осмѣять бездарныхъ и ничтожныхъ владыкъ и вождей политическаго міра. Всюду желчная иронія, рѣзкій смѣхъ... Но эти выраженія мнѣній поэта были закрытою грамотой для читателей и критики. Извлечь же доказательства вольнодумства изъ восточныхъ поэмъ съ ихъ чужеземными сюжетами, загадочными героями, кипучими страстями и ужасными злодѣяніями—можно только при умѣньѣ читать въ сердцахъ и извращать печатную строку, пока она не обнаружитъ желаемого смысла.

Такое же чтеніе въ сердцахъ и навязываніе вымышленныхъ намѣреній привело къ другому извѣту,—въ безнравственности и атеизмѣ. Но даже правовѣрный „Christian Observer“, порицая поэта за то, что онъ своихъ героевъ беретъ то изъ Ньюгѣта (тюремъ), то изъ Бедлама (дома сумасшедшихъ), призналъ тогда, что онъ никогда не изображалъ своихъ негодяевъ и изверговъ счастливыми, а напротивъ, надѣлялъ ихъ невыносимыми терзаніями и раскаяніемъ. Такимъ образомъ устранялось подозрѣніе въ проповѣди двусмысленной морали. Если такъ, то не должно ли было остаться въ силѣ порицаніе симпатій стихотворца къ борьбѣ съ обществомъ, хотя бы она и велась подъ флагомъ разбоя? Но чопорность въ такомъ вопросѣ была бы не къ лицу поколѣніямъ читателей и зрителей конца XVIII-го и начала XIX-го вѣка, привыкшимъ, благодаря Шиллеру и нѣсколькимъ второстепеннымъ поэтамъ, къ разбойничьимъ сюжетамъ въ романѣ и драмѣ; *личной* виновности Байрона тутъ нельзя было доказать. Что же оставалось за вычетомъ нелегальности героевъ и ихъ кающагося, психопатическаго состоянія? Повѣсть любви, тонко очерченная женская психологія, красивая этнографія, картины природы. Сколько нужно было коварства для того, чтобы *такую* поэзію выставить безнравственной и опасной!..

Поклонниковъ Байрона очень опечалило заявленіе, сдѣланное имъ при выпускѣ въ свѣтъ „Корсара“: это—его послѣднее произведеніе; на много лѣтъ онъ воздержится отъ литературной дѣятельности. То же рѣшеніе высказано имъ было во многихъ письмахъ того времени. По мѣрѣ того, какъ ожесточались нападки и клеветы, а хроническое возбужденіе нервной системы вѣчно взволнованною жизнью подрывало силы,—рѣшеніе это крѣпло, и являлось сознаніе невозможности работы. Опять хотѣлось уйти куда-нибудь, — на этотъ разъ въ Италію; приглашая съ собою друзей, Байронъ собирался „въ южномъ *Раю* написать *свой Адъ*“, пересказавъ все, что пришлось за послѣднее время пережить. По временамъ у него поднималось желаніе обличительнаго изображенія окружающаго общества; по свидѣтельству дневника 1813 г., онъ оставлялъ поэмы, для того чтобы писать *комедію* и *романъ*, но объ работы были имъ прерваны,—потому что выходили „слишкомъ близкими къ жизни, и много людей могли бы себя узнать“, — конечно, также и потому, что охота къ труду была парализована.

На душѣ было тяжело; въ дневникѣ встрѣчаются записи, говорящія о подавленномъ состояніи; одна изъ нихъ набросана наскоро утромъ, послѣ пробужденія отъ страшнаго сна, вызвавшаго тѣнь умершей женщины: „Какой сонъ!.. Ей не удалось овладѣть мною!.. Но я хотѣлъ бы, чтобы мертвецы мирно покоились!.. О, какъ стыла моя кровь!.. Я никакъ не могъ проснуться“, —и ему вспоминаются слова Ричарда III-го, пробуждающагося послѣ ночи страшныхъ видѣній. Нервы были настолько плохи, что даже сильныя эстетическія впечатлѣнія вызывали у него судорожные припадки—какъ это было послѣ потрясающей игры Кина. Все волновало, жалilo, возмущало,—частыя разочарованія въ любви, уколы литературной зависти и матеріальныя затрудненія. Печатапіе поэмъ не приносило выгодъ, потому что доходъ съ нихъ Байронъ предоставлялъ въ распоряженіе то того, то другого изъ нуждающихся или временно стѣсненныхъ своихъ товарищей по перу,—напр., одного изъ ветерановъ англійскаго радикализма, Годвина, когда-то извѣстнаго автора „Политической справедливости“, теперь старѣвшаго и опускавшагося. Не барская спесь, какъ думали многіе, а гуманность

заставляла его уклоняться отъ гонорара; готовность его активно помочь въ нуждѣ дошла до полнѣйшаго своего выраженія въ великодушной поддержкѣ, оказанной имъ въ болѣзненный періодъ „Корсара“ и „Лары“ одному изъ старыхъ товарищей. Годгсонъ рѣшительно не сходилъ съ нимъ во взглядахъ, настойчиво пытался его переубѣдить въ вопросахъ религіи, получалъ отъ него письма, полныя сарказмовъ <sup>1)</sup>,— но безденежье помѣшало его браку, онъ уже отказывался отъ счастья, и былъ растроганъ, получивъ, безъ всякой своей просьбы, отъ Байрона крупную сумму въ 1.500 фунтовъ. Мнимый мизантропъ и закоснѣлый эгоистъ занесъ притомъ въ дневникъ лишь краткую замѣтку о томъ, что „ему удалось сдѣлать счастливымъ одного человѣка“. Но щедрость не улучшала личныхъ дѣлъ Байрона, запутанныхъ со временъ студенчества и путешествія, и, конечно, не поправившихся во время „жизни подъ высокимъ давленіемъ“... „Кумиръ лондонскаго свѣта“ томился заботами и денежными дрязгами.

Выработанный имъ въ видахъ здоровья, а еще болѣе въ интересахъ эстетики,—чтобъ не дать развиться полнотѣ,—режимъ вегетаріанства и сложныхъ физическихъ упражненій не давалъ достаточныхъ силъ для житейской борьбы. Поддерживать организмъ должны были, какъ и прежде, возбуждающія средства; тогда это было въ ходу среди англійской молодежи, и если Байронъ не дошелъ, подобно даровитому, но загубившему себя Томасу Де-Квинси, до такихъ излишествъ, какія описаны были этимъ несчастнымъ въ извѣстныхъ „Признаніяхъ курильщика опиума“ <sup>2)</sup>, то былъ на пути къ нимъ; болѣзненные симптомы, испугавшіе впо-

---

<sup>1)</sup> Эти письма. (Letters, II, 18, 32, 34) очень характеристичны для оцѣнки переживавшагося въ то время повтормъ остраго кризиса религіознаго скептицизма. Онъ не хочетъ допустить безсмертія; жизнь такъ тяжка, что возрождаться, чтобъ снова жить, немислимо; въ смерти онъ видитъ „избавленіе отъ муки“. Онъ презираетъ богословскую, особенно сектантскую нетерпимость, готовъ быть скорѣе манихеемъ, спинозистомъ, послѣдователемъ Зороастра,—а всего яснѣе сознаетъ въ себѣ „языческій складъ міросозерцанія“. „Что намъ говорить съ вами о душѣ, восклицаетъ онъ подъ конецъ,—о той душѣ, которую облако можетъ погрузить въ меланхолію, а вино—въ безуміе!“

<sup>2)</sup> „Confessions of an opium eater, being an Extract from the life of a scholar“. 1821.



слѣдствіи его жену вскорѣ послѣ брака, въ значительной степени подготовлены были въ описываемую пору.

Это сложное патологическое состояніе послужило тою почвой, на которой возникло, словно вопреки волѣ поэта слѣдующее его произведение, „Лара“. Зарокъ былъ данъ не писать и не печатать ничего больше. Выпустивъ анонимно „Оду къ Наполеону“, Байронъ объяснялъ это нарушение клятвы выходящими изъ ряду вонъ политическими событіями, и нѣсколько казуистическимъ аргументомъ, что относительно анонима не было зарoka. Дѣйствительно, Байрону трудно было сохранить молчаніе при видѣ того, что должно было измѣнить судьбы всей Европы; событія отъ взятія Парижа и удаленія Наполеона на Эльбу до разгрома при Ватерлоо встрѣчены были имъ съ различными оттѣнками чувствъ и тревогой, сказавшимися и въ „Одѣ къ Наполеону Бонапарте“, выпущенной, какъ *pièce d'occasion*, отдѣльной брошюрой у Мэррея (1814),—и въ нѣсколькихъ стихотворныхъ отвѣтахъ на злобу дня, изъ предосторожности снабженныхъ оговоркой: „from the french“ (съ французскаго),—и въ замыкающей эту серію одѣ, вызванной ватерлооскимъ сраженіемъ <sup>1)</sup>. Первое изъ этихъ произведеній полно укоризнъ тирану, узурпатору, всесвѣтному завоевателю, второму Тамерлану, и радости при видѣ его паденія; Байронъ, не чуждый извѣстной слабости къ Наполеону, находилъ теперь, что онъ со сцены не сумѣлъ сойти съ достоинствомъ. Но, когда союзники восторжествовали, въ немъ взяло верхъ сознаніе, что поверженъ все-же сынъ революціи, а торжествуютъ носители мрака,—и послѣдняя ода уже полна состраданія...

Поэмы несомнѣнно включались въ зарокъ Байрона,—но вдругъ въ любезномъ письмѣ къ Роджерсу, съ выраженіями благодарности за присылку рукописи его поэмы „*Jacqueline*“, полной, по словамъ Байрона, изящныхъ и нѣжныхъ картинъ,

---

<sup>1)</sup> Издатель контрабанднаго сборника байроновскихъ произведеній, вызванныхъ семейнымъ разрывомъ (*Poems on his domestic circumstances by Lord Byron*, 1816), Вил. Гонъ, прибавилъ къ нимъ чье-то реторическое стихотвореніе „*Something about Gaul*“ на тему о судьбѣ Наполеона, выдавъ эту декламацию за байроновскую. Она перепечатана была въ статьѣ Wülcker'a „*Ueber Gedichte Lord Byron's*“ (*Berichte üb. die Verhandlungen d. Sächsischen Gesellschaft d. Wissensch.* 1898, II).

столь свойственныхъ его таланту,—пишущій прибавляетъ, что въ отвѣтъ посылаетъ ему свое новое произведение, въ которомъ, наоборотъ, отразилась склонность *его* дарованія къ ужасному и мрачному; прилагая къ себѣ выраженіе Макбета въ пятомъ дѣйствіи трагедіи, Байронъ говоритъ, что въ своей поэмѣ „вдоволь насытился ужасами“ (supped full of horrors). И эту мрачную импровизацію (какъ мы узнаемъ изъ другого его показанія) онъ написалъ въ самое шумное, безпорядочное время своего лондонскаго житья, когда, возвращаясь изъ свѣтскаго собранія, или одѣваясь для маскарада, набрасывалъ свои стихи...

Связей у „Лары“ съ дѣйствительностью нѣтъ вовсе. Анекдотическій разсказъ Гольта, повторенный Терезой Гвиччіоли, о встрѣчѣ поэта въ партеррѣ театра, въ Кальяри, съ какимъ-то мрачнымъ гидальго, подозрѣваемымъ въ убійствѣ,—*если онъ только въренъ*,—могъ дать лишь чисто внѣшній импульсъ. Байронъ выразился какъ-то, что въ этой поэмѣ, несмотря на испанское имя героя, дѣйствіе „происходитъ не въ Испаніи, а скорѣе всего на лунѣ“. Дана только въ самыхъ общихъ чертахъ рыцарская обстановка,—феодалы, вассалы, замки, турниры. Неопредѣленность всюду, и въ фабулѣ, и въ характерѣ героя. Критика, расположенная къ Байрону, но желающая сознательно изучить его произведение, теряется передъ множествомъ вопросовъ, такъ и остающихся открытыми. За чѣмъ ушелъ Лара когда-то на чужую сторону и скрылся тамъ?—спрашиваетъ она.—Совершилъ ли онъ въ молодости такой поступокъ, который онъ не могъ оправдать ни передъ собой, ни передъ судомъ другихъ людей? Почему онъ потомъ вернулся на родину? Оттого ли, что надъ нимъ тяготѣло новое преступленіе, совершенное во время его скитаній? Нельзя ли понять запутанное сцѣпленіе событій въ такомъ смыслѣ, что Лара когда-то вырвалъ силою дѣвушку, появляющуюся за нимъ потомъ всюду въ одеждѣ пажы, изъ рукъ враждебныхъ ему родныхъ, или постылаго жениха, или владыки въ родѣ наши Сеида, и что таинственный Эццелинъ хочетъ покарать его за это, а Лара избавляется отъ тягостнаго обличителя, убивъ его <sup>1)</sup>? Съ другой стороны, еще Джеффри, опи-

---

<sup>1)</sup> Kraeger, Der „Byronsche Heldentypus“, S. 41.

раясь на сдѣланный самимъ авторомъ во вступленіи къ поэмѣ намекъ, старался найти выходъ изъ недоумѣнія, принимая „Лару“ за продолженіе „Корсара“. Послѣ смерти Медоры, Конрадъ пропадаетъ безъ вѣсти, съ тѣмъ, чтобы всплыть на поверхность уже въ своей родной странѣ, подъ настоящимъ своимъ именемъ, и замѣнить разбойничье ремесло ролью феодальнаго владѣльца. Такой выходъ, конечно, многое упростилъ бы, но поэтъ допускаетъ въ предисловіи лишь „*нѣкоторую* связь между обоими произведеніями“ (the stories are in some measure connected), и сходство колорита, указывая на совершенную перемѣну условій, въ которыя поставлены оба характера.

Несмотря на отголоски изъ предшествовавшей поэмы, приходится счесть „Лару“ кошмаромъ, пригрезившимся поэту подъ сложнымъ вліяніемъ житейскихъ невзгодъ и ипохондрическихъ настроеній, удивлявшихъ его самого, когда они проходили. Въ болѣе свѣтлыя минуты онъ шутливо относился къ своему творенію, переполненному мракомъ. Когда „Лара“ явился вмѣстѣ съ поэмой Роджерса въ одной книгѣ, Байронъ часто обозначалъ ихъ обоихъ подъ уменьшительными именами; въ его перепискѣ они живутъ подъ кличками: *Larry* и *Jacqui*; въ эти минуты Ларри какъ будто казался ему отбившимся отъ остальной группы его героевъ зловѣщимъ созданіемъ, натворившимъ чрезмѣрное количество злодѣяній. Въ самой цитатѣ изъ „Макбета“, гласящей буквально, что онъ до пресыщенія поужиналъ ужа-сами, также какъ будто чувствуется ироническое отношеніе къ тому, до чего довела поэта его фантазія.

Безъ повтореній нельзя было обойтись. Снова тянется передъ читателемъ знакомая печальная повѣсть рано испорченной души, отравленной еще въ безпомощные годы, преданной, благодаря одиночеству и сиротству, всевозможнымъ соблазнамъ,—обычный автобіографическій и покаянный мотивъ, вводившійся тогда Байрономъ въ его фабулы. Потомъ идетъ также знакомая внѣшняя характеристика героя: онъ вѣчно въ сторонѣ отъ людей, съ печатью глубокой меланхоліи на челѣ; какъ Печоринъ, унаслѣдовавшій эту черту отъ него, онъ могъ смѣяться губами, въ то время какъ глаза его не смѣялись:

That smile might reach his lip, but pass'd not by,  
None e'er could trace his laughter to his eye.

Состояніе его духа мрачно. На совѣсти его какъ будто нѣтъ душегубства, какъ ремесла. Ожесточенное и мстительное отношеніе къ людямъ, подробнѣе чѣмъ когда-либо, мотивировано вынесенными разочарованіями и обманами; зато муки совѣсти мелодраматически сосредоточены на какомъ-то одномъ неслыханномъ и страшномъ преступленіи. Память о немъ гонится за злодѣемъ всюду, удручаетъ его галлюцинаціями; стѣны его замка, увѣшанныя реликвіями его семьи, дышатъ преступностью, напоминаютъ бывше ужасы, совершенные его предками и предопредѣлившіе его грѣхи. Грозное видѣніе, явившееся ему ночью, вызываетъ бредъ наяву, борьбу, вопли, обморокъ, похожій на смерть. Но необузданная, мстительная натура не смиряется этими терзаніями отравленной совѣсти. Эццелинъ загадочно погибаетъ въ тотъ самый день, когда всенародно долженъ былъ изобличить Лару; вступившійся за отсутствующаго рыцарь Отонъ повергнуть Ларой въ бѣшеномъ поединкѣ на землю и тяжело раненъ <sup>1)</sup>). Всюду оставляетъ за собой слѣдъ крови, злобы и преступленія герой, освѣщенный фосфорическимъ свѣтомъ „демонизма“.

Вторая пѣснь поэмы вводитъ новыя черты въ знакомый образъ великаго грѣшника. Развязка его жизни близится, но разыграется она не среди разбоя или грабежа, и не на дуэли, — а въ неожиданной обстановкѣ народнаго возстанія противъ тираніи феодаловъ. Возстаніе это лишено реальности, описанію его развитія недостаетъ живости и яркости; холодность красокъ поражаетъ у поэта, котораго, казалось, послѣ прежнихъ симпатій къ народной борьбѣ за вольность, должна бы электризовать подобная тема. Во главѣ возставшихъ становится Лара, но имъ руководить не любовь къ свободѣ, и онъ поддерживаетъ требованія толпы только для того, чтобы сломить гордыню ненавидящей его знати; потомокъ крѣпостниковъ, онъ принимаетъ на себя роль демагога. Авторъ уже отмѣтилъ въ немъ роковую, гипнотическую способность за-

<sup>1)</sup> Последний издатель *Лары* (*Works, Poetry, III, 351*) указываетъ на любопытное совпаденіе этого мѣста съ мелодраматическою сценой ... въ сенсационныхъ „Удольфскихъ Тайнахъ“ м-ссь Ретклиффъ. Можно ли было дальше зайти въ погонѣ за сильными эффектами!

владѣвать душою тѣхъ, кого судьба близко сведетъ съ нимъ. эта власть проявляется теперь надъ толпой.

Все, дотогдѣ рассказанное и описанное, дѣйствительно могло произойти „на лунѣ“, или въ страшной „зимней сказкѣ“; художественной силѣ рассказчика негдѣ было проявить себя. Но съ той минуты, когда смертельно раненый Лара, обливаясь кровью, разстается съ своею грѣховною жизнью, эта сила возвращается къ поэту и заканчиваетъ блѣдное произведеніе удивительно задумчивыми, трогательными строфами. На изнуреннаго судьбою Лару нисходитъ наконецъ покой. Передъ нами несчастный страдалецъ, котораго покинули злые духи мести, властолюбія и самоуправства. Свѣтлыя воспоминанія о далекомъ прошломъ, прожитомъ *на востокѣ*, манять и утѣшаютъ его. О нихъ онъ шепчется съ загадочнымъ своимъ спутникомъ, пажомъ Каледомъ, пришельцемъ изъ тѣхъ дальнихъ странъ; о нихъ идетъ его тихая рѣчь на понятномъ лишь Каледу чужеземномъ языкѣ; о нихъ говорятъ долгіе прощальные взгляды, которыми обмѣнялись они передъ послѣдней разлукой. Въмѣсто дикой агоніи, которую для развязки могъ бы внушить мелодраматизмъ, примирительное впечатлѣніе затихающей душевной боли вызываетъ невольную симпатію къ умирающему; читатель отгадаетъ въ немъ, пожалуй, опять неудачника, испорченнаго жизнью, но стоявшаго лучшей участи. Склонившійся надъ Ларой съ безконечной нѣжностью пажъ подтверждаетъ это своей привязанностью. До послѣдней минуты поэтъ хранить его тайну, и только когда Лары не стало, при видѣ неутѣшнаго горя юноши, даетъ разгадку— всего въ двухъ, трехъ словахъ: „Что значить теперь *для нея* и женственность, и людская молва!“ — и характеръ „Каледа“ украсилъ собою галерею Байроновскихъ героинь.

Впечатлѣніе, произведенное поэмой, могло быть лишь двойственнымъ. Красоты послѣднихъ строфъ плѣняли; меланхолія личныхъ изліяній, введенныхъ въ характеристику героя, вызывала какъ и прежде, извѣстное настроеніе. Но недостатки дѣйствовали сильнѣе. Любимыхъ картинъ восточной природы и быта не было. Избытокъ „ужасовъ“, возросшій отъ поэмы къ Поэмѣ, начиналъ удручать; безсмѣнная центральная фигура съ печатью Каина, демоническими

страстями и уголовнымъ прошлымъ, обличала въ авторѣ болѣзненную манію. Наконецъ, все разраставшаяся сплетня нашла въ тѣхъ мѣстахъ поэмы, гдѣ слышался ей слишкомъ явно голосъ самого автора, новыя доказательства своей правоты, утверждала, что Лара — вѣрнѣйшій портретъ поэта, безцеремонно навязываемый имъ читателямъ, и негодовала на развращенность и безстыдство. А въ немъ, каждый разъ, какъ до него доходили эти негодующіе пересуды, поднималось желаніе еще болѣе изумить и испугать толпу намеками на свою душевную черноту; „мнѣ кажется, люди въ массѣ любятъ, когда имъ противорѣчатъ“, — писалъ онъ въ 1814 г. (Letters, III, 26), а В.-Скоттъ съ большою наглядностью изображалъ ходъ такихъ мыслей въ своемъ другѣ: „А! вы отворачиваетесь отъ меня, какъ отъ порочнаго человѣка, — говоритъ современникамъ Байронъ, — подождите же, вы услышите отъ меня рѣчи еще страшнѣе прежнихъ“. Это была во всякомъ случаѣ игра съ огнемъ. У этой странной потѣхи скоро явилась печальная развязка.

Въ письмахъ 1813—15 годовъ много грусти и недовольства собой. Несчастливая въ замужествѣ м-ссъ Мэстерсъ, когда-то его *Мэри* Чэвортъ, своими посланіями возбуждаетъ въ немъ печальныя воспоминанія; теперь она называетъ его „своимъ дорогимъ другомъ“, говоритъ о былыхъ дняхъ, какъ о „счастливейшихъ во всей ея жизни“, увѣряетъ, что „часто вспоминаетъ и жалѣетъ о нихъ“. Онъ ѣдетъ отыскивать ее въ провинціи и переживаетъ тяжелыя минуты. Въ другой разъ онъ исчезъ изъ Лондона, чтобъ убить время сначала въ напряженныхъ физическихъ упражненіяхъ, потомъ въ пирахъ съ веселой братіей „за клэретомъ и шампанскимъ съ шести часовъ вечера до пяти утра“. Подъ конецъ онъ пересталъ показываться въ обществѣ. Въ особенности его утомляло и раздражало поклоненіе женщинъ, соперничество ихъ изъ-за него; поднималось желаніе покоя и — домашняго очага. Взоръ искалъ привѣтливаго, искренняго лица и не встрѣчалъ его. „Я исправлюсь, я женюсь, — если только кто-нибудь захочетъ взять меня“, — *такія* рѣчи слышатся теперь отъ него... Но кто же будетъ избранницей? Можно ли повѣрить его опасенію холодности и равнодушія къ его брачнымъ планамъ?

Одна изъ свидѣтельница его тогдашней свѣтской жизни, m-rs Piozzi, говоритъ, что его обаяніе на женщинъ было еще необыкновенно сильно: „еслибъ только онѣ узнали, что онъ ищетъ себѣ жену, ему бы стоило платокъ бросить“... Иногда онъ втолковывалъ себѣ, что въ подобномъ дѣлѣ личность безразлична. „Я женюсь,—пишетъ онъ Муру,—*мнѣ все равно на комъ*“. Но на него можно было также и вліять. Муръ, встревоженный безпросвѣтной меланхоліей его писемъ, является неожиданно въ роли свата, настаиваетъ на томъ, чтобъ онъ сдѣлалъ предложеніе дѣвушкѣ, которая за послѣднее время болѣе всѣхъ ему нравится,—лэди Аделаидѣ Форбсъ; Байронъ уже ищетъ возможности интимнаго объясненія съ нею. Сестра Августа указала ему еще на кого-то; онъ попытался сблизиться,—и печально-юмористическій отвѣтъ на письмо сестры воспроизводитъ сцену между молодыми людьми, въ которой Байронъ играетъ роль смущеннаго, чуть не безсловеснаго поклонника... Въ этотъ обострившійся періодъ нерѣзительности и безволія ему вспомнилось существо, совсѣмъ не похожее на столичныхъ красавицъ и модныхъ львицъ, скромно скрывающееся въ провинціальной глуши, и показавшееся ему при встрѣчѣ прелестнымъ полевымъ цвѣткомъ,—Аннабелла (т.-е. Анна-Изабелла) Мильбанкъ.

О ней онъ давно уже слышалъ. Въ первый разъ упоминаетъ онъ ея имя еще 25 августа 1811 г., съ сочувствіемъ сообщая слухъ о томъ, что она упростила свою семью дать въ одномъ изъ деревенскихъ коттеджей пріютъ обнищавшему поэту-самородку Джозефу Блакетту, который могъ провести у нея тихо и безбѣдно свои послѣдніе дни. Мѣсяцевъ черезъ восемь послѣ того уже устанавливаются между ними личныя сношенія, и, по ироніи судьбы, виновницей ихъ знакомства и сближенія является Каролина Ламъ, не подозревавшая, что сводитъ любимаго человѣка съ своей разлучницей. Лэди Каролина, по просьбѣ дѣвушки, была посредницей между великимъ поэтомъ и его скромнымъ собратомъ — новичкомъ: Аннабелла тоже писала стихи; сборникъ ихъ переданъ былъ Байрону. Второе упоминаніе о будущей женѣ есть критическій разборъ ея стихотворныхъ упражненій, занимающій собой почти все письмо къ лэди

Ламъ, отъ 1 мая 1812. Онъ „со вниманіемъ прочелъ ея стихотворенія; въ нихъ видны воображеніе, чувство; „еще нѣсколько навыка, и у нея выработается гибкій слогъ“. Переходя къ частностямъ, онъ иногда расходится во вкусѣ и пріемахъ съ авторомъ, но нѣкоторыя строфы называетъ „очень хорошими“, другія (подъ условіемъ небольшихъ перемѣнъ)—даже „отличными“. Нѣтъ ли у нея еще стиховъ?—спрашиваетъ онъ, очевидно заинтересованный. „Я убѣждаюсь въ томъ, что эта дѣвушка—совершенно необычное явленіе; кто могъ бы ожидать столько силы и разнообразія въ стихотвореніяхъ при такой безмятежной внѣшности!“ Письмо заканчивается неожиданнымъ заявленіемъ: „я не имѣю желанія ближе познакомиться съ нею; она слишкомъ хорошій человекъ для такого *падашаго духа*,—*fallen spirit*,—какъ я; я бы лучше къ ней относился, если бы она не была такимъ совершенствомъ“.

Очевидно, они уже встрѣчались, и мимолетное впечатлѣніе было дополнено свѣтскими слухами и рассказами ея родныхъ, чей кругъ соприкасался съ привычными Байрону лондонскими слоями. Впечатлѣніе, произведенное ею, поэтъ передавалъ впослѣдствіи Мэдвину въ такихъ выраженіяхъ: „въ миссъ Мильбанкъ было что-то пикантное; къ ней можно было приложить названіе хорошенькой. Черты ея лица были тонки и женственны, но неправильны. Сложеніе ея гармонировало съ ея ростомъ. Въ ея привычкѣ держать себя видна была своеобразная простота, сдержанность, скромность, составлявшая пріятный контрастъ съ холодной, искусственной формальностью и заученной чопорностью, которую величаютъ модой“. Но это было внѣшнее впечатлѣніе, произведенное *женщиной*; за ея миловидной простотой скрывалась, однако, не наивность деревенской барышни, выросшей на волѣ, а многосторонняя даровитость, и вмѣстѣ съ литературными вкусами—даже ученость, почти переходившая въ педантизмъ. „Полевой цвѣтокъ“, при ближайшемъ изученіи, превращался въ *bas bleu*; впослѣдствіи онъ слылъ у Байрона подъ ироническими названіями „математической Меден“ и „принцессы параллелограммовъ“, — наконецъ сталъ „высоконравственной Клитемнестрой“... Аннабелла была прекраснымъ математикомъ, знала древніе языки, особенно гре-



ческий. Никогда еще Байронъ не встрѣчалъ такой женщины. Но не одною эрудиціею удивляла его дѣвушка; въ ея взглядахъ и сужденіяхъ чувствовалась искренняя религіозность, ея отношенія къ людямъ и жизни были проникнуты нравственной требовательностью и идеею долга. Старые ея родители, баронетъ сэръ Рольфъ и его жена, съ поддержкой воспитательницы и друга дома, мистриссъ Клирмонтъ, выдержали свою единственную дочь въ этихъ, почти пуританскихъ убѣжденіяхъ, нарочно въ сторонѣ отъ большого свѣта, куда доступъ для Аннабеллы былъ, при ея связяхъ, широко открытъ. Она берегла свою душевную чистоту, любила деревенское затишье своего Сигэма (Seaham), „служила музамъ“, зная, что тамъ, вдали, въ шумномъ и развратномъ Лондонѣ,—точно на Бэнъяновской „Ярмаркѣ Суетности“, — кипитъ постылая ей жизнь. Какъ же не почувствовать смущенія при видѣ такихъ „совершенствъ“ тому, кто пропитанъ былъ, казалось, интересами этой жизни, какъ не поникнуть головою „падшему ангелу“ передъ небесною дѣвой!.. Долго потомъ чувствуется смущеніе и покаяніе въ тонѣ писемъ и дневника Байрона: *она*—такъ добра, благородна, а *я*—такъ отягченъ грѣхами!

Но крайности притягивались; по мѣрѣ того, какъ поправившійся ему сразу „контрастъ простоты и сдержанности“ съ свѣтской фальшью выяснялся передъ нимъ, онъ забывалъ первоначальный отказъ отъ близкаго знакомства съ дѣвушкой. Сближеніе установилось, и очень оригинальное: любви не было ни съ чьей стороны,—объ этомъ опредѣленно говорить Байронъ въ дневникѣ 1813 г.,—„without one spark of love on either side“; было много разсудочности, интереса узнать ближе прямую свою противоположность, много запросовъ на мирныя, гармоническія впечатлѣнія. Одна изъ великосвѣтскихъ знакомыхъ миссъ Мильбанкъ, герцогиня Девонширская <sup>1)</sup>, тщетно прочившая ее за своего сына, отказалась отъ брачныхъ плановъ съ неудовольствіемъ, находя такую молодую дѣвушку „совершенно непостижимую, холодною, точно кусокъ льда“. Если это наблюденіе было вѣрно,

---

<sup>1)</sup> Объ ея позднѣйшихъ сношеніяхъ съ Байрономъ см. „The two duchesses of Devonshire“, etc., by Vere Foster.

то въ самомъ рѣзкомъ контрастѣ, какой только можно вообразить, судьбою сопоставлены были теперь „ледъ“ и „пламень“. Этого мало: новѣйшія данныя, раскрывшія душевное состояніе жены Байрона во время разрыва, убѣждаютъ въ томъ, что лицомъ къ лицу стояли двѣ далеко не нормальныя, нервныя натуры, что подъ изящнымъ ледянымъ покровомъ скрывался въ дѣвушкѣ такой запасъ тревоги, мнительности, ревности, безволія, который былъ подавленъ строгой выправкой и чиннымъ воспитаніемъ, но рѣзко проявился, какъ только началась личная женская жизнь.

При пуританствѣ ея вкусовъ, Аннабеллу интересовало видѣть въ числѣ своихъ поклонниковъ перваго изъ современныхъ поэтовъ; правда, съ его славой была неразлучна преувеличенная репутація безнравственнаго и демонически опаснаго человѣка, но она не пугала, а еще болѣе влекла къ нему, и не по грѣховной прелести соблазна, но изъ-за высшихъ этическихъ цѣлей: Байронъ высказывалъ въ послѣдствіи убѣжденіе, что миссъ Мильбанкъ надѣялась спасти и исправить его... Къ изяществу, учености и сердоболію, однако, присоединилась еще одна очень существенная черта,—зажиточность, если не богатство. Для человѣка, переживавшаго финансовый кризисъ, печально остря надъ денежными неурядицами, „фамильнымъ недугомъ въ роду Байроновъ“, подобная партія могла бы явиться спасительнымъ исходомъ. Защитникамъ поэта много разъ приходилось отстаивать его память отъ подозрѣній въ разсудочной и выгодной женитьбѣ, — подозрѣній, которыя могли, между прочимъ, опираться на высказывавшееся Байрономъ и прежде, сгоряча, рѣшеніе поправить дѣла бракомъ съ „золотой куклой“. Такой ближайшій къ поэту человѣкъ, какъ Гобгоузь (въ послѣдствіи лордъ Броутонъ), посвященный въ его помыслы и намѣренія, энергически протестовалъ всегда противъ намековъ и предположеній этого рода <sup>1)</sup>. Да и Байронъ, извѣщая Мура о своей помолвкѣ, выразился очень

1) Объ этомъ подробнѣе у Roden Noel, „L. Byron“, 1890, pp. 90 et passim.—Въ неизданномъ письмѣ къ Августу Ли (Рукоп. Брит. Музея, additional manuscripts, 31,037), по поводу статьи въ „London Magazine“, 1824, X, „Характеристика Байрона“, Гобгоузь опредѣленно говоритъ: „Byron did not marry from mercenary motives“.

опредѣленно: „говорять, будто она можетъ разсчитывать на наслѣдство, но я объ этомъ ничего точнаго не знаю и не стану развѣдывать. Знаю только, что у нея много дарованій и превосходныхъ качествъ, и вы не станете оспаривать серьезности ея рѣшенія, когда узнаете, что она отказала шести женихамъ, и согласилась выйти за меня“. Дѣйствительно, если бы могла тутъ итти рѣчь о „золотой куклѣ“, то слѣдовало бы отыскать литую изъ чистаго золота. Достатки сэра Рольфа Мильбанка были вовсе не изъ ряду вонъ, наслѣдство послѣ дяди терялось еще въ туманѣ будущаго; затрудненія данной минуты почти ни въ чемъ не измѣнились послѣ брака,—и съ чести Байрона можно снять застарѣлый поклѣпъ.

Въ первый разъ онъ посватался осенью 1812 года, и встрѣтилъ отказъ. Традиція говоритъ, что онъ исходилъ отъ родителей дѣвушки, испуганныхъ (какъ старики Гончаровы относительно Пушкина) одною уже мыслью, что ихъ голубка можетъ соединить свою судьбу съ такимъ погибшимъ человекомъ. Запись въ дневникѣ 1813 г., которая уже сказала намъ объ отсутствіи любви съ обѣихъ сторонъ, вполне подтверждаетъ это преданіе. Поэтъ только-что получилъ отъ Аннабеллы письмо; по всему видно, что послѣ отказа, навязаннаго свыше, переписка между молодыми людьми не прекратилась. Онъ высказываетъ цѣлый рядъ похвалъ ей. Письмо ея „очень мило“, она—„выдающееся существо“, „совсѣмъ почти не испорченное“; она — „поэтъ, математикъ, метафизикъ, и при всемъ этомъ добра, благородна, деликатна, почти безъ всякихъ притязаній“. „Какъ странны наши отношенія и наша дружба, завязавшіяся *при такихъ обстоятельствахъ*, которыя обыкновенно порождаютъ холодность съ одной стороны, и отвращеніе — съ другой!“ — восклицаетъ поэтъ.

Прошло потомъ ровно два года; казалось, „демонъ страсти“ (the demon of passion) совсѣмъ овладѣлъ Байрономъ; любовь, слава, борьба, вражда, пронеслись въ его жизни, но воспоминаніе о той, съ кѣмъ фантазія когда-то посулила равное и свѣтлое счастье, не изгладилось. Измученнаго и пресыщеннаго человѣка снова повлекло къ прежнему замыслу, и въ сентябрѣ 1814 г. онъ сдѣлалъ вторичное предложеніе,

на которое отвѣтили согласіемъ. Другая изъ многочисленныхъ легендъ, опутавшихъ исторію брака и семейной жизни Байрона, утверждаетъ, что первая неудача сильно отдалила его отъ Аннабеллы, внушила недоброе чувство къ ней, вполнѣдствіи быстро разгорѣвшееся; что новое домогательство ея руки было слѣдствіемъ одного лишь упрямаго желанія поставить на своемъ, подчинить непокорную, и что полученное, наконецъ, согласіе не доставило ему никакой отрады. Джефрсонъ прибавилъ къ этому еще басню, будто возобновленію сватовства содѣйствовала тетка дѣвушки, лэди Мэльборнъ, старая, умная и глубоко уважаемая Байрономъ; она желала спасти его отъ нравственнаго паденія, разобщить его съ Каролиной Ламъ, также ей близкой, и этимъ путемъ возстановить семейное счастье въ домѣ ея мужа <sup>1)</sup>. Это показаніе разбивается въ послѣдней своей части тѣмъ, что въ данную минуту Байронъ и Каролина давно уже разошлись; вмѣстательство доброжелательной свѣтской свахи только поддержало рѣшеніе, самостоятельно принятое Байрономъ. Что тутъ не было упрямства, недобраго чувства къ невѣстѣ за то, что ее пришлось брать долгой осадой,—показываетъ, прежде всего, письмо поэта, двѣ недѣли спустя послѣ помолвки, въ которомъ онъ выражаетъ искреннее сожалѣніе: „это должно было бы случиться два года тому назадъ,—отъ сколькихъ потрясеній оно бы меня избавило!“—затѣмъ, *цѣлая серія писемъ Байрона къ невѣстѣ*, оглашенная впервые только лѣтомъ 1899 года, и потомъ такъ поздно предназначенныхъ (вѣроятно, послѣ колебаній и сомнѣній) къ обнародованію внукомъ поэта, что издатель лишенъ былъ возможности вставить ихъ въ хронологической связи съ остальными письмами изъ той поры и помѣстилъ нѣкоторые изъ нихъ въ видѣ приложенія въ концѣ тома.

Въ этихъ письмахъ, постепенно дѣлающихся все нѣжнѣе (сначала нѣтъ прямого обращенія, потомъ появляется ласковое „my dear friend“, наконецъ—„my love“, любимая моя), сбережено много любопытныхъ автобіографическихъ показаній. Очевидно, дѣвушка прислала ему выдержки изъ своихъ дневниковъ 1812 года, и онъ увидалъ, до чего ее сначала

---

<sup>1)</sup> Jeaffreson, „The real Lord Byron“, 1883, II, глава 3.

пугала его репутация „злого духа“, „evil spirit“,—онъ успокоиваетъ ее. „То не былъ мой истинный характеръ. Я тогда только-что вернулся изъ далекой страны, гдѣ жизнь была иная. Все мнѣ было чуждо, и я чувствовалъ себя совсѣмъ несчастливымъ въ отечествѣ, которое покинулъ безъ сожалѣнія и снова увидалъ безъ всякаго интереса. Я замѣтилъ, что сталъ, не знаю почему, предметомъ общаго любопытства, которое не желалъ возбуждать. Мой умъ и мои чувства были къ тому же охвачены заботами, не имѣвшими ничего общаго съ кругами, въ которыхъ я вращался,—не удивительно, что я казался отталкивающимъ и холоднымъ“. Въ другомъ письмѣ онъ сообщаетъ невѣстѣ о результатѣ только-что окончившагося изслѣдованія его черепа извѣстнымъ въ то время краниологомъ Шпурцгеймомъ. Осмотръ показалъ, что способности и наклонности у Байрона необыкновенно сильно выражены, но съ постояннымъ контрастомъ: добрымъ влеченіямъ соотвѣтствуютъ, на противоположной сторонѣ, столь же выпукло обозначившіяся—дурныя; „если вѣрить ему,—объясняетъ Байронъ,—во мнѣ добро и зло находятся въ постоянной борьбѣ; молитесь небо, чтобы зло не восторжествовало“, и въ духѣ этого признанія онъ не скрываетъ того, что въ глазахъ дѣвушки навѣрно могло бросить на него тѣнь. Дважды касается онъ важнаго для нея вопроса о религіи, и признается въ равнодушіи къ ней; вспоминаетъ о томъ, какъ въ Патрасѣ, находясь при смерти, онъ настойчиво отвергалъ вмѣшательство священника; „никогда еще изъ этого источника не извлекалъ онъ для себя утѣшенія“. Заводитъ онъ съ умысломъ рѣчь и о различіи ихъ натуръ: „неужели вы думаете, my love, что счастье зависитъ отъ сходства характеровъ?“—спрашиваетъ онъ и рѣшаетъ вопросъ въ пользу обоюднаго воздѣйствія супруговъ и мягкаго вліянія жены. „Теперь онъ понимаетъ, что былъ слишкомъ молодъ, когда впервые сдѣлалъ ей предложеніе, теперь онъ гордится ея отказомъ (rejection). Онъ не могъ бы представить худшаго для себя бѣдствія, чѣмъ сознаніе, что онъ сдѣлалъ ее несчастною“. Если бы онъ „могъ предвидѣть, что ея жизнь будетъ связана съ его судьбой, если бы онъ имѣлъ малѣйшую надежду на это, онъ усиленно работалъ бы надъ собой и исправился бы“. Его мнѣніе о ней

проникнуто уваженіемъ и симпатіей. Она „почти единственная представительница ея пола, которую онъ уважаетъ; только *два раза* видѣлъ онъ передъ собой олицетвореннымъ идеаль женщины,—первая встрѣча произошла въ ранней юности и на взаимность было безумно рассчитывать, вторая свела его съ Аннабеллой“ <sup>1)</sup>.

Ему казалось, что чувство его къ ней—любовь; онъ не разъ спрягаетъ глаголъ, которому на дѣлѣ здѣсь не было мѣста („я *люблю* ее,—пишетъ онъ Годгсону, —и надѣюсь, что она будетъ счастлива“). Но вѣдь самъ же онъ говорилъ ей, что „никогда не могъ существовать безъ привязанности“; такимъ образомъ пришло бы всѣ многочисленныя его увлеченія подвести подъ то же понятіе о *любви*... Его ли сердечный тонъ и искреннее желаніе сдѣлаться достойнымъ ея, перемѣнить складъ жизни, или же, несмотря на ледовитость темперамента, свободно зародившееся въ ней влеченіе, повліяли,—но и Аннабелла испытывала теперь что-то, принятое ею за любовь. Въ этомъ духѣ писала она подругамъ о своемъ счастьѣ; глядя на сіяющую и расцвѣтшую дочь, въ томъ же духѣ сообщали близкимъ о своей семейной радости ея родители въ случайно сберегшейся ихъ перепискѣ. Въ любопытномъ письмѣ къ другу Байрона, Годгсону, невѣста поэта ласково искала сближенія, такъ какъ „другъ лорда Байрона не можетъ быть ей чужимъ“ <sup>1)</sup>.

Совсѣмъ тихо, въ деревенской обстановкѣ Сигэма, отпразднована была свадьба (2 янв. 1815 г.); изъ друзей поэта былъ только неизмѣнный Гобгоузъ; послѣ церемоніи, молодые тотчасъ уѣхали въ Гольнэби, въ Йоркшэрѣ. Письма за все первое время брачной жизни полны тѣхъ же отголосковъ счастья и—любви. Байронъ называетъ жену ласковымъ словечкомъ „Bell“; она „полна здоровья и постоянно въ прекрасномъ расположеніи духа“; когда они гостили у родителей, не мало было всякихъ шалостей,—однажды онъ явился въ длинномъ парикѣ своей тещи и въ шлафрокѣ, вывернутомъ наизнанку, она—въ его дорожной шляпѣ, сюртукѣ, съ

<sup>1)</sup> Letters, III, pp. 137, 151, 157, 159, 398, 402, 406, 468.

<sup>2)</sup> Memoirs of the reverend Francis Hodgson, scholar, poet and divine, by his son, rever. James Hodgson. London, 1878, 297.

усаами и бакенбардами. На постороннихъ ихъ дружная жизнь производила пріятное впечатлѣніе. Сестра поэта писала Годгсону, что „никогда не слыхала и не читала о такомъ, полномъ совершенствѣ, человѣкѣ, какъ жена ея брата“; она „не могла даже надѣяться, что подобное существо будетъ ему послано судьбою“. Лэди Мильбанкъ, недѣли черезъ три послѣ свадьбы дочери, писала: „оба они здоровы и такъ счастливы, какъ только можетъ дѣлать людей счастливыми молодость и любовь“. Наконецъ, и Байронъ, шутливо цитируя слова Свифта, утверждавшаго, что „никогда ни одинъ *мудрый* человѣкъ не женился“, заявлялъ, что, по его мнѣнію, для *мупцовъ* это—наиболѣе блаженное состояніе.

Поэзія тоже явилась отраженіемъ новаго фазиса въ судьбѣ Байрона. Первое же письмо послѣ свадьбы упоминаетъ о готовой къ печати рукописи „Еврейскихъ мелодій.“ Онѣ написаны были, стало быть, еще во время пролога къ браку. Незадолго передъ тѣмъ Киннэрдъ познакомилъ Байрона съ талантливымъ еврейскимъ музыкантомъ Натаномъ, много писавшимъ и для сцены, и для салоннаго пѣнія, къ тому же мастерски исполнявшимъ свои романсы. Они близко сошлись, и Натанъ искренно привязался къ поэту (Байрона тронула потомъ его преданность, когда пришлось покинуть Англію навсегда, и всѣ отвернулись отъ него). Даровитость Натана плѣнила Байрона, и онъ охотно исполнилъ просьбу композитора написать ему рядъ текстовъ для переложенія на музыку. Книга Іова и Псалмы дали фонъ и темы; общій колоритъ внушили еще не заглохшія впечатлѣнія Востока. Много передуманнаго и испытаннаго самимъ поэтомъ (наприм. смерть Тирзы, по всей вѣроятности вспомнута въ стихотвореніи „Oh! snatched away in beauty's bloom“) облеклось въ еврейскій нарядъ и прошло подъ маской Давида, Саула или Самуила, какъ проходило недавно, скрытое подъ псевдонимами героевъ поэмъ. Съ другой стороны, душевное состояніе библейскихъ личностей было отгадано съ немалымъ психологическимъ мастерствомъ.

Исполняя скромное призваніе заказаннаго романснаго текста, „Еврейскія мелодіи“ мѣстами поднимались до художественной высоты, какая вообще въ ту пору могла быть достигнута Байрономъ. Въ стихотв. „When coldness wraps

this suffering clay“, неожиданно-величественно раскрывается судьба души, покинувшей остывшій трупъ, носящейся среди сферъ, свободной отъ добра и зла, чистой и вѣковѣчной. Вариация на тему о „суетѣ суетъ“ построена на личномъ, Байроновскомъ сопоставленіи блеска, славы, когда-то испытанныхъ и очаровывавшихъ Байрона, съ крушеніемъ и разочарованіемъ; лютаѣя амѣя обвилась вокругъ его сердца, и ничто не въ силахъ зачаровать ее, какъ смиряютъ на землѣ жалкихъ пресмыкающихся. Въ прославленной импровизаціи: „Душа моя мрачна“, фантазія устремилась въ область психоза и словно хочетъ нѣжными звуками арфы смягчить и успокоить болѣную душу. На первый взглядъ, это—странная поэзія для кануна свадьбы, для свѣтлаго настроенія; но она и не проникала особенно глубоко въ сознаніе автора и явилась, прежде всего, прекраснымъ опытомъ артистической виртуозности; послѣ той или другой изъ „Еврейскихъ мелодій“ можно было безъ труда возвращаться съ береговъ вавилонскихъ къ дѣйствительности. Натанъ увѣрялъ <sup>1)</sup>, что стих. „Душа моя мрачна“ написано было подъ впечатлѣніемъ дошедшихъ до Байрона слуховъ, будто онъ по временамъ томится приступами душевной болѣзни. Смѣясь, онъ захотѣлъ испытать силу своего дарованія, попытавшись схватить тонъ дѣйствительно безумнаго и истомленнаго человѣка; „на нѣсколько мгновеній устремилъ онъ взглядъ въ пространство, потомъ, словно охваченный вдохновеніемъ, набросалъ безъ помарокъ все стихотвореніе“. Художественная меланхолія и реальный смѣхъ, сопоставленные въ этомъ разсказѣ, даютъ освѣщеніе всему сборнику. Но при выпускѣ въ свѣтъ онъ еще былъ украшенъ, въ видѣ вступленія, чудеснымъ стихотвореніемъ: „She walks in beauty“,—оно, собственно, не имѣетъ связи съ восточными темами, но не вызываетъ и диссонанса, благодаря своимъ изящнымъ очертаніямъ въ оріентальномъ стилѣ. Это—привѣтствіе поразительно красивой женщины, дальней родственницѣ поэта, m-rs Wilmot, съ которой онъ встрѣтился въ свѣтѣ; это—свободное отъ всякой реторики преклоненіе передъ существомъ, въ которомъ соединились красота, грація, нѣжность, доброта,—свѣтлый гимнъ, который

---

<sup>1)</sup> Isaac Nathan, „Fugitive pieces and recollections of Lord Byron“. L. 1829.



могъ вылиться только изъ счастливой и успокоенной души.

Но, несмотря на обиліе признаковъ совсѣмъ иного рода, счастье и успокоеніе были только фикціею, осужденной на недолговѣчность. Байронъ, какъ мы уже знаемъ, признался потомъ въ своемъ „Снѣ“, что во время брачнаго обряда имъ внезапно овладѣло воспоминаніе о разбитой навсегда юной любви къ Мэри. Безповоротность шага, который онъ дѣлалъ въ эту минуту, представилась ему яснѣе, чѣмъ когда-либо. Въ томъ самомъ шутливомъ и довольномъ письмѣ, откуда мы только-что взяли его полемику съ Свифтомъ о бракѣ, есть фраза, очевидно внушенная овладѣвшими имъ за послѣднее время мыслями: „все-же я стою за бракъ на извѣстный срокъ, съ правомъ его продленія,—хотя бы отсрочка была и въ девяносто девять лѣтъ“. Выйдя изъ церкви и помѣстившись въ экипажъ рядомъ съ молодой женой, онъ не могъ найти въ себѣ того настроенія, котораго она была въ правѣ ожидать во время свадебной поѣздки. Сплетня превратила вполнѣдствіи это неловкое затишье и душевную подавленность въ бурное объясненіе, чуть не въ нервный припадокъ супруга, неожиданно показавшаго свой нестерпимый нравъ. Ничего этого не было, и когда меланхолическое облако слетѣло, возстановился ласковый тонъ, молодость взяла свое, и нѣжность загладила только-что пережитое впечатлѣніе. Обоимъ почудилось счастье; радостные отзывы писемъ были искренни. Зато, когда настали вражда и разрывъ, и ничто уже не смягчало тяжелыхъ минутъ прежняго житія вдвоемъ, гнѣвная, считавшая себя глубоко оскорбленною, супруга повторяла всѣмъ, кто только хотѣлъ слышать, что не успѣли ихъ обвинять, какъ Байронъ рѣзко выказалъ къ ней неприязненное чувство, которое потомъ, возрастая, дошло до открытой злобы <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Въ *Times* 1869, сент. 7, помѣщено было письмо Lindsay съ выдержками изъ бумагъ леди Анны Бернардъ (умершей въ 1825 г.), близкой къ женѣ поэта. По ея словамъ, не прошло часа послѣ отъѣзда, какъ Байронъ будто бы сказалъ ей: „Куда завлекло васъ воображеніе! Какъ могла такая умная женщина вообразить, что можетъ передѣлать *меня*! Много прольете вы слезъ, прежде чѣмъ достигнете этого. Вы—моя жена,—этого достаточно

Они жили или въ Лондонѣ, или въ Сигэмѣ, у стариковъ; жена помогала поэту въ его работахъ; произведенія его доставляли теперь издателю и наборщикамъ большое удовольствіе, потому что, вмѣсто его нечеткой руки, безпорядочно носившейся по бумагѣ, они присылались переписанныя крупно, твердо и красиво рукою жены. Въ деревнѣ жизнь шла иначе; нужно было сообразоваться съ старомодными вкусами; можно безъ труда прочесть между строками, гдѣ говорится объ уютности и спокойствіи въ домѣ тестя, выраженіе скуки отъ однообразія добропорядочной и снотворной жизни. Нужно играть въ карты съ древними партнерами, выслушивать отъ отца жены допотопныя сужденія о политикѣ и вредѣ либерализма, отъ тещи—религіозно-нравственныя сентенціи; бѣглый намекъ на нервную зѣвоту, какъ-то промелькнувшій въ письмѣ, говоритъ за себя. Но въ деревнѣ былъ за поэтомъ и любительскій, негласный надзоръ; безъ памяти боготворившая свою воспитанницу и почувствовавшая къ Байрону что-то вродѣ ревности, за то, что онъ порвалъ ихъ связи и завладѣлъ ею, мистриссъ Клирмонтъ подъ личиною любезности присматривалась къ каждому шагу, прислушивалась къ каждому слову человѣка, которому не довѣряла,—и ея мнѣнія и выводы, конечно, сообщались старикамъ, постепенно портя ихъ отношенія къ зятю. Она не была тою фуріей, тѣмъ демономъ раздора, какимъ выставилъ ее поэтъ, послѣ разрыва съ женой, въ безпощадно уничтожающемъ стихотвореніи; не вполне доказано, напр., что именно она тайкомъ вскрывала ящики письменнаго стола, чтобы найти тамъ любовную переписку Байрона съ другими женщинами; есть свидѣтельскія показанія (жены Флетчера, безсмѣннаго Байроновскаго камердинера, служившей у молодыхъ супруговъ)<sup>1)</sup>, которыя показываютъ ее скорѣе сторонницей примиренія,—но все это не снимаетъ

---

для того, чтобы я васъ ненавиждѣлъ. Если бъ вы были женою другого, я могъ бы найти васъ привлекательною“... Когда онъ замѣтилъ, что она обильна, онъ будто бы разсмѣялся... На всемъ разсказѣ лежитъ отпечатокъ вымученнаго сочинительства.

<sup>1)</sup> „Statement of mrs. Fletcher“ (Murray Manuscripts). Letters, III 320—321.

съ нея обвиненія въ возбужденіи подозрительности, которое много содѣйствовало порчѣ отношеній.

Въ сближеніи Байрона съ миссъ Мильбанкъ, при всей искренности его признаній, было много недоговореннаго и невыясненнаго. Это было почти исключительно сближеніе на письмѣ; по собственному показанію поэта, передъ вторымъ предложеніемъ онъ не видѣлъ Аннабеллы цѣлыхъ десять мѣсяцевъ. Ихъ отношенія походили, стало быть, на главу изъ „романа въ письмахъ“, какіе были въ ходу въ литературѣ восемнадцатаго столѣтія. Но достаточно извѣстны словоохотливость этихъ романовъ, и въ то же время частые недочеты въ психологіи. Обѣ стороны несомнѣнно представляли себѣ другъ друга не вполне реально; недоумѣнія, неожиданныя открытія были неизбѣжны. Разногласія въ мнѣніяхъ и вкусахъ оказались глубже и серьезнѣе. Годгсонъ говорилъ въ послѣдствіи о сильныхъ спорахъ между супругами по вопросамъ религіи, въ пользу которой, очевидно, жена хотѣла склонить Байрона. Краббъ Робинзонъ напечаталъ даже письмо къ нему отъ лэди Байронъ, изъ поры ея старости, указывающее одну изъ причинъ раздора въ религіозныхъ несогласіяхъ. Съ другой стороны Аннабелла выказывала себя большою домосѣдкой, съ сильной привычкой къ провинціальной средѣ, съ очень развитымъ культъ родственныхъ отношеній и привязанностью къ семьѣ. Для привыкшаго къ свободѣ передвиженій и къ самоопредѣленію Байрона должно было казаться гибельнымъ стремленіе прикрѣпить его къ землѣ, стѣснить его вольный полетъ. Въ мечтахъ онъ создалъ уже идиллію житія вдвоемъ гдѣ нибудь на дальнемъ югѣ, ожидая отъ него возрожденія своей поэтической работы. Но при первыхъ же серьезныхъ рѣчахъ о заграничномъ путешествіи онъ встрѣтилъ отпоръ; въ письмахъ есть слѣды этого; съ небольшимъ черезъ мѣсяць онъ говоритъ Муру о планѣ уѣхать въ Италію, изучить ее „отъ Венеціи до Везувія“ и затѣмъ перебраться въ Грецію; „это можно выполнить въ теченіе *двѣнадцати мѣсяцевъ*“, поясняетъ онъ, прибавляя затѣмъ довольно выразительную оговорку: „если я возьму съ собой свою жену, возьмите и вы вашу; *если я ее оставлю*, и вы такъ же поступите“. Двѣ недѣли спустя, узнавъ, что у Мура есть другіе планы путешествія, и при-

томъ единоличнаго, Байронъ сообщаетъ ему: „я также рѣшилъ уѣхать, приблизительно въ одно время съ вами, и *тоже пооду одинъ*“. Готовность разстаться такъ скоро съ женой, и притомъ на цѣлый годъ, говорить объ измѣнившихся отношеніяхъ.

Но было бы большою напраслиной придавать ихъ перемѣнѣ характеръ враждебности. Не только во время житія подъ одною крышей, но и послѣ разрыва, Байронъ не переставалъ считать жену существомъ избраннымъ, полнымъ достоинствъ <sup>1)</sup>. Когда они уже разошлись, онъ въ письмѣ къ Роджерсу (25 марта 1816) опредѣленно выражаетъ это: „Вы были однимъ изъ немногихъ, съ которыми я поддерживалъ отношенія, обыкновенно называемыя интимными; вы не разъ слышали, какъ я говорилъ о моихъ семейныхъ несогласіяхъ. Скажите мнѣ разъ навсегда, слышали вы когда-нибудь, чтобъ я отзывался о ней съ неуваженіемъ или безъ симпатіи, или чтобы я защищалъ себя въ ущербъ ей отъ какого бы то ни было серьезнаго обвиненія? Не слыхали ли вы отъ меня, что *если тутъ есть правый и виноватый, то права она* <sup>2)</sup>?“

Сознаніе достоинствъ и преимуществъ не дѣлало, однако, совмѣстную жизнь счастливѣе, съ тѣхъ поръ какъ отлетѣла поэзія женственности и любви, оставивъ позади себя рѣзко обозначавшееся несходство характеровъ и убѣжденій <sup>3)</sup>. Такое событіе, какъ рожденіе дочери, Ады, должно было

---

<sup>1)</sup> Крабъ Робинзонъ, познакомившійся съ нею почти сорокъ лѣтъ спустя, въ 1853 г., называетъ ее „одною изъ лучшихъ женщинъ въ современной Англіи“ и приводитъ подобный же отзывъ доктора Кинга, — „она живетъ для того, чтобы дѣлать добро“. Научные интересы она сохранила до конца дней, хотя въ старости занялась спиритизмомъ. Робинзонъ напечаталъ много ея писемъ къ нему.

<sup>2)</sup> R. W. Clayden, „Rogers and his contemporaries“, 1889, 215.

<sup>3)</sup> Трелони въ своихъ воспоминаніяхъ (Records of Shelley, Byron and the author, 1875, 62—65), основываясь на показаніи „одной дамы, близко знавшей Байроновъ во время ихъ брачной жизни“, такъ характеризовала жену поэта: „къ ней нельзя было приложить изреченіе Сократа,—я знаю, что ничего не знаю,—она думала, что все знаетъ; педаантка, невыносимо чопорная, капризная, до крайности ревнивая и подозрительная, она прежде, до брака, всѣмъ управляла дома, родителями, пасторомъ и т. д. и хотѣла бы подчинить Байрона“. Трелони показали ея письмо, „которое подѣйствовало на него убѣдительно цѣлыхъ томовъ“.

вести снова мягкій тонъ въ отношенія, — но въ первыхъ впечатлѣніяхъ Байрона, какъ отца, нѣтъ еще и слѣда той нѣжности и того поразившаго многихъ чадолюбія, которыя сказались въ послѣдствіи, въ задушевныхъ строфахъ третьей пѣсни „Гарольда“, обращенныхъ къ далекой, разлученной съ отцомъ навсегда крошкѣ, въ заботахъ о ней, то и дѣло мелькающихъ въ итальянской перепискѣ, въ предсмертныхъ обращеніяхъ къ Адѣ. А жизнь становилась все сложнѣе и труднѣе; денежный кризисъ обострялся. Отмѣчая въ приведенномъ уже письмѣ супружеское счастье брата, Августа не скрываетъ, что по временамъ лицо его омрачается, и приписываетъ это единственно матеріальнымъ заботамъ. Хотя смерть родственника жены, отъ котораго ожидалось наслѣдство, случилась раньше, чѣмъ это могли предполагать, Байронъ не обращался къ ея семьѣ за поддержкой; гнетъ долговъ удручалъ; если не медовый мѣсяцъ, то все же первый періодъ брачной жизни не избѣгъ непріятныхъ ощущеній нужды и стѣсненности. Попытка выйти изъ затрудненія при помощи продажи библіотеки Байрона (опись ея даетъ любопытныя данныя о художественныхъ вкусахъ его) мало помогла дѣлу. Въ квартирѣ поэта стали привычными посѣтителеми судебныя пристава; литература исполнительныхъ листовъ и описей процвѣтала. „За послѣднее время у меня перебывало уже десять судебныхъ требованій, — пишетъ Байронъ, — я начинаю къ этому привыкать“... Онъ все еще хотѣлъ оставаться вѣрнымъ своей филантропической привычкѣ отказываться въ чужую пользу отъ гонораровъ, но нужда стала такъ велика, что отказъ отъ тысячи фунтовъ, предложенныхъ ему за двѣ новыя поэмы Мэрреемъ, быстро замѣненъ былъ согласіемъ. Во мгновеніе ока этой тысячи уже не существовало; она пошла на покрытіе хоть части долговъ.

На двухъ произведеніяхъ, единственномъ поэтическомъ результатѣ краткаго супружества, — на „Осадѣ Коринѳа“ и „Паризинѣ“, — отразилось потрясенное душевное состояніе. Выборъ сюжетовъ снова мраченъ, дѣйствіе полно ужасовъ и трагизма. Подъ стѣнами крѣпости, взорванными на воздухъ, гибнуть герои, чтобы не поддаться кровожадному измѣннику, ихъ же собрату; отъ руки палача гибнетъ сынъ, осу-

жденный своимъ соперникомъ въ любви, отцомъ. Всюду — мечь, борьба, злоба, горе. Вдохновеніе поэта какъ будто ищетъ только такихъ сюжетовъ и, найдя ихъ—для *Siege of Corinth* въ народныхъ преданіяхъ, нѣкогда слышанныхъ имъ въ Коринѣ, и въ анонимной „Полной Исторіи Турціи“<sup>1)</sup>, для „Паризины“—у Гиббона, въ случайно разсказанномъ имъ эпизодѣ изъ исторіи Феррары въ 15 вѣкѣ<sup>2)</sup>, извлекаетъ изъ краткаго историческаго повѣствованія всю скрытую въ немъ трагическую сущность. Тайнственный герой-пиратъ уже сошелъ со сцены. Венеціанецъ Ланчотто, принявшій турецкое имя Альпа и осаждающій Коринѣ, скрываетъ свое ненасытное честолюбіе подъ чалмой мусульманина, ренегата; онъ не задается, подобно Конраду, общими вопросами поруганной морали; предшествующая его жизнь, приведшая къ доносамъ на него и осужденію въ Венеціи, покрыта тайнственностью; онъ попрекаетъ родину за то, что она перестала быть „страной свободы“, но яростно и открыто дѣйствуетъ подъ вліяніемъ жажды власти и мщенія выкреста прежнимъ единовѣрцамъ. Въ „Паризинѣ“ авторъ даже и не старался сколько-нибудь опредѣлить психологію молодого Уго, не надѣлилъ его ни міровою, ни личною скорбью, — зато выдвинулъ горячее, искреннее увлеченіе пасынка своей мачехой, которое возмутило чопорныхъ блюстителей нравственности, протестовавшихъ противъ „апоеоза кровосмѣшенія“. Любовь и въ этихъ поэмахъ является единственнымъ смягчающимъ началомъ. Паризина не можетъ пережить казни своего милаго. Послѣднія строфы поэмы полны глубокой печали, тогда какъ первыя дышали такою нѣжностью, которая и въ сновидѣніяхъ продолжаетъ жизнь чувства, побуждая уста шептать милое имя. И для Альпа память о любимой женщинѣ одна только въ состояніи остановить дѣло разрушенія и мести; съ удивительной силой фантасмагоріи проведенная сцена появленія передъ нимъ, въ ночь наканунѣ штурма, призрака его Франчески, любящей, ласковой, молящей, наполняетъ его душу мягкими влеченіями. Но злоба всюду торжествуетъ; пороховой дымъ и сѣкира палача

<sup>1)</sup> Compleat History of the Turks, 1719.

<sup>2)</sup> Gibbon, Miscellaneous works, III.

замыкають собой двѣ печальныя повѣсти. Онѣ рассказаны были съ обычнымъ мастерствомъ, на этотъ разъ свободнымъ отъ позы и гиперболы; въ первой поэмѣ снова ожили незабвенныя для автора картины дальняго юга, греческая природа, врывающіяся въ нее черты турецкаго быта (прелестная сцена полуночнаго призыва муэдзина среди дремлющей долины); боевыя картины предвѣщали своею силой трагическую живопись войны въ „Донъ-Жуанѣ“, стихъ былъ гармониченъ и тѣшилъ слухъ,—но прежнихъ безусловныхъ восторговъ уже не было, а „Паризина“ умножила собой свитокъ грѣховъ и оскорбленій, совершенныхъ поэтомъ противъ вѣры, стараго добраго порядка и нравственности...

Для поэта, казалось, изучившаго всѣ муки разочарованности и тоски и изобразившаго ихъ „за себя и за многихъ“, жизнь создала новый, еще имъ не испытанный, видъ недовольства судьбою и скорби. Надежды на счастье и душевный отдыхъ разбиты; личная свобода его навсегда связана; брачная цѣпь приковала его къ существу, съ которымъ у него почти нѣтъ ничего общаго; кругомъ поднимается и растетъ вражда, смѣняя прежнее поклоненіе; личное матеріальное положеніе становится невыносимымъ. Удивительно ли, что старое, роковое наслѣдіе проявилось теперь съ особой силой, что нервная возбужденность принимала все болѣе рѣзкія формы, то сказываясь въ привычныхъ когда-то пароксизмахъ „безмолвнаго бѣшенства“, то искажая тѣло судорогами, то вырываясь въ видѣ гнѣвныхъ рѣчей <sup>1)</sup>. Молодая женщина, пораженная внезапною первыхъ симптомовъ и испуганная ихъ повтореніями, не могла не рѣшить загадки въ наиболѣе заурядномъ смыслѣ, не доискивающимся сложныхъ причинъ явленія,—и свои тревоги о мужѣ, „находящемся, повидимому, на порогѣ душевной болѣзни“, успѣшила передать родителямъ. Въ Сигэмѣ это извѣстіе вызвало ужасъ; затаенное нерасположеніе къ зятю получило полное оправданіе; сообщенный дочерью рядъ испытанныхъ ею тяжелыхъ

---

<sup>1)</sup> Авторъ одной изъ критическихъ статей, вызванныхъ появленіемъ въ 1899 писемъ Байрона за время семейнаго разлада, высказалъ предположеніе, что „Байронъ пугалъ жену напускнымъ безуміемъ, желая ускорить разрывъ“. Saturday Review, 1899, 5 august.

и мучительныхъ сценъ приводилъ къ одному рѣшенію—разобщить ихъ какъ можно скорѣе; но для этого необходимо было доказать ненормальность и невмѣняемость мужа;—вокругъ Байрона, незамѣтно для него, начинается медицинскій надзоръ, поручаемый присяжнымъ аліенистамъ, цѣлая интрига, ключъ которой—въ Сигэмѣ. Но Аннабелла еще не разлюбила мужа и не можетъ безропотно исполнять волю старшихъ, озабоченныхъ однимъ лишь разрывомъ; она проситъ Байрона лѣчиться, обратиться къ специалистамъ по нервнымъ страданіямъ. И только послѣ того, какъ явные и тайные эксперты единогласно не нашли въ его организмѣ и въ его поступкахъ никакихъ слѣдовъ тяжелой ненормальности, она отъ сожалѣнія и участія перешла въ противоположную крайность: если это не болѣзнь, то она страдаетъ отъ злой воли, отъ душевной развращенности, отъ нестерпимаго характера мужа, который никогда ея не любилъ, напротивъ, ненавидѣлъ ее и съ первыхъ же дней мучилъ. Начинаетъ создаваться, въ свою очередь, болѣзненная, нереальная, „скорбная лѣтопись“ страдающей, обманутой жены <sup>1)</sup>.

Да, быть можетъ, именно обманутой, но съ кѣмъ, для кого,—она не знаетъ. Прежняя страстная жизнь Байрона была ей достаточно извѣстна. Теперь мы знаемъ, что онъ добровольно открылъ ей нѣкоторыя, для насъ навсегда закрытыя, сердечныя тайны свои, существованіе побочныхъ дѣтей и т. п. Она могла легко вообразить, что неровность, нетерпимость въ отношеніяхъ къ ней вызвана оживленіемъ какой-нибудь старой связи или новымъ увлеченіемъ; но ни тогда, ни впослѣдствіи *она не могла назвать, и не назвала ни одного имени*, тогда какъ это могло бы вооружить ее самымъ главнымъ орудіемъ для формальнаго развода.

Назвать эти имена потрудились новѣйшая, современная намъ сплетня, то подъ личиною заступничества за нравственность вообще и за честь страдальцы, то подъ благовиднымъ предлогомъ воссозданія біографіи „настоящаго Бай-

---

<sup>1)</sup> Въ духѣ ея составлена была послѣ появленія извѣстнаго біографическаго труда Мура брошюра вдовы поэта: „Remarks on mr. Moore's Life of Lord Byr. by Lady Byron, сначала выпущенная не для большой публики, позже введенная Муромъ въ его изданіе сочиненій Байрона.



рона“. 1869-й годъ отмѣченъ былъ въ Байроновской литературѣ появленіемъ — сначала въ видѣ журнальной статьи, потомъ отдѣльною книгой <sup>1)</sup>—труда американской романистки Бичеръ-Стоу, разоблачавшаго истинную причину супружескаго раздора, смѣло и увѣренно указывавшаго ее въ связи поэта съ его сводной сестрой Августой, — связи, открытой женою, возмущившей ее и безповоротно приведшей къ разрыву. Обвиненіе опиралось на важныя показанія пострадавшаго лица, вдовы поэта, ссылалось на разговоры съ нею, на какую-то составленную ею памятную книгу, которую авторъ статьи могъ просмотрѣть въ рукописи.

Въ то время уже исполнилось девять лѣтъ со смерти лэди Байронъ; главный разговоръ, поведшій къ признаніямъ и просьбѣ о заступничествѣ, происходилъ, по словамъ Бичеръ-Стоу, еще раньше, за 13 лѣтъ передъ тѣмъ; рукопись исчезла. Но къ честному имени и незапятнанному авторитету автора „Хижины дяди Тома“ такъ всѣ привыкли, что заявленіе ея невольно заставляло прислушаться и задуматься. Къ счастью, несмотря на живучесть застарѣлаго нерасположенія къ Байрону, готоваго повѣрить каждому новому грѣховному его дѣянію, въ англійскомъ обществѣ и литературѣ статья Стоу вызвала небывало взволнованную полемику. Журналы и газеты того времени были переполнены статьями за и противъ Байрона; во главѣ газетъ шель „Times“, открывшій свои столбцы для всевозможныхъ заявленій; журнальный же походъ привелъ къ превосходной статьѣ „Quarterly Review“, октябрь 1869: „The Byron Mystery“. „Times“ (сент. 3 того же года), выслушавъ различныя мнѣнія, поставилъ слѣдующія два заключенія: „или лэди Байронъ подъ конецъ своей жизни сообщила мистриссъ Стоу ложь, полную непостижимой дерзости, или же г-жа Стоу выдумала сама клевету, небывалую по грандіозности“.

Этотъ выводъ вполне подтвержденъ послѣдующимъ ходомъ біографическихъ разысканій о Байронѣ, и не-

---

<sup>1)</sup> „Lady Byron vindicated“. Boston and London, 1869. — Для возстановленія истины вышла тогда „The true story of lord and lady Byron, as told by Lord Macaulay, Th. Moore, Leigh Hunt, by lady Byron and by the poet himself, in answer to mrs. Beecher Stowe“.

обычайное сотрудничество обѣихъ женщинъ въ клеветѣ не подлежить сомнѣнію. Еще въ 1869 г., внукъ лэди Байронъ, лордъ Вентвортъ, заявилъ печатно, что въ бумагахъ ея дѣйствительно найдена была рукопись такого содержанія, на какое указываетъ Стоу, но что происхожденіе этой рукописи опредѣлить нельзя. *Собственноручныя же* записи лэди Байронъ не заключаютъ въ себѣ ничего похожаго на разсказъ Б.-Стоу. Много фактическихъ несоотвѣтствій и погрѣшностей открылось въ статьѣ Стоу при внимательномъ ея изученіи; авторъ былъ уличенъ въ томъ, что онъ, привыкнувъ къ сочиненію романовъ, *выдумывалъ цѣлыя сцены*, напр. разговоръ между женой и поэтомъ, котораго она застала будто бы съ Августой, и т. д. Рядъ достовѣрныхъ показаній<sup>1)</sup> обрисовалъ Августу Ли въ ея подлинномъ, необыкновенно симпатичномъ освѣщеніи, съ семейными привязанностями, заботами о вѣчно увлекающемся братѣ, котораго она, какъ легкомысленнаго шалуна-мальчика, называла съ материнской лаской „baby Byron“, жалѣла, выручала, въ ея гуманныхъ заботахъ о бѣдномъ людѣ, составлявшемъ ея деревенскую обстановку, въ ея сердечности, милой простотѣ и нравственной терпимости. Къ этой некрасивой (какъ показываютъ два изданные теперь ея портрета), но умной и участливой женщины, такъ прекрасно умѣвшей „все понять и все простить“, совсѣмъ не пристала клеветнически навязанная ей роль разлучницы и кровосмѣсительницы... Бичеръ-Стоу, въ виду дружнаго натиска, пробовала сначала пригрозить большимъ, генеральнымъ отвѣтомъ, но никогда не отвѣчала,—потому что ей нечего было сказать.

Съ тѣхъ поръ число оправдательныхъ документовъ въ пользу Августы необыкновенно возросло; одни изъ нихъ уже напечатаны; другіе еще хранятся въ подлинникахъ въ Британскомъ Музеѣ (Byron-Leigh Correspondence, Additional Manuscripts, 31,037),—это частью переписка между женою Байрона и мнимой ея разлучницей Августой, веденная во время наибольшаго развитія дѣла о разводѣ и послѣ него, въ духѣ большой дружбы и откровенности (нѣжный тонъ

<sup>1)</sup> Athenaeum, 1869, сент. 11, „The Byron scandal“; Times, 27 сент. того же года, письмо, подписанное Indignans и мн. др..

переписки измѣнился лишь послѣ 1830 года, когда начались несогласія по имущественнымъ дѣламъ и опеку),—частью же многочисленныя позднѣйшія письма лэди Байронъ къ дочери Августы; на нее она, по ея словамъ, хочетъ перенести нѣжность и дружбу, которую *всегда питала къ ея матери*.<sup>1)</sup> Августа являлась всегда посредницей, напрягая всѣ усилія для примиренія,—ее же выставили виновницей супружеской драмы!

Вторая басня не имѣла такого злостнаго характера, и въ извѣстной степени могла бы соотвѣтствовать фактамъ,—если бы только не досадная помѣха въ хронологию. Это—указаніе на соперницу лэди Байронъ въ лицѣ сестры второй жены Шелли, Джэнъ Клермонтъ. Красивая, страстная, съ смуглымъ южнымъ типомъ, молодая дѣвушка эта—существо вполне реальное; горячая, почти психопатическая любовь ея къ Байрону подтвердилась напечатанными теперь впервые письмами ея къ нему; вѣчно экзальтированная, лихорадочно переходившая отъ одной профессіи къ другой, и во время своего сближенія съ Байрономъ представлявшая собой третьестепенную актрису, она, сначала подъ псевдонимами (первое письмо подписано было Е. Trefusis), потомъ снявъ маску, осыпала Байрона въ своихъ посланіяхъ такимъ дождемъ восторговъ и благословеній, такими страстными призывами, что онъ, измученный клеветами и дразнгами семейнаго раздора, сошелся съ нею еще въ Лондонѣ, и свидѣлся съ нею снова въ Швейцаріи. Она—ненадолго—стала его подругой; она—мать его второй дочери, Аллегры. Но ихъ сближеніе, какъ теперь точно доказано, произошло тогда, *когда было о разводѣ было уже въ полномъ ходу*. Стало быть, видѣть въ связи Байрона съ нею причину и начало несогласій совершенно невозможно.

Рано умершая (въ 1852 г.) дочь Байрона, леди Ловлэсъ (Ада),—какъ она категорически заявила это одному изъ близкихъ ей людей, м-ру Фонбланку, — вполне убѣдилась, что

---

<sup>1)</sup> Въ этихъ письмахъ много цѣнныхъ указаній на прежнія отношенія. Лэди Байронъ въ пятидесятыхъ годахъ, узнавъ о тяжелой болѣзни Августы, проситъ миссъ Ли „шепнуть матери отъ ея имени слова—*дорогая Августа* (Whisper her from me the words: *dearest Augusta!*); въ послѣднемъ письмѣ, 1855 года, она утверждаетъ, что всегда чувствовала расположеніе къ матери дѣвушки, но что та отъ нея отдалялась.

единственною причиною разлада ея родителей было несоотвѣтствіе и, вслѣдствіе того, неуживчивость (incompatibility) двухъ характеровъ. Это — самая вѣрная оцѣнка сущности спора, которую Байронъ тщетно хотѣлъ выяснитъ и никогда ни отъ кого не узналъ. Находясь уже въ Италіи (въ La Mira, близъ Венеціи), въ 1817 году, онъ услышалъ, что адвокаты его жены отказываются давать какія-либо объясненія причинъ разрыва, ссылаясь на то, что на „ихъ уста навсегда наложена печать“, — въ твердо и опредѣленно проредактированномъ заявленіи повторилъ онъ свою готовность предстать передъ какой бы то ни было трибуналь, — но никакого удовлетворенія не получилъ.

Противница его была не въ лучшемъ положеніи. Ея нервная система также была сильно возбуждена; на ея дѣйствіяхъ, на тонѣ ея писемъ всюду видны слѣды этого потрясеннаго состоянія. Ласково простившись съ Байрономъ и не говоря ему, что покидаетъ его навсегда, она уѣхала къ роднымъ, стала послушнымъ орудіемъ ихъ интриги и подкоповъ, — и въ то же время писала своей дражайшей (sic! — „dearest“) Августѣ нѣжные запросы о его здоровьѣ и о новостяхъ его повседневной жизни. Когда вѣрные друзья Байрона, призванные Августой на помощь (Годгсонъ, Гобгоузъ), пытались деликатно вмѣшаться, она изумляла ихъ (напр. Годгсона) фантастическими разказами о злобѣ мужа: — „онъ женился на мнѣ съ глубоко обдуманномъ рѣшеніемъ мщенія, въ которомъ признался въ день моей свадьбы, и которое съ той поры выполнялъ съ систематической и возрастающей жестокостью; никакая любовь не могла его смягчить“. Въ письмѣ къ Августѣ (января 19, 1816) она дошла даже до подозрѣнія мужа въ мрачныхъ и дикихъ *замыслахъ противъ нея*... Въ другія минуты, какъ будто яснѣе сознавая, что она разбиваетъ и свою жизнь, она совершенно не владѣла собой и доходила до самозабвенія. Одна изъ записочекъ ея къ Августѣ, напр., звучитъ такъ: „Дорогая моя Августа, скоро я напишу больше. Надѣюсь, вы еще не уѣдете изъ Лондона. Я не больна. Я *хотѣла вложить въ письмо* — не помню что — думаю, что мать вернется ночью“. Точно въ чадѣ, повторяя все болѣе грозныя и таинственныя обвиненія, увѣряя и себя, и другихъ, что она — несчастная жертва, она не мѣшала легальному походу,

начатому противъ мужа ея родителями,—и въ тоже время, какъ свидѣтельствуеть жена Флетчера, она доходила до заявленій, что „если разрывъ произойдетъ, она будетъ несчастнѣйшею изъ женщинъ“... Рѣчь шла теперь вполне опредѣленно о разводѣ; дѣло взялъ въ свои руки и энергически велъ его опытный юристъ сэръ Самуэль Ромилли. Довѣренный семьи Мильбанковъ, д-ръ Лэшингтонъ (съ необыкновенной настойчивостью разстраивавшій всѣ миролюбивыя попытки вмѣшательства, застрачивая въ особенности лэди Байронъ) неожиданно предсталъ передъ Байрономъ съ требованіемъ подписать актъ о разлученіи супруговъ (separation), получилъ рѣшительный отказъ, но когда объяснилъ, что, въ случаѣ сопротивленія, истица обратится къ суду, потребуетъ освобожденія отъ сожителства съ нимъ и будетъ настаивать на изыятіи дочери изъ-подъ власти безнравственнаго отца,—получилъ согласіе (такъ, по крайней мѣрѣ, излагала Муру, со словъ своего адвоката, ходъ этой рѣшительной сцены жена поэта).

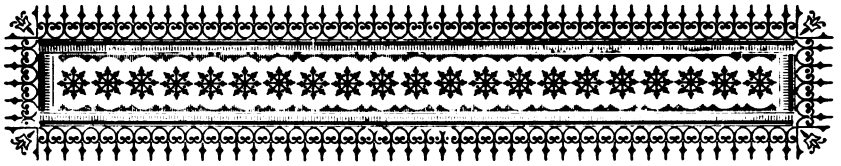
Впечатлѣніе внезапнаго раскрытія давно уже опутывавшей его интриги было ошеломляющимъ. Ко всѣмъ пережитымъ, видѣннымъ и болѣзненно грезившимся ему тяжелымъ испытаніямъ присоединилось новое, подавившее своей силой ихъ всѣхъ. Когда же съ необыкновенной быстротой слухами и сплетнями о мнимо-скандальной хроникѣ поэта завладѣло измѣнчивое общественное мнѣніе, когда вся враждебная печать, всѣ придворные и аристократическіе враги, всѣ клерикалы, методисты, піэтисты, давно стонавшіе при видѣ торжествующаго разврата, съ дикимъ наслажденіемъ накинулись на добычу, терзая его доброе имя и взводя на него множество небывалыхъ проступковъ, когда сторицей отплачивали ему за независимость, политическій либерализмъ, религіозное вольнодумство, за умъ, за геній,—о, какъ жалки и мелки должны были показаться ему прежніе, юношескіе счеты съ родиной! Теперь, казалось, вся она поднимается противъ него, беспощадная, нетерпимая, клянеть и гонить его. Вѣковѣчный трагизмъ столкновенія личности съ обществомъ, бывало, представлявшійся ему въ протестахъ Гарольда или пиратской бравады его восточныхъ героевъ, захватывалъ его теперь съ такой яростью, передъ которой блѣднѣли всѣ ро-

мантическіе вымыслы. Негодованіе и презрѣніе заглушали въ немъ всѣ прочія чувства. Оставался одинъ исходъ—разрывъ не только съ женой, съ семьей, но и съ отечествомъ, со всѣмъ, чтò наполняло его жизнь,—добровольное изгнаніе, изъ котораго не должно быть возврата; „пусть даже тѣло его не возвращаютъ родной землѣ,—оно не найдетъ въ ней покоя“.

Нѣсколько спѣшныхъ распоряженій, нѣсколько дѣловыхъ бумагъ, сдержанное, дѣловое же, послѣднее письмо къ женѣ, соглашеніе, выработанное короннымъ генеральнымъ адвокатомъ сэромъ Самуелемъ Шеппардомъ, взявшимъ на себя роль посредника, и подписанное обоими супругами, относительно имущественныхъ и денежныхъ дѣлъ, печальное разставаніе съ сестрой,—подарившей ему на прощаніе карманную библію, съ которой онъ никогда не разставался,—и немногими друзьями,—и день отъѣзда наступилъ. Карета уже подана и вещи вынесены, а вокругъ собралась толпа зѣвакъ; злой шутникъ сказалъ, что уѣзжаетъ промотавшійся и запутавшійся дворянчикъ,—и изъ толпы полетѣли въ слѣдъ путешественнику камни и брань: это было послѣднее привѣтствіе отечества...

25 апр. 1816 г. бѣглець отплылъ изъ Дувра въ Остенде. Наставала новая жизнь—на чужой сторонѣ. Эту новую жизнь застигала пока туманъ; все казалось смутно, неопредѣленно, безцѣльно... Но впереди—было истинное величіе поэта.

---



### III.

Корабль выходилъ изъ гавани Дувра. Раскинувшійся по мѣловымъ скаламъ городъ, старый, времянь норманновъ, замокъ надъ нимъ, лѣсъ мачтъ на рейдѣ, пестрота и оживленіе на пристани,—последнее видѣніе родины,—постепенно блѣднѣли и уходили вдаль. Только на крайнемъ выступѣ мола виднѣлась одинокая человѣческая фигура, долго махавшая шляпой въ отвѣтъ на прощальные сигналы отъѣзжавшаго... Эта минута глубоко врѣзалась въ память вѣрнаго друга, который проводилъ Байрона до порога Англіи, Гобгоуза,—и когда ему пришлось, восемь лѣтъ спустя, выѣхать по Темзѣ на встрѣчу тѣлу поэта, прибывшему изъ Греціи, и отъ Standgate Creek провожать его до Лондона, ему съ необыкновенной яркостью представилась сцена разставанія: корабль огибаетъ дуврскій маякъ; Байронъ подошелъ къ самому борту, машетъ шляпой, дружески киваетъ головой <sup>1)</sup>.

---

<sup>1)</sup> „Recollections of a long life (1786—1869) by the late lord Broughton de Gifford“. Книга эта, полная интереса и въ позднѣйшихъ своихъ отдѣлахъ, гдѣ лордъ Броутонъ (Гобгоузъ) говоритъ о своемъ участіи въ администраціи и неуклонной своей вѣрности либерализму, не была выпущена въ свѣтъ. Касающіяся Байрона мѣста извлечены были, съ особаго разрѣшенія семьи автора, въ статьѣ „Edinburgh Review“, 1871, IV. — Большія ожиданія возлагались на загадочный ящикъ съ дневниками, письмами и воспоминаніями Гобгоуза, положенный въ Британскій Музей и по завѣщанію открытый лишь въ 1900 году. М-ръ Протеро сообщаетъ мнѣ, по раз-

Море было неспокойно; во время долгаго въ тѣ дни переѣзда въ Остенде оно совсѣмъ взволновалось; не было бури, но вѣтеръ засвѣжѣлъ, валы вадымались и въ природѣ шла борьба. Она была подѣ-стать къ душевной тревогѣ, раздраженію, негодованію, недовольству собой изгнанника. Подѣ шумъ волнъ и вой вѣтра въ его сознаніи оживало все, что онъ недавно такъ мучительно пережилъ. Фарисейство и нетерпимость теперь ликують. Они избавились отъ вольнодумца, безбожника, развратника. Не за семейный разладъ отомстили ему. Сотни неудачныхъ браковъ распадаются, не вызывая общественной опалы. Независимой и рѣзко очерченной личности мстятъ за самобытность и волю. Рабы политическихъ и нравственныхъ предразсудковъ сторонятся отъ него, какъ отъ зачумленнаго <sup>1)</sup>. Но онъ не сдастся. Гнѣвъ и мстительность переполняютъ, душатъ его. Были минуты, когда онъ былъ близокъ къ самоубійству; онъ признался въ этомъ лишь впоследствии, въ единственномъ письмѣ, гдѣ онъ коснулся этой темы (Letters, IV, 1900, 98), но мысль, что онъ доставилъ бы еще большее торжество врагамъ, останавливала его. Неразлучный спутникъ его натуры, неврозъ придавалъ фактамъ еще болѣе отталкивающія, зловѣщія очертанія, внушалъ подозрѣнія, мучилъ видѣніями и отгадками тайнъ,—и эта тревога, этотъ гнѣвъ врывались въ его творчество и отравляли его. Небольшая группа такъ называемыхъ „Poems of the separation“ (новѣйшее обозначеніе вмѣсто прежняго, придуманнаго, впрочемъ, издателями контрафакцій, — „Domestic pieces“ или „Lord Byron's Poems on his own circumstances“) захватываетъ и теперь той страстностью, которая породила ихъ; всѣ переходы душевнаго состоянія, вызванные семей-

---

смотрѣніи бумагъ, что въ нихъ не нашлось ничего новаго о Байронѣ— „быть можетъ потому, что представители Гобгоуза тщательно проредактировали ихъ прежде чѣмъ отдать въ Музей“.

<sup>1)</sup> Лэди Джерси попыталась, передъ его отъѣздомъ изъ Англіи, устроить у себя вечеръ. Когда Байронъ вошелъ, никто не хотѣлъ говорить съ нимъ; всѣ сторонились. Онъ поблѣднѣлъ; казалось, ему будетъ дурно. Только нашлась одна дѣвушка, miss Mercer (впоследствии графиня Flahault), которая прошла черезъ всю гостиную и сѣла рядомъ съ нимъ; послѣ того ледъ былъ пробитъ, и разговоръ завязался. Байронъ поблагодарилъ потомъ miss Mercer грустнымъ письмомъ. Эту сцену она рассказала графинѣ д'Оссонвиль (Robert Emmet): „Dernières années de Byron“, 1873, 37.



нымъ разладомъ, здѣсь отразились. „Прощаніе“ съ женой („Fare thee well“), — въ рукописи покрытое пятнами отъ слезъ, — полное грусти, печальныхъ воспоминаній, укоровъ, нѣжныхъ обращеній къ ребенку, даже словъ ласки, чуть не любви къ виновницѣ несчастія, написано было въ тотъ періодъ несогласій, когда Байронъ еще не зналъ всей клеветы, напраслины и заговора, пытался найти для себя выходъ въ фаталистическомъ примиреніи съ совершившимся. Но истина разоблачилась, — и безпощадно обличительный „Набросокъ“ (Sketch), написанный во время безсонной, взволнованной ночи, заклеилъ позоромъ ту, кого онъ считалъ главной разлучницей, — воспитательницу жены, — уличалъ ее въ преступленіи (для насъ недоказанномъ), звалъ смерть скорѣе уничтожить „геніальную шпіонку и наперсницу“, и представлялъ себѣ, какъ даже могильные черви, гложя ея прахъ, будутъ гибнуть отъ переполняющаго его яда... Наконецъ, въ „Стансахъ къ Августѣ“ мѣра страданій и оскорбленій до того переполнилась, что поэту казалось, будто онъ совсѣмъ одинокъ, и только, „словно звѣзда среди мрака“, свѣтитъ ему любовь сестры... Все это было написано сгоряча, въ аффектѣ, не назначалось для публики, напечатано было въ небольшомъ числѣ (50) экземпляровъ и роздано близкимъ лицамъ, какъ оправданіе; — кто могъ думать, что одна изъ газетъ противоположной, торійской партіи, The Sun, добудетъ откуда-то летучіе листки автобіографическихъ стихотвореній, сначала „Прощанія“, потомъ „Наброска“, безъ спроса напечатаетъ ихъ и станетъ виновницей всенародной ихъ гласности, поддержанной *двадцатью* отдѣльными пиратскими изданіями <sup>1)</sup>!

Тогда снова пошло судьбище, начался гамъ и гулъ. Лишь немногіе органы печати защищали Байрона; еще рѣже слышались голоса, (напр. Роджерсъ, Каннингъ и др.), находившіе даже въ язвительномъ „Наброскѣ“ необыкновенную талант-

---

<sup>1)</sup> Имъ вскорѣ вторили сборники совершенно фантастическихъ, никогда Байрономъ не написанныхъ стихотвореній („Прощаніе съ Англіей“, „Ода къ св. Еленѣ“, „Къ моей дочери въ день ея рожденія“, „Нѣчто о Галліи“ и т. д. Въ этой наглой спекуляціи, противъ которой Байронъ протестовалъ при посредствѣ Мэррея, всего болѣе отличались бойкіе торгаши-издатели изъ Fleet-Street'a В. Гонъ и Джонстонъ.

ливость, утверждая, что истинное призваніе Байрона—желчная сатира; большинство осуждало, чуть не проклинали. Очевидно, это не было только слѣдствіемъ пароксизма чопорной нравственности, по мѣткому наблюденію Маколея въ его извѣстномъ *Essay*, періодически повторяющагося въ жизни англійскаго общества и гибельнаго для тѣхъ, чьи проступки или отклоненія отъ нормы злосчастно совпадаютъ съ подобнымъ приступомъ соціальной болѣзни<sup>1)</sup>. Въ упорномъ, затяжномъ гоненіи, сначала изъ-за семейной драмы, потомъ изъ-за литературнаго ея отраженія, была особая, почти безпримѣрная преднамѣренность, словно и проступки были тяжкіе и неслыханные...

Съ этой поры Байронъ, вызванный къ всенародному, хоть и пристрастному суду, много разъ будетъ въ лирическихъ стихотвореніяхъ и въ эпизодахъ поэмъ говорить о своихъ личныхъ, брачныхъ, семейныхъ дѣлахъ,—что должно пороку казаться странною склонностью его читателямъ изъ позднѣйшей эпохи. Но, не говоря уже о томъ, что въ подобныя минуты сила его лиризма достигала иногда наибольшаго подъема,—яростная гласность обвиненія не заставляла ли и его выступать съ своей защитой передъ тѣмъ же трибуналомъ?...

Когда тяжелыя минуты прошлаго оживали въ памяти покидавшаго родину навсегда, мысль успокаивалась только на немногихъ дружественныхъ образахъ. Такіе люди, какъ Гобгоузь, Вальтеръ-Скоттъ, Муръ, Роджерсъ, еще нѣсколько товарищей и приверженцевъ—его опора. Вмѣстѣ съ В.-Скоттомъ они глубоко скорбятъ о томъ, что „злосчастная семейная исторія даетъ глупости временное торжество надъ великимъ умомъ и выдающимся дарованіемъ“<sup>2)</sup>, и всегда засту-

<sup>1)</sup> „Разъ въ шесть, семь лѣтъ добродѣтель наша становится безпощадной. Мы не можемъ терпѣть нарушенія законовъ религіи и приличія. Мы должны ополчиться противъ порока и внушать развратникамъ, что англійскій народъ знаетъ важность семейныхъ узъ. Какой нибудь несчастный, ничуть не порочнѣе сотни другихъ, избирается искупительной жертвой. Есть у него дѣти—отнять ихъ, состоитъ онъ въ должности—прогнать. Ему не кланяются, его преслѣдуютъ свистками. Наконецъ злоба насыщена, жертва уничтожена, и наша добродѣтель спокойно идетъ спать еще на семь лѣтъ“.

<sup>2)</sup> Письмо В.-Скотта къ Роджерсу (Clayden, „Rogers and his contemporaries“, 1889, p. 215).

пятся за его доброе имя. Выше ихъ всѣхъ—неизмѣнно преданная и любящая своего „baby Вугон“ сестра, — но когда они прощались въ Ньюстэдѣ, щемящее чувство говорило ему, что это—вѣчная разлука <sup>1)</sup>. Изъ тумана выступали также очертанія милаго дѣтскаго личика, — но можетъ ли пяти-недѣльная крошка помнить отца?...

А масса, ея народъ, его страна, the million, какъ говорить англичане,—какъ разгадать писателю настроеніе измѣнчивой, какъ морская волна, человѣческой толпы? Когда, съ озлобленіемъ ренегата, продавшаго свой либерализмъ за придворныя почести и лавры оффиціального поэта, Соути пошелъ во главѣ похода противъ вольнодумца и развратника, не стали ли вторить ему довѣрчивые и сбитые съ пути читатели, недавніе поклонники Байрона? Даже годъ спустя, поэту казалось, что „народъ его ненавидитъ“ <sup>2)</sup>, хотя выдающийся успѣхъ въ Англіи его новыхъ поэмъ, написанныхъ послѣ разрыва съ нею, могъ бы его разубѣдить. Въ какихъ же мрачныхъ чертахъ должно было представляться ему головное ополченіе всѣхъ противъ одного, когда впечатлѣнія разрыва были еще остры! Не кокетствомъ „загадочной натуры“, сознательно драпирующей въ плащъ пирата, врага общества, или (какъ выражался когда-то Кирѣевскій) въ „душегрѣйку новѣйшаго унынія“, а горячимъ, искреннимъ и вполне понятнымъ для наблюдателя протестомъ оскорбленной личности явился мятежный „титанизмъ“, который овладѣлъ имъ со времени изгнанія. Сдѣлалось общимъ мѣстомъ корить его за этотъ протестъ, обличать въ немъ сатанинскую гордость, самомнѣніе превозносящей себя личности. Пора бросить и это застарѣлое общее мѣсто въ груду ветхаго хлама клеветъ, сплетенъ и искаженій, отъ которыхъ должна быть

---

<sup>1)</sup> Въ напечатанномъ нынѣ впервые (Letters, III. 280 — 81) по списку Британскаго Музея (Morrison Manuscripts) послѣднемъ (дѣловомъ) письмѣ Байрона къ женѣ онъ проситъ ее быть ласковой съ Августой. „Быть можетъ, для васъ большее преимущество въ томъ, что вы утратили мужа,—говоритъ онъ,—но какое горе для нея знать, что теперь море, впоследствии и земля разлучатъ ее съ братомъ!“ Еще во время брачной жизни онъ сдѣлалъ завѣщаніе въ пользу Августы и ея дѣтей, оговоривъ пожизненную ренту жены и содержаніе для будущихъ дѣтей отъ ихъ брака.

<sup>2)</sup> Letters, 1900, IV, p. 84.

избавлена правдивая біографія поэта; пора вжиться въ его душевное состояніе и внѣ-общественное положеніе въ пору изгнанія, и признать, что протестъ, какія бы необычныя формы онъ ни принималъ, былъ его правомъ.

Сильнѣе прежняго влекло его теперь туда, гдѣ измученные и раздраженные злобой и измѣной, гнетомъ и несправедливостью люди искони искали и часто находили при-бѣжище и исцѣленіе,—въ природу. „I have lately reepeople my mind with nature“ (я въ послѣднее время снова населилъ мой умъ природой),—такъ мѣтко и наглядно выразилъ онъ вскорѣ главный результатъ переходной поры, слѣдовавшей за разрывомъ съ Англіей. Уйти туда, гдѣ нѣтъ людей, „изъ очей въ очи“ смотрѣть на вѣчныя, величавыя или нѣжныя красоты природы, въ отвѣтномъ ея взорѣ найти жизнь, бодрость, призывъ къ дѣятельности, освобожденіе ума... Гарольдъ снова въ пути,—но не знойный югъ и не голубое море зовутъ его къ себѣ; Байроновская поэзія природы должна обогатиться еще болѣе могучими мотивами горныхъ красотъ. Альпы, вѣчныя снѣга, непроглядная даль кругозора съ высотъ, живительная свѣжесть воздуха, все, что поднимаетъ духъ и уноситъ мысль къ великому, несокрушимоу, вѣками укрѣпившаяся политическая свобода швейцарскихъ горцевъ,—вотъ среда, куда онъ направить свой путь. Между бѣшеной растратой силъ на родинѣ и благородной общечеловѣческой дѣятельностью поэта въ Италіи и Греціи, свѣтлою и необыкновенно полезною переходною полосой является *швейцарскій* періодъ его жизни.

Прологъ къ нему—рядъ мимолетныхъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ поѣздки по Бельгіи и вверхъ по Рейну,—непродолжителенъ. Мелькаютъ города (Брюссель, Гентъ, Антверпенъ, Мехельнъ), народныя сцены, красивыя лица, красивые ландшафты,—мимо, мимо ихъ! Скорѣе въ завѣтную глушь! Ему не нужно людей. „И въ своемъ отчаяніи онъ гордъ; онъ найдетъ въ себѣ жизненную силу и проживетъ одинъ. Гдѣ высятся горы, тамъ—его друзья; гдѣ волнуется океанъ, тамъ—его желанный пріютъ; пустыня, лѣсъ, ущелье, говорятъ его душѣ несравненно больше, чѣмъ языкъ родной страны; какъ халдей, онъ въ состояніи любоваться звѣздами, населяя ихъ созданіями своей фантазіи и забы-

вая тогда о ничтожествѣ людскомъ“ („Чайльдъ-Гарольдъ“, III, 12—14). Чтò могутъ ему сказать пошлость и суета Брюсселя, этой плохой парижской карикатуры, свѣжія преданія Кобленца, пріюта политическаго старовѣрства, сбравшагося оздоровить Европу отъ вредоносныхъ идей революціи, грозные крѣпостные валы Эрнбрейтштейна, стерегущаго Рейнъ,— все ту же старую, какъ міръ, повѣсть о злѣ, нетерпимости, произволѣ, жестокости! Сильнѣе всего—впечатлѣнія Ватерлоо. Какъ прежде, въ Марафонѣ, Байронъ, точно Гамлетъ по кладбищу, бродилъ по необъятнымъ полямъ недавняго сраженія, говорившимъ ему о ничтожествѣ славы и власти, о безуміи боины народовъ, о величіи и паденіи владыки Европы, о злорадствѣ и мстительности его побѣдителей. Зрѣлище человѣческой трагикомедіи такъ сильно дѣйствовало, что, по возвращеніи въ Брюссель, онъ не могъ не набросать двухъ, трехъ строфъ, включенныхъ впоследствии въ „Паломничество Гарольда“. Успокоили его только тихія картины Рейна. Увитые плющомъ обломки замковъ, казалось, „шептали ему суровый прощальный привѣтъ“, а смѣющаяся природа, вся въ цвѣтахъ и виноградныхъ гроздьяхъ, золотистыя поля, рощи у берега, веселая толпа голубоглазыхъ деревенскихъ красавицъ, обступившихъ странника во время его прогулки къ Драхенфельсу, глубоко тронувшей его, неожиданный и наивный подарокъ одной изъ нихъ, букетъ лилій, и среди всего плавно катящей свои зеленныя воды старикъ Рейнъ,—мягко, цѣлительно дѣйствовали на душу. Память о Рейнѣ, единственномъ уголкѣ Германіи, который когда-либо видѣлъ Байронъ, навсегда осталась въ ореолѣ трогательной прелести. Но для того, кто вскорѣ вмѣстѣ съ Манфредомъ могъ сказать: „My joy is in the wilderness“, остановка на полупути и отдыхъ на примиряющихъ впечатлѣніяхъ были немислимы. Онъ будетъ только тогда счастливъ, когда „надъ собой увидить Альпы, эти дворцы природы, гдѣ царить Вѣчность“.

Быстро пронесся онъ съ сѣверо-западной окраины Швейцаріи на ея югъ, мимо альпійскихъ предгорій и голубыхъ озеръ, и выбралъ для продолжительной остановки Женеву, какъ *pied à terre* среди намѣченныхъ походовъ и поѣздокъ по горному краю, какъ центръ, откуда онъ направится и

къ Монблану, и въ савойскія Альпы, въ долину Роны, въ бернскій Оберландъ.

На правомъ берегу озернаго залива, точно широкая, полноводная рѣка входящаго въ центръ города, на холмѣ надъ предмѣстьемъ Cologny, среди густо разросшихся садовъ, но и теперь еще съ широкимъ кругозоромъ, стоитъ та „villa Diodati“, въ которой послѣ недолгой остановки на противоположномъ берегу залива (въ Sécheron) поселился Байронъ. Городъ постепенно приближается къ ней; невдалекѣ раскинулся паркъ des Eaux Vives, гдѣ гремитъ музыка и гуляетъ праздничная толпа. Въ прежніе годы это была загородная дача съ деревенской обстановкой и съ чудесной панорамой, открывавшейся во всѣ стороны,—и на хребетъ Юрскихъ горъ, и на синюю даль озера, и на Женеву съ ея колокольнями, башнями, сѣрыми массами домовъ <sup>1)</sup>. Когда-то здѣсь жилъ выходецъ изъ Италіи гуманистъ-богословъ Діодати и принималъ у себя Мильтона. Портреты предковъ владѣльца виллы украшали ея стѣны; живое напоминаніе о подвижничествѣ за идею не могло не подѣйствовать на поэта; образъ Мильтона, по слѣдамъ котораго онъ вскорѣ долженъ былъ пройти и въ „Манфредѣ“, и въ „Каинѣ“, недаромъ предсталъ передъ нимъ... Расположившись въ нижнемъ этажѣ, оставивъ верхній для гостей, и помѣстивъ съ собой свою свиту, въ рядахъ которой старался отодвинуть неразлучнаго съ Байрономъ Флетчера на второй планъ шустрый, честолубивый, безконечно суетный, мнившій себя тоже литераторомъ (быть можетъ потому, что его отецъ когда-то былъ секретаремъ поэта Альфьери), молодой докторъ, итальянецъ Полидори <sup>2)</sup>, Байронъ приступаетъ къ своимъ походамъ. Но онъ

<sup>1)</sup> Кастеляръ, также посѣтившій campagne Diodati, съ лирическимъ волненіемъ описывалъ свои впечатлѣнія: „Скромный паломникъ свободы, я всегда стремлюсь посѣщать мѣста, прославленные героизмомъ или мощью генія. Я увидалъ скрытое въ древесной листвѣ, точно таинственное убжище, то скромное жилище, гдѣ когда-то зародилось въ умѣ поэта множество образовъ, населившихъ потомъ лѣтописи челоуѣчества. Этотъ чудесный уголокъ, мирный какъ эклога и въ то же время величественный,—въ полномъ соотвѣтствіи съ духомъ поэта“. Emilio Castelar y Ripoll. Vida di L. Byron. 1873.

<sup>2)</sup> Онъ не могъ долго ужиться съ Байрономъ и своимъ фанфаронствомъ и необузданностью возстановилъ противъ себя. Даже послѣ того, какъ они

не одинъ: въ тотъ же день, на разстояніи нѣсколькихъ часовъ, когда Байронъ подъѣзжалъ къ Женевѣ, туда же, но по другому пути, направлялся Шелли, и вскорѣ вступилъ въ личную жизнь поэта во всеоружіи генія, высокой нравственной чистоты и умственной силы.

Зналъ ли Байронъ, приближаясь къ Женевѣ и затѣмъ высадившись въ той же гостинницѣ, какъ и Шелли, о предстоящей встрѣчѣ, или же она была чисто случайною? На этотъ вопросъ можно теперь отвѣчать утвердительно,—и не потому, чтобъ доказано было сильное тяготѣніе обоихъ поэтовъ другъ къ другу, требовавшее ихъ сближенія, а благодаря сторонней, совершенно романической причинѣ. Байронъ до той поры не безъ интереса слѣдилъ за дѣятельностью Шелли, но ни въ одномъ изъ писемъ къ друзьямъ на литературныя темы, съ оцѣнками современныхъ писателей, мы не встрѣчаемъ, на ряду съ крупными, въ глазахъ Байрона, дѣятелями поэзіи, имени автора „Аластора“ или „Царицы Мабъ“. Наоборотъ, Шелли высоко ставилъ дарованіе Байрона; борьба его съ обществомъ вызвала въ младшемъ поэтѣ уваженіе и сочувствіе. Задолго до встрѣчи съ нимъ, онъ послалъ ему „Queen Mab“, при письмѣ, въ которомъ объяснялъ ходъ своей жизни и образъ дѣйствій, опровергалъ сплетни и обвиненія, выставленныя противъ него, и, кончая, заявлялъ, что если Байронъ имъ не вѣритъ, онъ будетъ необыкновенно счастливъ съ нимъ сойтись <sup>1)</sup>. Но это желаніе все не исполнялось, и сблизились они, повидимому, по волѣ третьяго лица.

Идеи двухъ апостоловъ освобожденія женской личности и проповѣдниковъ переустройства социальнаго быта на разумно свободныхъ началахъ, Вильяма Годвина и его подруги, Мэри Уоллстонкрафтъ, этихъ предтечъ эманципаціи

---

разстались, Байрону пришлось выручать его въ Италіи изъ непріятныхъ столкновеній съ полиціей, вовсе не политическаго свойства. Разладъ не помѣшалъ Полидори составить дневникъ, изображающій его отношенія къ поэту. Этотъ рукописный дневникъ принадлежит въ настоящее время его родственнику писателю W. M. Rossetti, но по наведеннымъ мною прямымъ справкамъ не предназначается къ печати по крайней мелочности содержания.

<sup>1)</sup> Edward Dowden, „The life of P. B. Shelley“, p. 11.

женщинъ, опредѣлившія многое въ нравственныхъ взглядахъ и поэзіи Шелли, и въ личной жизни его второй жены (дочери Мэри), совершенно своеобразно отразились на убѣжденіяхъ ея сводной сестры (дочери Годвина отъ другого брака), Джэнъ Clairmont, которую въ семьѣ звали романтическимъ именемъ Claire,—страстной поклонницы Байрона, смѣло завладѣвшей (какъ мы уже знаемъ) его чувствомъ во время разрыва съ отечествомъ. Своему увлеченію гениальнымъ поэтомъ, ласкѣ и состраданію къ человѣку, всѣми гонимому, она придавала значеніе подвига, смотрѣла на себя какъ на піонера женской свободы, и на свою, съ бою взятую, связь—какъ на отважную попытку новыхъ отношеній между полами. Горячая, сумасбродная, съ очевидно надорванной нервной системой, она была въ жизни Байрона какъ бы двойникомъ Каролины Ламъ; ее нужно было постоянно обдумывать, сдерживать <sup>1)</sup>. Со стороны Байрона любви не было. Въ отвѣтъ на подозрѣнія сестры относительно новыхъ сердечныхъ похожденій въ Швейцаріи онъ выразился весьма опредѣленно: „У меня была всего одна связь, но не браните меня. Какъ мнѣ было поступить! Безумная дѣвочка, несмотря на все, что я говорилъ или дѣлалъ, захотѣла во что бы то ни стало слѣдовать за мной, или, лучше сказать, выѣхать мнѣ навстрѣчу, потому что я нашелъ ее здѣсь, и мнѣ стоило величайшихъ усилій убѣдить ее вернуться... Я не любилъ ея, но я не могъ разыгрывать роль стойка съ женщиной, которая промчалась восемьсотъ миль, чтобы разсѣять всю мою философію“ (to unphilosophize me) <sup>2)</sup>. Ни Шелли, ни его жена не знали, какъ далеко зашли отношенія Claire къ Байрону. Подъ конецъ они, при всей своей терпимости, стали смотрѣть на нее, какъ на существо болѣзное, невмѣняемое, капризное <sup>3)</sup>. Глаза ихъ открылись лишь

---

<sup>1)</sup> Она умерла недавно въ глубокой старости. Имѣвшіе случай видѣть ее и бесѣдовать съ нею о Байронѣ, нашли непримиренную временемъ неприязнь къ поэту. См. объ ней—William Graham, Last links with Byron, Shelley and Keats, 1900, также Englische Studien, XXVI, статья Westenholz'a.

<sup>2)</sup> Letters, III, p. 348.

<sup>3)</sup> Напечатанная не для публики коллекція писемъ Шелли къ ней (Letters from P. B. Shelley to Jane Clairmont, 1889) показываетъ, что и снисходительный, полный терпимости поэтъ именно такъ смотрѣлъ на нее.



тогда, когда скрывать результаты связи долѣе нельзя было. Быстрый отѣздъ семьи Шелли изъ Женевы въ Англію вызванъ былъ желаніемъ скоронить концы. Окруженная величайшей тайной, въ Батъ Claire родила вторую дочь Байрона, Аллегру <sup>1)</sup>.

Такова была случайная виновница встрѣчи и сближенія поэтовъ, таковъ несложный романъ, навязанный Байрону извнѣ и усвоенный имъ среди горя и тоски <sup>2)</sup>, какъ неожиданная ласка среди всеобщаго ожесточенія,—романъ, не оставившій ни одного поэтического слѣда (Helene Richter, „P. B. Shelley“, 1899, 224, считаетъ, однако, что строфа 52-я III-ей пѣсни „Гарольда“, относится не къ сестрѣ поэта, какъ обыкновенно думаютъ, а къ Claire)... Но его развязка казалась далекою въ свѣтлые часы первыхъ впечатлѣній швейцарской природы и жизни, когда необыкновенно быстро сблизились два величайшихъ стихотворца Англіи.

Вскорѣ они были неразлучны. Семья Шелли, сначала остававшаяся на лѣвомъ берегу озера, переехала въ соседство Байрона и поселилась въ *campagne Montallègre*. Начались экскурсіи въ горы или по озеру, постоянныя посѣщенія другъ друга, совмѣстныя чтенія, долгія бесѣды, споры. То Байронъ провожаетъ своихъ гостей на лодкѣ и поетъ имъ надъ озеромъ дышащую любовью къ свободѣ „Тирольскую пѣсню“ Томаса Мура, политическій гимнъ патріота-ирландца; то сидятъ всѣ они вечеромъ вокругъ камина въ *Montallègre* и, рѣшивъ импровизировать поочередно страшные и фантастическіе рассказы, даютъ волю воображенію. Жена Шелли придумываетъ канву для позднѣйшей своей повѣсти „*Frankenstein*“; Байронъ набрасываетъ контуры сю-

<sup>1)</sup> Составительница цѣнныхъ для біографіи Шелли „*Shelley memorials from authentic sources*“, third edition, 1875, категорически утверждала, что „мать Аллегры не находилась ни въ какой родственной связи ни съ Шелли, ни съ его женой“. Теперь найдена и напечатана (*Letters*, IV, 1900, p. 123) метрическая запись изъ книгъ церкви *St. Giles in the fields* въ Батѣ. Отцомъ Клары Аллегры названъ Байронъ, перъ Англіи, „безъ опредѣленнаго мѣста жительства, путешествующій по континенту“, матерью—Клара Мэри Джэнь Клермонтъ.

<sup>2)</sup> Фантазіи Джэфрсона на эту тему остроумно и вѣско опровергнуты были Фрудомъ, „*Ninet. Cent.*“, 1883, august, „*A leaf from the real life of Byron*“.

жета для „Вампира“, безцеремонно присвоеннаго потомъ свидѣтелемъ этого состязанія, Полидори, обработаннаго имъ и въ послѣдствіи еще безцеремоннѣе выпущеннаго въ свѣтъ съ именемъ Байрона <sup>1)</sup>. Судьба никогда еще не ставила на пути поэта такой поразительно своеобразной, совсѣмъ не сходной съ нимъ и въ то же время привлекательной личности, какъ Шелли; ни одинъ изъ друзей его молодости, никто изъ литературныхъ его сверстниковъ, какъ бы талантливы они ни были, не производилъ на него такого обаянія, какъ этотъ хрупкій, женственный, мечтательно восторженный юноша съ длинными кудрями и вдохновеннымъ взоромъ. Это были двѣ крайнія противоположности, но оттого и влекло ихъ другъ къ другу. Обмѣнъ мыслей раскрывалъ ихъ несогласіе; образъ дѣйствій и нравственные взгляды Байрона вызывали у его друга, особенно въ послѣдствіи, въ Италіи, открытое осужденіе. Временно разлучаясь, вдали одинъ отъ другого, они становились строже во взаимной оцѣнкѣ,—но стоило имъ снова свидѣться, и прежнее очарованіе возвращалось. Въ Равеннѣ, въ 1821 году, они встрѣтились вечеромъ и проговорили всю ночь напролетъ до утра <sup>2)</sup>. Они такъ дополняли другъ друга, что послѣ смерти Шелли жена его находила, что Байронъ всего болѣе напоминаетъ ей мужа, правда, совершенно особымъ образомъ,—„я всегда видѣла ихъ вмѣстѣ,—говоритъ она,—и когда я слышу голосъ лорда Байрона, я ожидаю, что послышится, какъ неизбѣжный отзвукъ, голосъ Шелли“ <sup>3)</sup>.

---

<sup>1)</sup> Въ письмѣ къ извѣстному въ свое время издателю парижской газеты „Galignani's Messenger“, тотчасъ по выходѣ „Вампира“, Байронъ категорически заявилъ, что онъ этого произведенія не писалъ и не знаетъ (Letters, IV, 286—7). См. также Academy, 1895, № 1190—92, „L. Byron and the Vampire“. Единственный небольшой прозаическій набросокъ первоначальной байроновской импровизаціи, напечатанный въ приложеніи къ III тому писемъ, изображаетъ вымышленную встрѣчу автора съ таинственнымъ незнакомцемъ Августомъ Дэрвеллемъ, который умираетъ на его рукахъ на турецкомъ кладбищѣ близъ Эфеса, и своими послѣдними словами, передачей перстня-талисмана, странными предчувствіями и очевидною близостью съ темными силами волнуетъ своего спутника.

<sup>2)</sup> Shelley's letters, publ. by R. Garnett, 160.

<sup>3)</sup> Shelley memorials, p. 21.

Этотъ поэтический союзъ былъ гораздо поразительнѣе прославленнаго двоецарствія Гёте и Шиллера, основаннаго на сгладившихся и уравнивленныхъ различіяхъ. Здѣсь все было въ противорѣчіи. Никогда еще идеализмъ не сходилсѣ въ такомъ контрастѣ съ рѣзко реальнымъ пессимизмомъ. Въ автобіографической поэмѣ: „Julian and Maddalo“, въ которой Шелли, два года спустя послѣ первой встрѣчи съ Байрономъ, глубоко вѣрными чертами изобразилъ противоположность байроновской личности и своего характера, мы находимъ отраженіе ихъ бесѣдъ и споровъ въ Венеціи, случившихся, конечно, продолженіемъ и развитіемъ женевскихъ страстныхъ состязаній,—и, вмѣстѣ съ тѣмъ, характеристику коренныхъ разногласій во взглядахъ. Младшій поэтъ, негодуя на силу зла и защищая свободу жизни и мысли, вѣрилъ въ возможность торжества правды, водворенія счастья для человѣчества, подъема благороднѣйшихъ, гуманныхъ идей, тогда какъ презрительная улыбка играла на лицѣ его собесѣдника, едва начинались обобщенія, дѣлались выводы и намѣчались цѣли міровой исторіи, политики, философіи. Одному казалось, что если мы допускаемъ господство зла, то вина этого—въ насъ самихъ, въ слабости нашей воли, въ подчиненности нашего ума; другой видѣлъ въ этомъ роковое, ненавистное предопредѣленіе, борьба съ которымъ безнадежна.

Но, какъ ни склоненъ былъ поэтъ-изгнанникъ къ безрадостному, непримиримому взгляду на современность и на будущее, какъ ни усилились, вслѣдствіе недавнихъ испытаній, его раздраженіе и скептицизмъ, неизмѣнно скрывавшаяся за его ироніей и тоской приверженность къ основамъ человѣческаго блага, просвѣщенія, свободы, склоняла его все внимательнѣе и сочувственнѣе прислушиваться къ горячимъ рѣчамъ друга. Тотъ, кто впослѣдствіи, въ IV главѣ „Чайльдъ-Гарольда“ (строфа 127), назвалъ „право мыслить послѣднимъ, единственнымъ нашимъ убѣжищемъ“ (our right of thought, our last and only place of refuge), не могъ не подчиниться вліянію поэта-мыслителя, превышавшаго его философскимъ образованіемъ. Самъ онъ, при обширной начитанности въ исторіи, этнографіи, словесности, при непосредственномъ знакомствѣ съ политической теоріей и прак-

тикой, при изобилии опыта и тяжело выстрадавших наблюдений надъ жизнью и людьми, оставался на уровнѣ дилетантическихъ догадокъ и чаяній въ области философіи. Культъ природы, одна изъ основъ его міросозерцанія, предполагалъ его, на примѣръ, къ пантеизму Спинозы, и еще въ 1811 году въ его рукахъ были труды философа, но въ то время, какъ онъ оцупью намѣчалъ себѣ путь, широко и величественно развилось стройное воззрѣніе Шелли, опиравшееся на философскую мысль древности и новыхъ вѣковъ, на прекрасное знаніе классическаго прошлаго, на независимый отъ церковной и государственной доктрины гуманно-демократическій идеаль. Тамъ, гдѣ свободно носилось его воображеніе, противорѣчія и нестройности жизни разрѣшались и исчезали среди необъятнаго простора и свободы будущаго, возрожденнаго человѣчества. Доказавъ своимъ заступничествомъ за гонимыхъ ирландцевъ, въ послѣдствіи вмѣшательствомъ въ борьбу молодой Италіи съ реакціей, сочувствіе активному протесту, онъ въ то же время способенъ былъ воплотить его идею въ „Освобожденномъ Прометѣѣ“, и отъ низменныхъ житейскихъ дѣлъ и образовъ подниматься въ тѣ сферы, гдѣ божественныя силы, элементы природы, свѣтлые и мрачные духи, жизнь и крушеніе цѣлыхъ міровъ, вѣковѣчные вопросы и сомнѣнія, удручающіе человѣка, населяли его поэзію.

Передъ силой такой вдохновенной поэтико-философской самобытности долженъ былъ смягчиться байроновскій скептицизмъ и гнѣвъ; горькая усмѣшка исчезала при видѣ такой пламенной надежды; мысль и воображеніе понесли также на вселенскій просторъ, углубились, стали могущественнѣе. „Я слишкомъ долго мыслить мрачно,—скажетъ вскорѣ Чайльдъ Гарольдъ (пѣснь III, 8),—до того, что мозгъ мой, кипя и мучаясь, сталъ ураганомъ фантазіи и огня; отнынѣ мои мысли должны хоть нѣсколько утратить дико-необузданный характеръ“. Даже въ своемъ страстномъ обращеніи къ природѣ Байронъ нуждался въ руководствѣ того, кто и тогда уже былъ однимъ изъ величайшихъ мастеровъ по части ея изображенія<sup>4)</sup>. Бывало, еще въ „Англійскихъ Бардахъ“,

<sup>4)</sup> Ср. диссертацию Pelham Edgar: „A study of Shelley with special reference to his Nature Poetry“. Toronto, 1900. Также—Henry Sweet, „Shelley's Nature-Poetry“, London, 1888 (изд. не для публики).

Байронъ потѣшался надъ незатѣйливой простотою поэзіи Вордсворта, переходящей къ прозаическимъ описаніямъ мѣстности, ландшафта, быта; теперь Шелли научилъ его цѣнить у Вордсворта рѣдкія дарованія пейзажиста и реалиста-разсказчика <sup>1)</sup>. Отъ прикосновенія Шелли, словомъ, вскорѣ зазвучали многія струны. Въ „Прометей“, „Манфредъ“, „Шильонъ“, новыхъ главахъ „Гарольда“, „Каинъ“ это живо чувствуется.

Въ идейномъ вліяніи, въ подъемѣ философской мысли, въ расширеніи литературнаго образованія Байрона, который въ ту пору, напр., еще совершенно игнорировалъ Гете,—наконецъ, въ обаяніи самой личности молодого поэта заключается сущность воздѣйствія его на Байрона. Тщательное подыскиваніе мелкихъ, частныхъ заимствованій и шеллиевскихъ отголосковъ въ Байроновской поэзіи, какое иногда попадаетъ въ литературѣ о Байронѣ <sup>2)</sup>, даетъ микроскопическіе результаты. Повторялись и усваивались не слова или сюжеты, а великія мысли.

Объ руку съ такимъ спутникомъ Байронъ вступилъ въ новыя области знанія и размышленія; съ нимъ онъ многое прочелъ и обсудилъ. Если позже, въ Италіи, когда его другъ готовился издать въ своемъ переводѣ одинъ изъ трактатовъ Спинозы, Байронъ могъ вызваться написать вступительный біографическій этюдъ о философѣ, эта необычная у него прежде компетентность стала возможною только послѣ женевской встрѣчи. Шелли возбудилъ въ другѣ интересъ къ поэзіи Гёте. Въ числѣ англійскихъ туристовъ они нашли хорошаго знатока нѣмецкой литературы, Льюза, прозваннаго Монахомъ (Monk Lewis), <sup>3)</sup>, посредственнаго писателя, скучнаго собесѣдника,

---

<sup>1)</sup> Alois Brandl, статья „Byron and Wordsworth“, Cosmopolis, 1896, VI.—Также книга F. Pugh, „Byron und Wordsworth, ihre Stellung zu einander und ihre Bedeutung als Dichter und Denker“. Heidelberg, 1901.

<sup>2)</sup> Heinrich Gillardon. „Shelley's Einwirkung auf Byron“, Karlsruhe, 1898.

<sup>3)</sup> Matthew Gregory Lewis, авторъ Tales of Wonder, „Ambrosio or The Monk“ (откуда его прозвище), много содѣйствовавшій прививкѣ нѣмецкаго романтизма въ англійской литературѣ, авторъ балладъ, одно время соперничавшихъ съ вальтеръ-скоттовскими.

но усерднаго и услужливаго малаго, который прочелъ имъ почти всего „Фауста“, подстрочно перевода его,—и Байронъ испыталъ новое, сильное впечатлѣніе. Женевское побережье полно было отголосковъ эпохи Вольтера и Руссо,—повидимому, только тутъ прочли оба друга „Новую Элоизу“<sup>1)</sup>,—и превосходныя строфы 3-й главы „Гарольда“ остались отголоскомъ увлеченія романомъ. Посѣщеніе Фернэ, гдѣ когда-то царилъ Вольтеръ, навело на мысль о возможности такъ же бороться съ тьмой и неправдой не съ высоты презрѣнія къ людямъ, а стоя въ ихъ средѣ, заступаясь за угнетенныхъ и руководя освободительнымъ движеніемъ,—а посѣщеніе друзьями новаго салона, который невдалекѣ отъ Фернэ, казалось, возрождаетъ вольтеровскія традиціи, замка г-жи Сталь въ городкѣ Коппэ, гдѣ, послѣ долгихъ скитаній, доживала послѣдніе мѣсяцы та умная женщина, которую Байронъ съ ласковой шуткой отнынѣ величалъ „коппэйской Мадонной“ (Our Lady of Coppet)<sup>2)</sup>, освѣжало общеніе съ интереснымъ международнымъ кружкомъ. Изъ верхнихъ оконъ виллы Діодати видѣнъ вдали Коппэ; поѣздки туда совершались необыкновенно легко. Вступая въ гостиную „Коринны“, Байронъ встрѣчался съ нѣмецкими романтиками и учеными (А. В. Шлегелемъ, I. Мюллеромъ), съ французскими поэтами и публицистами. Въ хозяйкѣ салона онъ привыкъ цѣнить, несмотря на ея причуды и слабости, искренняго своего приверженца. Онъ зналъ, что она выдержала немало битвъ, защищая Байрона отъ нападокъ его соотечественниковъ, приходившихъ къ ней на поклонъ; не разъ слышалъ отъ нея совѣты примиренія и предложеніе быть посредницей между нимъ и женой; слышалъ тонкія замѣчанія о своихъ произведеніяхъ, и свободное осужденіе своихъ поступковъ<sup>3)</sup>. Ей пришлось теперь первой разсказать Байрону о недостойной мести Каролины Ламъ,—ея *Glenar-*

---

<sup>1)</sup> Charles Elton. „An account of Shelley's visits to France, Switzerland, and Savoy“, 1894, p. 51.

<sup>2)</sup> Письмо къ Роджерсу, 1817, 4 апр.

<sup>3)</sup> Еще въ Англіи она писала ему, напр.: „Sachez moi gré de pardonner à votre génie tout ce qui a dû me déplaire en vous. Je voudrais causer avec vous; quand m'en trouverez vous digne?“ (Брит. музей, Additional Mss. 31, 337).

*von's*,—взять назадъ прежніе свои упреки въ безсердечіи къ несчастной женщинѣ, и утѣшать его. На ряду съ личнымъ вліяніемъ Шелли и развивающимъ дѣйствіемъ его живительныхъ философско-эстетическихъ бесѣдъ, эти посѣщенія выдерживали его въ той чистой атмосферѣ, которая такъ необходима была для его возрожденія.

Но его звала къ себѣ природа, и, отрываясь отъ книгъ и размышленій, онъ шелъ къ ней, покидая, иногда надолго, Женеву, часто вмѣстѣ съ Шелли, или же въ обществѣ Гобгоуза, страстнаго туриста, который снова появился, чтобы раздѣлить съ другомъ впечатлѣнія путешествій, напоминавшихъ имъ бывше походы по албанскимъ и греческимъ горамъ. Дневникъ главнаго изъ этихъ странствій, веденный Байрономъ для сестры, краткій и стилистически необдѣланный, но нѣсколькими штрихами умѣющий обрисовать пережитое и видѣнное, пять-шесть писемъ, въ которыхъ (иногда уже по отъѣздѣ изъ Швейцаріи) Байронъ сообщалъ друзьямъ кое-что о своихъ экскурсіяхъ, рядъ писемъ Шелли и описаніе „Шестинедѣльной поѣздки по Швейцаріи“, составленное женою Шелли по личнымъ наблюденіямъ и разсказамъ мужа, остались фактической записью блужданій поэта. Скупость его собственныхъ сообщеній можетъ показаться странною, но она говоритъ не о слабости, а о необыкновенной силѣ впечатлѣній, которая до того захватывала и потрясала, что не давала отвлекаться для медлительной прозы описаній. Только поэтическія краски могли передать безконечную и непрерывную смѣну ощущеній и настроеній, совершенно устранявшихъ душевное равновѣсіе, замѣняя его экстазомъ, опьяняющимъ восторгомъ. Объясняя страстный тонъ третьей пѣсни „Гарольда“, онъ въ послѣдствіи самъ называлъ свое психическое состояніе въ ту пору „безуміемъ“.

Частыя поѣздки по озеру во всѣ направленія, круговой объѣздъ всего Лемана въ лодкѣ вмѣстѣ съ Шелли (вызвавшій у его друга вдохновенный „Hymn to intellectual beauty“), походъ къ Монблану черезъ Шамони, переваль изъ французской Швейцаріи въ Оберландъ, къ Юнгфрау и ея снѣговой цѣпи, подъ конецъ, на пути въ Италію, картины Ронской долины и переходъ черезъ Симплонъ — какое богатство и

разнообразіе впечатлѣній, отъ нѣжно-идиллическихъ до могущественныхъ, величавыхъ, почти превышающихъ способность человѣка воспринимать ихъ! Внизу, у голубыхъ водъ озера, необыкновенно растрогавшіе Байрона отголоски „Новой Элоизы“ и мечты его въ „Bosquet de Julie“, близъ Clarens'a, оживлявшія фабулу романа, словно онъ выстраданъ былъ дѣйствующими лицами на дѣлѣ, а не созданъ въ пламенномъ мозгу Руссо,—и грозная картина того же озера во время сильной бури, когда вставали, словно на морѣ, стѣнами валы, клокотала бѣлая пѣна, гремѣлъ громъ, гулко разносимый горнымъ эхо, когда близъ извѣстныхъ частыми крушеніями утесовъ Meillerie лодка Байрона, съ сломаннымъ рулемъ и оборваннымъ парусомъ, едва не пошла ко дну, и оба пловца безстрашно ожидали неминуемой смерти <sup>1)</sup>,—или спускъ въ подземелье Шильонскаго замка, въ темницы, гдѣ, послѣ торжественной красоты и простора природы, злоба и нетерпимость людей проявлялись еще возмутительнѣе. Покинетъ ли онъ озеро и долины для горъ,—поэтическое чувство, фантазія, мысль еще сильнѣе поражены. Люди встрѣчаются все рѣже; бѣдные альпійскіе поселки кажутся мирными пріютами безхитростныхъ дѣтей природы; наконецъ, единственнымъ представителемъ человѣческаго рода явится развѣ суровый Aelpler, ушедшій со своими стадами на все лѣто въ заоблачныя высоты, или охотникъ за сернами. Звонъ колокольцовъ въ стадахъ, пастушья свирѣль, звукъ внезапно раздавшейся народной мелодіи (*Ranz de vaches*) мягко дѣйствуютъ на душу. Исчезаютъ послѣдніе признаки людского существованія. Гдѣ-то, безконечно далеко внизу, осталась грѣшная земля съ ея зломъ и неволей. Торжественно высятся надъ нею исполины въ снѣговыхъ коронахъ, рокочутъ и сверкаютъ водопады, съ веселымъ гуломъ низвергаются въ бездну лавины. Налетитъ ли гроза,—огненные змѣи молній, ревъ вихря, борьба косматыхъ облачныхъ чудовищъ, могучіе раскаты грома—новая красота. Передъ лицомъ царственной природы, чья жизнь—тысячелѣтія, чья красота и сила—вѣчность, стоялъ человѣкъ высокихъ дарованій, съ смѣлыми

<sup>1)</sup> Много времени спустя, Байронъ все еще вспоминалъ и (очевидно, ясно видя сцену передъ собой) описывалъ поразительную неустрашимость Шелли. (Letters, IV, 296).



стремленіями и дивными грѣзами, но измученный, несчастный, раздраженный, съ печальнымъ осадкомъ страстей, ошибокъ, проступковъ.

Съ убитой душой, по лѣсамъ, по горамъ  
Скитаясь, какъ странникъ безродный,  
Онъ смотритъ, онъ внемлетъ, какъ бури свистать,  
Какъ молніи вьются, утесы трещать,  
Какъ громы въ горахъ умираютъ.  
О, вихри, о, громы, скажите вы мнѣ —  
Въ какой же высокой, безвѣстной странѣ  
*Душевные бури стихаютъ? <sup>1)</sup>*

Совсѣмъ забыть недавно пережитое, съ довѣріемъ взглянуть на будущее, какъ будто и оно не отравлено для него, онъ не могъ и въ этой величавой обстановкѣ. Глубокою грустью звучать послѣднія слова его путевого дневника, заключающія въ себѣ уже прямое обращеніе къ сестрѣ. „Я люблю природу и поклоняюсь красотѣ. Я могу переносить усталость и лишенія; я созерцалъ рядъ удивительнѣйшихъ видовъ, какіе только существуютъ. Но, при всемъ этомъ, горькія воспоминанія, въ особенности о недавнихъ и ожидающихъ меня впереди семейныхъ невзгодахъ, которыя будутъ теперь неразлучны со мной во всю жизнь, овладѣвали мной и здѣсь; ни мелодія пастуха, ни грохотъ лавины, ни водопадъ, гора, ледникъ, лѣсъ или облако не могли облегчить бремя, нависшее надъ моимъ сердцемъ, ни помочь мнѣ утратить сознаніе моей несчастной личности среди величія, мощи и славы вокругъ меня и надо мной“ <sup>2)</sup>).

Такъ Манфредъ будетъ тщетно молить духовъ природы о великомъ дарѣ, — *способности забвенія*.

Но пребываніе „среди великихъ“, но живительное дѣйствіе на душу красотъ, простора и свободы заоблачнаго царства, гдѣ смолкаютъ ничтожные и презрѣнные земные счеты, и мысль устремляется къ высшимъ цѣлямъ, — несмотря на силу и живучесть огорченій, оставило глубокій слѣдъ на характерѣ, настроеніи и дальнѣйшей судьбѣ Байрона.

---

<sup>1)</sup> Изъ стихотворенія поэта-слѣпца Козлова: „На смерть Байрона“. Объ этомъ стихотвореніи недавно напомнило письмо Александра Тургенева Вяземскому, „Остафьевскій Архивъ“, томъ III, Спб., 1899, стр. 68.

<sup>2)</sup> Works, Letters, III, 364.

То, что испыталъ онъ, когда впервые вступилъ въ поясъ снѣговъ Юнгфрау, никогда болѣе не повторилось у него съ такою же силой. Впечатлѣнія Симплона, даже Монблана, казались ему впослѣдствіи лишь блѣднымъ повтореніемъ видѣннаго. Походъ въ бернскія Альпы, неизгладимый ни въ его воспоминаніяхъ, ни въ его поэзіи, долженъ, поэтому, занять первое мѣсто въ его швейцарскомъ паломничествѣ.

Едва покинулъ онъ, раннимъ утромъ, Кларанъ (на мѣстѣ дома, гдѣ онъ жилъ, недавно сооружена доска съ надписью: „En ce lieu-ci a séjourné Lord Byron en 1816“) и берега озера, всегда вызывавшаго въ немъ сильныя поэтическія симпатіи, послѣ остановокъ въ Les Avants и у темнаго горнаго озерка (откуда Гобгоузь поднялся къ скалистому, одинокому рогу Dent de Jaman) разстался съ чудной панорамой, которая съ высотъ раскидывается отъ Монблана, Dents du Midi и Чертеятъ (Diablerets) до дальнихъ бернскихъ Альпъ, и вступилъ на горную тропу, которая вела къ первой фрибургской деревнѣ Montbovon,—онъ уже въ восхищеніи: „Эта дорога—настоящее сновидѣніе, мечта“, записываетъ онъ въ дневникѣ. Греза на яву съ каждымъ шагомъ становилась все роскошнѣе.

По изборожденной горными перекатами, перерѣзанной долинами и потоками дорогъ на Chateau d'Oex и Gessenay (Saanen), Байронъ перешелъ изъ французскаго альпійскаго міра въ нѣмецкій край; другая рѣчь, другой типъ, иной складъ жизни. Онъ спускается въ Зимменталь, вдоль шумно несущейся черезъ каменные глыбы рѣки Зиммы, окаймленной сначала темною хвоею лѣсовъ, потомъ яркой зеленью луговъ,—въ классическій край пастуховъ и стадъ, зажиточный, первобытный и уютный. Смѣна ландшафта ему пріятна, идиллическія краски успокоиваютъ. Но Тунское озеро преграждаетъ ему путь. Обступившія его скалы становятся все выше, зубцы ихъ причудливо вырѣзываются въ синевѣ неба; надъ ними показались, сверкая, горы на солнцѣ, первые отроги снѣжной цѣпи. Изъ Туна плыветъ онъ нѣсколько часовъ по озеру въ баркѣ, управляемой рыбаками,—и ему странно, что „въ первый разъ въ его жизни женщины умѣютъ выбрать настоящее, прямое направленіе“. Въ Интерлакенѣ онъ не останавливается и спѣшитъ войти въ за-

повѣдное царство. Гдѣ на лошади или на мулѣ, гдѣ пѣшій, онъ огибаетъ извивы вырвавшейся изъ ледника Lutschin'ы и вступаетъ въ Лаутербрунненскую долину.

Путь его стерегутъ угрюмые, отвѣсные утесы или зеленые склоны исполинскихъ горъ; солнечные лучи играютъ въ струяхъ водопадовъ, то преломляясь радугой, то слагаясь въ неуловимыя очертанія воздушнаго женскаго образа,—то почему-то напоминая апокалиптическаго бѣлаго коня съ длиннымъ пушистымъ хвостомъ. Наконецъ, въ Лаутербрунненѣ, отовсюду надъ нимъ надвинулись снѣжныя вершины. Онъ поднимается все выше, къ Wengern Alp, на Малый Шейдеггъ. Въ былые дни, на Средиземномъ морѣ, онъ цѣлыми часами не отрывалъ взора отъ красоты океана; теперь онъ не можетъ наглядѣться на торжественное величіе царственныхъ горъ. Передъ нимъ, въ уборѣ сверкающихъ ледяныхъ кристалловъ и дѣвственно-бѣлыхъ снѣжныхъ полей, высится Юнгфрау; два другихъ гиганта словно сторожатъ ее; высоко горитъ солнце; черезъ каждыя пять-шесть мгновеній падаетъ лавина, наполняя гуломъ окрестность... Малѣйшая подробность картины врѣзалась въ художественную память поэта; вся эта „alpine scenery“ стала вскорѣ фономъ „Манфреда“; наскоро набросанныя въ дневникѣ черты, сравненія, ощущенія—прототипъ лучшихъ описательныхъ мѣстъ поэмы.

Еще нѣсколько сильныхъ или чарующихъ альпійскихъ впечатлѣній,—спускъ въ долину къ Гриндельвальду, походъ къ ледникамъ, перевалъ къ Мейрингену, въ Hasli-Thal; на прощанье—блескъ и шумъ окруженныхъ облаками водяной пыли рейхенбахскихъ водопадовъ, низвергающихся съ уступа на уступъ въ низину, гдѣ ихъ воды становятся бѣшеной рѣкой, потомъ мирное плаваніе по романтическому Бріэнцкому озеру, снова въ баркѣ рыбачекъ, которыя по пути пѣли стройнымъ хоромъ народныя пѣсни; наконецъ, возвратъ въ Женеву черезъ Бернъ и Фрибургъ,—и путешествіе въ Оберландъ было закончено. Недолго длилось оно, но въ жизни Байрона оно отмѣтило несомнѣнный переломъ.

Не примиреніе, не раскаяніе и не успокоеніе вынесъ онъ изъ одинокихъ размышленій среди величественной, едва доступной людямъ природы. Еще рѣзче прежняго обозначились грани его личности, выдвинутой судьбою изъ человѣческой

массы, какъ альпійскія вершины изъ земной поверхности. Независимость и непокорность Манфреда, даже въ минуту разставанія съ жизнью, даже подъ гнетомъ несчастій и невозможности забвенія—подлинныя байроновскія черты. Превжняя терминологія называла такое состояніе духа титанизмомъ, новая готова приложить къ Байрону ходячій и претенціозный эпитетъ сверхъ-человѣка <sup>1)</sup>. Но душевное настроеніе его въ изучаемую пору не было ни богатствомъ, ни гордымъ самодовольствомъ избранной натуры. То, что еще недавно мучило и волновало его, выступило теперь во всемъ своемъ ничтожествѣ. Пусть личная его жизнь разбита,—иныя, вышшія и благородныя цѣли влекутъ его отнынѣ къ себѣ. Онъ старался служить имъ и прежде, въ лучшія минуты своего творчества, но превратности жизни, темпераментъ и страсти сводили его постоянно съ пути. Чистая атмосфера знанія и мысли, идеалистическій пылъ Шелли, великая альпійская природа освѣжили и оздоровили его. Съ меланхоліей онъ не въ силахъ совсѣмъ разстаться и теперь,—но не была ли она искони удѣломъ выдающихся, геніальныхъ людей? Даже въ тѣ минуты, когда на него, уже прозрѣвшаго, снова наляжетъ тоска и будетъ грызть его, онъ всегда останется цѣлою головой выше жалкихъ, безпомощныхъ скорбниковъ—особенно нашего времени — да и не онъ одинъ. Какъ выразился недавно изслѣдователь современной печали <sup>2)</sup>, „если бъ великіе романтики-невропаты (*les illustres névrosés du romantisme*), Байронъ, Мюссе, Гейне, вернулись снова на землю, нашъ душевный упадокъ, обиліе сумасшествій, неврастеніи, самоубійствъ, возбудили бы въ нихъ жалость, презрѣніе“... Если прежде, въ приливѣ отчаянія, мысль о самоубійствѣ проносилаь и въ его мозгу (онъ надѣлилъ ею своего Манфреда),—конечно, только бравадою можно счесть его увѣреніе,

---

<sup>1)</sup> Попытка критически разсмотрѣть правильность приложенія этого термина къ Байрону сдѣлана Карломъ Bleibtreu, „Byron der Uebermensch“, Jena, 1897. Въ противоположность взглядамъ Ницше, говоритъ онъ, истинный сверхъ-человѣкъ является нравственнымъ исполиномъ (*ein ethischer Riese*), какъ бы ни презиралъ онъ ходячую мораль своихъ согражданъ. Въ томъ же духѣ смотритъ на Байрона-Манфреда Herrmann Türk, *Der geniale Mensch*, 1898.

<sup>2)</sup> Fierens-Gevaert. „La tristesse contemporaine“, 1899, p. 21.

будто его удерживало желаніе не доставить торжества врагамъ. Теперь же, послѣ раздумья въ святилищѣ природы, эта мысль стала для него невозможною, преступною. Онъ будетъ жить и бороться.

Не разстанется Байронъ и съ великимъ даромъ недовольства и строгой требовательности. Какъ бы ни казалось ему низменнымъ и позорнымъ людское стадо, какъ бы часто ни вырывались у него и въ послѣдствіи суровые отзывы и заявленія, проникнутыя пессимизмомъ, какъ ни печально отраженіе человѣческой жизни въ его поэтическомъ зеркалѣ, и какъ ни напоминаютъ подчасъ вырывающіяся у него признанія душевный складъ аристократически-изысканной натуры,—онъ не перестанетъ передъ лицомъ столь низко павшаго человѣчества возглашать завѣты правды, свѣта, свободы. Это—старая, неразлучная съ нимъ борьба *двухъ* личностей <sup>1)</sup>, но вторая, благороднѣйшая, начинаетъ видимо торжествовать. Истинный „сверхъ-человѣкъ“ долженъ былъ бы потребовать воли лишь для себя, презрительно оторваться отъ массы, замкнуться въ эгоизмъ,—въ жизни Байрона и въ его поэзіи выдающимся началомъ (что бы ни говорили противъ этого по заведенному порядку) будетъ альтруизмъ, а первая поэма, написанная имъ въ Швейцаріи, прославить мученичество за свободу. Въ Оберландѣ держится преданіе, будто, замышляя „Манфреда“, Байронъ въ мечтахъ своихъ представлялъ себѣ его замокъ на мѣстѣ уцѣлѣвшей и до нашего времени въ послѣднихъ обломкахъ (часть стѣны и круглая башня) развалины Unsprunnen, на лѣсистомъ холмѣ вблизи Интерлакена и горы Ругенъ. Онъ приходилъ сюда, любовался видомъ на Юнгфрау, на голубую даль Бріэнцкаго озера, переносился мыслью въ настроеніе негодующаго отшельника, который затворился бы отъ міра въ этомъ дивномъ одиночествѣ, мучимый призраками прошлаго,—но *Манфредъ*—

---

<sup>1)</sup> Въ соотвѣтствующихъ психо-фізіологическихъ изслѣдованіяхъ (напр. въ книгѣ А. Binet, „Les altérations de la personnalité“, 1892, особенно въ отдѣлѣ: „La coexistence de plusieurs personnalités“) до сихъ поръ слишкомъ мало обращалось вниманія на проявленіе этой раздвоенности у писателей; работа въ этомъ направленіи многое освѣтила бы въ контрастахъ и противорѣчіяхъ жизни и творчества.

*Байронъ* вышелъ изъ своего замка, чтобы спуститься къ людямъ и пострадать за нихъ.

Когда, возвращаясь въ Женеву изъ своихъ странствій, и чувствуя давно небывалый приливъ творчества (особенно богатъ былъ поэтическими его произведеніями іюль 1816 г.), Байронъ въ затишьѣ виллы Діодати съ увлеченіемъ работалъ, поворотъ въ его настроеніи быстро отразился на его поэзіи. Отголоски личной печали или мрачные порывы фантазіи по временамъ могутъ, правда, еще проникать въ нее. Въ эту пору написаны, напр., „Сонъ“ съ его видѣніями далекаго прошлаго и повѣстью любви къ Мэри Чэвортъ (драгоцѣнный автобіографическій матеріалъ, который уже послужилъ намъ при изученіи юности Байрона)—или „Тьма“, сумрачная греза о послѣднемъ днѣ вселенной, о гибели жизни, помраченіи солнца и свѣтилъ, о смерти природы, и всемогущемъ нераздѣльномъ торжествѣ Мрака (тема стихотворенія въ извѣстной степени обусловлена была отголосками библіи, которую Байронъ зналъ въ совершенствѣ,—сюжета безымяннаго романа начала XIX-го вѣка, „The last man or Omegarus and Syderia“, London, 1806,—какъ полагаетъ Брандль, одного изъ эпизодовъ Кольриджевскаго „Стараго Матроса“, <sup>1)</sup>),—по увѣренію поэта Томаса Кэмпбелла, сообщеннаго Байрону этимъ послѣднимъ разсказа о *задуманномъ* имъ стихотвореніи того же содержанія) <sup>2)</sup>; наконецъ, нѣсколько скорбныхъ строфъ въ новой главѣ „Гарольда“. Но символа совершившейся въ немъ перемѣны никто не станетъ искать въ нихъ. Его герой теперь—не печальникъ съ разбитой душой, а „Прометей“

Когда одинъ изъ журнальныхъ критиковъ „Манфреда“<sup>3)</sup>, сталъ утверждать, что въ этомъ произведеніи всего замѣтнѣе отраженіе Эсхиловой трагедіи о Прометее, Байронъ не только допустилъ возможность вліянія, но расширилъ его *на всю свою поэзію*. „Прометей“, поразившій его еще въ школѣ, „всегда до такой степени наполнялъ его умъ, что онъ легко

---

<sup>1)</sup> Байроновская фантазія о концѣ міра вызвала много подражаній. Новѣйшее изъ нихъ — „Marche funèbre. Choeur des derniers hommes“, Л. Диркса, провозглашеннаго „королемъ поэтовъ“ (Oeuvres complètes, P., 1894); оно переведено по-русски С. Головачевскимъ, „Стихотворенія“, М. 1899.

<sup>2)</sup> Coleridge und die englische Romantik, S 214—15.

<sup>3)</sup> „Edinburgh Review“, августъ, 1817.

можетъ представить себѣ вліяніе этой трагедіи на все, что когда-либо онъ написалъ“. Но ко времени житія въ Женевѣ относится особенно важное закрѣпленіе античной легенды и Эсхилова произведенія въ сознаніи поэта. Если обстановкой перваго изученія ихъ были классныя занятія въ Гарроу, то теперь онъ съ живымъ интересомъ выслушалъ переводъ трагедіи, который дѣлалъ для него съ греческаго à livre ouvert Шелли, конечно, сумѣвшій выдвинуть и охарактеризовать красоты и силу подлинника. Кризисъ въ личной жизни, вернувшій поэта къ свободному, широкому и благому для людей творчеству могъ также привести къ сравненію своей участи съ долею древняго страдальца за гуманную идею. Байроновскій „Prometheus“ явился краткимъ, но глубокимъ по замыслу и сильнымъ по формѣ гимномъ въ честь „титана“<sup>1)</sup>. Въдѣ въ немъ „страданія человѣчества вызывали не горделивое презрѣніе, свойственное богамъ, а сочувствіе“; его преступленіемъ было желаніе блага, стремленіе своею проповѣдью уменьшить несчастія людскія, закалить человѣка, укрѣпивъ его умъ. Мученику за человѣчество боги „отказали даже въ смерти, одарили его злосчастнымъ даромъ вѣчности“, но въ его несокрушимой энергіи люди найдутъ всегда ободреніе и примѣръ. Пусть человѣчество—„мутный потокъ, вышедшій изъ чистаго источника“; божественное начало должно выставить противъ зла силу ума и твердость воли, не поддающуюся даже пыткамъ. „Тогда и сама смерть будетъ для человѣка побѣдой“.

Этотъ гимнъ въ честь древняго богоборца (одно изъ украшеній въ циклѣ многочисленныхъ поэтическихъ обработокъ легенды о Прометей въ новѣйшей литературѣ,—твореній Шелли, Лонгфелло, Л. Аккерманъ и др.)<sup>2)</sup>,—былъ прологомъ къ новому періоду Байроновской дѣятельности. Слѣдующій

---

<sup>1)</sup> Прометей Байрона всего тщательно изданъ съ комментаріями Kölbinger'омъ: *The Prisoner of Chillon and other poems*. Weimar, 1896.

<sup>2)</sup> Обзоръ ихъ сдѣланъ О. Манномъ, „*Der Prometheus-Mythus in der modernen Dichtung*“, Frankfurt an der Oder, 1878. Очеркъ исторіи типа Прометея и прометидовъ въ связи съ народными сказаніями древней Греціи и современнаго Кавказа сдѣланъ въ моей статьѣ „Прометей въ кавказскихъ легендахъ и мировой поэзіи“, *Кавказскій Вѣстникъ* 1901 г., № 3.

шагъ впередъ въ томъ же направленіи сдѣланъ въ „Сонетъ къ Шильону“ и въ поэмѣ „Шильонскій узникъ“.

Когда въ первую же свою поѣздку съ Шелли по Женевскому озеру Байронъ посѣтилъ Шильонскій замокъ, спустился въ подзаемелье, гдѣ находились нѣкогда тюрьмы, увидалъ въ темномъ застѣнкѣ перекладину, на которой вѣшали иногда приговоренныхъ къ смерти, и зіяющее отверстіе внизу стѣны, по которому сталкивали въ озеро, въ этомъ мѣстѣ бездонное (800, дальше даже 1.000 футовъ глубины), другихъ несчастныхъ, когда ему показали кольцо, прикрѣплявшее къ столбу цѣпь на одномъ изъ узниковъ, Бониварѣ, а въ скалѣ, служившей поломъ, пробитый многолѣтней его ходьбой вокругъ столба слѣды,—чувство ужаса овладѣло обоими друзьями (впечатлѣнія Шелли изложены въ письмѣ его къ Пикоку). Когда они снова очутились на озерѣ, поднялся вѣтеръ, началась непогода; на другой день, послѣ ночлега въ Clagens, они подъ дождемъ могли добратъся только до мѣстечка Ouchy, подъ Лозанной; два дня подъ рядъ лилъ дождь; Байронъ не выходилъ изъ своей комнаты въ скромной деревенской гостинницѣ Hôtel de l'Ancre; мысль была полна шильонскими сценами (его такъ поразили онѣ, что, два съ половиною мѣсяца спустя, онъ снова побывалъ въ Шильонѣ), и „въ два дождливыхъ дня созданъ „The Prisoner of Chillon“<sup>1)</sup>.

Замыселъ поэмы, какъ мы уже знаемъ, внушенъ былъ точнымъ историческимъ фактомъ; несмотря на это, въ ней (въ особенности въ наше время, послѣ детальной разработки швейцарской церковной и соціальной исторіи) чувствуется большой недостатокъ именно историческаго фона. Это созналъ и авторъ уже послѣ окончанія поэмы. „Я былъ недостаточно освѣдомленъ о подлинной личности Бонивара, когда писалъ „Узника“,—говоритъ онъ въ предисловіи,—иначе я попытался бы достойно прославить его подвиги и заслуги“. На Байрона подѣйствовали рассказы его проводника по подземелью, сочувственный отзывъ о Бониварѣ, встрѣченный

---

<sup>1)</sup> Въ видѣ курьеза можно привести увѣреніе официального гида по Шильону (Chillon ancien et moderne, p. 29), что Байронъ сложилъ поэму большей частью въ самомъ подземельѣ и окончилъ ее въ Уши.



имъ у Руссо, два, три мелкихъ разспроса; все это не было провѣрено. Лишеніе свободы, многолѣтняя кара за стойкость убѣжденій были для поэта, казалось, достаточной и привлекательной темой.

Вполнѣ своеобразная личность реальнаго Бонивара заслуживала, конечно, большаго вниманія. Молодой пріоръ аббатства Saint-Victor (не произнесшій, однако, монашескаго обѣта), широко образованный, преданный идеямъ реформации, но чуждый пуританства и нетерпимости, публицистъ, историкъ, страстный библіофилъ <sup>1)</sup>, другъ народа, и въ то же время аристократъ по культурѣ, Франсуа Бониваръ былъ въ Женевѣ XVI-го столѣтія, по выраженію историка реформации, Мерль д'Обинье <sup>2)</sup>, воплощеніемъ „Ренессанса“, подобно тому, какъ Кальвинъ воплощалъ въ себѣ реформацию <sup>3)</sup>. Историкъ сравниваетъ его съ Эразмомъ Роттердамскимъ; „такъ же, какъ Эразмъ, Бониваръ былъ другомъ науки, но еще въ большей степени, чѣмъ Эразмъ, онъ былъ другомъ свободы“. Савойскій герцогъ, непримиримый врагъ женевскихъ вольностей, считалъ его опаснѣйшимъ бунтовщикомъ. Бонивара бросали въ тюрьму дважды. Выпущенный въ первый разъ на волю, онъ ни въ чемъ не измѣнилъ своего образа дѣйствій. Клевреты герцога подстерегли Бонивара на пути въ Лозанну и заперли его въ казематъ Шильона; два года спустя, когда герцогъ явился въ замокъ и лично увидалъ своего противника, онъ, по словамъ Бонивара, самъ придумалъ ухудшеніе участи арестанта; его перевели въ подземелье, приковали къ столбу, стали грубѣе и ожесточеннѣе прежняго, и тамъ,—говорилъ впоследствии самъ заключенный, „je avoys si bon loysir de me pourmener que je empreignis un chemin en la roche qui estoit le pavement de leans comme si on leust fait avec un martel“. Въ томъ же году, какъ и Бониваръ, но въ Женевѣ, были захвачены савойцами трое другихъ мятежныхъ гражданъ, имена которыхъ въ точности извѣстны; вмѣстѣ они отбыли заклю-

<sup>1)</sup> Основаніе общественной женевской библіотеки было положено Бониваромъ.

<sup>2)</sup> Histoire de la réformation en Europe au temps de Calvin. 1863, I.

<sup>3)</sup> Объ отношеніяхъ къ нему Кальвина ср. статью The real prisoner of Chillon, by Francis Gribble въ журналѣ Literature, 1900, august 18.

ченіе, продолжавшееся для Бонивара шесть лѣтъ. Штурмъ замка бернскими войсками освободилъ узниковъ. Бониваръ снова вернулся къ общественной дѣятельности, ни въ чемъ не поколебленный, жилъ долго и—четыре раза былъ женатъ.

Этого, историческаго Бонивара напрасно стали бы мы искать въ поэмѣ. Въ ней нѣтъ даже его имени (оно одинъ разъ упомянуто лишь въ „сонетѣ къ Шильону“), что обусловлено уже самой ея формой,—разказомъ арестанта отъ своего лица. Нѣтъ и Женевы въ ея борьбѣ съ Савойей, и реформаціонной эпохи, какъ среды, гдѣ развивается сюжетъ. Въмѣсто нихъ—обобщенное представленіе о причинѣ всѣхъ насилій и напраслины, о духѣ Гоненія (Persecution), гдѣ-то, словно въ безыменной землѣ, безнаказанно торжествующемъ. Случайное и независимое отъ ареста Бонивара взятіе трехъ женевцевъ превратилось въ захватъ нѣсколькихъ братьевъ. Въ подземельѣ семь столбовъ; къ тремъ изъ нихъ приковано по одному несчастному. Это—мученики за религіозную свободу. Въ странѣ, гдѣ вопросы вѣры занимали въ теченіи вѣковъ выдающееся мѣсто въ народной жизни, вызывая подвиги героизма и самоотверженія,—казалось Байрону—двигательною силой въ стойкости Бонивара слѣдовало изобразить именно преданность религіозной идеѣ. И поэтъ, сберегшій лишь общія ея очертанія въ видѣ пантеистическаго культа природы и міровой души, перенесся въ душевное состояніе вѣрующаго человѣка. Критика указала со временемъ, что онъ не вполне выдержалъ соотвѣтствующій психическій оттѣнокъ,—если братья страдали за истинную, по ихъ убѣжденію, вѣру, то, когда они гибли одинъ за другимъ, она должна была бы являться для нихъ послѣднимъ лучомъ утѣшенія и поддержки...

Двойное значеніе Бонивара, какъ поборника политической свободы и какъ защитника вѣротерпимости, сузилось. Когда Байронъ понималъ это, онъ развилъ недосказанныя мысли и чувства, возбужденныя въ немъ посѣщеніемъ замка, въ неотдѣлимомъ отъ поэмы, но (въ Россіи, напр.) мало извѣстномъ „Sonnet on Chillon“. Это—возвеличеніе свободы, „вѣковѣчнаго духа разума, неукротимаго никакими цѣпями“; онъ живетъ въ сердцахъ узниковъ; свобода разгорается еще сильнѣе въ тюрьмахъ (brightest in dungeons); страданія заклю-

ченныхъ ведутъ ко благу страны, и благовѣстіе свободы разнесится отъ нихъ повсюду.

Вполнѣ ли вѣрно съ подлинною исторіей Бонивара, исчерпывая всю сущность его подвига или только одну его сторону, поэма, быстро задуманная и горячо, спѣшно написанная, поразила и какъ признакъ поворота въ Байроновской поэзіи, и какъ большой успѣхъ автора въ психологическомъ анализѣ и характеристикѣ (однимъ изъ первыхъ выраженій сочувствія и удивленія было восторженное письмо къ Байрону отъ г-жи Сталь). Давно уже не слышали отъ него такого протеста противъ произвола и нетерпимости; снова говорилъ поэтъ, взывавшій устами Гарольда къ борьбѣ и освобожденію. И въ то же время онъ энергически отодвинулъ назадъ свою личность, ни одною чертою не далъ ей проявиться, и предоставилъ слово разбитому жизнью и несчастіями, преждевременно посѣдѣвшему узнику, до того примученному къ тюрьмѣ, что и воля его не радуется, что онъ—вздыхаетъ о своемъ подземельѣ. Какъ въ былое время въ „Гяурѣ“ поэтъ излагалъ сюжетъ въ формѣ чьего-то разсказа, небрежно забывая обозначить, отъ кого и къ кому ведется этотъ разсказъ, такъ и теперь онъ сдѣлалъ поэму длиннымъ монологомъ, неизвѣстно гдѣ и для кого произнесеннымъ освобожденнымъ арестантомъ (часть критики была, конечно, недовольна именно этимъ недостаткомъ обстоятельности). Но въ этомъ монологѣ разсѣяны большія красоты и глубокія наблюденія.

Два, три раза онъ,—по всей вѣроятности безсознательно (въ позднѣйшихъ бесѣдахъ съ лэди Блессингтонъ <sup>1)</sup> онъ допускалъ возможность въ своихъ произведеніяхъ такихъ невольныхъ заимствованій, отголосковъ обширной начитанности),—ввелъ черты, уже обрисованныя его предшественниками. Такъ, онъ повторилъ изъ поэмы Драйдена „Palamon and Arcite“ душевное движеніе, вызванное въ арестантѣ льготой, выпрошенной у тюремщика,—въ узкое оконце онъ снова увидалъ сіяющую природу, но ея раздолье и солнечный свѣтъ волнуютъ и ослѣпляютъ его, и онъ снова спускается въ

---

<sup>1)</sup> Journal of conversations with L. Byron, Lond. 1834, переиздано въ 1894 г.

сумракъ каземата; такъ, въ разработкѣ мотива о смерти братьевъ арестанта одного за другимъ есть отголоски Дантовскаго эпизода объ Уголино и его сыновьяхъ, и Чосеровскаго пересказа той-же темы въ „Canterbury tales“. Но эти частности <sup>1)</sup>, развитыя, глубоко прочувствованныя, до того слились въ цѣльный образъ, что и въ нихъ творчество поэта проявляется въ полной силѣ.

Образъ *узника* — одно изъ доказательствъ обыкновенно оспариваемой способности Байрона къ поэтическому самоотреченію и совершенно объективному созданію характера, ни въ чемъ не сходнаго съ его творцомъ. Исходная точка, правда, одинакова. Какъ поэтъ, такъ и герой его преданы были борьбѣ, готовы погибнуть, но не поддаться; долгая неволя не заставила шильонскаго арестанта чѣмъ-либо поступиться изъ его убѣжденій. Но его судьба — печальное замираніе всѣхъ привязанностей, медленное угасаніе высшихъ влеченій, летаргія горя, опрощеніе чувствъ и мыслей, переходящее уже въ пассивность, — наконецъ, отвычка отъ дневнаго свѣта и отъ воли, печаль при выходѣ изъ тюрьмы. Ни одной гнѣвной выходки, ни проклятія, ни призыва къ мести или патетическаго обращенія къ поправной свободѣ. Слышится простая, унылая рѣчь разбитаго, несчастнаго человѣка; въ каждомъ словѣ, каждомъ отгѣнкѣ чувствуется безконечное душевное утомленіе. Вблизи его умираютъ братья; онъ переживаетъ ихъ страданія, агонію, погребеніе въ томъ же склепѣ, гдѣ запертъ и онъ, живой мертвецъ. Начинаются галлюцинаціи. Въ птичкѣ, щебечущей на рѣшеткѣ окна, ему чудится душа младшаго брата, прилетающая его утѣшить. Но нѣтъ, онъ не былъ бы такъ жестокъ, не покинулъ бы его, — птичка же навсегда исчезла! Къ затихшему совсѣмъ,

---

<sup>1)</sup> Повторяемость не только сюжетовъ, но даже отдѣльных ихъ частей — неизбежный и коренной фактъ, установленный сравнительною исторіею литературы, въ особенности такъ называемою Stoffgeschichte, исторіею сюжетовъ. Относительно мотива, усвоеннаго у Драйдена, лучший комментаторъ „Шильонскаго узника“, Eugen Kölbing (The Prisoner etc., Weimar, 1896) очень кстати указалъ на поразительную его живучесть: онъ встрѣчается въ „Оивайдѣ“ Стація, отсюда Боккаччо взялъ его въ „Тезеиду“, Чосеръ ввелъ въ „Кентерберійскіе рассказы“, Драйденъ — въ свою поэму, наконецъ Байронъ — въ „Шильонскаго узника“.

еле живому узнику стали милосерднѣе, позволили ему ходить по подземелью,—но онъ ходитъ среди могилъ... Подъ сырыми сводами онъ сталъ различать признаки жизни. Паукъ раскидываетъ свою сѣть, мышъ играетъ на освѣщенномъ луною полу. Онъ подружился съ ними, привыкъ къ стѣнамъ и сводамъ. Жизнь за стѣнами ему болѣе не нужна. „Вѣдь свѣтъ—еще болѣе обширная тюрьма!“ Радужное видѣніе, открывшееся его глазамъ однажды изъ окна,—необъятное озеро, снѣга на горахъ, голубыя воды Роны, крохотный островокъ, зеленѣющій вблизи Шильона (Ile de Peilz) <sup>1)</sup>, орелъ, парящій въ вышинѣ, — побуждаетъ его скрыться во тьму... Потомъ глухо, безконечно потянулось время. „Быть можетъ, прошли мѣсяцы, или годы, или дни“; *люди* пришли его освободить, но это для него уже безразлично, онъ „научился любить отчаяніе“, и, выходя, „о тюрьмѣ своей вздохнулъ“.

Сильнѣе возгласовъ въ честь свободы дѣйствовала исповѣдь заживо погребеннаго узника. Въ то же время разсказъ былъ проникнутъ гуманнымъ состраданіемъ и, внѣ политическаго радикализма, будилъ и растрогивалъ сердца, доступныя братскому участію и человѣчной жалости. Такъ Жуковский, никогда не примыкавшій къ партіи дѣйствія, и въ точномъ смыслѣ слова не значившійся байронистомъ, былъ увлеченъ трогательнымъ разсказомъ узника и съ большою любовью и вѣрностью <sup>2)</sup> передалъ его для русскаго читателя (осенью 1821 г.). Правда, это было до 14-го декабря, и самъ переводчикъ былъ еще закутанъ въ романтическій „саванъ“...

И это написалъ поэтъ, недавно преданный позору за безнравственность и опасное вольномысліе!.. Появленіе въ одной книгѣ „Шильона“ вмѣстѣ съ „Прометеемъ“, „Сномъ“ и дру-

---

<sup>1)</sup> Въ поэмѣ есть нѣсколько „поэтическихъ вольностей“ или недосмотровъ. Такъ островокъ, о которомъ идетъ рѣчь, искусственно насыпанъ около ста лѣтъ назадъ, стало быть, Бониваръ не видалъ его. Dent du Midi — не снѣжная гора, хотя на ней иногда лежитъ снѣгъ. Вода Роны, при впадѣніи въ озеро, долго оставляетъ мутный слѣдъ на голубой поверхности Лемана.

<sup>2)</sup> Въ переводѣ, конечно, есть архаизмы („два брата, падшіе *во прахъ*“, „объятъ сей тратой, горшею изъ тратъ“ и т. д.), но въ немъ выдержана простота и задушевность тона.

гими стихотвореніями произвело необыкновенное впечатлѣніе. Это былъ отвѣтъ на приговоръ отечества. Поэтъ выступаетъ снова передъ нимъ; несправедливымъ къ нему людямъ онъ несетъ „божественный огонь“ Прометея, несчастнымъ и страдающимъ шлетъ участіе и заступничество. Талантъ его, очевидно, не угасъ, а сталъ еще зрѣлѣе... Общественное настроеніе дрогнуло. Консервативная печать съ прежнимъ рвеніемъ обличала и громила Байрона; устремившіеся на континентъ цѣлыми толпами послѣ замиренія Европы, англійскіе туристы не только удручали Байрона и Шелли своимъ навязчивымъ любопытствомъ, но слѣдили за ихъ жизнью и потомъ распускали наглые клеветы <sup>1)</sup>,—въ массѣ же симпатіи къ поэту снова сильно поднялись и затѣмъ все росло — до появленія первыхъ пѣсень „Донъ-Жуана“.

„Шильонскій узникъ“ былъ, однако, отраженіемъ одного лишь эпизода швейцарской жизни Байрона. Все испытанное и передуманное за это время требовало поэтической исповѣди передъ самимъ собою,—и такую исповѣдь явилась третья глава „Гарольда“. Какъ первая пѣсни поэмы, и она незамѣтно, постепенно, возникла по частямъ изъ одиночныхъ листковъ стихотворнаго дневника. Первая его страницы, впечатлѣнія Ватерлоо, относятся къ самымъ раннимъ днямъ путешествія; послѣднія написаны во время сборовъ въ Италію и полны ожиданій ея красотъ. Когда вѣсть о томъ, что Байронъ желаетъ продолжать прерванную поэму, дошла до Англій, она возбудила живое вниманіе. Мысль вернуться къ магически подѣйствовавшей когда-то фикціи показалась счастливой находкой. Опять появится задумчивый странникъ, опять объ руку съ нимъ читатель возобновитъ паломничество по дальнимъ краямъ; судьба героя, его мысли, впечатлѣнія, недосказанныя, манившія загадочностью, наконецъ будутъ раскрыты...

---

<sup>1)</sup> Наводя телескопъ на виллу Діодати, иные изъ нихъ наблюдали съ противоположнаго берега, что дѣлаетъ Байронъ, кто у него бываетъ и т. д. О женѣ Шелли и Claire выдумывались чудовищныя небылицы. Графиня Гвиччіоли (Recollections of L. Byron, 1869) рассказываетъ, какъ Байронъ даже впослѣдствіи, въ Италіи, съ негодованіемъ вспоминалъ объ этихъ клеветахъ.

Съ вѣншней стороны ожиданія исполнились. Явился Гарольдъ, путешествіе снова началось; вмѣсто картинъ Испаніи, Албаніи, Греціи, проходили передъ глазами въ поэтическихъ очеркахъ съ натуры Бельгія, Рейнъ, Швейцарія; какъ прежде, описанія чередовались съ размышленіями политическаго или философскаго характера, и рѣчи поэта отъ своего лица врывались въ ходъ разсказа. Но подъ привычной оболочкой скрывалось, однако, содержаніе поразительное и странное, глубокій и печальный лиризмъ, своеобразное міросозерцаніе на основѣ поэзіи природы, итоги разочарованій въ жизни и людяхъ, признанія и отголоски изъ только-что вынесеннаго семейнаго и общественнаго разлада. Поэма, и прежде нарушавшая всѣ общепринятія техническія и эстетическія правила, въ новой главѣ совсѣмъ разрывала съ ними, требуя для себя особаго мѣрила. И теперь, почти столѣтіе спустя послѣ ея появленія, третья пѣснь „Гарольда“ производитъ то же впечатлѣніе неподвластнаго ничему сильнаго лирическаго взрыва. Байронъ, съ особою любовью относившійся къ „Гарольду“ и считавшій его (до появленія „Донъ-Жуана“) наиболѣе искреннимъ и художественнымъ своимъ произведеніемъ, выдѣлялъ швейцарскую главу, какъ лучшую часть поэмы. Къ этому мнѣнію нельзя не присоеди- ниться,—подъ условіемъ, конечно, чтобъ объ единствѣ всего произведенія не было рѣчи, и чтобъ каждая дробь его (пер- выя двѣ главы вмѣстѣ, третья и затѣмъ четвертая отдѣльно) считалась самостоятельнымъ выраженіемъ мыслей и чувствъ поэта въ извѣстный періодъ его жизни <sup>1)</sup>.

Необыкновенно прихотлива, непокорна никакому плану форма новой главы. Она словно вся въ уступахъ. Послѣ нѣжнаго обращенія къ своей крошечной дочкѣ (которой онъ какъ будто желалъ бы посвятить эту пѣснь) <sup>2)</sup>, поэтъ едва повелѣ рѣчь о своемъ намѣреніи продолжать „Паломничество“, изо-

<sup>1)</sup> Ходячій — между прочимъ, и въ русскихъ статьяхъ о Байронѣ,—пріемъ основывать свои выводы на *общемъ* итогѣ поэмы идетъ въ разрѣзъ съ біографическими данными.

<sup>2)</sup> Нѣжная заботливость объ Адѣ выражалась уже съ этихъ поръ въ посылкѣ крошечному, еще ничего не смыслившему ребенку разныхъ подарковъ и гостинцевъ; она, вмѣстѣ съ племянницами Байрона, получила даже однажды коллекцію кристалловъ съ Монблана...

бразиль перемѣну въ своемъ душевномъ состояніи и вдали показалъ Гарольда, какъ слышится его призывъ: „Остановись! Вѣдь ты попираешь прахъ имперіи!“—идеть рядъ картинъ изъ недавней войны, оцѣнка исторической роли Наполеона, протестъ противъ войнъ. Снова тотъ же голосъ: „прочъ эти мысли!“—и передъ нами декорации Рейна или лирическая вставка, посвященная сестрѣ Августѣ и написанная послѣ посѣщенія Драхенфельса, надъ водами Рейна, на берегу (какъ гласить помѣтка на рукописи). Еще одинъ внезапный поворотъ панорамы, и вдали бѣлѣютъ уже Альпы, а ладью странника несутъ на себѣ волны Женевского озера. Воспоминанія и думы, съ нимъ связанныя, овладѣли, казалось, поэтомъ, — но отъ нихъ онъ быстро возвращается къ личнымъ изліяніямъ, въ послѣднихъ стихахъ снова ласкаетъ своего ребенка, — и смолкаетъ. *Поэмы* опять нѣтъ, гарольдова маска совсѣмъ не держится на лицѣ, матеріала для обѣщанной когда-то характеристики разочарованнаго *героя* не дано вовсе, — зато искреннѣе, задушевнѣе прежняго слышится исповѣдь самого поэта, только приуроченная къ отдѣльнымъ эпизодамъ путешествія. Это — какъ будто другой человѣкъ въ сравненіи съ авторомъ первыхъ двухъ главъ; уроки жизни, одиночество, размышленіе переродили его, — или нѣтъ, по его же признанію, они развили и высвободили то, что давно было ему свойственно:

But soon in me shall Loneliness *renew*  
*Thoughts hid, but not less cherish'd than of old.*

Признаніе въ томъ, что даже въ безумно прожитую лондонскую эпоху свѣтлыя мысли и стремленія молодости были только скрыты, но вызывали въ поэтѣ неизмѣнное сочувствіе, очень цѣнно. Оно подтверждаетъ наблюденіе, выведенное уже нами изъ новыхъ писемъ и дневниковъ; вмѣстѣ съ тѣмъ, мы слышимъ отъ самого Байрона, что и онъ сознавалъ въ себѣ, анализировалъ, наблюдалъ раздвоеніе своей личности.

Прежній, не измѣнившійся Байронъ — весь въ такихъ строфахъ, какъ тризна по Ватерлоо, — какъ чествованіе Марсо, храбрѣйшаго и благороднѣйшаго изъ генераловъ первой республики, похороненнаго близъ Кобленца, — какъ хвала патріотизму швейцарцевъ, вызванная посѣщеніемъ поля битвы при Муртенѣ



(Morat), гдѣ нѣкогда вооруженные крестьяне избавили свою страну отъ Карла Смѣлаго, — какъ рѣзкое осужденіе всеобщей европейской реакціи, — какъ признаніе великихъ заслугъ Руссо и Вольтера, и параллельная характеристика гениальнаго меланхолика, „апостола печали“, измученнаго фиктивными страхами, но вдохновеннаго друга народа, и смѣлаго обличителя, „гиганта мысли“, — какъ предсказаніе успѣха идеямъ ихъ ученицы—революціи, которая восторжествуетъ, несмотря на ея неудачи и тяжкія ошибки. Суровый (при всемъ сочувствіи критика къ поэту) приговоръ одного изъ лучшихъ комментаторовъ „Чайльдъ-Гарольда“, Джемса Дарместетера <sup>1)</sup>, утверждавшаго, что въ третьей главѣ „лишь самъ Байронъ, и его *эпоистическая печаль* занимаютъ весь фонъ поэмы, придавая ей тѣмъ больше поэтической правды и силы“, опровергается обиліемъ участливыхъ, гуманныхъ и политически смѣлыхъ изліяній.

Байронъ негодуетъ на невозможность *все* выразить, „душу, сердце, умъ, страсти, то, къ чему онъ когда-либо стремился, чего онъ жаждетъ, что знаетъ, чувствуетъ, выносить“. „Еслибъ онъ все это могъ заключить въ *одномъ* словѣ, „и это слово было бы *молнія*, — онъ произнесъ бы его“ (and that one word were Lightning, I would speak). Теперь же онъ осужденъ прожить и умереть *невыслушаннымъ* (unheard)... Онъ ушелъ отъ людей въ одиночество <sup>2)</sup>, въ природу, — зато научился чувствовать міровую жизнь, свое единство съ вселенскою душой, разлитой во всемъ, что существуетъ (I live not in myself but I become portion of that around me... Are not the mountains, waves and skies, a part of me and of my soul, as I of them?); поэтическими формулами, внушенными экстазомъ и философіею Шелли, Байронъ выражаетъ исконный свой Naturgefühl, — но, поясняетъ онъ, отдаляться

<sup>1)</sup> „Childe Harold's Pilgrimage,“ édition classique par James Darmesteter, Paris, 1882, p. 122.

<sup>2)</sup> Въ интересномъ этюдѣ объ „одиночествѣ Байрона“ (Nuova Antologia, 1878, 1 сентября) Boglietti сопоставилъ взглядъ Байрона на уединеніе съ мнѣніями и настроеніями Цицерона, Петрарки, Шелли. Первые двое искали въ одиночествѣ отдыха и освобожденія отъ житейскихъ тревогъ, Шелли предавался экстазу, Байронъ переживалъ и въ уединеніи отзвуки недавней борьбы.

отъ человѣчества не значить ненавидѣть его (to fly from, need not be to hate mankind). Тяжелы были испытанія, свѣжи еще раны; воспоминанія о нихъ острымъ уколомъ вонзаются даже въ его одиночествѣ; въ разбитомъ сердцѣ, точно въ расколотомъ на мелкіе куски зеркалѣ <sup>1)</sup>, отражаются въ тысячахъ образовъ вынесенныя страданія... Когда онъ представляетъ себѣ смѣющееся личико дѣвочки, вмѣстѣ съ тѣмъ его томить мысль, что это „дитя любви зачато было въ дни огорченій и вскормлено было среди судорогъ“, — за то съ какою безконечною нѣжностью посылаетъ онъ „черезъ моря и горы“ привѣтъ и благословеніе своему милому ребенку! Не можетъ онъ удержаться отъ воспоминаній о брачномъ раздорѣ,—но ни семейное горе, ни гнѣвъ на людскую несправедливость не заглушаютъ никогда въ поэтѣ его гуманнаго и художественнаго призванія. „Этого невозможно потерпѣть, и человѣчество не стерпитъ!“ (this will not be endured), восклицаетъ онъ, изобразивъ нависшую надъ Европой реакцію; лично безрадостный, онъ не теряетъ надежды на избавленіе народовъ... Но и какъ художникъ, авторъ „Гарольда“ сдѣлалъ громадныя успѣхи. Такія картины, какъ звѣздная ночь на озерѣ и тихая дрѣма природы, изображеніе бури въ горахъ и на водѣ, и вслѣдъ затѣмъ тихая идиллія Clarens—однѣ изъ лучшихъ страницъ въ англійской поэзіи.

Но рѣшающій кризисъ, переломъ, къ которому сводится итогъ пережитого Байрономъ въ Швейцаріи, произошелъ вѣдь не среди южныхъ красотъ Лемана, а въ снѣгахъ Оберланда. Его природа и быть, мысли, внушенныя восхожденіями и странствіями поэта-альпиниста, вовсе не нашли себѣ мѣста въ описаніи паломничества Гарольда. Байронъ ввелъ ихъ въ послѣдній и лучший поэтический результатъ своего швейцарскаго періода,—въ „Манфреда“.

Вопросъ о зарожденіи этой драмы и объ автобіографической ея роли—одинъ изъ наиболѣе сложныхъ и запутаныхъ въ жизнеописаніи и критической оцѣнкѣ Байрона.

---

<sup>1)</sup> Сравненіе, взитое изъ любимой Байрономъ книги Бэртонъ „Анатомія меланхоліи“ (Anatomy of Melancholy, by Democritus junior, 1621, впоследствии не разъ перепечатыв.).

Сталкиваются всего чаще два направленія комментаторовъ. Одно изъ нихъ настаиваетъ на заимствованіи сюжета, и во главѣ всего ставитъ усвоеніе и переработку фабулы Гётевскаго „Фауста“; другое и здѣсь, какъ всюду у Байрона, предполагаетъ отголоски пережитого имъ самимъ, и при помощи драмы строить фантастическія предположенія о таинственныхъ, даже преступныхъ дѣяніяхъ поэта, измучившихъ его раскаяніемъ. Незначительныя точки соприкосновенія трагедіи Гёте съ „Манфредомъ“, ограничивающіяся первымъ монологомъ и заклинаніемъ духовъ, и потомъ совершенно исчезающія,—такъ что и фабула, и характеръ героя, и роль демоническаго начала, и развязка въ обоихъ произведеніяхъ расходятся,—конечно, показываютъ нѣкоторое вліяніе Гете (трудно, впрочемъ, рѣшить, зналъ ли Байронъ всю первую часть трагедіи,—въ письмахъ (IV, 97) встрѣчаются указанія, что Льюэ перевелъ для обоихъ друзей лишь нѣсколько отрывковъ, вѣроятно, досказавъ содержаніе остальныхъ частей пьесы). Самъ поэтъ допускалъ еще извѣстное сходство въ данномъ случаѣ; когда же ему печатно сказали, будто онъ еще болѣе обязанъ вліянію „Фауста“ Марло, котораго онъ никогда не читалъ, онъ гнѣвно воскликнулъ: „Чортъ бы побралъ обоихъ Фаустовъ, нѣмецкаго и англійскаго, — я ничего не заимствовалъ ни у того, ни у другого“ („The devil may take both the Faustuses, german and english,—I have taken neither“, IV, 177). Указывали, какъ мы уже знаемъ, на Эсхилова „Прометея“; въ „Blackwood Magazine“ развязно намекали затѣмъ на переложеніе какой-то „швейцарской легенды, записанной однимъ монахомъ“, не объясняя, гдѣ именно находится эта таинственная записка. Гораздо важнѣе старинныхъ и необдуманно выставленныхъ указаній новѣйшія, сдѣланныя историко-литературной наукой, напр. то, которое видитъ въ „Манфредѣ“, а затѣмъ въ „Каинѣ“ переходныя степени вліянія Мильтона <sup>1)</sup>, и въ особенности догадка одного изъ лучшихъ специалистовъ по Байрону, берлинскаго проф. Алоиза Брандля <sup>2)</sup>, который находитъ про-

<sup>1)</sup> Alfred Schaffner, „Lord Byron's Cain und seine Quellen“. Strassburg, 1880.

<sup>2)</sup> „Byron und Göthe“, Oesterreich. Revue, 1883.—Ср. также „Göthe u. Byron“, Dissertation v. Siegfried Sinzheimer. München, 1894.

тотипъ „Манфреда“ въ сенсационномъ романѣ восемнадцатаго вѣка, „The Castle of Otranto“, принадлежащемъ Горасу Вальполю (главное лицо носить тамъ также имя Манфреда и тоже надѣлено преступностью и раскаяніемъ), и трагедіи того же Вальполя, „The mysterious mother“, гдѣ разработанъ мотивъ любви между близкими родственниками, введенный Байрономъ въ драму.

Встрѣчное направленіе, выходящее на развѣдки автобіографическихъ корней и связей, не мало питалось сплетнями и досужими вымыслами. Въ рядахъ его участниковъ странно видѣть Гете, одного изъ лучшихъ цѣнителей „Манфреда“ <sup>1)</sup>, повѣрившаго какой-то баснѣ, и печатно (въ Kunst und Alterthum“) повторившаго ее, — будто въ юности Байронъ любилъ во Флоренціи замужнюю женщину и, когда мужъ, открывъ измѣну, убилъ невѣрную, въ слѣдующую же ночь лишилъ его жизни, и мучился угрызеніями совѣсти до конца дней (въ юности Байронъ вовсе не былъ въ Италіи, а когда впервые увидалъ Флоренцію, „Манфредъ“ былъ уже написанъ <sup>2)</sup>). Если въ толкованіяхъ этого рода причиной терзаній Манфреда считаютъ утрату любимой женщины и убійство соперника, то знакомая уже намъ, совершенно праядная догадка о подлинникѣ „Тирэ“, примѣненная къ драмѣ, утверждаетъ, съ своей стороны, будто поэтъ надѣлилъ героя своею неисходной печалью о беззавѣтно преданной ему и погибшей дѣвушкѣ <sup>3)</sup>. Въ то время, когда еще возможно было выставить, какъ несомнѣнную истину, сплетню о связи Байрона съ сестрой Августой, твердили, что онъ только усилилъ краски, говоря о смерти своей жертвы, но очевидно

<sup>1)</sup> Въ Гетевскомъ архивѣ въ Веймарѣ теперь найдено и въ „Göthe-Jahrbuch“ за 1899 г. (Göthes Verhältniss zu Byron) напечатано А. Брандлемъ начало перевода „Манфреда“, предпринятаго Гете.

<sup>2)</sup> Байронъ узналъ въслѣдствіи о фантастическомъ „флорентинскомъ эпизодѣ“ своей жизни и о доврчивости Гете, и не мало былъ изумленъ. „Гдѣ вы развѣдали о гетевской исторіи про „мужеубійство“ во Флоренціи? спрашиваетъ онъ Том. Мура и кончаетъ шуткой: Въ такихъ случаяхъ я повторяю діалогъ изъ комедіи Фэркьюара, — „негодяй, онъ убилъ моего Тимоти! — Чортъ съ нимъ, съ вашимъ Тимоти! Сударыня, онъ меня убилъ“... (Letters, V, 113).

<sup>3)</sup> Karl Bleibtreu, „Geschichte der engl. Literatur des XIX Jahrhunderts“, его же: „Byron der Uebermensch“.

имѣлъ въ виду именно это преступленіе. Наконецъ, не входя въ подробности и не называя именъ, въ монологахъ и признаніяхъ Манфреда иные видѣли *сплошныя* рѣчи самого поэта, отраженіе его смятенной и несчастной души.

Толки, пересуды, указанія и въ томъ, и въ другомъ родѣ доходили до слуха Байрона вслѣдъ за появленіемъ драмы въ печати;—опровергая ихъ, онъ говорилъ, что *зародыши* (germs) „Манфреда“—въ дневникѣ путешествія въ бернскія Альпы, веденномъ для сестры („я такъ ясно вижу передъ собою всю обстановку,—говоритъ онъ,—точно это было вчера“),—и *еще кой въ чемъ другомъ* (something else). Въ перепискѣ съ своимъ издателемъ, Дж. Мэрреемъ, Байронъ, извѣщая его, что задумалъ пьесу, и затѣмъ сообщая о ходѣ работы, часто говоритъ о томъ, какъ впечатлѣнія альпійскія привели его къ мысли вставить въ эту дивную раму сюжетъ „столь же безумный, какъ трагедія, написанная Натан. Ли во время заключенія въ Бедламъ“; обращаясь къ Муру (IV, 80), онъ повторяетъ, что написалъ дикую драму, въ своемъ прежнемъ вкусѣ, съ дѣйствующими лицами, которыя почти сплошь духи, призраки, волшебники,—„чтобъ имѣть возможность ввести описанія альпійской природы“. Итакъ, одна изъ причинъ зарожденія драмы—увлеченіе поэта пэйзажиста, который дѣйствительно не только сумѣлъ выказать во всемъ блескѣ свои дарованія живописца, но поднялся до величественнаго паэоса (напр. въ обращеніи Манфреда къ солнцу или въ рѣчахъ духовъ стихій). Но затѣмъ, и здѣсь, какъ нѣкогда въ „Корсарѣ“, повліяло „something else“. Что же именно?

Отыскивать что-нибудь подлинное, житейское, въ печальной судьбѣ Астарты теперь уже не приходится. Любовь брата къ сестрѣ и вообще нѣжная связь между близкими по крови родственниками выводилась, какъ мы видѣли, и до Байрона нерѣдко въ англійской литературѣ; это—одинъ изъ привычныхъ мотивовъ въ поэзіи Шелли; самъ Байронъ воспользовался имъ и раньше „Манфреда“ (въ „Абидосской Невѣстѣ“), и позже, въ „Каинѣ“. Въ отвѣтъ на упреки, вызванные его разработкой въ „Bride of Abydos“, онъ ссыался на примѣры Альфьери, Форда. Словомъ, *эта* завязка такъ же *вымышленна*, какъ и проистекающія изъ нея терзанія. Авторъ одного изъ

многочисленныхъ этюдовъ о „Манфредѣ“, работы забытой и не встрѣтившей оцѣнки, но вѣрно освѣтившей именно эту сторону драмы <sup>1)</sup>, видитъ у Байрона желаніе „додумать и перечувствовать до конца представленіе о тяжкомъ и неискупимомъ горѣ и раскаяніи“. Не приходится также принимать каждое заявленіе Манфреда за голосъ самого поэта и видѣть одну лишь безусловно точную авторскую исповѣдь. Поступая такъ, можно дойти до абсурда и противорѣчій; такъ, Байронъ среди разгорѣвшагося въ немъ культа природы долженъ устами Манфреда сказать Матери-Землѣ, денницѣ, горамъ: „Зачѣмъ вы такъ прекрасны? *Я не могу любить васъ!*“ Манфредъ поглощенъ своимъ личнымъ горемъ, говоритъ лишь о *своихъ* страданіяхъ, забывая объ участи человѣчества, которую прежде пытался измѣнить <sup>2)</sup>, тогда какъ именно съ жизни въ Швейцаріи усиливается альтруизмъ Байрона... Такихъ примѣровъ несоотвѣтствія, несовпаденія не мало. Да и почему можно мириться съ такими вымыслами, какъ волшебство Манфреда, заклинанія и взовъ духовъ, и не допускать свободнаго творчества и въ другихъ частяхъ сюжета?

Но автобіографическій элементъ въ драмѣ *есть*, и не малый. Отдѣливъ фантастику, нерѣдко полную плѣнительной поэтической таинственности, но не свободную и отъ натяжекъ (*восточный* образъ бога зла, Аримана, и тронъ его не у мѣста вслѣдъ за альпійскими сценами; греческая *Немезида* въ свитѣ персидскаго верховнаго духа тьмы—также), оставивъ за поразительными по глубокому лиризму сценами терзаній, отчаянія, мятежныхъ протестовъ противъ судьбы, значеніе художественно-творческихъ красотъ,—въ основѣ найдемъ образъ

<sup>1)</sup> Н. S. Anton, „Byron's Manfred“, Erfurt, 1875, стр. 12—18.—Въ виду контраста укажу на брошюру: Manfred, dramatische Dichtung von L. B., aus ihrem Grundgedanken erklärt von einem Theologen, Oldenburg, s. a.; сочувствуя Манфреду, авторъ полагаетъ, что онъ возставалъ лишь противъ католичества, но былъ бы доступенъ протестантскимъ идеямъ. Подъ конецъ онъ сопоставляетъ *Манфреда* съ Бэніановскимъ *Путемъ паломника* и отдаетъ преимущество трогательному чистосердечію наивнаго мистика XVII стол. Въ Pilgrim's Progress, говоритъ онъ, изображено *настоящее* искупленіе грѣха, освобождающее человѣка отъ тяжести вины.

<sup>2)</sup> „И я когда-то въ юности имѣлъ возвышенныя чувства и стремленія, я міръ хотѣлъ объять своею мыслью и просвѣщать народы“ (перев. П. Козлова)

самого поэта, услышимъ звукъ его рѣчей. Это *онъ* тщетно молить о забвеніи минувшаго,—это много разъ высказанное *имъ* осужденіе участи людей, обреченныхъ быть „на половину божествомъ, на половину прахомъ“ (half dust, half deity);—въ разговорѣ съ охотникомъ это онъ, ученикъ Руссо, высказываетъ уваженіе къ душевной чистотѣ и простому счастью простыхъ людей;—у *него* вырывается тутъ же возгласъ: „терпѣніе! вѣчно терпѣніе! это слово придумано для вьючнаго скота, а не для хищныхъ пернатыхъ,—проповѣдуй его подобнымъ тебѣ смертнымъ, я не изъ твоей породы“,—это онъ въ самохвальныхъ рѣчахъ Немезиды (конецъ 3-й сцены II акта) выставляетъ современное торжество произвола и стараго порядка (очевидно намекая на Священный Союзъ), искусство „укрощать людей, осмѣливающихся помышлять о плодѣ запретномъ, что свѣтъ зоветъ свободой“—*онъ* говоритъ, что его радость—въ одиночествѣ; *онъ*, къ ужасу прислужниковъ Аримана, не хочетъ поклоняться ему, хотя бы его за это растерзали;—*его* отвѣта и непокорность звучать въ отказѣ принять утѣшенія и напутствія: „я умру, какъ жилъ, одинъ!“;—*его* мыслью о самоубійствѣ надѣленъ Манфредъ, участливо спасенный охотникомъ въ тотъ самый мигъ, когда послѣ прощанія съ природой онъ готовъ уже былъ броситься въ пропасть,—*ему* не страшны предсмертныя видѣнія, и оттого бѣсы, пришедшіе овладѣть слабѣющимъ, полумертвымъ, въ ужасѣ покидаютъ его;—изъ *его* души вырывается послѣдній, до конца непокорный возгласъ Манфреда: „старикъ! не трудно умирать!“ Титанизмъ въ крайней напряженности воли, въ самихъ страданіяхъ, соотвѣтствовалъ настроенію поэта-изгнанника; для фиктивного Манфреда онъ его довелъ до конца, до роковой развязки. Манфредъ вспоминаетъ, что, бывало, прежде, онъ дѣлалъ добро людямъ, встрѣчалъ добро и отъ нихъ, но это ему не дало ни счастья, ни успокоенія <sup>1)</sup>. Судьба поэта была иная. Въ новой жизни, начинавшейся для Байрона, народное благо становилось важною двигательною силой.

<sup>1)</sup> Одинъ изъ комментаторовъ „Манфреда“, Franz Körnig (Erklärungen einzelner Stellen zu Byron's Manfred. Ratibor, 1889), допускаетъ, что въ жизни Байроновскаго героя было нѣсколько возвратовъ къ общепользующей дѣятельности, вызываемыхъ сознаніемъ, что за добро и ему платили добромъ.

Первая попытка Байрона въ области драматургіи, „Манфредъ“, конечно, не драма, а пространнѣйшій и превосходнѣйшій монологъ съ вводными по временамъ лицами; авторъ вовсе не заботился о сценической сторонѣ произведенія, и увѣрялъ, что написалъ его въ состояніи хроническаго ужаса отъ театра и сцены, развившагося у него еще въ ту пору, когда, въ качествѣ члена комитета Дрюри-Лэнскаго театра, онъ вынужденъ былъ прочесть *пятьсотъ* плохихъ пьесъ <sup>1)</sup>. Мысль увидѣть когда-нибудь „Манфреда“ на сценѣ приводила его въ содроганіе <sup>2)</sup>...

Не сразу придалъ онъ пьесѣ тотъ законченный видъ, въ которомъ она сдѣлалась всеобщимъ достояніемъ. Первые два акта написаны были лѣтомъ 1816 г. въ Швейцаріи; заклинаніе (incantation), съ отголосками семейнаго своего разлада, Байронъ выпустилъ гораздо раньше пьесы, вмѣстѣ съ „Шильономъ“, какъ отрывокъ изъ начатаго и покинутаго произведенія. Третій актъ не удавался; пришлось отложить его до Венеціи; тамъ онъ набросанъ былъ среди карнавальнаго гула, въ возбужденіи лихорадки, привязавшейся къ поэту. Цѣльная идея, зародившаяся во время раздумья среди Альпъ, потерпѣла уронъ; конецъ былъ испорченъ натянуто-отрицательной ролью аббата, являющагося къ Манфреду только обличать и грозить, смѣшноватою расправой бѣсовъ съ нимъ и

<sup>1)</sup> Его дѣятельность въ комитетѣ полна была дразгъ и хлопотъ. Немалому числу драматурговъ онъ содѣйствовалъ въ приѣмѣ ихъ пьесъ на сцену. Такъ, благодаря ему, поставлена была трагедія Кольриджа „The Rime“; онъ старался помочь писателю средней руки, Сотеби, поставить пьесу изъ временъ Елизаветы Петровны, *Ivan*, гдѣ выступали въ качествѣ дѣйствующихъ лицъ Иванъ Антоновичъ, Мировичъ, Наричинъ и т. д. Но зато „сколько вынесъ онъ терзаній отъ авторовъ, авторшъ, актеровъ, актрисъ, костюмеровъ, танцоровъ! Въ комитетѣ было немного членовъ, но они никогда не сходились въ мнѣніяхъ“. Letters, III, 235—7.

<sup>2)</sup> Благодаря превосходной музыкѣ Шумана къ „Манфреду“, тщательной постановкѣ и вдумчивому исполненію главной роли, драма Байрона, вопреки его ожиданіямъ, имѣла иногда большой успѣхъ. Велика въ этомъ отношеніи заслуга Эрнста Поссарта; въ серединѣ 80-хъ годовъ въ его исполненіи пьеса была дана на московскомъ Большомъ театрѣ; въ юбилей Поссарта въ Мюнхенѣ, 1894, ее дали съ громаднымъ успѣхомъ; въ 1900, 12 іюня, повторили. Различныя моменты изъ драмы Байрона вдохновляли не разъ живописцевъ; такъ создавалась напр. „Альпійская фея“, картина Fantin—Latour и др.



тусклою смертью Манфреда. Не только порицанія лондонскихъ друзей (Гиффорда), но и собственное художественное чутье потребовали уничтоженія первоначальной редакціи третьяго акта; дѣйствіе было написано вновь: „аббатъ сталъ добрымъ человѣкомъ“, „демоны были посрамлены“, Манфредъ гордо и не сдавшись сходилъ съ житейской сцены,— и украшеніе „швейцарской эпохи“ Байроновской поэзіи, единое и цѣльное, наконецъ осуществилось.

Трагедія отчаянія и ничѣмъ неутолимой тоски, оно въ то же время поражаетъ необыкновеннымъ подъемомъ *личности*, ея рѣзкими контурами, мрачной энергіей, гордою независимостью. Никогда еще Байронъ, „le poète de la personne“, какъ называетъ его Тэнъ (противопоставляя ему Гёте, le poète de l'univers“), не доходилъ въ своемъ художественномъ изученіи индивидуализма до такой силы. Она искони вызывала удивленіе въ самыхъ разнообразныхъ школахъ и направленіяхъ литературы. Такой представитель старшаго поколѣвія, какъ строгій цѣнитель поэзіи, независимый отъ партій и журнальныхъ приходовъ, Эджертонъ Бриджесъ, включая тему пьесы въ кругъ „наиболѣе отталкивающихъ *шести* безнравственныхъ байроновскихъ темъ“, преклонился передъ художественной силой *Манфреда*. „Онъ полонъ поэзіи; онъ вознесся выше искусства; ничто въ немъ не можетъ быть изслѣдовано и оцѣнено при помощи обычныхъ критеріевъ“<sup>1)</sup>, говорилъ онъ. Старецъ Гёте, въ разговорѣ съ Краббомъ Робинзономъ, завелъ рѣчь о любимой имъ темѣ, — о красотахъ „Манфреда“, — и горячо восхвалялъ неодолимый духъ Байроновскаго героя: „даже въ послѣднюю минуту онъ не сдался“; „всякое проявленіе силы внушаетъ Гёте уваженіе“<sup>2)</sup>. Поль-вѣрка спустя, Тэнъ восторгался безстрашіемъ и несокрушимостью Манфреда, который всегда остается богомъ, даже подъ жалкой оболочкой человѣческаго тѣла“ („l'invincible moi, toujours dieu sous ses haillons

<sup>1)</sup> Edgerton Brydges, Letters on the character and poetical genius of Lord Byron. London, 1824, 451.

<sup>2)</sup> „Göthes Gespräche“, herausgegeben von Wold. von Biedermann. Leipz. 1889—1891 (собраніе всѣхъ кѣмъ-либо, въ томъ числѣ и Эккерманомъ, записанныхъ разговоровъ съ Гёте), V, 308, VII, 110.

de chair“<sup>1)</sup>. И тотъ же поэтъ, въ этой же трагедіи личности, поднялся до высокой степени художественнаго могущества въ изображеніи великой природы, то олицетворенной въ грандіозныхъ образахъ духовъ, то оживающей въ роскошныхъ картинахъ. Среди нея, окруженный ея грандіозной ареной, бьется, трепещетъ, страдаетъ сильный, высоко даровитый, но несчастный Манфредъ („Ты человѣкъ великихъ силъ и мыслей, добру и злу не знающій границъ“, говоритъ ему альпійская фея. „Какъ много благородства въ немъ и гордой силы воли! Много пользы онъ могъ бы принести, когда бъ направить на правый путь всѣ эти силы духа“<sup>2)</sup>), говоритъ аббатъ),— человѣкъ, обреченный истлѣть и уничтожиться, тогда какъ тысячелѣтія пронесутся надъ головами гигантовъ, не пошатнувъ ихъ. Надъ фавулой личнаго горя по погибшей жизни, по уtratѣ Астарты, возвышается вѣковѣчная трагедія всего человѣчества.

Сколько возбужденій къ мысли и творчеству обѣщали Байрону благодатныя условія жизни среди природы, возрождавшей его, въ странѣ свободы, въ постоянномъ общеніи съ великимъ и чистымъ душою другомъ-поэтомъ! Но это свѣтлое время приходило къ концу. Семья Шелли стала спѣшно собираться въ Англію, встревоженная положеніемъ Claire. Безъ Шелли Байронъ не долго оставался въ Швейцаріи. Страсть къ кочеваніямъ влекла его дальше, на югъ въ Италію. Онъ снова уйдетъ въ горы, углубится въ ихъ заповѣдную глушь и тишину, но съ тѣмъ, чтобъ отъ снѣговъ и тумановъ спуститься къ свѣту, теплу и нѣгѣ. Отдаленнѣйшій горизонтъ, разукрашенный поэтическою фантазіей, неотступно сталъ манить его,—то была Венеція, послѣ Востока всегда, съ дѣтства, наиболѣе привлекавшая его воображеніе (the greenest island of my imagination“, Чайльд-Гар., IV, 7). Онъ долженъ непременно увидать ее..

28 августа Шелли въ послѣдній разъ былъ въ яхтѣ на „сапфирныхъ волнахъ озера“, и на другой день покинулъ Женеву для Англіи<sup>3)</sup>;—пять недѣль спустя, Байронъ плылъ

---

<sup>1)</sup> „Histoire de la littérature anglaise“, 1864, IV, 584.

<sup>2)</sup> Перев. П. Козлова.

<sup>3)</sup> Dowden, The life of P. B. Shelley, II, 43.

по тому же озеру въ сторону Вильнёва и Шильона, выса-  
дился близъ впаденія Роны, и вдоль нея сталъ медленно  
двигаться по Валлису, черезъ Мартиньи, въ сторону Симп-  
лона. Снова зашумѣли водопады, и солнце заиграло въ ихъ  
водахъ радугой, снова горная свѣжесть влиwała новыя силы  
въ странника; на симплонскомъ перевалѣ онъ опять у по-  
рога страны снѣговъ,—и затѣмъ, въ быстрой смѣнѣ картинъ,  
разукрашенная яркими красками жгучей ранней осени, рас-  
кинулась обѣтованная земля, Италія,—отнынѣ его второе оте-  
чество. Вотъ Lago Maggiore съ Борромейскими островами,  
красивыми, но на его взглядъ слишкомъ искусственно на-  
рядными; вотъ первый большой итальянскій городъ,—Миланъ.

Созерцаніе австрійскаго владычества возстановило въ  
памяти Байрона возмущавшія его смолоду картины народ-  
наго порабощенія,—и онъ намѣренно отклонялся къ дру-  
гимъ предметамъ. Миланскій соборъ, напомнившій ему  
храмъ въ Севильѣ, привлекъ его вниманіе. Въ Амвросіан-  
ской библіотекѣ <sup>1)</sup>, едва взглянувъ на великія книжныя  
рѣдкости, онъ съ увлеченіемъ читалъ нѣжныя любовныя  
письма Лукреціи Борджіа къ кардиналу Бембо, списанныя  
ею испанскія стихотворенія,—и вымолилъ себѣ частицу ея  
золотистаго локона. Совершенно незатронутый фламандской  
живописью, видѣнною въ Бельгіи и показавшеюся ему без-  
жизненною, далекою отъ природы, онъ въ картинной гале-  
реѣ Бреры впервые испыталъ гармоническія впечатлѣнія  
итальянскаго искусства. Въ La Scala его ожидала чарующая,  
мелодическая опера; слушая ее, онъ въ ложѣ монсиньора  
Брэме встрѣтилъ одного изъ своихъ цѣнителей, буду-  
щаго родоначальника новофранцузскаго реализма, Стендаля  
(Бэйля), увидался съ нимъ потомъ снова въ салонѣ, и два  
блестящихъ собесѣдника предались удовольствію обмѣна  
мыслей и взглядовъ <sup>2)</sup>. На половину итальянецъ, — за-  
вѣщавшій и на могильномъ памятникѣ своемъ начертать

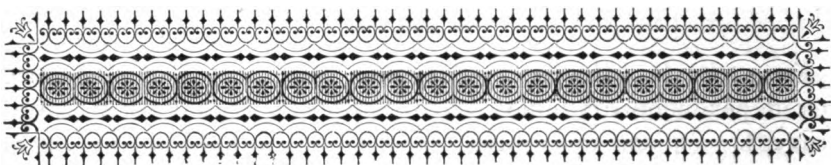
<sup>2)</sup> Въ ней сохраняется теперь превосходный мраморный бюстъ Байрона  
работы Торвальдсена, въ pendant къ его же извѣстнымъ статуямъ поэта  
въ Копенгагенѣ и Кэмбриджѣ.

<sup>3)</sup> Стендаль набросалъ тогда же характеристику Байрона, въ общемъ  
довольно вѣрную. Онъ подмѣтилъ раздвоеніе его характера, вѣчную игру  
свѣта и тѣней, чувства и сарказма, доступности и гордости.

„Arrigo Beyle *milanese*“, — Стендаль былъ для Байрона какъ бы переходной ступенью къ чистокровно итальянской литературѣ, — и она предстала передъ нимъ впервые въ лицѣ Винченцо Монти. Стендаль запомнилъ и мастерски изобразилъ то вдохновенное сіяніе, которое озарило лицо Байрона, когда старикъ-поэтъ среди большого общества продекламировалъ обширный отрывокъ изъ своей „*Maschegoniata*“, — но стоило Байрону узнать, что Монти трижды перемѣнилъ фронтъ, вѣчно колеблясь между симпатіями къ народному дѣлу, къ французамъ и австрійцамъ, какъ онъ прозвалъ его „парнаскимъ Іудой“, и не захотѣлъ болѣе его видѣть... Путешествіе возобновилось. Вотъ Верона съ ея римскою ареной, гробницей Юліи и поэтическими отголосками Шекспира. Наконецъ, вдали, среди искрящагося моря, словно выдвинутое волшебной силой съ его дна, показалось причудливо фантастическое скопленіе башенъ, колоннъ, дворцовъ, колоколенъ, мачтъ.

Это была „царица лагунъ“, Венеція.

---



#### IV.

Когда, послѣ перелома, пережитаго Байрономъ въ Швейцаріи, внезапно начинается веселье его венеціанскаго житія,— можетъ почудиться (въ особенности если принять на вѣру небылицы и преувеличенія разныхъ біографовъ, „очевидцевъ“ и т. п.), не было ли тутъ „искушенія“, столь обычнаго въ легендахъ. Развеселая, гулящая — съ горя по утраченной свободѣ — Венеція, точно обольстительная вакханка преградила путь спускавшемуся съ горъ задумчивому страннику, приманила его, зачаровала, закружила, и задержала въ своихъ сѣтяхъ до той поры, пока не очнулся онъ и съ брезгливымъ негодованіемъ не вырвался на волю, проклиная чаровницу. Такъ Венера укрывала въ сладостномъ плѣну рыцаря-поэта Тангейзера.

Но зачѣмъ искать искушеній и наводженій!.. Для Байрона преждевременно было торжествовать побѣду надъ прошлымъ. Въ *послѣдній* разъ вырвались неулегшіяся еще, не покорившіяся разсудку и волѣ, страсти; это было (по выраженію самого поэта) „прощаніе съ молодостью“, судорожное, напоминавшее своей лихорадочностью самые острые пароксизмы застарѣлой его склонности, нервной жажды наслажденій, какъ средства заглушить тоску. Послѣ разлуки съ Шелли, тоска вернулась; одиночество было полное; недавно пережитое снова надвинулось и томило,— а кругомъ бойко неслась жизнь, безпечальная, полная соблазновъ... Строже суроваго моралиста самъ поэтъ осудилъ въ послѣдствіи растрату своихъ силъ и увлеченій,

заклеймилъ среду, которая пыталась втянуть его въ свой низменный душевный складъ и полную распущенность. Его отзывы о Венеціи сначала полны симпатіи и художественныхъ восторговъ; подъ конецъ онъ даетъ ей презрительное прозвище „приморскаго Содома“ (Sea Sodom), которое онъ со временемъ вложилъ въ уста и Марино Фальеро, выдѣляетъ изъ своего осужденія лишь внѣшность чуднаго города, „столь же великолѣпнаго, какъ его исторія“, и признается въ своемъ *отвращеніи* къ венеціанцамъ, чье нравственное паденіе онъ „никогда не представлялъ себѣ дошедшимъ до крайней степени, пока они сами не дали ему въ этомъ урокъ“ (Letters, IV, 325).

Какъ ни суровъ приговоръ, какъ ни подтверждаютъ его преданные Байрону свидѣтели его венеціанскаго житья, Шелли, Гобгоузь, Томасъ Муръ,—было бы большою несправедливостью считать этотъ періодъ въ жизни поэта (съ краткими отлучками его изъ Венеціи занявшій цѣлыхъ три года, съ ноября 1816 по декабрь 1819 года) сплошнымъ регрессомъ, тяжелой ошибкой, вредной и для творчества поэта, и для его общественно-политическаго призванія. Въ наиболѣе критическія минуты, когда стороннему свидѣтелю бросались въ глаза лишь карнавальное веселье или похождения въ боккачьевскомъ вкусѣ,—не прерывалось развитіе идей, замысловъ, задачъ, которымъ посвящены были его лучшія силы. *Никогда* не измѣнялъ онъ имъ,—но работа художника, мыслителя, наблюдателя жизни человѣчества, была незамѣтна для непосвященнаго взора. Такъ Лермонтовъ среди разгара ухарской жизни въ кавалерійской школѣ, когда всѣ мысли его, казалось, направлены были лишь къ пирамъ и донъ-жуановскимъ приключеніямъ, берѣгъ святыню своихъ думъ и вдохновеній, и въ ночной тиши то же перо, которое набрасывало скоромные стишки „Уланши“, вносило въ завѣтную тетрадь импровизаціи „Демона“ или полные искренняго лиризма диѳирамбы любимой дѣвушкѣ.

Три года, проведенные Байрономъ въ Венеціи и ослабленные сплетнею, какъ пора широкаго разлива его безнравственности и цинизма, погубившаго его дарованіе,—связаны съ появленіемъ такихъ произведеній, какъ новая редакція третьяго акта „Манфреда“, четвертая пѣснь „Чайльдъ-Га-

рольда“, „Жалоба Тасса“, „Беппо“, „Мазепа“, наконецъ первыя главы „Донъ-Жуана“. Не очевидно ли, что при всѣхъ своихъ тѣневыхъ сторонахъ жизнь въ „приморскомъ Содомѣ“ была для Байрона значительнымъ шагомъ впередъ въ развитіи его художественныхъ силъ? Когда связи съ Венеціей порвались навсегда, онъ одновременно повелъ широкую дѣятельность писателя и опасную работу пропагандиста-заговорщика, освободителя Италіи. Правда, въ эту пору его согрѣла любовь, — *последняя* его любовь. Но вѣдь и она зародилась въ Венеціи...

Таково истинное значеніе „венеціанскаго періода“; но, чтобы подтвердить и обосновать это значеніе, нужно постоянно имѣть въ виду оба теченія, не избѣгая ихъ противорѣчій. Изученіе хроническихъ контрастовъ, среди которыхъ вьется извилистая линія духовнаго и художественнаго роста, — одна изъ любопытнѣйшихъ задачъ біографіи поэта.

Когда пришелецъ, — кто бы онъ ни былъ, мечтатель или искушенный житейскою прозою труженикъ, — впервые видитъ Венецію, онъ не можетъ не испытать впечатлѣнія фантастическаго сна наяву, олицетворенной мечты, оживленной сказки, — до того она не похожа ни на что имъ видѣнное. Потомъ можетъ настать раздумье: меланхолія былого величія, увяданія, подернеть флеромъ волшебныя краски, въ глаза бросятся бѣдность, отсталость, безнадѣжность, — но равнодушіе и холодность первыхъ минутъ просто немыслимы. — Такъ это было искони. Какъ же сильно долженъ былъ подѣйствовать чудный городъ на того, кто (по собственному его признанію) съ раннихъ лѣтъ любилъ переноситься въ мечтахъ на Востокъ и въ Венецію, словно въ обѣтованныя страны красоты и счастья! Байронъ провелъ нѣсколько дней въ постоянномъ возбужденіи. Его плѣняло все: величавая старина, живописная оригинальность жизни среди воды, жгучая красота венеціанскаго типа, пѣсни гондольеровъ, тихіе каналы, зеркало лагунъ, дворцы, дремлющіе храмы съ великими памятниками искусства, веселый гулъ толпы на площади св. Марка, лабиринтъ картинныхъ закоулковъ, висячихъ мостовъ, площадокъ, колоннадъ, бесѣдокъ, увитыхъ цвѣтами, безчисленныхъ и заманчивыхъ неожиданностей, которыя открываются вдругъ при любомъ поворотѣ

гондолы и манять къ себѣ таинственностью, безпечною и нѣгой.

Прежде всего, онъ идетъ во дворецъ дожей, — и смѣна впечатлѣній великолѣпія и царственной гордости старинныхъ владыкъ республики трагическими отголосками тайнаго суда, доноса, пытокъ, казней, видъ тюремъ подъ свинцовой крышей, „Моста вздоховъ“, впервые ставятъ его лицомъ къ лицу съ тѣмъ міромъ могущества, преступности и самоуправства, попиравшаго народную свободу, который онъ со временемъ изобразилъ въ двухъ трагедіяхъ. Зародышъ одной изъ нихъ уже обозначился въ эту минуту. Въ письмахъ къ Дж. Мэррею (Letters, IV, 58 и 92) Байронъ говоритъ, что сильнѣе всего на него подѣйствовалъ видъ чернаго покрывала, окутывавшаго портретъ дожа Марино Фальеро, того возвышенія, на которомъ онъ былъ коронованъ, а впоследствии обезглавленъ <sup>1)</sup>, и мрачно прозвучавшій разговоръ чичероне о томъ, какъ престарѣлый „Фальеро, движимый ревностью, составилъ заговоръ противъ того государства, въ которомъ былъ верховнымъ главою“. Три мѣсяца спустя (25-го авг. 1817), Байронъ уже заявляетъ, что рѣшилъ написать трагедію на этотъ необыкновенно драматическій сюжетъ <sup>2)</sup>.

Но свѣтлыя картины и бытовыя сцены смягчили тяжелое впечатлѣніе прошлаго. Байрону хотѣлось скорѣе увидать Ріальто; туда влекли его, — говоритъ онъ, — воспоминанія о Шекспирѣ и его „Венеціанскомъ купцѣ“. Шейлокъ наравнѣ съ Отелло, наконецъ съ Пьеромъ, героемъ забытой теперь, но горячо написанной трагедіи XVII-го вѣка: „Venice preserved, or a plot discovered“, Отвэя <sup>3)</sup>, поддержи-

<sup>1)</sup> Въ настоящее время нѣтъ болѣе портрета Фальеро на стѣнахъ Sala del Maggior Consiglio; вмѣсто него, на черномъ фонѣ, виднѣется надпись: „Hic est locus Marini Faledri decapitati pro criminibus“.

<sup>2)</sup> Очеркъ зарожденія этой трагедіи и обзоръ источниковъ ея сдѣланъ въ книгѣ Franz Krause, „Byron's Marino Faliero“. Ein Beitrag zur vergleichenden Litteraturgeschichte“. Breslau, 1897.

<sup>3)</sup> Полная непріязненныхъ народной свободѣ выходовъ и косвенныхъ намековъ на англійскій либерализмъ, пьеса эта, мѣстами, напр. въ сценахъ любви, полна поэтическихъ красотъ. Запятнавшій себя подслуживаніемъ послѣднимъ Стюартамъ, даровитый Отвэй погибъ въ крайней бѣдности (1685).



валъ въ немъ желаніе увидать во что бы то ни стало Венецію. Среди множества лавчонокъ, облѣпившихъ смѣло переброшенную черезъ Canal Grande арку моста, въ сутолокѣ бойкой торговли, шума, смѣха и жужжанія толпы, безостановочно, точно по лѣстницѣ Іакова, сновавшей вверхъ и внизъ по мосту, онъ очутился въ томъ водоворотѣ, который вскорѣ втянулъ его въ себя и закружилъ чуть не до самозабвенія.

Поселился онъ сразу въ центрѣ этого водоворота, вблизи отъ площади св. Марка, съ другой стороны—въ нѣсколькихъ шагахъ отъ театра „Fenice“, на Фрецеріи, одной изъ типичнѣйшихъ венеціанскихъ улицъ или узкихъ коридоровъ, гдѣ дома глядятъ другъ другу въ окна, оставляя сверху едва замѣтную голубую полосу неба, гдѣ звонко раздаются голоса и жизнь вырывается изъ потемокъ комнатъ на улицу, гдѣ можно было бы стосковаться о просторѣ, еслибъ не перерѣзалъ ее одинъ изъ полутораэта венеціанскихъ каналовъ, и еслибъ шмыгающія во всѣ стороны гондолы не были всегда наготовѣ, чтобъ унести челоуѣка вдаль. Домъ, который Байронъ выбралъ себѣ для жилья, принадлежалъ суконщику Segati, и внизу помѣщалась его лавка. Не трудно отгадать, почему выборъ палъ именно на этотъ невзрачный домъ,—у „Венеціанскаго купца“ (какъ сразу прозвалъ его Байронъ) была красавица-жена „съ большими, чудными глазами антилопы“; стоило ей остановиться на форестьерѣ ихъ взглядъ, пламенный и манящій, и онъ предпочелъ ея заурядный домикъ всѣмъ палаццо, красивымъ, опустѣвшимъ и дешевымъ. Черезъ нѣсколько дней онъ уже пишетъ друзьямъ, что влюбился и счастливъ со своей Маріанной; „вѣдь въ его положеніи броситься въ каналъ или очертя голову влюбиться—лучшее, или, можетъ быть, худшее, что онъ могъ бы сдѣлать“. Переписка долго наполняется описаніями красоты Маріанны, ея тяжелыхъ черныхъ косъ, *восточной* прелести глазъ, глубокихъ и страстныхъ, классическаго профиля, смуглаго цвѣта лица, крошечнаго ротика. Послѣ увлеченій ранней юности онъ никогда не вдавался въ такой лиризмъ описаній женской красоты. Очевидно онъ совсѣмъ захваченъ; „я не въ силахъ передать впечатлѣнія,

которое производить на меня ея глаза“,—прерываетъ онъ однажды потокъ восторговъ.

Сближеніе пошло необыкновенно быстро. „Венеціанскій купецъ“ былъ старъ, вѣчно занятъ дѣлами и все уходилъ въ лавку; Маріаннѣ было всего двадцать-два года и она скучала; говорили потомъ, будто она утѣшалась, какъ всѣ женщины ея круга, съ тою легкостью нравовъ, которою славилась Венеція,—но Байрона она увѣрила, что полюбила впервые. По-своему она къ нему привязалась, хотя никогда не забывала матеріальной стороны дѣла, и вмѣстѣ съ тѣмъ гордилась тѣмъ, что ея другъ—знатный и богатый иностранецъ. Въ свѣтлые промежутки она весело щебетала,—и „въ ея устахъ наивность венеціанскаго діалекта пріобрѣтала необыкновенную прелесть“,—или пѣла народныя пѣсни и свои импровизаціи. Въ другіе же періоды она была безумно ревнива и мучила Байрона ужасными сценами. Однажды,—разсказываетъ онъ,—вечеромъ, во время ея отсутствія, къ поэту постучалась жена ея брата, искавшая защиты отъ постылаго мужа; едва они успѣли разговориться, какъ ворвалась Маріанна, осыпала соперницу побоями, завладѣла ея косами, насилу была отвлечена отъ нея, упала въ обморокъ и, во время стараній привести ее въ чувство, застигнута была врасплохъ мужемъ, которому кое какъ объяснили ея присутствіе у Байрона, что не помѣшало ему наконецъ догадаться, какъ далеко зашла связь его жены... Но проходило облако, и снова Маріанна веселилась, пѣла и любила.

Байронъ не могъ не чувствовать всего различія ихъ натуръ. Маріанна Сегати была неразвита и первобытна, хотя не безъ здраваго смысла, остроумныхъ выходокъ и смѣлыхъ намѣреній. Когда онъ, нѣсколько мѣсяцевъ спустя, собрался на время въ Римъ, она объявила, что ни за что не разлучится и уѣдетъ съ нимъ. Въ эту минуту она была цѣлой головой выше большинства венеціанокъ, легко мѣнявшихъ обожателей, и готова была изломать свою жизнь. Но раздумье овладѣло Байрономъ, и онъ съ трудомъ убѣдилъ ее остаться, напоминая, что у нея есть ребенокъ. Зато онъ сильно тосковалъ въ Римѣ („I am wretched at being away from Marianna“, IV, 19) и все рвался назадъ.

Таковъ былъ первый актъ его венеціанской „Комедіи

любви“, съ инцидентами во вкусѣ „Декамерона“, но съ несомнѣнными проблесками истиннаго чувства съ обѣихъ сторонъ. Связь съ Маріанной была посвященіемъ его въ культъ безпечнаго наслажденія, которому все отдавалось вокругъ. И началась она при завлекательной обстановкѣ: черезъ нѣсколько дней послѣ приѣзда Байрона насталъ карнаваль, — а въ тѣ годы это было чуть ли не важнѣйшее дѣло въ быту Венеціи. По словамъ Байрона, въ теченіи шести недѣль царило постоянное веселье; каждый день — маскарады, катанья, опера, иллюминація, балы, *ridotti*, шумъ и пѣніе на улицахъ, площадяхъ и каналахъ, и такъ до глубокой ночи. Какъ легко было завязывать нѣжныя знакомства, вести интригу, сколько походовъ скрывалось подъ покровомъ масокъ и домино!

Съ увлеченіемъ, которое со стороны часто казалось болѣзненнымъ, Байронъ бросился въ пучину, ничѣмъ не пренебрегая, желая все испытать, — пока не настало пресыщеніе и переутомленіе. Впечатлѣнія перваго карнавала, пережитаго имъ на итальянской почвѣ со всѣмъ *estro* настоящаго туземца, долго не изгладились; они образовали со временемъ неподобно-реальный бытовой фонъ „Беппо“; обрисовать его такъ ярко могъ лишь очевидецъ и участникъ. Но карнаваль вызывалъ на поверхность жизни то, что служило ея двигательной силой и покрывало ее сплошною сѣтью свободныхъ отношеній и комбинацій, не только терпимыхъ, но почти узаконенныхъ, какъ прадѣдовскій обычай. „Съ начала XVII-го вѣка, — говоритъ историкъ общественнаго и частнаго быта Венеціи <sup>1)</sup>, — когда мода потребовала, чтобы семейныя привязанности не проявлялись на глазахъ у людей, придуманы были *cavalieri serventi*, существованіе которыхъ признавалось даже брачными контрактами. Это нововведеніе, сначала невинное, естественно должно было извратиться, и позже появились *chicchisbei*, опиравшіеся въ своихъ интригахъ на гондольеровъ и камеристокъ. Они сопровождали даму всюду, въ театръ, концертъ, въ церковь, на балы, входили въ домашнія дѣла своей подруги, которая показалась

---

<sup>1)</sup> P. G. Molmenti. „Storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della repubblica“, Torino, 1885, 380—81.

бы смѣшною, если бы выѣзжала съ своимъ мужемъ“. Житье втроемъ было дѣломъ обыкновеннымъ; смѣна поклонниковъ превратилась въ правильный любовный круговоротъ. Положеніе Байрона въ домѣ Сегати входило въ норму „чичисбеата“; хотя и мысли о томъ не было у искренно увлекавшагося поэта, все-же онъ вскорѣ увидѣлъ себя однимъ изъ воиновъ большой арміи легализированныхъ „друзей дома“. Наблюдая съ изумленіемъ этотъ порядокъ вещей, всѣми признаваемый нравственнымъ и приличнымъ, онъ именно въ Венеціи долженъ былъ начать тотъ сатирическій пересмотръ разногласій во взглядахъ человѣчества на нравственность, который сталъ основой его „Донъ-Жуана“.

„Вступая въ этотъ городъ, чувствуешь словно дыханье сладогостіи (*un air de volupté*), опасное для нравовъ“, говорилъ о Венеціи XVIII-го вѣка заѣзжіе путешественники-моралисты, выдававшій себя потомъ печатно (подражая манерѣ Монтескье въ „Персидскихъ письмахъ“) за китайскаго шпиона, посланнаго въ Европу пекинскимъ дворомъ для изученія ея современнаго положенія<sup>1)</sup>. По свидѣтельству историковъ быта и показанію Байрона, которому подтверждали это старожилы, уровень нравовъ со времени паденія республики не улучшился, и къ свободѣ брачныхъ нравовъ присоединилась и общая распущенность, поддержанная притокомъ гулящихъ и продажныхъ женщинъ. Прежде хоть сенатъ и дожи, наконецъ демократическая партія, пытались остановить развращеніе и по-своему готовы были примѣнить къ населенію республики нѣкоторыя изъ требуемыхъ просвѣтительнымъ вѣкомъ мѣръ и реформъ для поднятія экономическаго благосостоянія и просвѣщенія массы<sup>2)</sup>, которое отразилось бы и на уровнѣ нравственности,—австрійскія же власти, чуждыя народу, были безсильны и неумѣлы, тогда какъ обездоленная во всемъ толпа какъ будто видѣла въ свободѣ любви и веселья, въ безграничной маскарадной

<sup>1)</sup> „L'espion chinois, ou l'envoyé secret de la cour de Pékin pour examiner l'état présent de l'Europe“, Cologne, 1769, второй томъ, письмо 74.

<sup>2)</sup> Интересные матеріалы для изученія просвѣтительныхъ идей и новыхъ экономическихъ теорій въ ихъ борьбѣ со старымъ венеціанскимъ аристократизмомъ собраны въ книгѣ Макс. Ковалевскаго: „Происхожденіе современной демократіи“, томъ 4.

вольности послѣдній остатокъ прежней свободной жизни. Когда Байронъ совсѣмъ порвалъ съ Венеціей, онъ въ письмахъ часто набрасывалъ отталкивающія характеристики общества, которое не знаетъ ни чести, ни дружбы, ни вѣрности, въ которомъ нѣтъ семьи, нѣтъ привязанности. Онъ долженъ былъ личнымъ опытомъ притти къ такому приговору.

Но могъ ли, несмотря на изобиліе всякихъ утѣхъ и развлеченій, авторъ „Гарольда“ и „Шильонскаго узника“, поэтъ политическій и обличитель повсемѣстнаго торжества реакціи, не видѣть бѣдственнаго положенія великаго и несчастнаго народа, изъ рядовъ котораго венеціанцы явились передъ глазами поэта первымъ печальнымъ примѣромъ паденія и неволи Италіи? Могъ ли онъ, за шумомъ карнавала и игривостью любовныхъ нравовъ, не отгадать страданій народа въ его цѣломъ, лишеннаго самыхъ элементарныхъ условій разумнаго существованія, и не понять, что Италія, по восторженному выраженію Шелли, „рай для изгнанниковъ“<sup>1)</sup>, и въ то же время страна мертвыхъ? Въ перепискѣ встрѣчаются отзывы о ломбардо-венеціанскомъ режимѣ австрійцевъ, какъ о самомъ отсталомъ и нетерпимомъ, о мѣстной печати, онѣмѣвшей, безсильной и жалкой, — но вопросъ еще не ставится рѣзко, и тотъ, кто, бывало, возбуждалъ испанцевъ и грековъ свергнуть чужеземное иго, добыть свободу,—какъ будто медлитъ высказаться. Тѣмъ временемъ уже скоплялись въ различныхъ частяхъ Италіи силы для организаціи освободительнаго движенія. Лишь за нѣсколько мѣсяцевъ передъ появленіемъ Байрона, послѣ опасной агитаціи на глазахъ австрійцевъ, и потомъ въ Швейцаріи, гдѣ онъ держалъ въ рукахъ всѣ нити, эмигрировалъ въ Англію Уго Фосколо. Въ сосѣднемъ Миланѣ съ 1814 года скоплялись силы для національнаго движенія и во время тогдашнихъ уличныхъ беспорядковъ уже выдвинулся такой мужественный борецъ за народное дѣло, какъ Федерико Конфалоньерн<sup>2)</sup>. Вскорѣ редакціонный кружокъ миланскаго

<sup>1)</sup> „Thou Paradise of exiles, Italy!“ „Julian and Maddalo“, стихъ 57.

<sup>2)</sup> Его дѣятельность изслѣдована въ прекрасной біографіи, написанной по рѣдкимъ и тайнымъ документамъ Алессандро Д'Анконой („Federico Confalonieri. Su documenti inediti di archivi pubblici e privati“. Milano, 1898.

„Il Conciliatore“, съ Сильвіо Пеллико во главѣ, сдѣлался очагомъ оппозиціи австрійцамъ. Эти первые провозвѣстники возрожденія Италіи выказали вскорѣ (говоря словами Мицкевича о соотечественникахъ Пушкина) удивительный „героизмъ неволи“. Черезъ нѣсколько времени послѣ окончательнаго отъѣзда Байрона изъ Венеціи, туда привезли арестованнаго Пеллико, заточили его сначала въ знаменитыхъ „Riombi“, потомъ на островъ Мурано, чтобы, въ заключеніе, схоронить его на долгіе годы, вмѣстѣ съ другими мучениками, въ казематахъ Шпильберга <sup>1)</sup>.

Но у Байрона сначала было слишкомъ мало соприкосновенія даже съ дѣятелями итальянской литературы. Въ Миланѣ онъ встрѣтилъ даровитаго, но безпринципнаго Монти, и брезгливо отвернулся, — хотя и отъ него выслушалъ что-то въ родѣ совѣта вступить за національное дѣло: „только посторонній, не-итальянецъ, въ особенности представитель свободной Англіи, можетъ высказаться сполна по этому вопросу передъ Европой“, говорилъ Монти <sup>2)</sup>. Въ Венеціи онъ познакомился съ другою прежнею знаменитостью, Ипполитомъ Пиндемонте, но авторъ патріотическихъ одъ и глубоко прочувствованныхъ элегій былъ уже старъ и склонялся къ піэтизму. Съ писателями иного типа судьба пока не сводила Байрона. Политическая же агитація была исключительно тайною; проникнуть въ нее непосвященному было невозможно. Если Байронъ почему-либо предполагалъ ея существованіе, быть можетъ, даже въ близкихъ къ нему слояхъ,—ему пришлось лишь подъ конецъ своего венеціанскаго житья дожидаться того, что рука любимой женщины ввела его въ подземелье итальянской народной политики, и жизнь его прониклась энтузіазмомъ къ общему благу.

Страстность, съ которою Байронъ бросился и въ объятія Маріанны, и въ волны карнавала (последнюю его ночь,

---

<sup>1)</sup> Стендаль обратился къ Байрону съ письмомъ, полнымъ сожалѣнія о несчастномъ Пеллико, и ожидалъ заступничества за него со стороны англійскаго поэта. Raffaello Barbiera, „Figure e figurine del secolo che muore“, Milano, 1899, 37—8.

<sup>2)</sup> Онъ называлъ Англію „единственнымъ трибуналомъ, передъ которымъ Европа можетъ предъявлять свои жалобы“. Lord Broughton, „Italy“, 1859, 40.

18-го февраля, онъ напр. напролетъ провелъ въ маскарадѣ „Фениче“), говорила о желаніи забыться, заглушить то, что его мучило. Тотъ, кто одинъ только сумѣлъ бы ободрить и вдохновить его, Шелли, былъ далеко и явился въ Венецію лишь въ 1818 году. Старое горе постоянно напоминало о себѣ. То придетъ изъ Англіи вѣсть о томъ, будто лэди Байронъ уѣзжаетъ за-границу и беретъ съ собой Аду,—и это притязаніе располагать ея судьбой, игнорируя волю отца, возмущаетъ его; то его извѣстятъ, что Ада принята подъ опеку Chancery Court (въ сущности, это было лучшее, что могли для нея сдѣлать),—и онъ протестуетъ противъ самовластия жены, противъ вмѣшательства опеки, обращается съ гнѣвными письмами къ своему адвокату, *даже къ женѣ* (два неизвѣстныхъ до сихъ поръ письма напечатаны теперь по сохранившимся черновымъ наброскамъ<sup>1)</sup>), — не для того, чтобы искать примиренія, а чтобы высказать нѣсколько горькихъ истинъ. По его словамъ, онъ, несмотря ни на что, допускалъ возможность сближенія, теперь же всѣ иллюзіи исчезли; рядъ рѣзкихъ ея поступковъ показалъ ему, что ей недоступна гуманность. Но торжествовать она не будетъ; никогда не испытаетъ она болѣе ни счастья, ни спокойствія; „Время и Немезида отмстятъ ей“... „Никто не бываетъ, даже невольно, виновникомъ ужаснаго несчастія, не поплатившись за то,—говоритъ онъ;—я немало платилъ уже за свою долю; оплата продолжается,—но и ваша очередь настанетъ“... Когда же, годъ спустя, получена была вѣсть о томъ, что одинъ изъ главныхъ возбудителей ихъ семейнаго раздора, шестидесятилѣтній сэръ Сэмуэль Ромилли, отъ горя о смерти своей жены перерѣзалъ себѣ горло, и судъ призналъ престарѣлаго самоубійцу умалишеннымъ, Байронъ снова написалъ женѣ, предаваясь мрачной радости при видѣ мщенія судьбы за него...

Тяжелы были также вѣсти объ общемъ положеніи Англіи, о быстрыхъ успѣхахъ, сдѣланныхъ въ ней реакціею за время отсутствія Байрона, о травлѣ свободныхъ идей такимъ маниакомъ консерватизма, какъ Кэстльри, приведшей, наконецъ, къ стѣсненію политическихъ вольностей и приостановкѣ,

<sup>1)</sup> Letters, 1900, IV, 66 и 268.

въ 1817 г., „Habeas Corpus“. Хотя въ тѣ минуты, когда особенно мучительно оживали недавнія оскорбленія, у Байрона вырывались теперь заявленія, что, „*кромя ада*, онъ не желалъ бы имѣть ничего общаго съ англичанами“ („I know no other situation except Hell 'which I should feel inclined to participate with them“, Letters, IV, 125) и т. п., негодованію его не было предѣловъ. Въ рядахъ оппозиціи дѣйствовали близкіе ему люди, Гобгоуэъ, Ли-Гонтъ <sup>1)</sup>, или внушавшіе уваженіе энергіею своего демократизма вожди, въ родѣ Коббетта; безмолвіе, на которое осуждалась страна, гнетъ на печать и право митинговъ, отмѣна личной безопасности, сливались въ томительную картину безвыходнаго застоя.

Говорить о личныхъ и общихъ заботахъ и горестяхъ, дѣлиться мыслями было не съ кѣмъ. Изъ соотечественниковъ Байронъ сблизился только съ англійскимъ консуломъ Гопшперомъ, неглупымъ дѣловымъ человѣкомъ, который въ свою очередь свелъ его кой съ-кѣмъ изъ болѣе или менѣе развитыхъ венеціанцевъ, напр. съ Анджело Менгальдо, чьи воспоминанія довольно неожиданно всплыли недавно на поверхность <sup>2)</sup>. Въ образованномъ венеціанскомъ обществѣ у Байрона было два, три дома, гдѣ онъ охотно показывался, когда изъ мѣщанскихъ низинъ снова хотѣлось ему подняться въ тѣ слои, которые еще выказывали нѣкоторый интересъ къ литературѣ, искусству, тонкому общежитію. Это были салонъ графини Альбрицци и модная гостиная графини Бенцони; вторая слишкомъ походила, благодаря изысканнымъ вкусамъ ея хозяйки, на парижскіе философски-острословные салоны XVIII-го вѣка, и лишь въ первомъ кружкѣ его жалѣли, ему сочувствовали. Одинъ изъ лучшихъ и подробнѣйшихъ литературныхъ портретовъ Байрона принадлежитъ умной и наблюда-

---

<sup>1)</sup> Шелли сдѣлалъ тогда также цѣнный вкладъ въ литературу политическихъ памфлетовъ своимъ „Proposal for putting reform to the Vote throughout the Kingdom“, а позже — воззваніемъ къ народу: „Address to the people“.

<sup>2)</sup> Сполна они не напечатаны, но извлеченія изъ нихъ, касающіяся Байрона, сдѣланы въ статьѣ Jacopo Bernardi, „Lord Byron a Venezia e alcune memorie a suo riguardo tratte dai diarii del generale Angelo Mengaldo“, Ateneo Veneto, 1881, serie IV, II. Однажды, въ минуту особой откровенности, въ ложѣ театра Фениче Байронъ изумилъ Менгальдо задушевнымъ рассказомъ о своей семейной драмѣ.



тельной *contessa Albrizzi* и включенъ ею въ дополненное изданіе ея „*Ritratti*“ <sup>1)</sup>, интересной коллекціи характеристикъ замѣчательныхъ людей, съ которыми ей приходилось встрѣчаться <sup>2)</sup>,—но и она не могла вполне понять и раздѣлить его запросовъ, сомнѣній и надеждъ. Большой наивностью проникнута, напримѣръ, та часть его характеристики, гдѣ авторъ сожалеетъ о томъ, что „манія такъ называемыхъ либеральныхъ убѣжденій ни въ чьемъ умѣ не пустила такихъ глубокихъ корней, какъ въ немъ“, и удивляется тому, что „онъ, будучи лордомъ и перомъ свободнѣйшей изъ всѣхъ странъ, Англіи, называлъ себя рабомъ“ (*essendo Lord e Pari della liberissima Inghilterra, riputavasi schiavo*).

Одиночество, гложущая рефлексія и недовольство собою скрывались подъ маской веселости и любовнаго задора, особенно въ первые мѣсяцы, и лира его была беззвучна (*tuneless*). Чтобы заглушить безпокойство, онъ предавался, по старой привычкѣ, усиленнымъ физическимъ упражненіямъ, особенно плаванію, кидался, иногда въ одеждѣ, въ волны канала или лагуны, вызывая изумленіе небывалымъ искусствомъ (однажды ночью онъ плылъ по каналу, дѣйствуя одною лишь рукой, а въ другой—держа факелъ, чтобы обезопасить себя отъ внезапнаго появленія изъ-за угла гондолъ) <sup>3)</sup>. Онъ старался

<sup>1)</sup> „*Ritratti scritti da Isabella Teotochi Albrizzi*“. Pisa, 1826.

<sup>2)</sup> Съ детальностью живописца она описала его наружность,—небесно-голубые глаза, каштановыя кудри, мраморную бѣлизну шеи, которая всегда была открыта, измѣнчивую выразительность лица, то „спокойнаго, какъ весеннее утро“, то пламеннаго и бурнаго,—отмѣтила, какъ тяготился онъ своею ролью театральнаго героя, возбуждающаго всеобщее вниманіе,—запомнила его литературные приемы,—напр., привычку передъ созданіемъ произведенія посѣтить мѣста, которыя въ немъ изображаются, и „вдохновиться самымъ ихъ воздухомъ“,—съ сочувствіемъ указала на то, что упоминанія его о женѣ были всегда полны уваженія,—заподозрила недостаточность полученнаго имъ нравственнаго воспитанія, сказывавшуюся въ склонности признавать только одну свою волю,—привела рядъ типичныхъ анекдотовъ изъ повседневной его жизни, и т. д.

<sup>3)</sup> Менгальдо рассказываетъ о феноменальномъ состязаніи въ плаваніи, въ которомъ участвовали Байронъ, Гоппнеръ, англійскій туристъ Скоттъ и самъ Менгальдо. Они собрались на Лидо и оттуда вплавъ пронеслись черезъ всю Венецію, отъ одного конца до другого; Байронъ доплылъ до *Sant'Andrea*, Менгальдо до *Piальто*. Немало было толковъ въ городѣ объ этой гонкѣ. *Ateneo Veneto*, 1881, II, 86.

сжиться съ толпой, замѣшаться въ нее, блуждалъ по городу, особенно въ поздніе вечерніе часы. Случалась ли гдѣ-нибудь бѣда, онъ спѣшилъ на помощь, и мы, конечно, не знаемъ всѣхъ примѣровъ его непоказного, братскаго участія (въ воспоминаніяхъ одного изъ участниковъ его греческой экспедиціи, маркиза де-Сальво <sup>1)</sup>, встрѣчается, напр., рассказъ о томъ, какъ Байронъ въ Венеціи появился разъ на пожарѣ, сгубившемъ все имущество бѣднаго типографщика, увидаль, что тушеніе невозможно, велѣлъ передать бѣдняку просьбу зайти къ нему, далъ ему записку къ своему банкиру, — и погорѣлецъ съ восторгомъ получилъ 360 дукатовъ). То бродилъ онъ по храмамъ и дворцамъ, полнымъ художественныхъ произведеній; красоты венеціанской школы раскрывались передъ нимъ; посѣщеніе такого богатаго частнаго музея, какъ palazzo Manfrini, было и для него событіемъ; три портрета, кисти Джорджоне, и портретъ Аріоста, работы Тиціана, вызвали восхищенный отзывъ въ письмахъ и нѣсколько прекрасныхъ стиховъ въ „Беппо“; онъ любовался и одушевленными мраморами Кановы, — но искусство никогда (даже въ послѣдствіи, когда галереи и музеи центральной Италіи довершили его художественное образованіе) не имѣло властнаго, рѣшающаго вліянія на душу Байрона <sup>2)</sup>, и онъ признавалъ себя невѣждой въ вопросахъ его (оттого такъ блѣдны его попытки эстетическихъ оцѣнокъ итальянскаго художества въ 4-й главѣ „Чайльдъ-Гарольда“). Но ни атлетическій спортъ, ни кочеванія среди народа, ни созерцаніе старыхъ мастеровъ не

---

<sup>1)</sup> „Lord Byron en Italie et en Grèce“, par le marquis de Salvo. Londres—Paris, 1825, p. 78. — О случаѣ, рассказанномъ де-Сальво, упоминаетъ и Faralpi въ одной изъ своихъ „Monographie Veneziane“, посвященной Байрону.

<sup>2)</sup> Всего рѣзче высказался онъ по этому вопросу въ письмѣ отъ 14-го апрѣля 1818: искусство „ненавистно ему, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, когда оно напоминаетъ нѣчто видѣнное имъ или такое, что онъ можетъ когда-либо увидать“; оттого ему противны лики святыхъ и неземные сюжеты церковной живописи; рубенсовская анатомія и „дьявольская игра красокъ“ вызвали въ немъ отвращеніе; въ Испаніи на него мало дѣйствовали Мурильо и Веласкецъ. „Изъ всѣхъ художествъ это—самое вычурное и неестественное. Я никогда не видалъ картины или статуи, которая приблизилась бы хоть на милю къ моимъ представленіямъ и ожиданіямъ, — но я видѣлъ много горъ, морей, рѣкъ, мѣстностей, двухъ или трехъ женщинъ, которыя настолько же превышали ихъ“, и т. д.

давали ему такого душевнаго отдохновенія, такой опоры, какъ испытанная его цѣлительница, природа,—на этотъ разъ море.

Его дальніе, нѣжные горизонты манили къ себѣ; высшимъ удовольствіемъ были поѣздки, незамѣтно приводившія изъ лагуны въ морской просторъ, или высадки на узкую и длинную отмель Lido, тогда почти безлюдную и омываемую съ противоположнаго края волнами открытаго моря. Тамъ часто бродилъ онъ одиноко цѣлыми часами. Со временемъ (послѣ возвращенія изъ Рима) онъ помѣстилъ у коменданта сторожевого форта своихъ верховыхъ лошадей, ежедневно переправлялся на Лидо, отдавался наслажденію продолжительной ѣзды верхомъ по острову, до крайняго пункта Malamosso, обвѣянный морскимъ воздухомъ, и въ эти минуты (по свидѣтельству частаго участника въ этихъ поѣздкахъ, консула Гоппнера) бывалъ необыкновенно возбужденъ умственно, строилъ планы новыхъ произведеній, декламировалъ свои стихи, то вдавался въ меланхолическія размышленія, то поражалъ неожиданной веселостью. Но въ первые мѣсяцы по пріѣздѣ въ Венецію у него не было спутниковъ на Лидо; одиноко бродилъ онъ по гребню косы или у края волнъ, какъ, бывало, въ Швейцаріи, по берегамъ Лемана или по альпійскимъ тропамъ, любовался закатомъ солнца, погружавшагося въ морскую гладь, мечталъ,—и представлялось ему, что нигдѣ въ мірѣ не хотѣлось бы ему лечь въ землю, кромѣ этого благословеннаго уголка (Гоппнеръ указывалъ <sup>1)</sup> въ своихъ воспоминаніяхъ, написанныхъ для Т. Мура, даже мѣсто, около второго форта, у подножія большого межегового камня, которое поэтъ выбралъ для своей могилы).

Поѣздки по лагунѣ и посѣщенія Лидо привели Байрона на островъ св. Лазаря. Однимъ изъ поразительныхъ контрастовъ стало больше въ его сложной душевной жизни.

Далеко выдвинулся впередъ, къ морю, словно сторожевой постъ Венеціи, крохотный островъ San Lazzaro; на самомъ краю горизонта бѣлѣетъ кучка его зданій съ темной каймою деревьевъ, надъ которыми высится остріе колокольни,—съ начала XVIII-го вѣка монастырская община армянъ-мхитаристовъ, колонія инокъ и въ то же время очагъ куль-

<sup>1)</sup> Th. Moore, „Life of Byron“, 373.

туры; тихій пріютъ, куда не доходятъ ни шумъ, ни соблазны Венеціи; не аскетическая усыпальница, а центръ образовательной и національно-политической пропаганды, въ которомъ вся братія, до скромнаго служки или ученика-семинариста, два вѣка подъ рядъ трудится надъ просвѣщеніемъ далекихъ своихъ соплеменниковъ въ Турціи, пишетъ, печатаетъ, готовится къ учительству и проповѣди. Подъ сводами ли длинной крытой галереи, манящей въ свою прохладу, — въ тѣни ли монастырскаго сада, увѣнчаннаго исполинской старинной магноліею, — или на обрѣзѣ берега, у самыхъ волнъ, подъ оливковыми деревьями, откуда открывается панорама лагуны, острововъ и Венеціи, — на человѣка нисходятъ здѣсь миръ и затишье, созерцаніе и думы. Возлѣ него, безъ шума, идетъ немолчная работа, въ библіотекѣ, по кельямъ или въ наборной палатѣ, но и сознаніе ея близости не въ силахъ нарушить блаженнаго замиранія всѣхъ тревогъ и волненій, и ровнаго душевнаго отдыха.

Байронъ испыталъ это, изъ любопытства заглянувъ (еще въ декабрѣ 1816 г.) въ экзотическій армянскій уголокъ и до того увлекшись, что провелъ на островѣ весь день, и только наступившая темнота заставила его подумать о возвращеніи. Его пригласили вернуться, — и онъ не только вернулся, но въ теченіи цѣлой зимы почти регулярно проводилъ полдня на San Lazzaro. „Бывало, — говоритъ графиня Альбрицци, — онъ выходилъ раннимъ утромъ изъ дому, чтобы отправиться на армянскій островокъ, побесѣдовать съ учеными и гостепріимными монахами и изучать труднѣйшій ихъ языкъ, а вечеромъ, возвратившись въ Венецію въ своей черной гондолѣ, онъ, всего часа на два, заглядывалъ куда-нибудь въ свѣтъ“. Скоро сдѣлался онъ любимцемъ всей братіи, плѣненной его ласковымъ, дружескимъ тономъ. Въ началѣ семидесятыхъ годовъ одинъ англійскій изслѣдователь, собирая матеріалы для армянскаго эпизода біографіи поэта, еще засталъ ослѣпшаго отъ старости монаха изъ тѣхъ временъ. Едва его спросили, помнитъ ли онъ Байрона, старикъ просіялъ: „Vironi! — воскликнулъ онъ, — о, говорите со мной о Vironi!“ На вопросъ, — былъ ли онъ красивъ, монахъ отвѣтилъ восторженно. „Онъ былъ необыкновенно красивъ, *точно святой*, только въ лицѣ желтый, ужасно желтый“. Затѣмъ

онъ подалъ посѣтителю сбереженный имъ ножикъ, которымъ Байронъ рѣзалъ, бывало, яблоки и притомъ, будто бы, однажды сказалъ: „Вотъ я рѣжу теперь яблоко, но такъ я хотѣлъ бы рѣзать головы туркамъ“... <sup>1)</sup>

Среди братіи у него нашелся особый любимецъ, сближеніе съ которымъ превратилось въ дружбу, полную со стороны Байрона глубокаго уваженія. Это былъ одинъ изъ старшихъ монаховъ, хранитель библіотеки; поэтъ обозначаетъ его именемъ отца Паскаля „Aucher“, затрудняясь транскрипціею армянскихъ звуковъ; армяне называютъ его Авгерьяномъ. Ни къ кому, кажется, такъ не подходило лестное прозвище „dotti e ospitali monaci“, которое дала мхитаристамъ гр. Альбрици. Много помогло сближенію то обстоятельство, что передъ тѣмъ Авгерьянъ провелъ въ Англіи два года. Тѣмъ легче могъ онъ посвятить поэта въ положеніе армянъ въ Турціи, познакомить съ исторіею народа, съ попытками возродить его литературу и воздѣлать языкъ. Отсюда былъ только шагъ до предложенія изучить этотъ языкъ, и Байронъ съ рвеніемъ принялся за дѣло. Разумѣется, въ перепискѣ, часто говорящей о его лингвистическихъ упражненіяхъ, онъ не разъ старался окружить ихъ остроумными шутками и приписать себѣ иные мотивы: то онъ увѣряетъ, что для выхода изъ тяжелаго душевнаго состоянія искалъ непреодолимо труднаго дѣла, которое отвлекло бы мысли въ другую сторону, то придаетъ своей работѣ значеніе спорта, помогающаго убить время,—то шутливо жалѣетъ о томъ, что не довелъ до конца изученіе двухъ важныхъ и трудныхъ языковъ, арабскаго и армянскаго, потому что каждый разъ, влюбившись въ какую-нибудь пустую женщину (some absurd womankind), прерывалъ свои занятія,—и это, несмотря на увѣренія отца Паскаля, что земного рая слѣдуетъ искать въ Арменіи. „Я же искалъ его — Богъ знаетъ гдѣ,—замѣчаетъ Байронъ.—Нашелъ ли его?.. Что жъ! Иногда находилъ,—на одно мгновеніе, минуты на двѣ“.

Занятія, однако, шли гораздо успѣшнѣе, чѣмъ можно предполагать. Подъ умѣлымъ руководствомъ Байронъ дѣ-

<sup>1)</sup> G. E. Mackay. „Lord Byron at the armenian convent“. Venice, 1876, p. 77.

лалъ быстрые успѣхи; въ январѣ—февралѣ 1817 г. онъ уже перевелъ (апокрифическое) посланіе коринѣянъ къ апостолу Павлу <sup>1)</sup>, побудилъ Авгерьяна къ составленію англійской грамматики для армянъ и армянской—для англичанъ, энергически помогаль ему, хлопоталь у Мэррея объ изданіи первой, на печатаніе второй затратилъ 1000 франковъ и написалъ предисловіе, любопытное во многихъ отношеніяхъ, но не увидѣвшее свѣта и найденное впослѣдствіи въ Байроновскихъ бумагахъ. Въ немъ онъ съ сочувствіемъ и благодарностью вспомнилъ о томъ, *чѣмъ* была для него въ трудную минуту тихая обитель, способная самому предубѣжденному мірянину показать на дѣлѣ, что „есть нѣчто иное и лучшее—даже въ земной жизни“; своихъ друзей онъ назваль „священствомъ благороднаго и поработеннаго народа“, высоко оцѣнилъ древнюю исторію Арменіи и нѣсколько разъ сурово отозваль о гнетѣ Персіи и Турціи, приравнявшемъ судьбу армянъ къ участи евреевъ и грековъ. Протестъ противъ этого гнета смутилъ Паскаля и братію своею рѣзкостью, и они затруднились помѣстить предисловіе <sup>2)</sup>, къ великой досадѣ Байрона, который, говорятъ, воскликнулъ: „Вы боитесь строгаго отзыва о вашихъ притѣснителяхъ? О, лукавые рабы, вы заслуживаете крутыхъ повелителей; вы недостойны великаго народа, отъ котораго произошли“. Въ связи съ прежними протестами Байрона противъ турецкаго владычества, это предисловіе за нѣсколько лѣтъ до „греческой экспедиціи“ предвѣщаетъ активное вмѣшательство Байрона въ освобожденіе турецкихъ рабовъ.

Книги, грамматическая ученость, борьба съ труднымъ языкомъ, не поглощали, однако, всего времени Байрона на островѣ. Въ монастырскомъ саду или подъ любимыми по-этомъ деревьями надъ моремъ (они такъ и слывуть теперь „оливами лорда Байрона“) онъ также проводилъ долгіе часы, то съ своимъ другомъ, то одинъ, съ своими думами и ху-

<sup>1)</sup> Упражненія Байрона въ армянскомъ языкѣ и переводы его стихотвореній съ армянскаго на англійскій языкъ изданы были на островѣ св. Лазаря (Lord Byron's armenian exercises and poetry, consisting of english translations by him from armen. literat. and armenian translations from his poetry. In the island of San Lazzaro, 1876).

<sup>2)</sup> Оно напечатано въ приложеніи къ IV тому Байроновской переписки.

дожественными замыслами. Авгерьянъ, который, конечно, могъ слышать это отъ самого Байрона, утверждалъ въ послѣдствіи <sup>1)</sup>, что здѣсь былъ, наприм., задуманъ въ новой редакціи третій актъ „Манфреда“,—и мы врядъ ли ошибемся, если припишемъ болѣе сочувственное отношеніе автора къ характеру аббата мягкимъ впечатлѣніямъ личности отца Паскаля. Близость вольнодумца, „демоническаго“ поэта, съ уравнивающимъ, полнымъ участія и терпимости инокомъ,— близость, ради которой Байронъ не поступился ни однимъ изъ заветныхъ своихъ убѣжденій, — одна изъ тѣхъ особенностей его натуры, которыя идутъ въ разрѣзъ съ господствующимъ одностороннимъ ея пониманіемъ <sup>2)</sup>.

Но въ данную минуту силы ея были все-таки надломлены; постоянные переходы отъ веселости къ грусти, отъ страстнаго оживленія къ философской сосредоточенности, уже указываютъ на лихорадочность, болѣзненную тревогу. Въ 1817 г., предвѣстія недуга перешли въ болѣзнь съ сильнымъ жаромъ, бессонницей или тяжкими сновидѣніями. Въ Венеціи открылась эпидемія. Медицина была варварская; условія жизни въ узкой улицѣ, надъ гнилымъ каналомъ, способны были только поддерживать и развивать заразу; перемѣна воздуха явилась необходимой. Едва почувствовавъ возвратъ силъ, онъ рѣшилъ поѣхать въ Римъ.

Путешествіе, богатое поэтическими результатами, окончательно ввело его въ жизнь, природу, исторію, искусство Италіи. До того, кромѣ бѣглыхъ впечатлѣній Милана, Вероны или Виченцы, онъ зналъ только обособленный мірокъ Венеціи. Теперь онъ проникаетъ въ сердце Италіи, — онъ во Флоренціи, въ Римѣ; онъ проходитъ по слѣдамъ античной цивилизаціи, его окружаютъ памятники „Возрожденія“. Послѣ приглядѣвшихся уже тоновъ Венеціи, послѣ безнадежной ея отсталости въ культурѣ, его не могла

---

<sup>1)</sup> Онъ говорилъ это автору статьи „The armenians in Venice“, въ Bentley's Miscellany“, 1839, т. V.

<sup>2)</sup> Объ армянскомъ эпизодѣ біографіи Байрона ср. также „Литературные Очерки“ Юрія Веселовскаго, 1900, ст. „Байронъ на о. св. Лазаря“.— Долго еще замѣтны слѣды заботъ Байрона о поддержкѣ его армянскихъ друзей. Такъ въ 1818 г. онъ черезъ Мэррея старался распространить въ Англіи ихъ изданіе „Хроники Евсевія Кесарійскаго“ (Letters, IV, 194).

не поразить широта всемірно-исторической рамы, въ которой выступали великія созданія мысли и творчества; Римъ затмилъ для него „Грецію, Константинополь, все дотолѣ видѣнное“. Это — новый вкладъ въ его развитіе, новая глава въ его нравственномъ воспитаніи.

Онъ былъ мало подготовленъ къ тому, что его ожидало; обиліе впечатлѣній кружило голову. Съ цѣлымъ отдѣломъ ихъ онъ такъ и не смогъ справиться,—обзоръ галерей и музеевъ вызывалъ отдѣльныя минуты невольныхъ и безотчетныхъ увлеченій, и вмѣстѣ съ тѣмъ вѣжливое одобреніе или даже равнодушіе при видѣ художественныхъ сокровищъ. Оттого онъ былъ въ состояніи посвятить Флоренціи одинъ день, бѣгло осмотрѣть двѣ галереи (*Uffizi* и *Pitti*), капеллу Медичи, церковь Santa Croce, этотъ итальянскій Пантеонъ, съ мавзолеями Микель Анджело, Маккиавелли, Галилея, Альфьери; онъ испыталъ „опьянѣніе красоты“, и вмѣстѣ съ тѣмъ видѣнное сливалось, очевидно, въ хаосъ, изъ котораго выдѣлялось въ памяти семь, восемь портретовъ и статуй, перечисляемыхъ въ письмахъ безъ особой оцѣнки, а впослѣдствіи, въ „Гарольдъ“, заднимъ числомъ разсудочно описанныхъ и превознесенныхъ. Но если онъ былъ лишенъ цѣлаго ряда наслажденій, его очаровали другія стороны итальянскаго міра, и прежде всего его природа.

Встрѣтившись въ Римѣ снова съ своимъ вѣрнымъ Гобгоузомъ, онъ вмѣстѣ съ нимъ часто странствовалъ по окрестностямъ; въ короткое время они верхомъ объѣздили ихъ всѣ, побывали въ Альбано, на озерѣ Неми, въ альбанскихъ горахъ, въ Тиволи, Фраскати, Ариччи, дважды были въ Терни, любясь бѣшенымъ, „ужасающе красивымъ водопадомъ, который оставилъ за собой всѣ видѣнные прежде“. Какъ нѣкогда Греція,—Римъ возбуждалъ фантазію Байрона нѣмою рѣчью своего прошлаго, своими памятниками, развалинами; на форумѣ, въ Колизеѣ, всюду вставали призраки, всюду оживала далекая старина Гракховъ, Юлія Цезаря, Нерона, Суллы, чудились звуки рѣчей съ трибуны, плескъ толпы въ амфитеатрѣ, бой гладиаторовъ, блескъ триумфальнаго шествія,—величіе и паденіе, героизмъ друзей народа и безумный произволь деспотовъ, потомъ разгромъ Рима варварами, водоворотъ народовъ, властителей, религій, языковъ, сумерки



папскаго средневѣковья, внѣшнее изящество и духовное убожество позднихъ вѣковъ, вся исторія Вѣчнаго Города, этой „Ниобеи народовъ“ (Niobe of nations), съ раннихъ лѣтъ чтиваго поэтомъ всею душою (the city of my soul) и, наконецъ, представшаго передъ нимъ.

Могущественное вліяніе римской исторіи встрѣтилось съ сильнымъ впечатлѣніемъ живой литературной лѣтописи Италіи, во время пути раскрывавшейся передъ Байрономъ. Арква близъ Падуи напомнила о Петраркѣ, Феррара—о Тассѣ; въ Флоренціи ожили воспоминанія о Боккаччо, Аріостѣ, Альфьери; великіе поэты, вскорѣ придавшіе творчеству Байрона новое направленіе, подѣйствовали уже въ эту пору легендами о нихъ, живымъ отпечаткомъ ихъ личности и дѣятельности. Наконецъ, изученіе Италіи въ ея современной подчиненности и раздробленности укрѣпило въ Байронѣ стремленія, которыя возбуждало уже въ Венеціи зрѣлище австрійскаго господства. „О, родина моя, я вижу стѣны, и арки, и колонны, и башни, уцѣлѣвшія отъ предковъ нашихъ,—но *славы* твоей не вижу болѣе!“—такъ говорилъ, годъ спустя (1818), съ глубокой скорбью, въ одѣ „Къ Италіи“ Леопарди <sup>1)</sup>. „О, еслибъ ты была не такъ прекрасна, зато болѣе могуча!“—восклицалъ еще въ XVII вѣкѣ, въ своемъ сонетѣ, Винченцо да-Филикайя, предтеча поэтовъ-проповѣдниковъ политическаго возрожденія Италіи <sup>2)</sup>. Не вѣдая о самомъ существованіи Леопарди, но уже успѣвшій познакомиться съ сонетомъ его предшественника, Байронъ на опытъ пришелъ къ одному съ ними выводу и въ „Чайльдъ-

<sup>1)</sup> „O, patria mia, vedo le mura e gli archi, e le colonne e i simulacri e l'erme torri degli avi nostri, ma la gloria non vedo“.

<sup>2)</sup> „Vincenzo da Filicaja. Poesie toscane“, изд. сына поэта, Firenze, 1707: сонетъ „All' Italia“. Новѣйшая работа о Филикайя Gustavo Caponi, („Vincenzo Da Filicaja e le sue opere“, Prato, 1901), нѣсколько односторонне отдавая въ его лирикѣ предпочтеніе моральнымъ, философскимъ и религіознымъ мотивамъ, содѣйствовала однако большому выясненію его роли, какъ политическаго поэта. Такъ, кромѣ шести сонетовъ, проникнутыхъ скорбью о паденіи отечества и вызовами къ возрожденію его, авторъ открылъ во Флоренціи два новыхъ произведенія такого же содержанія (L'italia nelle presenti turbolenze), которыя, повидимому, написаны Филикайей

Гарольдъ“ ввелъ въ свои размышленія прекрасный переводъ двухъ строфъ стариннаго поэта (пѣснь IV, строфы 42--43).

Непрерывное духовное возбужденіе, смѣна свѣта и тѣней, грусти и восторговъ, зрѣлище величія, манящая сила природы,—все налагало на поэта-странника отпечатокъ необыкновеннаго одушевленія; оно озаряло его лицо, такъ сжившееся, казалось, въ послѣднее время съ меланхолическимъ выраженіемъ. Тонко подмѣтилъ этотъ свѣтъ вдохновеннаго оживленія, вызвавшій наружу чуткія, энергическія влеченія, присущія натурѣ поэта, тотъ великій скульпторъ, которому въ Римѣ выпало на долю запечатлѣть навсегда черты поэта въ лучшемъ ихъ пластическомъ изображеніи,—Торвальдсенъ. Признавая до той поры только величіе Кановы, котораго не разъ прославлялъ въ своей поэзіи, Байронъ очутился въ художественной власти еще болѣе великаго ваятеля. Позируя передъ Торвальдсеномъ и видя, какъ создается статуя, онъ тщетно искалъ въ ней своей спутницы-меланхолии, и удивлялся новому выраженію, схваченному художникомъ,—Торвальдсенъ запомнилъ эту тревогу и недоумѣніе, рассказалъ о нихъ въ извѣстномъ письмѣ къ своему другу Андерсену, но настоялъ на своемъ, и далъ потомству изображение „настоящаго Байрона“.

Впечатлѣніи было много, но старая привычка, испытанная и въ восточномъ путешествіи, и въ Швейцаріи, вести дневникъ въ видѣ стихотворныхъ набросковъ или прозаическаго конспекта будущихъ строфъ, не проявлялась болѣе. Даже вернувшись въ Венецію, Байронъ отвѣчалъ Мэррею, не допускавшему мысли, чтобы путешествіе не вызвало вдохновенія, увѣреніемъ, что не только не написалъ, но и не задумалъ ни одной строки изъ продолженія поэмы, и даже не знаетъ, будетъ ли когда-нибудь ее продолжать. Единственными осязательными результатами были пока окончаніе въ Римѣ третьяго акта „Манфреда“ (въ особенности изображеніе Колизея при лунѣ) и большое стихотвореніе „Жалобы Тасса“, написанное въ началѣ поѣздки, вслѣдъ за посѣщеніемъ Феррары, и уже изъ Флоренціи отправленное въ Англію. Видѣ мрачной и сырой келіи въ госпиталѣ св. Анны, гдѣ провелъ въ заточеніи, какъ опасный безумецъ, слишкомъ семь лѣтъ пѣвецъ

„Освобожденнаго Іерусалима“, поразилъ Байрона такъ же сильно, какъ видъ подзаемелья въ Шильонѣ и память о страданіяхъ Бонивара. Онъ вполнѣ повѣрилъ преданію, отрицавшему душевное разстройство Тасса и видѣвшему въ его насильственномъ задержаніи среди умалишенныхъ и маниаковъ жестоку и деспотическую расправу герцога надъ деракимъ плебеемъ <sup>1)</sup>, и на этомъ построилъ свое стихотвореніе. Оно такъ же, какъ „Шильонскій узникъ“, получило форму монолога, но сходится съ поэмой лишь по общему мотиву неволи и жалобы, и развиваетъ этотъ мотивъ самостоятельно, перенося читателя въ потрясенное душевное состояніе оклеветаннаго и измученнаго великаго человѣка и въ какомъ-нибудь десяткѣ строфъ давая полную жизни характеристику Тасса. Его заперли вмѣстѣ съ сумасшедшими, оглашающими воздухъ дикими воплями и безумнымъ смѣхомъ,— но вѣдь съ нимъ его мечты, воспоминанія, замысль его завѣтной поэмы; его поднимаетъ надъ жалкой долей сознаніе своей поэтической силы, а любовь къ Леонорѣ д'Эсте, главное его преступленіе и причина лютаго гоненія, любовь нераздѣленная, опозоренная, горитъ въ его сердцѣ. Но мысли и чувства, торжествующія надъ ужасами заключенія, уступаютъ по временамъ мѣсто приступамъ болѣзненной тревоги, причиненной потрясеніемъ; она овладѣваетъ имъ, мучитъ видѣніями и страхами; сѣтованія и жалобы затемняютъ полное достоинство и благородства проявленіе великой личности. Монологъ написанъ тепло и искренно, безъ пережитыхъ, байроническихъ деталей; извѣстнымъ образомъ задуманный, характеръ Тасса переданъ во всѣхъ его душевныхъ движеніяхъ; на ряду съ Бониваромъ ему принадлежитъ не послѣднее мѣсто въ ряду характеристикъ, когда-либо предпринятыхъ поэтомъ.

Но „Lament of Tasso“ былъ поэтическимъ прологомъ къ путешествію. Послѣ Рима, Кампаньи, горь, естественно ждешь чего-нибудь въ родѣ „Римскихъ элегій“, но ожида-

---

<sup>1)</sup> Изученіе болѣзни Тасса съ точки зрѣнія психіатріи сдѣлано А. Corradi, „Le infermità di Torquato Tasso“, Memorie dell' Istituto Lombardo, 1880. Это одинъ изъ цѣнныхъ вкладовъ въ разрастающуюся въ Италіи литературу „психо-антропологическихъ“ изслѣдованій о писателяхъ (книги Патрици о Леопарди, 1897, Антонини и Коньетти объ Альфьери, 1898.

нія напрасны. Творческія возбужденія пришли позже, въ Венеціи. Къ концу римскаго житія въ усиленной степени проявилась обычная грусть, поднялось раздумье; къ нимъ присоединилась словно тоска по родинѣ; Байрону такъ страстно захотѣлось снова увидеть Маріанну, что онъ ускорилъ отъѣздъ, не захотѣлъ даже останавливаться во Флоренціи и побудилъ Маріанну выѣхать къ нему навстрѣчу... До чего сильна была въ немъ потребность привязанности, ласки, видно изъ того волненія, съ которымъ онъ встрѣтилъ, полученное имъ въ Римѣ, извѣстіе о рожденіи Аллегры. „Въ виду безконечной семейной войны и отчужденія отъ меня Ады, хорошо имѣть существо, на которомъ можно сосредоточить свои надежды“, писалъ онъ сестрѣ; „необходимо, чтобы мнѣ было кого любить на старости лѣтъ,—и, быть можетъ, судьба сдѣлаетъ эту крошку великимъ, даже единственнымъ моимъ утѣшеніемъ“ (Letters, IV, 123—4). Онъ сначала не могъ рѣшить вопроса, гдѣ помѣстить свою дочку, и кончилъ тѣмъ, что взялъ ее къ себѣ въ Венецію, баловалъ, возилъ съ собой и радовался этому лучу свѣта.

Идеализація Маріанны была вызвана тою же потребностью,—но она слишкомъ приподняла заурядную, совсѣмъ земную ея натуру; ореолъ долженъ былъ потускнѣть при первомъ неосторожномъ шагѣ, поступкѣ, словѣ, которые раскрыли бы ея подлинную личность... Въ виду наступившаго лѣта, Байронъ отыскалъ себѣ на Брентѣ виллу „La Mira“, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ Венеціи, былъ счастливъ видѣть около себя Маріанну, и, освѣженный путешествіемъ, въ красивомъ затишѣ, окаймленномъ дальними горами, надъ темно-голубыми водами Бренты, вдохновительницы многихъ поэтовъ <sup>1)</sup>, онъ горячо принялся за „Гарольда“. По письмамъ можно прослѣдить ходъ работы. 26 іюня написано всего тридцать строфъ, 9 іюля ихъ уже 56, черезъ 6 дней—92, 20 іюля—153; наконецъ, 29 іюля готова была вся четвертая пѣснь,

---

<sup>1)</sup> Подъ вліяніемъ Байрона она и для Пушкина являлась въ романтическомъ освѣщеніи, способномъ возбуждать вдохновеніе; „Адриатическія волны! О, Брента! вѣтъ, увижу васъ, и, вдохновенья снова полный, услышу вашъ волшебный гласъ! Онъ святъ для внуковъ Аполлона; *по юрдой миръ Альбіона онъ мнѣ знакомъ, онъ мнѣ родной*“ и т. д. „Евгеній Онѣгинъ“, гл. I.

разросшаяся до небывалой въ прежнихъ частяхъ поэмы цифры *ста восьмидесяти шести* строфъ.

Въ обширномъ предисловіи, въ видѣ сердечнаго, дружескаго письма къ Гоббоузу, которому посвящена глава, иногда въ самомъ текстѣ, наконецъ въ заключительномъ прощаніи съ героемъ и съ читателями, Байронъ говоритъ объ „окончаніи“ поэмы. „*Моя задача выполнена*, моя пѣснь замолкла; сюжетъ мой замеръ въ отзвукъ эхо“,—говоритъ поэтъ.—Но какая же именно задача, почему рассказъ долженъ прерваться, почему сцена близъ озера Нэми — *последняя*, въ которой выступить Пилигримъ — непонятно. Отъ прежняго *сюжета* почти не оставалось и слѣда въ третьей пѣсни, теперь же поэтъ окончательно порываетъ съ нимъ въ предисловіи. „Мнѣ стало тягостно, — говоритъ онъ, — „постоянно выдерживать пограничную линію между паломникомъ и авторомъ, — линію, которой никто не хотѣлъ видѣть, — совсѣмъ такъ, какъ это было съ китайцемъ въ „Гражданинѣ вселенной“ Гольдсмита, котораго никто не принималъ за китайца; „стараніе выдерживать это различіе и досада при видѣ неудачи такъ ослабили усилія моего мысла, что я пришелъ къ мысли покинуть эту фикцію, и такъ и поступилъ“.

Стало быть, Гарольда болѣе нѣтъ, и его мѣсто занялъ странникъ-поэтъ, котораго все, что онъ видѣлъ и пережилъ, побуждаетъ къ описаніямъ или размышленіямъ, признаніямъ, отголоскамъ прошлаго. Если такъ, почему же отказывается онъ отъ привычной исповѣди передъ читателемъ, отъ своей бесѣды съ нимъ, то задушевной, то шутиливой, то возмущенной и сатирической?.. На это есть печальный отвѣтъ въ 185 строфѣ: „я теперь уже не тотъ, что прежде, и образы лишь неясно носятя передо мной; тотъ огонь, который, бывало, охватывалъ весь духъ мой, колеблется, гаснетъ, мерцаетъ“. Поэту кажется, что онъ въ послѣдній разъ отдается грустному удовольствію обзора своей жизни, признанія въ дѣлахъ, помышленіяхъ, разочарованіяхъ,—и, небрежно прерывая нить рассказа или рядъ путевыхъ картинъ, онъ завладѣваетъ поэмой, вторгается въ нее съ своей трепещущей, нервной личностью, и изливаетъ раз-

думѣ, раздраженіе или скорбь въ лирическихъ монологахъ, равныхъ по силѣ лучшему, что когда-либо онъ написалъ.

Но онъ не могъ не сознавать, что они могли быть написаны и внѣ кадра описательной поэмы,—между тѣмъ наслѣдіе стараго сюжета *Паломничества* и только-что оконченное путешествіе обязывали къ извѣстному обиходу путевыхъ описаній. Такъ явилась вторая основная часть содержанія. Въ предисловіи высказано, напр., желаніе изобразить Италію въ современномъ состояніи ея литературы и нравовъ; исторія страны, съ ея великими воспоминаніями, требовала себѣ мѣста въ поэтической картинѣ; хотѣлось также обрисовать видѣнныя красивыя мѣста. Впрочемъ, они гораздо болѣе плѣняли, ласкали взоръ, чѣмъ поднимали духъ своею мощью, какъ альпійскіе великаны, и Байронъ не разъ, при видѣ мягкихъ контуровъ итальянскихъ холмовъ, даже Апеннинъ, вспоминалъ о другомъ, суровомъ и величественномъ горномъ краѣ... Приходилось, стало быть, прибѣгать къ непривычнымъ тонамъ въ живописи природы,—при видѣ достопамятностей наполнять свой рассказъ именами, событіями, образами. Прежде,—и не такъ давно,—это сложное содержаніе давалось ему легко; теперь, послѣ страницъ потрясающаго лиризма, передъ читателемъ открывалась словно портретная галерея историческихъ дѣятелей или движущаяся панорама, сопровождаемая восторженной риторикой...

Въ изобиліи описательныхъ деталей, въ стараніи не пропустить ничего примѣчательнаго, сильно повиненъ Гобгоузъ съ своими искренними, но на этотъ разъ неудачными совѣтами. „Когда онъ пріѣхалъ изъ Рима въ Венецію, онъ напелъ новую главу „Гарольда“ почти оконченную,—но, просмотрѣвъ ее, увидалъ, что въ ней недостаетъ описанія многихъ выдающихся природныхъ красотъ и историческихъ моментовъ и личностей“ <sup>1)</sup>. Онъ предоставилъ Байрону въ распоряженіе свою начитанность, провелъ даже нѣсколько мѣсяцевъ въ библиотекѣ дожей, чтобъ извлечь матеріалы для пространныхъ примѣчаній и поясненій къ поэмѣ, которыя

---

<sup>1)</sup> „Italy, remarks made in several visits from the year 1816 to 1854“, by Lord Broughton (Гобгоузъ). Lond., 1859, IV.

и издалъ потомъ отдѣльной книгой <sup>1)</sup>. Онъ побудилъ Байрона расширить поэму, составилъ списокъ незатронутыхъ еще предметовъ,—подвергая художественное произведение опасности превратиться въ этихъ мѣстахъ изъ свободно задуманнаго разсказа... въ „поэтическаго Бэдекера“, какъ непочтительно выразился въ наше время одинъ изъ усердныхъ комментаторовъ, вовсе не думавшій выступать золломъ.

Слѣды пристроекъ къ поэмѣ, вызванныхъ разсудочными соображеніями, слишкомъ замѣтны; переложенныя въ стихи, любительскія экскурсіи въ классическую древность или въ исторію искусства, всѣ эти перечни личностей, мѣстностей и памятниковъ,—Корнелія, мать Граховъ, Цецилія Метелла, легендарная римлянка, кормившая грудью своего отца-узника, даже Цезарь и Помпей, художественныя красоты Венеры Медицейской, Аполлона Бельведерскаго, Лаокооновой группы, достопамятности Тразимена или Клитумна—введены по требованію навязанной программы, или въ силу несвойственнаго прежде поэту стремленія къ полнотѣ описанія страны (ни онъ, ни читатели не искали, напр., въ третьей главѣ „Гарольда“ полного инвентаря Швейцаріи!). Личныхъ впечатлѣній, при краткости поѣздки, было для этого недостаточно; пришлось прибѣгать къ книжнымъ источникамъ, и не только къ библіотечнымъ справкамъ Гобгоуза, но даже къ общедоступнымъ пособіямъ. Послѣ сличеній, сдѣланныхъ сначала Дарместетеромъ, затѣмъ Кельбингомъ <sup>2)</sup>, не подлежитъ сомнѣнію, что такимъ руководствомъ были для него когда-то очень цѣнившіяся „Письма объ Италіи“ Дюпати <sup>3)</sup>, вышедшія еще въ концѣ XVIII вѣка и впоследствии много разъ переизданныя. Красивые по формѣ, обнаруживающіе и по мысли разностороннее развитіе автора, эскизы стариннаго энтузіаста Италіи превращались въ Байроновскіе стихи; Дюпати помогъ ему вторгнуться въ область искусства, воспѣтъ Лаокоона, Аполлона, описать Пантеонъ, далъ нѣсколько кра-

<sup>1)</sup> „Historical illustrations of the fourth Canto of Childe Harold“. London, 1818.

<sup>2)</sup> „Byron und Dupaty's Lettres sur l'Italie“, Englische Studien, XVII, I, 1892, стр. 448—459.

<sup>3)</sup> Dupaty, „Lettres sur l'Italie“, Paris, 1788.

сокъ для изображенія грота Эгеріи. И какъ блѣдны, холодны, хотя благозвучны, эти строфы въ сравненіи съ тѣми, которыя свободно созданы фантазіею и выразили душевное настроеніе поэта,—съ яркою картиной Венеціи, открывающей собой главу, со сценой въ Колизеѣ! За внезапно пронесшееся передъ странникомъ видѣніе умирающаго гладіатора (возникшее послѣ посѣщенія музея въ Капитоліѣ, гдѣ поэта поразила мраморная статуя галльскаго воина въ предсмертныхъ мукахъ), за это видѣніе, таинственно связанное, какъ символъ, съ собственной судьбою поэта, можно отдать десятки условныхъ и банально красивыхъ описаній.

Но поэтическая географія или географическая поэзія и археологія, къ счастью, не занимали главнаго мѣста въ заключительной главѣ „Гарольда“; она подчинена высшимъ требованіямъ. Невольно является предположеніе, что отдѣльные моменты странствія—только рядъ поводовъ для лирическихъ импровизацій, имѣющихъ высокое автобіографическое значеніе и связанныхъ по ассоціаціи идей съ впечатлѣніями паломника. Какъ будто ему казалось что его исповѣдь, полная то гнѣва, то грусти, прозвучить слишкомъ рѣзко, слишкомъ субъективно, если не перевить ее эпизодами путешествія или экскурсіями въ исторію и искусство. Сведенная къ этой важнѣйшей сущности, послѣдняя глава „Чайльдъ-Гарольда“ должна занять мѣсто въ числѣ лучшихъ созданій Байрона, справедливо гордившагося ею.

Рѣдко давалъ онъ заглянуть такъ глубоко въ его большую душу. Автобіографическія строфы написаны человѣкомъ разбитымъ, усталымъ, меланхолически подводящимъ итоги.

Объѣзжая съ Гобгоузомъ вокругъ ограды Вѣчнаго Города, онъ былъ пораженъ грустнымъ тономъ народной пѣсни, которую при нихъ пѣли хоромъ крестьяне въ какомъ-то глухомъ уголкѣ: „Roma! Roma! Roma! Roma non e più come era prima!“ (Римъ, Римъ теперь не тотъ, что прежде <sup>1)</sup>). Не то же ли могъ онъ сказать, оглядываясь на свою судьбу!

Впечатлѣнія вѣковой старины и разрушеннаго величія усиленно наводили его на тяжелое занятіе самоанализа. „Среди руинъ проходилъ онъ, самъ — живая руина“ (a ruin

<sup>1)</sup> См. посвященіе Гобгоузу четвертой пѣсни „Чайльдъ—Гарольда“.



amidst ruins). Съ горечью оглядывается онъ на жизнь, и міровая грусть снова охватываетъ его; не только личное его существованіе, но и судьба человѣчества кажется ему ничтожествомъ и ложью. Все отравлено; зло, страданія, смерть, неволя, потоками низвергаются на насъ; призракъ любви обманчивъ; ея кумиры неизбѣжно рушатся; не сочувствіе и искренняя привязанность рѣшаютъ сближеніе людей, — случайность, злорадное божество, разбиваетъ однимъ прикосновеніемъ жезла своего наши надежды, превращаетъ ихъ въ прахъ, — и всѣ мы, проходя потомъ, попираемъ его <sup>1)</sup>.

Но какая участь ждетъ самого поэта? Вѣроятно, послѣ одного изъ посѣщеній Лидо, когда онъ мысленно выбиралъ себѣ на немъ могилу, написаны тѣ строфы (9—10), въ которыхъ онъ предвидитъ свою смерть на чужбинѣ, словно пророчески предсказываетъ, что въ усыпальницѣ великихъ людей Англіи, въ „уголкѣ поэтовъ“ Вестминстерскаго аббатства, не дадутъ ему пріюта, и ему чудится надъ памятникомъ своимъ повтореніе извѣстной надписи: „въ Спартѣ были люди гораздо достойнѣе его“. Но не титаническимъ протестомъ отвѣчаетъ онъ на приговоръ людской; онъ никогда не искалъ симпатій и не нуждался въ нихъ; „терніи, которыя онъ пожиналъ, были съ того дерева, которое онъ самъ же насадилъ; они терзаютъ его, изъ ранъ сочится кровь, но вѣдь долженъ же онъ былъ знать, какіе плоды дастъ со временемъ подобное сѣмя!“ Самообладаніе, однако, измѣняетъ ему, и къ концу главы, очевидно, снова захваченный аффектомъ, онъ съ необыкновенной силой взываетъ къ Времени и Немезидѣ, требуя отмщенія его врагамъ и клеветникамъ. Быть можетъ, оно наступитъ лишь въ далекомъ будущемъ, когда истлѣютъ кости несчастнаго, — но его грозный стихъ и тогда обрушится на людскую несправедливость тяжесть его проклятія, — и проклятіемъ этимъ будетъ — Прощеніе (that curse shall be Forgiveness). Нѣсколько стиховъ, слѣдующихъ за этимъ неожиданнымъ оборотомъ, —

---

<sup>1)</sup> Мысль, еще мрачнѣе высказанная у персидскаго поэта Омаръ-Хайяма: „раньше тебя и меня было множество сумерекъ, много солнечныхъ восходовъ; будь же остороженъ, попирая эту пыль, — быть можетъ, это былъ зрачекъ молодой красавицы“.

стиховъ, звучащихъ жалобой, обращенной къ матери-землѣ, написаны съ такою страстностью горечи и отчаянія, которая не можетъ не найти отзвукъ въ сколько-нибудь чуткихъ и еще незакоснѣвшихъ людяхъ.

И, какъ бывало прежде, сквозь печаль снова прорывается энергія. Подобно Горацию и Пушкину, Байрона утѣшаетъ мысль, что „онъ жилъ не даромъ“, что „весь онъ не умретъ“. „Во мнѣ есть что-то,—говоритъ онъ,—способное преодолѣть гоненія и время, и жить, когда меня уже не станетъ, нѣчто неземное, негаданное моими врагами; отзвукъ умолкнувшей лиры смягчить людей и разбудить въ окаменѣвшихъ сердцахъ позднее раскаяніе любви“. Онъ считалъ непреходящею, безсмертною въ его поэзіи, очевидно, не столько художественную ея сторону, сколько мысль, проповѣдь свободы и гуманности; именно здѣсь находится уже оцѣненный нами выше знаменательный стихъ, который назвалъ независимость мысли „нашимъ послѣднимъ, единственнымъ оплотомъ“. И, несмотря на господствующій во всей пѣсни тонъ міровой и личной скорби, поэтъ проявилъ эту независимость въ строфахъ, въ которыхъ мы снова узнаемъ свободолюбиваго пѣвца. Онъ еще рѣзче громить всеобщій реакціонный заговоръ противъ народныхъ вольностей, обличаетъ деспотовъ и „разбойниковъ“, поработившихъ Италію, протестуетъ (во вступленіи) противъ новыхъ посягательствъ англійскаго консерватизма на неприкосновенность конституціи (пріостановка акта „*Nabeas corpus*“). Пессимизмъ внушаетъ ему, правда, безотрадную мысль о вѣчномъ круговоротѣ исторіи, приводящемъ народы отъ свободы къ славѣ, отъ нея къ богатству, порокамъ, нравственному паденію, наконецъ къ одичанію, варварству, тираніи,—и къ новому добыванію воли, но, несмотря ни на что, онъ хочетъ остаться навсегда не только приверженцемъ, но и провозвѣстникомъ свободы. Непрерывность работы мысли, окрѣпшей въ швейцарскомъ одиночествѣ и въ общеніи съ Шелли, съ особенною силой проявляется именно въ подобныхъ мѣстахъ поэмы.

Смѣна наполеоновскаго гнета давленіемъ его побѣдителей вызываетъ у Байрона негодующее восклицаніе: „Неужели тираны могутъ быть свергнуты только тиранами, и у свободы нѣтъ болѣе такихъ витязей, какіе нашлись въ Аме-

рикѣ, когда она, подобно Палладѣ, воспрянула во всеоружіи и непобѣдимости,—неужели въ нѣдрахъ земли не бывать больше такому посяву,—неужели въ Европѣ не найдется нигдѣ подобной страны!“ <sup>1)</sup> Но вѣра въ конечное торжество справедливости,—которая и въ прежніе годы брала у Байрона верхъ надъ пессимизмомъ <sup>2)</sup>,—внушаетъ ему въ горячо написанной 98-ой строфѣ видѣніе свободы, чье знамя, надорванное, но все еще развѣвающееся, несется съ бурной силой *противъ вѣтра*,—чей трубный звукъ, даже на время замирая, возбуждаетъ волненіе и тревогу; настанутъ лучшіе дни, живительная весна... Эти искреннія, полныя возбуждающей силы слова находили отголосокъ всюду, гдѣ въ то глухое время поднимались освободительныя попытки. Когда черезъ два года вспыхнула испанская революція, и Шелли привѣтствовалъ ее двумя одами <sup>3)</sup>, онъ надъ „Одой къ свободѣ“ поставилъ эпиграфомъ Байроновскіе стихи:

Yet, Freedom! yet thy banner, torn, but flying,  
Streams like the thunder-storm against the wind.

Когда съ вершины горы въ Альбано передъ Байрономъ разостлалась вдали голубая кайма Средиземнаго моря, онъ едва могъ сдержать свое волненіе. Вспомнилась ему молодость, первое плаваніе по этому морю куда-то въ заманчивую даль Востока, полное грезъ, очарованій, увлеченій; мысль понеслась еще дальше, вглубь дѣтства; ожили счастливые дни, проведенные ребенкомъ на волнахъ океана; царственный просторъ стихій; съ раннихъ лѣтъ дорогой ему и снова раскрывшейся передъ нимъ, успокоилъ удрученную мысль, указавъ на природу, столько разъ врачевавшую его

<sup>1)</sup> Въ пятомъ томѣ писемъ, среди „Отрывочныхъ мыслей“ встрѣчается слѣдующая замѣтка: „Человѣчеству ничего не осталось кромѣ республики, и я думаю, что для этого есть шансы. Обѣ Америки (сѣверная и южная) уже имѣютъ республику, Испанія и Португалія близки къ ней; всѣ жаждутъ ея. О, Вашингтонъ!“ (стр. 462). Это написано было въ 1821 году...

<sup>2)</sup> Donner, „L. Byron's Weltanschauung“, стр. 56, вѣрно замѣтилъ, что „въ основѣ байроновскаго „Weltschmerz“а лежитъ нѣчто опредѣленное, положительное, стремленіе къ намѣченной цѣли“.

<sup>3)</sup> Первая озаглавлена: „An Ode, written October 1819, before the spaniards recovered their liberty“, вторая—„Ode to liberty“. Poetical works of P. B. Shelley, ed. by Buxton-Forman, 1900, III, 287 и 295.

скорби. Этою незабвенною сценой внезапно обрывается нить странствий пилигрима. Если имъ суждено прерваться, всего лучше было кончить этимъ аккордомъ. Нѣсколько прекрасныхъ (сильно поразившихъ впослѣдствіи Пушкина) <sup>1)</sup> строфъ въ честь океана,—и Байронъ прощается съ призракомъ своего героя, расстаётся съ читателемъ, говоритъ послѣднее *прости* произведенію, которое столько лѣтъ было неразлучно съ поэтомъ.

Онъ разставался не только съ нимъ, но со всѣмъ направленіемъ и складомъ своего художественнаго вкуса, съ испытанными поэтическими приѣмами, съ типомъ страдающаго героя, съ паѳосомъ его разлада, его сѣтованій, привязанностей, проклятій. Въ стихотворныхъ импровизаціяхъ Байрона и позже мелькаетъ порою силуэтъ разбитаго жизнью страдальца; въ „Каинѣ“ и въ трагедіяхъ слышатся иногда какъ будто отголоски его рѣчей, а разработка драматическихъ коллизій потребуетъ мрачныхъ красокъ, сильныхъ душевныхъ движеній, психологіи страстей,—но господствующей чертой байроновскаго творчества становится отнынѣ—*смѣхъ*. Въ богато одаренной натурѣ открылся родникъ новыхъ или едва намѣченныхъ прежде дарованій; сложная личность подверглась новому превращенію.

Не странно ли, что и въ наше время, въ обиходномъ представленіи о байронизмѣ, отрицаніе, разочарованность, болѣзненная таинственность, „демоническое“ начало, міровая скорбь, исключительно являются сущностью поэзіи и міросозерцанія Байрона,—что большинство какъ будто не хочетъ признать или умышленно забываетъ, что авторъ „Гарольда“, „Манфреда“, восточныхъ поэмъ—въ то же время одинъ изъ величайшихъ сатирическихъ поэтовъ, одаренный и остроуміемъ шутивно-безпечнаго разсказа, и безпощадною строгостью судьи общечеловѣческихъ пороковъ, социальнополитическихъ неурядицъ! Неужели и теперь еще дѣйствуютъ ханжескія обличенія безнравственности, которыя нѣкогда встрѣчали „Беппо“, „Видѣніе Суда“, главу за главой „Донъ-Жуана“,—или снова на дѣлѣ оправдывается гоголевское

<sup>1)</sup> Отголосокъ ихъ встрѣчается, напр., въ „Подражаніи Байрону“ („волнуйся подо мной, угрюмый океанъ“—„roll on, thou deep and dark blue ocean, roll!“).

наблюденіе надъ нашимъ вѣчнымъ пристрастіемъ къ героическому и равнодушіемъ къ силѣ комизма, смѣха?

Въ послѣдней пѣснѣ „Гарольда“ Байронъ какъ-то сравнилъ человѣка съ маятникомъ, вѣчно колеблемымъ между слезами и смѣхомъ. Съ меньшей правдой онъ могъ бы сослаться на одинаковость источника смѣха и печали, когда-то, въ одномъ изъ наиболѣе искреннихъ признаній, указанную Гоголемъ. Самъ поэтъ объяснялъ друзьямъ свой переходъ въ область комизма соображеніями, въ которыхъ было гораздо больше практическаго литературнаго чутья, чѣмъ эстетической глубины. Сбираясь въ той или другой формѣ воспользоваться своимъ знаніемъ Италіи для изображенія быта и нравовъ, онъ обѣщалъ сдѣлать это въ „веселомъ шутливомъ тонѣ, чтобъ опровергнуть тѣхъ, кто обвиняетъ его въ однообразіи и манерности“ (Letters, IV, 218). Онъ просилъ Мура разъяснить, при случаѣ, Джеффри, по поводу статьи его о „Манфредѣ“, что „авторъ драмы никогда не былъ (да и теперь имъ не сдѣлался) мизантропически-мрачно настроеннымъ джентльменомъ, за котораго принимаетъ его критикъ, что онъ въ дѣйствительности юмористъ, очень общительный съ близкими ему людьми, и такой болтливый и смѣшливый, что не отстанетъ и отъ самыхъ бойкихъ соперниковъ“ (тамъ же, 73—74). Одинъ изъ участниковъ въ греческой экспедиціи, Миллингень <sup>1)</sup>, очень мѣтко, и совсѣмъ въ духѣ Байроновской самооцѣнки, говоритъ, что „самое вѣрное отраженіе,—какъ въ зеркалѣ,—тона байроновскаго разговора и духа, оживлявшаго его бесѣду, даетъ „Донъ-Жуанъ“. Съ другой стороны, послѣ разрыва съ Байрономъ, Ли Гонтъ утверждалъ <sup>2)</sup>, что поэтъ покинулъ паеосъ для юмора только потому, что убѣдился въ невозможности поддерживать свою славу прежними средствами романтическихъ преувеличеній и фантастики, на которыя проходила мода,—извѣтъ, несостоятельность котораго доказывается только что пережитыми Байрономъ впечатлѣніями громаднаго успѣха именно „романтическаго“ эпилога къ „Ч. Гарольду“.

<sup>1)</sup> Millingen, „Memoirs of the affairs of Greece“, 1830, p. 116.

<sup>2)</sup> Leigh Hunt, „Recollections“. London, 1828, p. 79.

Не желаніе перемѣнить только струны на лирѣ и не новый стратегическій маневръ для добыванія славы руководили Байрономъ,—сама жизнь выдвинула въ его натурѣ ту сторону, которая и раньше мелькала въ его произведеніяхъ, внезапно освѣщая ихъ юморомъ или сатирою, отнынѣ же сдѣлалась преобладающею. Въ немъ изумленный читатель открывалъ теперь неистощимую веселость, располагавшую цѣлымъ богатствомъ остроумныхъ выходовъ, колкихъ политическихъ и общественныхъ намековъ, ѣдкаго или забавнаго стиха, завлекательно интереснаго, часто пикантнаго разсказа, комическихъ силуэтовъ и характеристикъ. Только веселость эта была все же печальная, на основѣ вѣчной неудовлетворенности, тоски и протеста. Наши позднѣйшія наблюденія и выводы въ этомъ духѣ подтверждаются цѣннымъ показаніемъ такого близкаго *свидѣтеля* жизни поэта, какъ *его жена*, записаннымъ *имъ самимъ* въ появившихся въ настоящее время сполна „Отрывочныхъ мысляхъ“ его <sup>1)</sup>: „Я помню,—говоритъ Байронъ,—какъ, проведя въ обществѣ цѣлый часъ въ необычайной, искренней, можно даже сказать блестящей веселости, я сказалъ женѣ:—„Меня называютъ меланхоликомъ, даже злоупотребляютъ этимъ названіемъ,—ты видишь сама, Bell, какъ часто это оказывается несправедливымъ“. — „Нѣтъ, Байронъ,—отвѣчала она,—это не такъ; въ глубинѣ сердца ты—печальнѣйшій изъ людей, даже въ тѣ минуты, когда кажешься самымъ веселымъ“...

Не долго продержалось у Байрона то благодушное настроеніе, въ которомъ, вернувшись изъ Рима, онъ поселился въ „La Mira“, уединенно, съ любимой женщиной, ища забыться въ чемъ-то похожемъ на счастье. Явились сначала подозрѣнія, потомъ увѣренность въ томъ, что Маріанна не стоитъ его любви. Послѣ неожиданнаго открытія, что она торгуетъ его подарками и перепродала ювелиру купленную у него же для нея парюру, онъ сталъ отдаляться отъ Маріанны; пелена спала съ глазъ, иронія замѣнила увлеченіе. Связь еще не была порвана, когда на пути Байрона явилось новое женское лицо,—именно, на пути, потому что онъ увидалъ его

<sup>1)</sup> Letters, V, 1091, pp. 403--468.

во время поѣздокъ по окрестностямъ своей виллы. Лѣтомъ 1817 г. земледѣльческое населеніе вокругъ Венеціи очень страдало отъ неурожая, и Байронъ (какъ мы случайно узнаемъ изъ одного только письма) помогаль голодавшимъ. Однажды, вмѣстѣ съ Гобгоузомъ, онъ ѣхаль верхомъ вдоль Бренты; имъ попалась группа этихъ несчастныхъ; заговоривъ съ ними объ ихъ нуждѣ, они оказали имъ помощь. Двѣ стоявшія въ сторонѣ молодыя и очень красивыя женщины сами завели вдругъ разговоръ съ иностранцами, выражая удивленіе, почему они даже не подумали спросить, не нуждаются ли также и онѣ. На оправданіе Байрона, что нужды не видно по ихъ наряду, и на нѣсколько двусмысленный его намекъ, что съ такою наружностью погибнуть нельзя, онѣ отвѣчали: „Загляните туда, гдѣ мы живемъ, и вы увидите самую страшную бѣдность“. Съ посѣщенія этого началось знакомство Байрона съ Маргаритой Коньи, поразившей его съ перваго взгляда своей внѣшностью.

Нѣсколько времени спустя, они сблизились. Маргарита храбро выдержала открытый натискъ соперницы, столкнувшись съ нею однажды лицомъ къ лицу,—и началось царство „Форнарины“ (ея мужъ былъ хлѣбникомъ), какъ называль Маргариту Байронъ, перенеся на нее извѣстное прозвище подруги Рафаэля.

Слишкомъ много чести было въ этомъ прославленномъ псевдонимѣ для той, къ кому послѣ вдохновительницы великаго художника, послѣ первообраза его мадоннъ, перешелъ онъ по прихоти Байрона. Черноокая, стройная венеціанка<sup>\*)</sup> еще болѣе, чѣмъ Маріанна, была первобытна, невѣжественна, безграмотна, съ бѣшенымъ и ревнивымъ характеромъ. Со временемъ самъ Байронъ называль ее (въ письмѣ къ Мэррею) „красивымъ, но совершенно неприрученнымъ животнымъ“. Поддавшись минутному капризу, онъ сошелся съ Форнариной въ такую пору, когда, послѣ сильныхъ впечатлѣній

---

<sup>1)</sup> О ея чертахъ можно составить себѣ понятіе по frontispice'у отдѣльнаго изданія „Марино Фальеро“, на которомъ женская головка неожиданно напомнила поэту героиню его венеціанскихъ походовъ. „Зачѣмъ вы это сдѣлали? спрашиваетъ онъ у Мэррея,—это чуть не вызвало ссоры между мною и графиней Г.“ (Letters, V, 308).

путешествія и той грусти, которую оно оставило послѣ себя, его болѣзненно поразило разочарованіе въ Маріаннѣ. Онъ искалъ разсѣянія, самозабвенія, уже не идеализировалъ, а просто отдавался возбужденію чувственности. Съ Маргаритой ему сначала было весело, смѣшно; словно самъ того не замѣчая, онъ возвратился къ карнавальной веселости первыхъ мѣсяцевъ, приучилъ себя заглушать тоску и раздумье безопаснымъ развлеченіемъ, и по наклонной плоскости сталъ въ этомъ отношеніи опускаться все ниже. За Форнариной показались другія женскія лица, нити неожиданно завязывавшихся интригъ перепутывались и скрещивались.

Зимою онъ переѣхалъ въ Венецію и занялъ цѣлый палаццо (одинъ изъ трехъ, принадлежавшихъ когда-то знаменитой семьѣ Мочениго); спереди его омывали воды Canal Grande, въ которыхъ отражался строгій фасадъ съ лѣпными выпуклыми гербами старыхъ патриціевъ, съ рядами балконовъ и балюстрадъ, съ темной зіяющей пастью входа и высокими столбами причала гондолъ; сзади, черезъ садъ, онъ сообщался съ лабиринтомъ узкихъ закоулковъ, цѣлымъ клубкомъ окружившихъ Campo San Stefano. Просторный, въ четыре яруса, палаццо наполнился оживленіемъ и запестрѣлъ всевозможными лицами. Тутъ появилась Маргарита съ своими присными; запросто располагались гондольеры, народные пѣвцы, подплывали закутанныя, чуть не замаскированныя женщины. Джэфрсону, — несмотря на то, что онъ задался цѣлью показать „настоящаго Байрона“, — привидѣлся даже цѣлый гаремъ, будто бы заведенный поэтомъ въ старомъ дворцѣ Мочениго <sup>1)</sup>. Все же мы знаемъ, что Шелли, появившійся передъ Байрономъ, въ августѣ 1818 г., въ Венеціи, пришелъ въ ужасъ отъ общества, въ которомъ онъ нашелъ своего друга.

О любви къ Маргаритѣ не могло быть и рѣчи. Форнарина потѣшала Байрона своими эксцентричностями, — то благочестіемъ, которое охватывало ее при звукѣ благовѣста въ объятіяхъ ея друга, то гордостью, съ которой она отстаивала свою личность, напр., противъ притязаній какой-то знатной

---

<sup>1)</sup> Jeaffreson, „The real Lord Byron“, 1883, II, глава VII, надписанная „Byron's depravation“.



соперницы („пускай она — дама, зато я—*венеціанка!*“ — съ комической важностью восклицала она), то безконечнымъ невѣдѣніемъ всего, что дѣлается на свѣтѣ, то заботой о Байронѣ, выражавшейся часто въ грубѣйшей формѣ (измучившись однажды безпокойствомъ во время его долгаго отсутствія на Лидо въ бурную погоду, она встрѣтила его на пристани, подъ дождемъ, плачущая, съ мокрыми, распущенными волосами, гнѣвнымъ крикомъ: „*Ah! can' della Madonna, che esto il tempo per andar' al' Lido?*“). Но Байронъ снова переносилъ сцены, достойныя Каролины Ламъ или Джэнь Клермонтъ. Однажды Маргарита внезапно ушла отъ мужа совсѣмъ къ Байрону, противъ его воли; появленіе супруга и рядъ непріятныхъ сценъ—были результатомъ. Попытки такого бѣгства возобновлялись; наконецъ, пересиливъ оппозицію Байрона, она водворилась у него въ качествѣ домоправительницы; по его словамъ, какая то непреодолимая, безвольная лѣнь, овладѣвшая имъ, допустила это вторженіе,—пока не собралъ онъ остатки энергіи и не потребовалъ удаленія Маргариты. Послѣ этого не было предѣловъ ея раздраженію; она грозила „ножевой расправой“, и дѣйствительно ворвалась однажды съ ножомъ; ее обезоружили, хотѣли посадить въ гондолу, но она бросилась въ каналъ, и ее съ трудомъ привели въ чувство.

Случайные намеки Байрона заставляютъ предполагать другія приключенія, скрывавшіяся въ тѣни этого главнаго. Къ концу печальной потѣхи промелькнуло даже что-то похожее на искреннюю привязанность; онъ проговорился о ней всего въ одномъ письмѣ, которое освѣтило одинъ изъ любопытнѣйшихъ и въ то же время совсѣмъ неизвѣстныхъ эпизодовъ его жизни. Она—дочь мѣстнаго *povile*; ей всего 18 лѣтъ; ни объ одной изъ своихъ венеціанскихъ героинь Байронъ не отзывался такъ, какъ о ней, говоря, что *Анджюлина*—„дорогой его другъ“ (a very dear friend of mine). Обѣихъ свиданій узнали въ ея семьѣ; къ Байрону явились съ увѣщаніями священникъ и полицейскій комиссаръ: дѣвушку заперли. Но едва обстоятельства измѣнились къ лучшему и присмотръ ослабѣлъ, прежнее возобновилось. Анджюлина увлеклась настолько, что мечтала соединиться съ нимъ навсегда и побуждала его къ разводу съ женой.

Мало того, — когда на вопросъ ея, неужели онъ не можетъ избавиться отъ жены, онъ сказалъ: „большаго избавленія, чѣмъ теперь, нельзя достигнуть, — не хотите же вы, чтобъ я ее отравилъ?“ — дѣвушка *не отвѣтила*, и „въ этомъ молчаніи краснорѣчивѣе, чѣмъ въ тысячѣ словъ, сказалась расовая черта, страстность южной натуры“...

Быть можетъ, этому эпизоду, только что начинающему выступать изъ своей таинственности, слѣдуетъ приписать поворотъ, происшедшій въ настроеніи Байрона еще до его встрѣчи съ Терезой Гвиччіоли. Несмотря на обиліе развлеченій, нравственная неудовлетворенность его все возрастала, меланхолія глубже въѣдалась, нервы были измучены, по временамъ голова словно нѣмѣла, чудныя кудри стали сѣдѣть, — а Байрону было всего тридцать лѣтъ... И вдругъ послышался удивительный „байроническій“ смѣхъ.

„Беппо“ — первый его опытъ.

Привыкнувъ къ его русскому оттиску, „Нулину“, полному блестящей *causerie* и шаловливаго юмора, мы обыкновенно склонны видѣть въ Байроновской шуточной поэмѣ только первообразъ неподобной игривости, изумившей когда-то чиннаго нашего читателя въ личныхъ отступленіяхъ „Евгенія Онѣгина“, въ „Графъ Нулинъ“, въ „Домикъ въ Коломнѣ“. Но, посылая „Беппо“ своему издателю, Байронъ писалъ, что „поэма полна политики и рѣзкости“, и что ее придется издать отдѣльно безъ имени автора. Въ то же время мы, однако, узнаемъ, что въ основу положенъ „венеціанскій анекдотъ“, который очень позабавилъ поэта, и что, взявъ себѣ за образецъ остроумную пародію на легенды о королѣ Артурѣ, выпущенную незадолго передъ тѣмъ, подъ псевдонимомъ мистера Роберта Whistlecraft'a, однимъ изъ второстепенныхъ поэтовъ, Джономъ Гукгэмомъ Фриромъ <sup>1)</sup>, онъ быстро набросалъ 84 строфы своей шутки. Если прибавить къ этимъ даннымъ вліяніе итальянскаго комическаго стихотворства (отъ Боярдо и Пульчи до „Говорящихъ животныхъ“ Касти), которое Байронъ въ это время изучалъ и къ которому при-

---

<sup>1)</sup> Бывшій дипломатъ, свѣтскій остроумный стихотворецъ, пародировавшій также „Пѣсню о Роландѣ“, прекрасно перелагавшій Аристофана.

страстился <sup>1)</sup>,—обозначатся элементы, изъ которыхъ должна была сложиться новая отрасль Байроновской поэзіи,—комизмъ интриги, положеній, характеровъ, серьезный соціально-политическій и нравственный фонъ сатиры. Трудно рѣшить, которому изъ нихъ въ „Беппо“ принадлежитъ первенство. Какая игра красокъ въ картинѣ Венеціи, — сначала въ ея повседневной живописности, съ ея каналами, лагуной, Ріальто, роями тиціановскихъ красавицъ,—потомъ въ пестрой суматохѣ карнавала! Когда изъ этой рамки выдвигаются три единственныхъ дѣйствующихъ лица разсказа, жена, другъ дома и внезапно объявившійся въ маскарадѣ подѣ одеждой турка, пропавшій безъ вѣсти мужъ, сколько боккачьевской бойкости въ развитіи комическаго положенія и въ благополучной, всѣхъ примиряющей развязкѣ, сколько соли въ правоописательномъ этюдѣ съ натуры и въ забавно-серьезныхъ разсужденіяхъ о великомъ институтѣ „чичисбеевъ“, или *cavalieri serventi*! Характеры Лауры, ея „вице-мужа“ графа, меломана, „отмѣнно изящнаго кавалера, казавшагося героемъ своему камердинеру, типическаго вдыхателя доброй старой школы“, и плута Беппо,—несмотря на скромные размѣры характеристики, обусловленные миниатюрностью всей рамки, стоятъ передъ читателемъ, какъ живые.

Но, шаловливо прерывая то-и-дѣло свой разсказъ, словно поддразнивая читателя, авторъ отклоняется отъ сюжета, иногда настолько, что нить его могла бы порваться и интересъ ослабѣть, — до того блещутъ остроуміемъ и злостью эти *a parte*. Чего въ нихъ только нѣтъ! Едва показались, напр., Лаура съ графомъ и, подѣ предлогомъ восхваленія чичисбеевъ поэтъ вдался въ изъявленія своей привязанности ко всему въ Италіи, къ климату, нравамъ, женщинамъ, онъ вдругъ вспоминаетъ, что ему необходимо поставить внѣ сомнѣнія и свой англійскій патріотизмъ, заявить о преданности всему родному,—и въ нѣсколькихъ десяткахъ стиховъ уже обрисовано жалкое положеніе, до котораго довели Англію торіи. „О, Англія, — восклицаетъ поэтъ, — при всѣхъ твоихъ недостаткахъ я все еще люблю тебя; я люблю прави-

<sup>1)</sup> Еще въ Брюсселѣ. получивъ въ даръ отъ маіора Гордона „*Animali parlanti*“ Касты (и его же *Novelle amoroze*), Байронъ пришелъ въ восторгъ и „чуть не выучилъ стихи наизусть“.

тельство (такое, что совѣмъ не управляетъ), цѣню свободу печати и пасквилей, уважаю Habeas corpus (въ тѣ годы, когда у насъ его не отнимаютъ), люблю нашу постоянную армію, нашихъ распущенныхъ моряковъ, толки о реформахъ, налогъ въ пользу бѣдныхъ, люблю и мои долги, — и долги англійской націи; храни, Боже, регента, церковь и короля! Вѣдь я дѣйствительно все и всѣхъ люблю!“ Появленіе Беппо, вернувшись изъ Турціи, да и одѣтаго туркомъ, ведетъ за собой картинку турецкаго быта съ его многоженствомъ, гаремами, праздностью, безграмотствомъ, — тотчасъ вспыхиваетъ сатира: „Вѣдь счастливы эти люди, не вѣдая азбуки, стало быть, и критики, и стихотворства, не терзая музъ, не наводняя журналовъ, не собираясь въ эстетическихъ гостиныхъ, чтобъ оттуда управлять вкусомъ“. Сатирическая выходка, сразу переѣстившая разсказъ въ англійскую литературную среду, кончается раздѣломъ писательскихъ силъ: одесную поставлены Роджерсъ, Вальтеръ-Скоттъ, Муръ и прочая „избранная братія“ (all the better brothers), опущены — въ особенности сыны alma mater, нетерпимые, самодовольные, педанты, „мнимые остроумцы, поддѣльные джентльмены“ (острота подлинника непереводима, — „the would-be wits and can't be gentlemen“) <sup>1)</sup>. Иногда достаточно совѣмъ случайнаго повода, — напр., упоминанія о судьбѣ, фортунѣ, — и поэтъ уже весело шутитъ надъ капризной богиней, управляющей людской удачей, вспоминаетъ, до чего немилостива была она къ нему до настоящей минуты, надѣется, что она захочетъ, наконецъ, свести счеты, возстановить равновѣсіе...

Пусть Байронъ, какъ обыкновенно думаютъ, не вполне сознавалъ, какая неподражаемая бездѣлка вышла изъ-подъ его пера, и энтузіазму англійскихъ читателей пришлось объяснить ему это, — все же несомнѣнно, что первый опытъ на новомъ пути внушилъ ему смѣлость идти дальше. Черезъ нѣсколько дней послѣ отсылки своей стихотворной шалости, онъ, словно мимоходомъ, сообщаетъ уже Мэррею, что вскорѣ, можетъ быть, пришлетъ ему еще одну вещьцу „въ стилѣ

---

<sup>1)</sup> Однимъ изъ нихъ выпущена была анонимно брошюра въ отвѣтъ Байрону: „A poetical epistle from Alma Mater to Lord Byron occasioned by some lines in Beppo“. Cambridge, 1819.

Беппо“. Въ такомъ непритязательномъ тонѣ возвѣщено было зарожденіе величайшаго изъ Байроновскихъ произведеній, „Донъ Жуана“. Нужны ли еще доказательства непрерывности творческаго развитія Байрона, ни въ чемъ не пострадавшей отъ склада его жизни?

Но и въ ней становилось все свѣтлѣе. Какъ первая ласточка, вѣстница весны, явилась Аллегра въ сопровожденіи няни швейцарки, и наполнила домъ своимъ щебетаньемъ и смѣхомъ; чуткая не по лѣтамъ, полная наивной граціи и ласки, блиставшая красотою голубыхъ глазъ, которые Шелли, вскорѣ ея большой другъ, оставившій прелестный дѣтскій портретъ ея въ поэмѣ „Юліанъ и Маддало“, называлъ „отраженіями итальянскаго неба“, она плѣняла всѣхъ; Байронъ съ удивленіемъ находилъ въ Аллегрѣ сходство съ своей женой, искалъ чертъ, которыя напомнили бы ему Аду, и презабавно заявлялъ, что ея „чертовски бойкій умъ безспорно считаетъ отцовскимъ даромъ“ (she has a devil of a spirit — but that is Papa's). Потомъ пріѣхалъ Монкъ Льюэзъ, за два года передъ тѣмъ посредникъ Байрона въ изученіи гётевскаго „Фауста“, явились Томасъ Муръ и Шелли; потомъ Байронъ устроилъ для Шелли съ семьей уютное дачное житье на виллѣ, которую сначала нанялъ у Гоппнера для себя. Вблизи поселились дорогіе ему люди. Шелли, его добрый геній, былъ снова съ нимъ <sup>1)</sup>).

Письма Шелли изъ Венеціи и автобіографическая поэма „Julian and Maddalo“ останутся навсегда цѣннымъ показаніемъ тонко наблюдательнаго очевидца о жизни и настроеніи Байрона на рубежѣ венеціанскаго искуса и полного возрожденія. Шелли явился сначала одинъ, въ качествѣ парламента отъ Claire, молившей отпустить къ ней дочь на продолжительное время, — говоря точнѣе, онъ не сказалъ другу, что молодая женщина инкогнито приплыла съ нимъ въ гондолѣ изъ Падуи и скрывается въ гостинницѣ. Мягкому вліянію Шелли удалось склонить Байрона на уступку, и когда Мэри Шелли прибыла изъ Лукки, и они поселились всѣ на виллѣ, туда на время явилась Аллегра. И въ пер-

---

<sup>1)</sup> Къ этому времени улучшилось и матеріальное положеніе Байрона, благодаря состоявшейся, наконецъ, продажѣ Ньюстада.

вый день свиданія съ Байрономъ, и въ частые прѣзды (иногда съ женой) въ Венецію изъ виллы „I Sarrusini“, у Эвганейскихъ горъ <sup>1)</sup> (въ Эсте, недалеко отъ Арквѣ, могилы Петрарки), Шелли велъ продолжительные и душевные разговоры съ другомъ, напомнившіе имъ бесѣды въ Швейцаріи. Въ первый же день Байронъ увлекъ его съ собою на Лидо; тамъ уже стояли осѣдланная лошади,—и вдали отъ людей, на волѣ, изъѣздивъ изъ конца въ конецъ весь островъ, онъ изливаль свою исповѣдь, говорилъ о разочарованіяхъ, объ „оскорбленныхъ чувствахъ“, переходилъ къ литературнымъ планамъ, произносилъ свои стихи, тепло и дружески отнесся къ судьбѣ Шелли, столь же гонимаго общественными предразсудками. Въ другой разъ они совершили вмѣстѣ поѣздку по лагунѣ, съ такимъ драматизмомъ описанную Шелли въ выше названной поэмѣ, и высадились на сосѣднемъ съ San Lazzaro, тоже крайнемъ островѣ венеціанскаго архипелага, гдѣ въ ту пору былъ пріютъ умалишенныхъ. Виною была настойчивая мысль самого Байрона, мысль гамлетовская,—нѣтъ, еще безотраднѣе размышлений Гамлета на кладбищѣ: легче съ черепомъ Юрика въ рукахъ предаваться думамъ о бренности и ничтожествѣ людской доли, чѣмъ очутиться среди дикаго скопища заживо умершихъ страдальцевъ, измученныхъ обычнымъ въ то время жестокимъ обращеніемъ своихъ стражей и врачей, которые умѣли только обуздывать,—и среди криковъ, хохота, безсвязныхъ рѣчей, давать волю своей глубокой *міровой* скорби <sup>2)</sup>... Признанія и жалобы одного изъ заточенныхъ, погубленнаго вѣроломствомъ любимой женщины, ставшаго маніакомъ, вѣчно терзаемаго своимъ несчастьемъ, и участливо выслушиваемаго обоими друзьями, дали имъ поводъ къ долгимъ размышле-

---

<sup>1)</sup> Тамъ Шелли написалъ „Lines written among the Euganean Hills“, полная поэтическихъ описаній мѣстности и философскихъ думъ, съ глубоко симпатичнымъ отзывомъ, между прочимъ о Байронѣ. Poetical Works of Shelley, ed. by H. Buxton Forman, 1892, II, 284.

<sup>2)</sup> Попытка сравнить вообще Байрона съ Гамлетомъ,—довольно неудачная,—сдѣлана W. Sihel, „The two Byrons“, Foitnightly Review, 1898, VII; авторъ видитъ сходство въ склонности къ одиночеству, въ измѣнчивости настроенія, доходящей до безумія, въ великодушіи и чувствительности, въ ненависти ко всякому притворству и т. д.

ніямъ, въ которыхъ выразились весь пессимизмъ одного и несокрушимая ничтѣмъ вѣра въ торжество добра—его спутника.

Учащая прїѣзды въ Венецію, Шелли могъ ближе присмотрѣться къ странному образу жизни, который у себя дома могъ вести человѣкъ гениальный, способный на глубокія думы и поразительные замыслы <sup>1)</sup>. И въ лицо ему, и заочно въ письмахъ, говоря о немъ, онъ порицалъ его,—и въ то же время признавался, что считаетъ его великимъ поэтомъ,—„вѣдь одно уже обращеніе его „Къ океану“ это доказываетъ“... Съ тревогой смотрѣлъ онъ на будущее; „у Байрона вы можете легко подмѣтить много добрыхъ влеченій,—говорилъ онъ,—но они недолго держатся послѣ вашего ухода. Нѣтъ, я увѣренъ, и для его добра я искренно желаю, чтобъ настоящій складъ его жизни былъ какъ можно скорѣе прерванъ какимъ-нибудь потрясающимъ событіемъ“.

И вдругъ этотъ, казалось, близкій къ гибели человѣкъ изумилъ его небывалымъ подъемомъ поэзіи. „Я повидался съ лордомъ Байрономъ,—писалъ Шелли, 8 октября 1818 г. своему другу, романисту Пикоку,—и почти не узналъ его; онъ превратился въ оживленнѣйшаго и счастливѣйшаго человѣка. Онъ прочелъ мнѣ первую пѣснь своего „Донъ-Жуана“, вещь во вкусѣ „Беппо“, но безконечно лучше“ <sup>2)</sup>.

Въ этомъ сочувственномъ отзывѣ нѣтъ еще ни слова о широкомъ замыслѣ новой поэмы, который со временемъ нашелъ горячаго цѣнителя именно въ Шелли. Очевидно, въ ту пору Байронъ даже его не посвятилъ въ свою тайну. Когда двѣ первыя пѣсни появились въ печати, вся критика,—и сочувствовавшее автору меньшинство, и единодушная въ своемъ осужденіи господствовавшая партія,—разсматривала вступленіе въ поэму лишь по существу и отмѣчала въ немъ рядъ соблазнительныхъ картинъ съ демонически-пряной приправой небывалаго остроумія. Приступая къ работѣ, съ которою потомъ онъ не разставался до самой смерти, Байронъ,

<sup>1)</sup> Относительно этого образа жизни есть также любопытныя показанія сына привычнаго Байроновскаго адвоката Гансона, который прїѣзжалъ съ своимъ отцомъ въ Венецію по дѣлу о продажѣ Ньюстада. Редакторъ послѣдняго изданія сочиненій Байрона приводитъ ихъ по рукописи.

<sup>2)</sup> Dowden, P. B. Shelley, II, 234—235.

быть может, не установилъ подробнаго плана (когда друзья стали осуждать фривольность его приемовъ, онъ могъ шутя угрожать тѣмъ, что въ наказаніе имъ напишетъ „Донъ-Жуана“ въ *пятидесяти* пѣсняхъ),—но связующая мысль была твердо поставлена, подчиняя себѣ всѣ отдѣльныя ея примѣненія въ поэмѣ, какъ бы разнородны они ни были. Уже выборъ эпиграфа характеристиченъ. Онъ взятъ изъ шекспировской „Двѣнадцатой ночи“ <sup>1)</sup>; сэръ Тоби бросаетъ въ лицо притворщику Мальволіо восклицаніе: „Неужели ты думаешь, что оттого, что ты добродѣтеленъ, на свѣтѣ не должно уже быть ни пировъ, ни элю?“ И клоунъ поддакиваетъ ему: „Клянусь святою Анной, все пряное и впредь будетъ щекотать намъ нѣбо“. Наперекоръ всеобщему лицемѣрію и чопорности, Байронъ провозглашаетъ законность изображенія *всѣхъ* сторонъ жизни, законность свободнаго смѣха, веселости и юмора, срывающихъ со всего личину, терпимость къ мірскому, земному элементу въ поэзіи, необходимость житейской правды въ ней. Примѣненное въ слѣдующей затѣмъ первой пѣсни къ непринужденной картинѣ изъ закулисныхъ *испанскихъ* нравовъ, основное положеніе это могло показаться лишь оправданіемъ крайней поэтической „вольности“, которую захотѣлъ себѣ присвоить поэтъ. Только со временемъ, когда передъ читателемъ стало развертываться сложное *общечеловѣческое* содержаніе поэмы, охватившее десятки всевозможныхъ, и двусмысленныхъ, и патетическихъ, и плѣнительно-пѣжныхъ, и грозно-обличительныхъ эпизодовъ, взятыхъ изъ жизни самыхъ разнообразныхъ народовъ, греческаго, турецкаго, русскаго, англійскаго, мысль Байрона обнаружилась во всей ея глубинѣ.

Настойчивыя и по истинѣ неистощимыя обвиненія Байрона въ безнравственности личной его жизни и литературной дѣятельности (новѣйшая клевета принадлежала поэту-лавреату Соути <sup>2)</sup>), который распространялъ сплетню о раз-

<sup>1)</sup> Актъ II, явленіе 3.

<sup>2)</sup> Соути въ ненависти къ Байрону доходилъ до фанатизма. Когда появилась, послѣ смерти поэта, книга Медвина, коснувшаяся интригъ и нападокъ лавреата, Соути сдѣлалъ печатно категорическое заявленіе, „что обличалъ Байрона за то, что онъ наложилъ позорное клеймо на англійскую литературу, что онъ совершилъ тяжкое преступленіе противъ общества, вы-



вратной жизни Байрона и Шелли въ Женевѣ съ двумя сестрами; подъ стать ей пущена была англичанами изъ Венеціи нелѣпная басня о связи Шелли и съ Мэри Годвинъ, и съ Claïre...) привели поэта къ желанію не только раскрыть, сколько добродѣтельнаго лицемѣрія выказываютъ его судьи, но, подобно великому вопросу: „что есть истина“, поставить другой вопросъ: что такое „нравственность“, *что* понимаютъ подъ нею люди, зовущіе отступника къ ея трибуналу, есть ли неизблennyй, для всѣхъ обязательный ея кодексъ, или ея законы и обычаи мѣняются сообразно расѣ, климату, темпераменту, культурѣ, религіи. Личный опытъ, долгія странствія, чтенія, показали ему много разнородныхъ варіацій на тему о „нравственномъ“; турецкій міръ съ его многоженствомъ, освященная обычаемъ въ Венеціи жизнь втроемъ, свѣжее тогда преданіе о петербургскомъ фаворитизмѣ екатерининскихъ временъ, считавшемся вполне нормальнымъ, близкое знакомство съ тѣмъ, что въ англійской жизни скрывалось подъ маской добродѣтели и чопорности, давали цѣнные матеріалы для отвѣта на поставленный имъ вопросъ. Но, если первая пѣснь могла возбудить предположеніе, что онъ возьметъ на себя только пересмотръ укоренившихся взглядовъ на отношенія между полами, на любовь и чувственность, онъ вскорѣ расширилъ кругозоръ, и въ міровое обозрѣніе вошли тогда трагическія картины сраженій и осады, приводящія къ рѣзкому протесту противъ войны вообще, узаконенной все тѣмъ же кодексомъ нравственности, вошла политическая и социальная сатира. Одного сопоставленія начала поэмы, которое разыгрывается въ спальнѣ севильской красотки доньи Юліи, съ ея концомъ, который предполагалось обставить бурными сценами французской революціи и развязать узелъ сюжета смертью Жуана ради народнаго, хотя и чужого ему блага, уже достаточно, чтобы показать, какое широкое развитіе суждено было зародышу поэмы, казалось, сначала предназначенной, по примѣру „Беппо“, воздѣлывать невинный юморъ.

---

пустивъ произведеніе, въ которомъ насмѣшки смѣшаны съ ужасами, грязь съ безбожіемъ, развратъ съ вольномысліемъ“, и т. д.

Если въ „Донъ-Жуанъ“ Байронъ собирався подвести итоги современной культуры, сгруппировать свои наблюденія, личный опытъ и размышленія, то съ этимъ намѣреніемъ совпало внезапно появившееся у него рѣшеніе собрать автобіографическія свои воспоминанія и оставить послѣ себя правдивый и подробный рассказъ о своей жизни, столь опорощенной и оклеветанной. Такъ возникли знаменитые Байроновскіе „Мемуары“, раздѣляющіе съ мемуарами Гейне одинаковую участь посмертнаго уничтоженія <sup>1)</sup> и таинственной привлекательности.

Сначала Байронъ допускалъ мысль объ ихъ напечатаніи и въ этомъ смыслѣ писалъ Мэррею 10 іюля 1818 г. Черезъ недѣлю у него было готово шесть—семь листовъ; 26 августа мемуары занимали уже сорокъ четыре листа большого формата. Въ Равеннѣ, 1820 г., работа продолжалась. Всего предполагалось сначала листовъ семьдесятъ; потомъ и это число было превзойдено. Во время писанія, однако, у автора поднялись сомнѣнія относительно умѣстности обнародованія воспоминаній, — и назрѣла мысль передать предварительно мемуары черезъ третьи руки для просмотра женѣ, какъ одному изъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, имѣющему право знать, что о немъ пишутъ. Въ числѣ важнѣйшихъ новинокъ послѣдняго изданія переписки поэта находятся два письма его къ женѣ (1820) по этому поводу, встрѣченныя ею недружелюбно. Она рѣшительно возстала противъ обнародованія мемуаровъ, — и не изъ-за своихъ интересовъ, а ради дочери; „лично леди Байронъ уже много страдала отъ *несправедливости*, — тѣмъ не менѣе нѣкоторыя послѣдствія изданія мемуаровъ очень бы ее печалили“. Байрона непріятно поразилъ этотъ тонъ; рѣзкими выраженіями осудилъ онъ въ своемъ отвѣтѣ, переданномъ при посредствѣ Т. Мура, упорство и „лукавую казуистику“ супруги, и, отказываясь понять смыслъ угрозы, заключающейся въ намекѣ на „послѣдствія“, онъ закончилъ письмо цитатой изъ Дантова *Ада* о „гордой женѣ, вредящей ему болѣе чѣмъ кто-либо другой: „e certo la fiera moglie, piu ch'altro, mi nuoce“ <sup>2)</sup>.

<sup>1)</sup> Единственная уцѣлѣвшая часть гейневскихъ мемуаровъ касается дѣтства и отрочества поэта.

<sup>2)</sup> Inferno, пѣснь XVI, ст. 45.—Письмо см. въ V томѣ „Letters“, 2. 14\*

Не только подъ вліяніемъ непріязненнаго отношенія лэди Байронъ къ его замыслу, а также по многимъ другимъ соображеніямъ взяло наконецъ верхъ рѣшеніе *пока* не печатать... Правда, по словамъ самого автора, это не были Признанія (Confessions), а только Меморанда; о любовныхъ увлеченіяхъ, напр., говорилось немного, зато *разсказана подробно исторія брака и его послѣдствій*,—но, несмотря на желаніе выдержать безпристрастіе и спокойствіе, въ разсказъ ворвались злость, сатира и смѣхъ; въ немъ отразилась цѣлая полоса англійской общественной жизни <sup>1)</sup>. Послѣ колебаній Байронъ воспользовался прїѣздомъ въ Венецію Томаса Мура, для того чтобы передать рукопись мемуаровъ, предоставивъ ему право располагать ею, послѣ смерти поэта, по своему усмотрѣнію.

Когда Муръ взялъ впервые въ руки мемуары, трепеть овладѣлъ имъ; ему представилось, что онъ испытываетъ настроеніе того, кто открылъ бы себѣ доступъ въ жилище волшебника и въ волненіи ждетъ, небесныя существа или адскія видѣнія предстанутъ тамъ передъ нимъ. Подумалось ему, что въ эту минуту безсчетныя тысячи современниковъ готовы были бы все отдать за возможность быть въ его положеніи. Эти чувства и мысли онъ выразилъ въ одномъ изъ лучшихъ мѣстъ стихотворнаго дневника своего путешествія (Rhymes on the Road), съ благоговѣніемъ увезъ мемуары въ Англію, тамъ показывалъ ихъ многимъ лицамъ (неизвѣстно, съ согласія ли автора), давая тѣмъ возможность снимать съ нихъ копіи, запродавъ рукопись Мэррею,—но, по смерти поэта, словно охваченный паническою боязнью, и подобравъ наскоро совѣщаніе изъ нѣсколькихъ столь же пугливыхъ людей, принялъ сообща съ ними рѣшеніе уничтожить мемуары,—и оно было выполнено въ присутствіи шести свидѣтелей. Послышались осужденія и порицанія; протестовалъ Роджерсъ, находившій, что опасныхъ мѣстъ во всей рукописи не набралось бы и на три, четыре страницы, и Джонъ Россель, по мнѣнію котораго нѣсколько „неделикатныхъ частностей“ (undelicate passages) не оправдывали акта вандализма; негодовалъ Мэррей. Съ виду по крайней мѣрѣ, драгоценныя признанія поэта исчезли. Да,—именно только съ виду,—по-

<sup>1)</sup> Letters, IV, 368.

тому что такой авторитетный судья въ настоящемъ дѣлѣ, какъ м-ръ Протеро, въ отвѣтъ на мой запросъ, не думаетъ ли и онъ, что, благодаря копіямъ, мемуары уцѣлѣли, призналъ „*болѣе чѣмъ вѣроятнымъ*“, что они существуютъ въ видѣ списковъ, снятыхъ самовольно,—но что обнаруженіе ихъ невозможно безъ согласія легальныхъ охранителей интересовъ семьи поэта,—этого же согласія, конечно, никто не получить“...

Но вернемся къ „Донъ-Жуану“.

Надписанное надъ поэмой имя легендарнаго испанскаго героя и испанская же обстановка первой пѣсни показались современникамъ поэта признакомъ его желанія самостоятельного разработать старое преданіе, перенеся его въ XVIII-е столѣтіе, быть можетъ, устранивъ все сверхъестественное ради большей реальности, но оставаясь въ традиціонныхъ рамкахъ типа. Ожиданія не оправдались; въ первую же пѣснь авторъ сумѣлъ ввести въ испанскихъ нарядахъ такіа интимныя черты, какъ отголоски своихъ брачныхъ раздоровъ, старанія жены (въ poemѣ—доньи Инесы) выставить мужа сумасшедшимъ, и многое, не имѣвшее съ преданіемъ ничего общаго. Съ каждою новою пѣснью легенда и поэма расходились все дальше, и не только въ частностяхъ сюжета, постоянной смѣнѣ обстановки и т. д., но именно въ пониманіи и освѣщеніи главнаго дѣйствующаго лица. „Мнѣ нуженъ герой!“—съ комическимъ отчаяніемъ восклицаетъ авторъ въ первой же строкѣ и шутя прибавляетъ: „не правда ли, это необычныя поиски, именно въ наше время, когда герои расплодились во множествѣ!“ Длинный списокъ ихъ, приводимый вслѣдъ затѣмъ, не удовлетворяетъ его; хотя на ряду съ мишурными и пошлыми знаменитостями въ немъ есть нѣсколько замѣчательныхъ именъ, но „ихъ не приспособишь къ приемамъ“. Приходится взять стариннаго героя, того Жуана, „котораго всѣ помнятъ въ пантомимѣ, гдѣ чортъ обыкновенно уноситъ его куда-то, прежде чѣмъ наступилъ для того срокъ“... Ни слова ни о родоначальницѣ всѣхъ драмъ на тему жуановской легенды, пьесѣ Тирсо де-Молина<sup>1)</sup>, ни о комедіи Мольера, ни объ оперѣ Моцарта съ ху-

<sup>1)</sup> Изслѣдованіе Артура Фаринелли, „Don Giovanni, note critiche“, *Giornale storico della letteratura Italiana*, 1896, I, подвергло сомнѣнію и авторство Тирсо, и историческій прототипъ „Донъ-Жуана“.

дожественнымъ либретто Да-Понте. Вспомануть только наказанный вертопрахъ народныхъ пьесъ, кукольныхъ или мимическихъ, которыя съ давнихъ поръ всюду (въ томъ числѣ и въ Англіи) <sup>1)</sup> расплодились, каррикатурно разрабатывая для своей публики романтическій сюжетъ. Солидарность съ народнымъ юморомъ сразу выдаетъ своеобразныя намѣренія автора. Въ очеркѣ дѣтства, семьи, воспитанія героя, перваго его дебюта въ „страсти нѣжной“, выполненномъ съ удивительнымъ остроуміемъ и задоромъ, уже отсутствуетъ декорумъ, требовавшійся преданіемъ. „Донъ-Жуанъ“ Мольера, Моцарта, неотразимый, вѣрящій въ себя завоеватель, своею удалю, обольстительностью, презрѣніемъ къ общественнымъ стѣсненіямъ и предразсудкамъ часто импонирующій свидѣтелямъ его побѣдоноснаго шествія, при всѣхъ порокахъ и распущенности могъ казаться положительнымъ героемъ. Есть ли хоть одна черта изъ *этого* пониманія его характера въ Байроновскомъ „Донъ-Жуанъ“, начинающемъ свои похождения интригой съ доньей Юліей, которая прячетъ его, при появленіи мужа, подъ грудой одѣялъ, потомъ—нѣжномъ другѣ Гайдэ, потомъ, въ одеждѣ одалиски, обитателѣ гарема, русскомъ офицерѣ, екатерининскомъ придворномъ и т. д.? Какъ въ позднѣйшемъ, *петербургскомъ* демонѣ Лермонтова,—демонѣ „Сказки для дѣтей“, спустившемся съ заоблачныхъ высотъ въ бытовую прозу Невскаго или Морской, едва сохранились очертанія таинственнаго его прототипа, такъ (и притомъ въ гораздо большей степени) поблекли въ Байроновскомъ Жуанѣ черты его родоначальника. Психическое ихъ сродство, конечно, несомнѣнно; оно—въ томъ сильно развитомъ и вѣчно неудовлетворенномъ инстинктѣ любви, стремленіи къ обладанію и наслажденію, которое въ наше время не разъ обозначали специальнымъ именемъ „донъ-жуанизма“ <sup>2)</sup> и изучали въ ученыхъ трактатахъ съ біологической точки зрѣнія <sup>3)</sup>. Выбравъ своимъ героемъ не мольеровскаго

<sup>1)</sup> Историки англійскаго театра пренебрегли изданіемъ подобныхъ пьесъ, тогда какъ всѣ важнѣйшія народныя переработки Жуановской легенды въ Германіи и Австріи изданы. См. напр. книгу Энгеля, „Die Don-Juan Sage auf der Bühne“, Dresden, 1887.

<sup>2)</sup> Armand Hayem. „Le Don-juanisme“. Paris, 1886.

<sup>3)</sup> „Die Don-Juan Sage im Lichte biologischer Forschung“, v. Dr. Rauber, Prof. der Anatomie in Jurief (Dorpat). Leipz. 1899. О равномъ періодѣ этой

„érouseur du genre humain“, какъ называетъ своего господина Станарель, не завоевателя, чувствующаго въ себѣ „отвагу Александра Македонскаго“ и „сердце, способное любить всѣхъ женщинъ міра“,—а жреца любви, такъ сказать, на вторыя роли, Байронъ тѣмъ легче могъ сдѣлать его своимъ спутникомъ въ задуманномъ странствіи по свѣту съ цѣлями общественной сатиры. Донъ-Жуанъ, блестящій гидальго, обязывалъ бы къ триумфальному шествію, тогда какъ Жуанъ увлекающійся, легкомысленный, юмористъ и вѣтренникъ, но не глупый, наблюдательный, не только могъ, но долженъ былъ попадать изъ одного рискованнаго, двусмысленнаго или потѣшнаго положенія въ другое. Сколько простора для изображенія жизни, какъ она есть!

Но въ самомъ же началѣ поэмы какая неожиданная непоследовательность въ изображеніи героя, какое поэтическое отклоненіе отъ бойкаго натурализма первой пѣсни!.. Морское путешествіе, придуманное матерью Жуана для охлаждения его сердечнаго пыла, приводитъ поэта къ превосходнымъ картинамъ бури, борьбы со стихіей, кораблекрушенія<sup>1)</sup>—и этотъ мракъ и ужасъ вдругъ смѣняются нѣжной идилліей любви Жуана, выброшеннаго волнами на пустынный островъ пирата, и Гаида. Точно свѣтлый оазисъ среди пошлости всевозможныхъ альковныхъ и гаремныхъ приключеній, собранныхъ въ поэмѣ, красуется въ ней свободная отъ всякой сентиментальности повѣсть искренней, наивной любви дѣвушки, выросшей на волѣ, въ природѣ, безконечно далеко отъ лжи и притворства свѣта, и внушающей сластолюбцу Жуану—единственный разъ въ его жизни—такое же искреннее чувство. Ихъ счастье, согрѣтое южнымъ солнцемъ въ тиши и нѣгѣ невѣдомаго никому блаженнаго уголка<sup>2)</sup>—

---

общечеловѣческой легенды ср. мою статью „Легенда о Донъ-Жуанѣ“, въ „Этюдахъ и характеристикахъ“, М. 1894.

<sup>1)</sup> Въ описаніи его находятъ сходство съ рассказомъ о гибели корабля „Юноны“ (Narrative of the shipwreck Juno in the year 1795), прочитаннымъ Байрономъ еще въ дѣтствѣ и поразившимъ его.

<sup>2)</sup> Не повліялъ ли на его изображеніе одинъ изъ эпизодовъ перваго путешествія Байрона, когда на возвратномъ пути изъ Константинополя въ Аѣны онъ высадился на островкѣ Tzia, тогда какъ Гобгоузъ продолжалъ свой путь на кораблѣ?

поэтическая мечта, поразительная по свѣжести красокъ. Она свободно зародилась въ фантазіи Байрона. Хотя бы онъ зналъ о сходномъ эпизодѣ Жуана съ рыбачкой Тизбой, тоже послѣ кораблекрушенія, въ пьесѣ Тирсо де-Молина (чего доказать нельзя),—этотъ эпизодъ показалъ бы ему только новый примѣръ вѣроломства Донъ-Жуана, который насмѣялся надъ крестьянкой такъ же, какъ бросалъ знатныхъ поклонницъ. Въ Байроновской идилліи только грубая рука пирата, внезапно вернувшись, въ состояніи разорвать счастье любящихся... Пусть въ судьбѣ Жуана встрѣча съ Гаиде и привязанность его къ ней кажутся непослѣдовательностью, прихотью художника, въ его поэзіи весь этотъ эпизодъ, и въ особенности образъ Гаиде<sup>1)</sup>—одна изъ выдающихся красотъ.

Когда по изданной теперь сполна перепискѣ Байрона съ друзьями и съ Мэрреемъ, завязавшейся усиленно вслѣдъ за присылкою имъ двухъ первыхъ пѣсенъ, слѣдишь за предостереженіями, чуть не протестами ихъ, и видишь, какъ они (даже радикалъ Гобгоуэ) какъ будто готовы вторить массовымъ осужденіямъ „безправственности“, удивляешься, какъ эпизодъ на островѣ пирата (правда, тогда еще не доконченный, но уже достаточно опредѣлившійся) своими мягкими тонами и нѣжными красками не примирилъ строгихъ судей съ началомъ поэмы. Все вниманіе ихъ сосредоточилось на непринужденныхъ сценахъ первой главы, подозрительность открыла (и не безъ основанія) въ характеристикѣ семьи Жуана сходство съ нѣкоторыми изъ условій, окружавшихъ самого поэта въ юности и во время брачной жизни; боязнь новыхъ скандальныхъ столкновеній овладѣла ими, и что-то въ родѣ военнаго совѣта, созданнаго Мэрреемъ, старалось отговорить Байрона отъ печатанія поэмы (много разъ встрѣчается потомъ въ перепискѣ остроумная полемика поэта съ этимъ

---

1) Очень рано стали дѣлаться попытки иллюстрировать богатый женскій персоналъ Байроновской поэзіи. Въ лучшей изъ нихъ, „Finden's Byron beauties or the principal female characters“ etc., 1835, наиболее удачны Гаиде, Дуду, Гюльбейазъ и леди Пинчбекъ. Обширное собраніе всевозможныхъ рисунковъ къ сочиненіямъ Байрона и къ Муровской его біографіи, составленное въ теченіи многихъ лѣтъ Вильямомъ Уаттсомъ, хранится въ Британскомъ Музеѣ (въ Large Room).

„преславнымъ синодомъ“, illustrious synode“). Но съ удивительной выдержкой, въ полномъ сознаніи своей правоты, онъ въ рядѣ писемъ краснорѣчиво и горячо защищалъ свободу писателя, стоялъ за просторъ юмора, заявлялъ, что пойдетъ отнынѣ съ глубокимъ убѣжденіемъ по слѣдамъ великихъ сатириковъ, напоминалъ, что если осудить „Донъ-Жуана“, то слѣдуетъ предать проклятію Аріоста, Пульчи, Свифта<sup>1)</sup> Рабле, Вольтера<sup>2)</sup>. Онъ рѣшилъ, во что бы то ни стало, напечатать свое опасное произведеніе,—только анонимно, даже безъ издательской фирмы, лишь съ указаніемъ типографіи. Но мыслимо ли было сохранить анонимность! Кто бы не узналъ Байрона по его стиху и любимымъ приемамъ! *Такъ* писать могъ одинъ только онъ... Что же было бы, еслибъ (какъ того настойчиво желалъ сначала Байронъ, принужденный потомъ уступить) первой же пѣсни было предпослано (напечатанное лишь впоследствии) дышащее глубокимъ презрѣніемъ посвященіе стражу нравственности, и въ то же время клеветнику и ренегату, Соути!<sup>3)</sup>

Скоро послышался изъ Англіи хоръ осужденій, проклятій и негодованія, который ему предрекали, но онъ мужественно встрѣтилъ отпоръ, ни въ чемъ не уступилъ, апеллируя къ суду потомства и къ безпристрастному мнѣнію остальной читающей и мыслящей Европы, и, годъ за годомъ увеличивая поэму новыми пѣснями, писалъ ихъ подъ вы-

1) Свифта Байронъ считалъ почти недосягаемымъ образцомъ сатиры; когда по поводу „Бешпо“ друзья дѣлали лестныя для него сравненія, онъ отклонялъ ихъ съ искреннею скромностью ученика.

2) Блейбтрей (Bygon der Urbermensch, S. 112) утверждаетъ, будто самый замыселъ „Донъ-Жуана“ внушенъ былъ вольтеровскимъ „Кандидомъ“. Съ другой стороны выставлена догадка, что повліяла случайно найденная Байрономъ на Востокѣ во время перваго путешествія и очень полюбившаяся ему книга де-Монброна *Le cosmopolite ou le citoyen du monde*, 1753, ироническое, выдержанное въ Вольтеровскомъ духѣ, изображеніе жизни.

3) Когда Соути только-что выступалъ въ качествѣ присяжнаго обвинителя Байрона, поэтъ съ грустной ироніей, показавшей знаніе людей, замѣтилъ: „Почему нападаетъ онъ на меня? Вѣдь я не дѣлалъ ему добра“!.. Примкнувшій къ своему собрату по поэтической школѣ въ его нападкахъ на Байрона Кольриджъ много разъ, и въ личной, и въ писательской жизни, былъ обязанъ гуманному содѣйствію Байрона, который въ наиболѣе критическую минуту для Кольриджа, разстроившаго свое здоровье куреніемъ опиума, явился прямо его избавителемъ.



стрѣлами близорукой и чопорной критики и общественной нетерпимости. Однимъ изъ важнѣйшихъ признаковъ счастливо пережитаго венеціанскаго искуса, конечно, слѣдуетъ признать проявленіе съ первыхъ же строфъ великой поэмы окрѣпшаго въ немъ художественнаго самосознанія, независимости и энергіи. До чего фантазія его въ ту пору снова стала воспримчивою и чуткою, показало одновременное съ началомъ „Донъ-Жуана“ созданіе, совершенно въ другомъ родѣ, съ сюжетомъ на половину историческимъ, произведенія, полнаго патетическихъ моментовъ и роскошныхъ описаній дикой природы. Стоило Байрону встрѣтить въ Вольтеровской „Исторіи Карла XII“ рассказъ о томъ, какъ Мазепа въ молодости подвергся жестокой мести польскаго вельможи, заставшаго свою молодую жену съ нимъ на свиданіи, какъ былъ, обнаженный, привязанъ къ бѣшеному степному коню, пущенному на волю, и спасенъ этимъ конемъ, принесшимъ его на себѣ, послѣ нѣсколькихъ дней безумной скачки, въ родную Украину, — и у него родился замыселъ *Мазепы*.

Распространенное мнѣніе, будто эта поэма относится къ болѣе позднему времени сближенія поэта съ Гвиччіоли<sup>1)</sup>, при чемъ въ сюжетѣ видятъ отношеніе къ дѣйствительности (польскій палатинъ — старикъ Гвиччіоли, жена его — Тереза) — опровергается письмомъ поэта, говорящаго, еще въ сентябрѣ 1818 г., о необходимости окончить и перебѣлить „Мазепу“. Другое, бѣглое упоминаніе Вольтера о привалѣ шведскаго короля, во время бѣгства изъ Полтавы, въ лѣсу, гдѣ, утомленный и мучимый ранами, онъ заснулъ, подвергаясь опасности ваятія въ плѣнъ, пригодилося для вступленія и обстановки, и на этой соединенной основѣ возникла цѣлая сцена: ночь, костеръ, скудная шведская свита, взволнованный и тщетно ищущій отдыха король, возлѣ него старикъ Мазепа, котораго Карлъ побуждаетъ занять его какимъ-нибудь рассказомъ, — хоть о томъ необыкновенномъ происшествіи, которое съ нимъ, говорятъ, случилось въ молодости. Тутъ начинается столь любимый Байрономъ рассказъ, монологъ, но какой яркій, драматическій! Передъ старымъ

<sup>1)</sup> Этого мнѣнія держится и авторъ новѣйшей монографіи о „Мазепѣ“: Lord Byrons „Mazeppa“, eine Studie von Dr. D. Engländer. Berlin, 1897.

гетманомъ проносится молодость его при блестящемъ дворѣ въ Варшавѣ, оживаютъ черты любимой женщины, вспоминаются счастливыя минуты свиданій, потомъ внезапный ударъ судьбы, свирѣпая расправа,—и страшные дни, пережитые на обезумѣвшемъ отъ воли животномъ въ глуши невѣдомыхъ краевъ. Темные лѣса, безграничный просторъ степей, шумные потоки, чьи волны перерѣзываетъ вплавь бѣшеный конь, миражи, лунный свѣтъ и тѣни, жуткое одиночество, неизбежность смерти, гнѣвъ, стыдъ, муки голода, отчаяніе,—все пригрезилось поэту и воплотилось въ рядъ картинъ, выдерживающихъ читателя въ возрастающемъ возбужденіи до трагической минуты, когда обезсиленное животное издыхаетъ, надъ нимъ уже вьются хищныя птицы, привязанный къ трупу Мазепа замираетъ въ оцѣпенѣломъ снѣ,—и пробуждается въ казацкой хатѣ... Послѣднія строки поэмы снова возвращаютъ насъ къ обстановкѣ начала; впечатлѣніе страстно веденнаго разсказа искусно смѣняется прозаическимъ эффектомъ,—король давно заснулъ подъ звуки гетманской рѣчи. Мелодраматичнѣе былъ бы другой приѣмъ, которымъ въ прежніе годы завершилъ бы поэму Байронъ, опустивъ занавѣсъ при замершихъ отъ волненія группахъ слушателей Мазепы.

Точно оживленная притокомъ новыхъ силъ, возродилась и поэтическая дѣятельность, и жизненная энергія Байрона. Въ это именно время онъ встрѣтилъ Терезу Гвиччіоли,—и, какъ она потомъ вспоминала, эта встрѣча имѣла величайшія послѣдствія для нихъ обоихъ.

Лучшій портретъ Терезы, принадлежащій кисти извѣстнаго въ свое время художника-любителя графа д'Орсэ, изображаетъ очень юное, хрупкое существо, съ тонкимъ профилемъ, нѣжнымъ взглядомъ голубыхъ глазъ, узломъ волосъ, перевитыхъ бархаткой, и волнистыми локонами, спущенными спереди на широко открытую красивую шею; во всей позѣ и нарядѣ есть что-то дѣвически граціозное и наивное. Въ такомъ видѣ предстала она передъ Байрономъ въ гостиной графини Бенцони, въ апрѣлѣ 1819 года, послѣ колебаній (даже отказа отъ знакомства), сначала выказанныхъ обѣими сторонами. Но, когда она увидѣла

его вблизи,—писала она впоследствии Муру<sup>1)</sup>, „его благородная и необыкновенно красивая внѣшность, звукъ его голоса, его манеры, тысяча очарованій, съ нимъ связанныхъ, дѣлали его до такой степени непохожимъ ни на кого изъ видѣнныхъ ею дотолѣ людей, ставили его выше всѣхъ, что она не могла не вынести глубочайшаго впечатлѣнія“. Она только вступала въ жизнь, но ранняя юность ея (ей шелъ всего семнадцатый годъ) была незадолго передъ тѣмъ прикована къ искушенному житейскимъ опытомъ богачу, гордецу и дѣльцу, шестидесятилѣтнему графу Гвиччіоли, вступившему въ третій бракъ, какъ въ выгодную и пріятную сдѣлку, и не оставившему по себѣ ни одного сочувственнаго воспоминанія. Трудно понять, какъ могъ состояться этотъ бракъ, какъ отецъ Терезы, графъ Гамба, наконецъ необыкновенно близкій къ ней (правда, еще очень молодой) ея братъ Пьетро, люди не дюжинные, уже тогда, быть можетъ, принимавшіе участіе въ тайной политической агитаціи, въ которую ввели вскорѣ Байрона, и послѣ встрѣчи ея съ нимъ такъ горячо принявшіе участіе въ ея судьбѣ, стараясь разобщить съ постылымъ мужемъ, могли допустить этотъ бракъ.

Байронъ былъ ея первою любовью, и она искренно привязалась къ нему. Люди, встрѣчавшіеся съ нею послѣ смерти поэта, свидѣтели ея долгой жизни (она умерла лишь въ 1873 г.), посѣтители парижскаго салона „маркизы де-Буасси“, жены одной изъ креатуръ Наполеона III (увѣряютъ, будто мужъ, знакомя съ нею, прибавлялъ иногда: „ma femme, ancienne maitresse de lord Byron“), наконецъ читатели ея книги о Байронѣ<sup>2)</sup>, слабой компиляціи личныхъ воспоминаній и книжныхъ выдержекъ, кѣмъ-то неудачно проредактированной, — относились къ ней несочувственно и готовы были подвергать сомнѣнію ея привязанность къ поэту; анализируя его *позднѣйшее* настроеніе, несвободное отъ рефлексіи и анализа по отношенію къ ней, заключали почти то же

<sup>1)</sup> „Life of L. Byron“, 393.

<sup>2)</sup> „Lord Byron jugé par les témoins de sa vie“. Paris, 1868; въ слѣдующемъ году появился англійскій переводъ подъ болѣе точнымъ заглавіемъ: „My recollections of L. Byron and those of eye-witnesses of his life“. Lond., Bentley.

и о его раннемъ чувствѣ. Но лиризмъ первыхъ впечатлѣній, даже первыхъ лѣтъ, съ обѣихъ сторонъ, нельзя подвергать сомнѣнію, а показанія такихъ неподкупныхъ свидѣтелей, какъ Шелли<sup>1)</sup>, или тонко наблюдательныхъ свѣтскихъ знакомыхъ поэта даже изъ болѣе поздней поры, какъ лэди Блессингтонъ<sup>2)</sup>, рисуютъ Терезу, какъ человѣка, съ ея мягкимъ вліяніемъ на Байрона, чуть не посланницей судьбы.

Съ ея появленіемъ все остальное, всѣ венеціанскія связи, шалости, излишества, померкло, словно никогда не существовало; отнынѣ до его смерти царство Терезы нераздѣльно; чувственно возбужденнаго Байрона больше нѣтъ. Поэзія его зазвучала гимномъ любви; „Донъ-Жуанъ“ обогатился новыми пѣснями, гдѣ съ возрастающею нѣжностью досказана идиллія Гайдэ. Байронъ не можетъ болѣе жить вдали отъ Терезы. Она уѣзжаетъ съ мужемъ въ Равенну, въ родовой его палаццо, онъ слѣдуетъ за ними; поселяются они на время въ Болоньѣ, — онъ обнаруживаетъ страстное желаніе осмотрѣть ея достопримѣчательности. Письмо, которое онъ написалъ ей однажды на послѣдней страницѣ „Коринны“, не дождавшись ея, полно искренняго чувства. „При помощи духовника, субретки, негра-мальчика и одной пріятельницы Терезы тайная любовь поддерживалась, насколько это можно было“ (Letters, IV, 319). Интриги мужа, который замѣтилъ это чувство и повелъ двойную игру, то ставя препятствія, то дѣлаясь снисходительнымъ, зато добиваясь при посредствѣ Байрона консульскаго мѣста или большого займа, отравили, однако, безмятежное сначала счастье. Байронъ испыталъ невѣданную имъ еще тревогу; необычайные планы проносятся въ его головѣ; онъ рѣшаетъ добиваться развода, — если же они потерпятъ неудачу, онъ все броситъ въ Европѣ,

---

<sup>1)</sup> „Связь съ Гвиччіоли была неоцѣнимымъ благомъ для него“, писалъ Шелли жетѣ изъ Равенны (The connection with the Guiccioli has been an *inestimable benefit to him*).

<sup>2)</sup> Новѣйшее изданіе ея „Journal of the conversations of L. Byron with the countess of Blessington“. Lond., 1894. Въ литературѣ нѣмецкихъ диссертаций есть книга Blümel'я объ этомъ дневникѣ, какъ біографическомъ матеріалѣ (Die Unterhaltungen Lord Byron's mit der Gräfin Blessington als ein Beitrag zur Byronbiographie kritisch untersucht von Magnus Blümel. Breslau, 1900).

и съ Аллегрою выслется въ южную Америку, перемѣнить имя, начнетъ новую жизнь простого смертнаго, затеряется въ толпѣ; чувствовать же, что Тереза такъ близко отъ него и не можетъ ему принадлежать, выше его силъ.

Лиризмъ любви смѣнился глубокою меланхоліею. Какъ юному Данту въ печальномъ видѣніи грезилась смерть его Беатриче, такъ Байронъ при одной мысли, что Тереза можетъ умереть, рѣшаетъ, что не переживетъ ее и пуститъ себѣ пулю въ лобъ. Необыкновенно потрясенный въ первое же посѣщеніе гробницы Данта въ Равеннѣ, онъ цѣлые часы проводилъ, думая и мечтая около нея, и однажды былъ найденъ тамъ Терезой въ полномъ самозабвеніи. Изъ Болоньи онъ часто скрывался на ея окраину, туда, гдѣ у подножія горы, увѣнчанной храмомъ Мадонны di San Luca, раскинулась древняя Чертоза, превращенная въ обширный городъ мертвыхъ. Онъ любилъ бесѣдовать съ старымъ стражемъ *Campo Santo*, искушеннымъ вѣчнымъ созерцаніемъ смерти; въ то время, какъ возлѣ била ключемъ молодая жизнь въ красивой, жизнерадостной дочери могильщика, старикъ показывалъ поэту коллекцію череповъ, передавая исторію ихъ при жизни. Въ Феррарѣ его до слезъ растрогали надгробныя надписи, въ которыхъ простые люди, погребенные тутъ, просили себѣ—мира, вѣчнаго успокоенія“ <sup>1)</sup> (Martini Luigi *implora pace*; Lucrezia Picini *implora eterna quiete*). Его захватываетъ мысль о смерти, онъ видитъ свою могилу на Лидо и желалъ бы, чтобы его тревожная жизнь закончилась такою же трогательно простою замогильною мольбою успокоенія на вѣки.

Во время вторичнаго пріѣзда въ Болонью, вмѣстѣ съ супругами Гвиччіоли, Байронъ рѣшился ускорить развязку. Когда, отозванный изъ города по дѣламъ, графъ согласился на поѣздку Терезы въ Венецію, ее сопровождалъ Байронъ; странствіе по Эвганейскимъ горамъ, посѣщеніе

---

<sup>1)</sup> Обычай, удержавшійся до сихъ поръ. Среди роскошныхъ галерей болонскаго *Campo Santo*, обратившихся чуть не въ залы скульптурнаго музея и пріютившихъ богатыхъ мертвецовъ, на открытыхъ пространствахъ, между архитектурными квадратами, видѣются сотни скромныхъ крестовъ и камней надъ бѣднымъ людомъ. И тутъ, какъ въ дни Байрона, читаешь: „Anna Felici Gianchi di Pesaro *pace implora*“ и т. д.

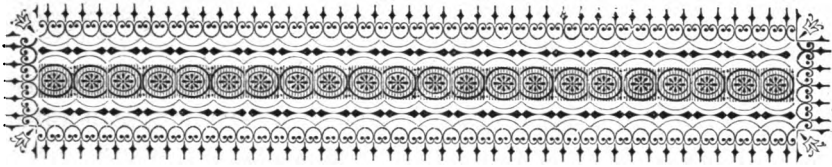
Арква съ могилой Петрарки, всѣ радости перваго путешествія ихъ вдвоемъ привели къ рѣшенію не разставаться и въ Венеціи. Вскорѣ доктора посовѣтовали молодой женщиной ради здоровья „пользоваться деревенскимъ воздухомъ“,—и она поселилась у Байрона въ La Mira. Но нѣскольکو времени спустя появился мужъ, сначала съ угрозами и требованіями, съ перехваченнымъ имъ письмомъ отца Терезы, какъ важною уликой, и насильно вернулъ жену въ Равенну. Отъ горя она такъ опасно занемогла тамъ, что не только отецъ, но и мужъ умоляли теперь Байрона пріѣхать и успокоить ее. Его права наконецъ, хотя и косвенно, признавались, разводъ и свобода становились возможными, жить вдали отъ Терезы было уже бесполезно, — и Байронъ выселился окончательно изъ Венеціи.

Со временемъ, оглядываясь на годы, проведенные въ ея стѣнахъ, онъ склоненъ былъ къ суровымъ приговорамъ; ему какъ будто казалось, что добромъ онъ не можетъ ихъ помянуть. Стороннему наблюдателю, и притомъ на историческомъ отдаленіи отъ той поры, виднѣе та масса „добра“, которая выдѣляется изъ непригляднаго подъ часъ хода жизни, полного ошибокъ, болѣзней воли, гнетущей тоски и опьяняющихъ наслажденій. Первое же стихотвореніе, написанное Байрономъ въ Равеннѣ подъ сильнымъ внушеніемъ Терезы, — „Пророчество Данта“, — показало всю мѣру поэтическаго и гражданственнаго роста, совершившагося за время его венеціанскаго плѣненія. Въ новый, послѣдній періодъ своей жизни онъ вступалъ и какъ авторъ „Донъ-Жуана“, и какъ политически созрѣвшій дѣятель, болѣе чѣмъ когда-либо чуткій къ нуждамъ страдающаго человечества, какъ „англійскій Мирабо“ (мѣткій эпитетъ, приложенный къ Байрону Лесли Стифеномъ въ его новѣйшемъ трудѣ <sup>1)</sup>). Страданія Венеціи были для него поучительнымъ образцомъ бѣдствій всей страны, которой отнынѣ онъ посвятилъ свои силы; въ концѣ мужественной „Оды къ Венеціи“, появившейся вмѣстѣ съ „Мазепой“, онъ, указывая на примѣръ павшаго великаго города, заявилъ, что „лучше не щадя лить свою кровь, чѣмъ дать ей вяло переливаться

<sup>1)</sup> Leslie Stephen. „The english utilitarians“. 1900, II, 365.

въ венахъ, что лучше быть съ погибающими спартанцами при Термопилахъ, чѣмъ гнить въ своемъ болотѣ“. Шелли былъ все-таки правъ, когда въ внезапномъ приливѣ лиризма—въ своихъ *Lines written among the Euganean hills*—вспомнивъ, чѣмъ были берега Скамандра для Гомера, Эвонъ для Шекспира, Воклюзъ для Петрарки, онъ воздалъ честь Венеціи за гостепріимство, оказанное его другу-изгнаннику, предчувствуя, что ея имя навсегда будетъ неразлучно съ тѣмъ „могучимъ духомъ, способнымъ прозрѣвать неземное“,—которому нѣкогда она дала у себя пріютъ...

---



## V.

„Въ ту пору разнеслась молва, что въ Пизу прибылъ человекъ необыкновенный, о которомъ люди пересуживали на тысячу ладовъ, противорѣча другъ другу и часто высказывая нелѣпости. Говорили, что онъ царственнаго происхожденія, несмѣтно богатъ, сангвиникъ, нрава необузданнаго, закаленъ въ физическомъ богатствѣ, что онъ—духъ зла, но умомъ превосходить всѣхъ, что, подобно Сатанѣ Іова, онъ блуждаетъ по міру, ища себѣ подѣ-стать богохульниковъ. То былъ Джорджъ Байронъ. Я захотѣлъ увидать его,—и мнѣ показалось, что передо мною ватиканскій Аполлонъ“.. Такъ вспоминалъ въ своихъ „Мемуарахъ“ о первой встрѣчѣ съ Байрономъ извѣстный впослѣдствіи, какъ горячій патріотъ и даровитый романистъ, Гверрацци <sup>1)</sup>, скоро перешедшій отъ увлеченія внѣшностью и талантомъ поэта къ преклоненію передъ искреннимъ другомъ несчастной Италіи. Тотъ же переходъ отъ фантастическихъ слуховъ, пугливыхъ представлений и смутныхъ догадокъ къ открытому сочувствію замѣтенъ, со времени переселенія Байрона изъ Венеціи въ центръ страны, у большинства выдававшихся тогда въ Италіи дѣятелей литературы и національной политики. Странствующій англійскій пѣръ, изумлявшій обывателей эксцентричностью образа жизни, поэтъ-романтикъ, чьи произведенія въ переводахъ начинали уже проникать въ итальянскую публику <sup>2)</sup>, волнуя страстностью тона и отвагой мысли, ста-

<sup>1)</sup> „Memorie di Francesco Domenico Guerrazzi“. Livorno, 1848.

<sup>2)</sup> Иногда ихъ перепечатывали и въ подлинникъ; въ 1816 году Байронъ увидалъ въ Венеціи превосходное изданіе „Шильонскаго узника“, напечатанное въ одной изъ венеціанскихъ типографій, а въ итальянскихъ газетахъ—переводъ статьи о немъ самомъ изъ „Jenaer Zeitung“.



новился *своимъ* человѣкомъ на чужой сторонѣ. Овладевъ языкомъ народа, старой и современной его словесностью, изучивъ исторію Италіи и понявъ нужды и запросы ея современности, онъ, видимо, рѣшился посвятить свои силы ея возрожденію, и все дальше и смѣлѣе шелъ по этому пути.

Одинъ за другимъ становились его приверженцами лучшие люди: изгнанникъ Фосколо, тосковавшій въ Лондонѣ по родинѣ, идеалистъ Джордани, страстный ревнитель отечественной культуры и тонкій критикъ, раньше другихъ оцѣнившій талантъ Леопарди, строгій мыслитель Джоберти, Никколини, эрудитъ-классикъ и въ то же время искренній другъ свободы Амброзоли и др. — и, съ другой стороны, предтечи „Молодой Италіи“, дѣятели тайныхъ обществъ, полные героизма и самоотверженія, люди того удивительнаго закала, который вскорѣ такъ ярко сказался въ Мадзини. Это былъ совершенно своеобразный итальянскій *байронизмъ*, съ политической, освободительной программой, — и у всѣхъ главныхъ его представителей мы встрѣчаемъ восторженные отзывы о Байронѣ. Гверрацци „многіе годы глядѣлъ на все очами любимаго поэта“, считалъ Байрона своимъ наставникомъ и первымъ изъ писателей, повторяя стихъ Данта о Виргиліѣ:

Tu se' lo mio maestro, e il mio autore...

и среди тревогъ 1848 года „хранилъ, какъ святыню, въ своей груди“ культъ Байрона. Амброзоли <sup>1)</sup> называлъ его однимъ изъ величайшихъ людей, которыхъ когда-либо видѣлъ свѣтъ; Джоберти <sup>2)</sup>, порицая лишь скептицизмъ поэта, признавалъ его величіе; Джузеппе Никколини, несмотря на стѣсненія со стороны австрійской цензуры, испытанныя его біографіей Байрона <sup>3)</sup>, указалъ съ сочувствіемъ, въ которомъ сбереглись слѣды юношескаго увлеченія, на карбонарство своего героя и залюбовался отвагой, съ которой онъ „беззавѣтно бросился въ водоворотъ, почувявъ въ немъ свою истинную стихію“. Байронъ сильно подѣйствовалъ своимъ примѣромъ на юнаго Мадзини; будущій творецъ (на ряду съ Гарибальди

<sup>1)</sup> Scritti inediti. Firenze, 1871, II, 366.

<sup>2)</sup> Introduzione allo studio della filosofia, I, 283—284.

<sup>3)</sup> Vita di Giorgio Lord Byron. Milano, 1835, II, 106—120.

и Кавуромъ) единой Италіи сохранилъ во всю свою тревоженную жизнь заговорщика и пропагандиста благоговѣніе къ Байрону, всего полнѣе выразившееся въ его оригинальной параллели „Байронъ и Гёте“ <sup>1)</sup>, — а въ числѣ немногихъ украшеній скромнаго жилья Мадзини въ Лугано, сохраняющагося до сихъ поръ въ прежнемъ убранствѣ, я нашелъ медальонъ Байрона.

Чуткіе къ искреннему сочувствію своему народу, люди эти не ошибались. Послѣ венеціанской поры, послужившей введеніемъ, прологомъ, и первой, кратковременной, но богатой поэтическими результатами, поѣздки въ среднюю Италію и Римъ, въ жизни и творествѣ Байрона настала, въ полномъ смыслѣ слова, *итальянскій* періодъ. Не впадая въ преувеличеніе, онъ могъ сказать въ одномъ изъ писемъ къ Мэррею, что лучше кого-либо изъ соотечественниковъ знаетъ Италію, ея прошлое и настоящее; на вызовъ подѣлиться съ читателями этими знаніями въ специальномъ трудѣ объ Италіи онъ, правда, отвѣчалъ отказомъ, — но избралъ другой путь. Ему казалось необходимымъ служить посредникомъ и истолкователемъ, и притомъ послѣдовательно, хронически. Его переводы и переложенія, описанія Италіи въ его журналѣ, самое основаніе этого журнала, предназначеннаго прежде всего заступиться за страдающую Италію, его трагедіи съ ихъ итальянскими сюжетами или же итальянскими образами, должны были скрѣплять связь между двумя національностями <sup>2)</sup>. Иной разъ его итальянофильское рвеніе могло бы произвести на недальновиднаго наблюдателя впечатлѣніе, какое вызываетъ, по мѣстной пословицѣ (о которой недавно напомнилъ одинъ американскій біографъ Байрона) <sup>3)</sup>, „un inglese italianato“, — порода, все чаще встрѣчае-

<sup>1)</sup> „Byron e Goethe“ появилась сначала по-французски, потомъ, въ 1848 г., въ Лугано, въ чьемъ-то итальянскомъ переводѣ. Въ 1901 г. впервые введена въ „Scritti scelti di Giuseppe Mazzini“ подъ ред. Jessie White Mario. Въ „Мірѣ Божьемъ“ 1896 г. былъ русскій переводъ этой статьи.

<sup>2)</sup> Сводъ разновременныхъ отзывовъ и сужденій Байрона объ Италіи и ея литературѣ, искусствѣ и т. д. сдѣланъ въ книгѣ Albrecht Lüder, „L. Byron's Urtheile über Italien und seine Bewohner, ihre Sprache, Litteratur u. Kunst“. Dresden, 1893.

<sup>3)</sup> Freder. Carpenter, вступленіе къ обстоятельно комментированному изданію „Selection from Byron“. New-York, 1900.

мая въ наше время среди культурныхъ классовъ Англіи и сживающаяся съ чужимъ красивымъ краемъ до охлаждения и равнодушія къ отечеству. Но, какъ бы тѣсны ни становились связи Байрона съ страной, которая, казалось, замѣняла ему отнынѣ родину, онъ и въ пылу политической борьбы за нее не забывалъ насущныхъ нуждъ *своего* народа, зорко слѣдилъ за успѣхами реакціи въ Англіи, за симптомами пробуждающагося общественнаго самосознанія,—внезапно слышался тогда грозный голосъ судьи-сатирика, беспощадная насмѣшка „Видѣнія Суда“ или „Бронзоваго Вѣка“; англійскія главы „Донъ-Жуана“ превращались въ отталкивающую картину общества съ его застоємъ, нетерпимостью и фарисействомъ, и всѣ сознавали снова, что неуспѣшно стоитъ на стражѣ справедливости и свободы изгнанникъ-обличитель. Выше Англіи и какихъ бы то ни было странъ раскидывалось передъ его умственнымъ взоромъ человѣчество съ его вѣчными задачами и запросами, и міровая сатира, положенная въ основу его величайшей поэмы, влекла мысль поэта къ себѣ. Но тутъ; передъ глазами, былъ подавленный, поработенный, когда-то великій народъ, и честь требовала не только вдохнуть въ него вѣру въ его силы и поднять его значеніе передъ свѣтомъ, но прежде всего помочь ему разбить свои оковы.

„Если человѣкъ не можетъ бороться за свободу своей родной страны, пусть добываетъ онъ вольность иному народу; пусть становится на защиту свободы, гдѣ только можетъ“:

When a man hath no freedom to fight for at home,  
Let him combat for that of his neighbours.

.....  
Then battle for freedom wherever you can!

Эти стихотворныя строки, неожиданно являющіяся въ одномъ изъ писемъ на родину <sup>1)</sup>, словно признаніе, вырвавшееся изъ сердца,—деви́зъ *политическаго* итальянофильства Байрона. Все, что послѣ великой французской революціи и освобожденія Америки стало традиціей свободолюбія, что побуждало Лафайетта и его друзей переплывать океанъ, нѣмцевъ и англичанъ—драться на парижскихъ баррикадахъ иноземныхъ волонтеровъ становится подъ знамена Косцюш-

<sup>1)</sup> Letters, V (1901), 111—12.

ки, ясно указывало Байрону единственный возможный для него образъ дѣйствій, — но вѣдь и лично у него выработалась *своя* традиція, съ первой же пѣсни „Гарольда“ опредѣлившаяся смѣло и ярко, и впослѣдствіи вызвавшая вдохновенныя строфы въ защиту свободы и справедливости. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ на дѣлѣ всю силу гнета, налегшаго на итальянскій народъ, благодаря соединеннымъ усиліямъ австрійцевъ, папскаго Рима и Бурбоновъ, и былъ посвященъ въ тайны революціонной пропаганды, — для него не было болѣе выбора.

Было бы преувеличеніемъ приписывать Терезѣ Гвиччіоли рѣшающее вліяніе на переворотъ, происшедшій въ Байронѣ, но то, что Італія была родиной любимой женщины, что именно тутъ бездомный и тоскующій скиталецъ нашелъ, наконецъ, привѣтъ, ласку, семью, домашній очагъ, что объ руку съ своей подругой онъ вступилъ и въ кругъ національной культуры, и въ тайники политической пропаганды, имѣло несомнѣнное значеніе. Тереза не могла и не сумѣла бы стать музой Байрона; его замыслы зарождались и развивались часто внѣ ея воли, даже вопреки ей; ея агитація противъ „Донъ-Жуана“, дошедшая до того, что послѣ пятой пѣсни она взяла слово съ Байрона прервать безнравственную и неприличную поэму, показываетъ ограниченность и недальновидность вкуса. Но итальянскую литературу она знала и горячо любила. Чуть не наизусть помнила она „Божественную Комедію“, и Байроновскій культъ Данта, его переводы, его „*Prophesy of Dante*“ въ значительной степени подержаны были ея возбужденіями. Въ выдающихся поэтахъ итальянскаго „Возрожденія“ она также понимала толкъ, — и довела Байрона даже до непомѣрнаго возвеличенія Тасса... Самый языкъ народа получилъ особую прелесть для Байрона, потому что это былъ гармоническій языкъ его Терезы, и ему уже казалось, что ни на одномъ нарѣчій міра нельзя выразить съ такой дивной музыкальностью и нѣжныхъ, и величавыхъ движеній души.

Но Тереза увлекала Байрона за собой не въ одно лишь литературное итальянофильство, но и въ боевую политику, въ міръ заговоровъ и тайныхъ обществъ. Въ хрупкой, жен-

ственной и необыкновенно еще юной свѣтской женщинѣ трудно было заподозрить революционерку,—но она была дочерью и сестрою заговорщиковъ.

Преданность національному дѣлу всецѣло перешла отъ стараго графа Гамбы къ юному, всего двадцатилѣтнему Пьетро; едва вернувшись изъ Рима, гдѣ прошли его школьные годы, онъ бросился, очертя голову, въ водоворотъ; чѣмъ опаснѣе становилось дѣйствовать, тѣмъ отчаяннѣе дѣлалась его отвага. Жить безъ борьбы и агитаціи онъ не могъ; когда пришлось убѣдиться въ безнадежности итальянской революціи, онъ понесся за Байрономъ въ Грецію, неліцемерно служилъ ей,—и былъ однимъ изъ свидѣтелей кончины поэта, которому преданъ былъ всею душой. У него не было тайнъ для Терезы, и какъ только освоился онъ съ Байрономъ и понялъ его, онъ поспѣшилъ, опираясь на вліяніе сестры, привлечь его на сторону своей партіи.

То были грозные нѣкогда, загадочные, вездѣсущіе и неодолимые *карбонары*, неаполитанская политическая секта, раскинувшаяся со временемъ по всей Италіи и солидарно работавшая всюду для сверженія деспотизма,—вѣтвь масонства, далеко отошедшая отъ его программы мирнаго нравственнаго совершенствованія и братолюбія, но, подобно масонамъ, соединявшая подъ скромнымъ именемъ *уолъщиковъ* (въ память того заработка, которымъ поддерживали себя укрывшіеся на время въ Абруццахъ первые зачинщики секты) демократическую смѣсь всякихъ сословій и состояній, которая плотно группировалась вокругъ „Главной Продажи“ (*maggior vendita*), какъ назывался на мнимо ремесленномъ языкѣ секты полномочный исполнительный комитетъ. Позднѣйшія событія и дѣятельность новыхъ партій, объединенныхъ, дисциплинированныхъ, съ тщательно выработаннымъ строемъ политическихъ и социальныхъ убѣжденій, давно отодвинули карбонаризмъ на дальній планъ, и уже мадзинистская „Юная Италія“ критически отнеслась къ нему. Но нельзя забыть необычайности его появленія въ сумеркахъ, передъ разсвѣтомъ, его роли предтечи и пророка.

Исторія карбонаризма еще не написана, хотя нѣтъ недостатка въ повѣствованіяхъ о томъ, съ чего началось

итальянское „risorgimento“ <sup>1)</sup>; по самой сущности тайной организаціи, храненіе матеріаловъ и переписки было неудобно, невозможно; многое всплываетъ теперь съ другой, враждебной карбонарамъ, стороны, и тайные архивы австрійской или папской политической полиціи, донесенія шпіоновъ и сыщиковъ, слѣдившихъ за главными вожаками (вскорѣ и за Байрономъ), умѣло разработанные и изученные <sup>2)</sup>, раскрываютъ важныя стороны движенія. Такова, напр., случайно открытая Триболати трехтомная рукопись одного австрійскаго шпіона, въ видѣ дневника съ 1819 по 1822 годъ, озаглавленная: „Arcana politicae anticarbonariae“, хранившаяся въ Пиэѣ почему-то при дѣлахъ городского управленія и чуть не проданная на вѣсь вмѣстѣ съ архивнымъ хламомъ...

Нѣтъ возможности точно опредѣлить и время вступленія Байрона въ ряды карбонаровъ, сопровождавшееся, вѣроятно, извѣстнымъ обрядомъ, принятіемъ присяги и т. д. (подобный обрядъ изложенъ въ рукописныхъ „Memorie di un cospiratore ravennate“ неизвѣстнаго автора). Разысканія на мѣстѣ не привели въ этомъ отношеніи ни къ какому результату, — и только возбужденный тонъ Байроновской переписки, которая сперва усиленно начинаетъ обсуждать вопросы о повсемѣстномъ рабствѣ итальянцевъ и необходимости освобожденія, потомъ учащаетъ намеки на что-то въ тайнѣ готовящееся и наконецъ уже прямо говорить о карбонарахъ, даетъ основаніе считать поворотной точкой апрѣль и май 1820 года въ Равеннѣ.

Въ сторонѣ отъ торныхъ путей и оживленныхъ центровъ современной итальянской жизни дремлетъ въ многовѣковомъ забытѣ нѣкогда богатая и сильная Равенна. Дремлютъ ея

---

<sup>1)</sup> Для русскаго читателя недавно дано въ этомъ отношеніи пособіе переводомъ „Исторіи объединенія Италіи“, Больтона Кинга. Москва, 1901.

<sup>2)</sup> Таковы, напр., „Misteri di polizia, storia italiana degli ultimi tempi, ricavata dalle carte d'un archivio di stato percuradi. Emilio del Cerro, Firenze, 1890, — и „Carte segrete e atti ufficiali della polizia austriaca in Italia dal 4 giugno 1814 al 22 marzo 1848“. Capolago, 1851—52; изданіе это предпринято было на иждивеніе послѣдняго венеціанскаго дожа, Дан. Манина. Проф. Алессандро Д'Анкона извлекъ также интересныя данныя изъ сохраняющихся въ государственномъ архивѣ въ Миланѣ „тайныхъ дѣлъ австрійской полиціи“ и сгруппировалъ ихъ въ статьяхъ „Spigolature nell'archivio della polizia austriaca in Milano“, Nuova Antologia, 1899, янв.—мартъ.

древніе, византійскіе храмы, дворцы ея прежнихъ вельможъ, пустынны ея улицы, длинныя аркады и узкія площади; величайшая ея святыня — могила Данта; выдающіяся красоты — золотистая мозаика строгихъ иконописныхъ ликовъ или суровая стройность первобытныхъ базиликъ. Два, три отголоска новыхъ временъ, — памятникъ Гарибальди, плита, сооруженная рядомъ съ Дантомъ въ память Мадзини, — не въ силахъ нарушить впечатлѣнія непробудной дремоты. Стѣны старомодныхъ и никому ненужныхъ укрѣплений съ башнями и воротами обвились вокругъ города, точно хоботъ сказочнаго дракона, обреченнаго заснуть на вѣки; даже море, когда-то подходившее къ этимъ стѣнамъ, и при Байронѣ еще близкое отъ нихъ, отхлынуло, скрылось вдаль, и нѣсколько жалкихъ барокъ тянутся къ нему изъ города по узкой ниткѣ канала. Старая, тысячелѣтная жизнь кончена, и если въ народныхъ, рабочихъ слояхъ Равенны какъ будто замѣтно теперь нѣкоторое оживленіе, — это начало *новой* жизни, которая рѣзко порветъ съ стариной. Но благодатный просторъ окружаетъ дѣдовское гнѣздо; воздухъ напитанъ дыханіемъ безграничныхъ полей, свѣжестью, несущеюся съ Адриатики, хвойнымъ ароматомъ обширнаго лѣса пиній, старославной *Pinet*ы, шелестомъ своихъ вѣтвей нѣкогда услаждавшей Данта во время его одинокихъ прогулокъ по морскому берегу, — великой любимицы Байрона, сильно порѣдѣвшей отъ времени, но все еще граничащей съ моремъ. Романтическая прелесть прошлаго, затишье красивыхъ развалинъ соединяются съ мягкими впечатлѣніями природы. Подъ меланхолическій звонъ равеннскихъ колоколовъ можно замереть, — но для натуры съ большими задатками энергіи именно здѣсь, среди тишины, можно собраться съ силами, можно организовать дѣятельность, схоронить концы, выполнить невидимую сложную, тайную работу.

Таковъ былъ тотъ городъ, съ котораго, послѣ болонскаго пролога, начался активный итальянскій періодъ въ жизни Байрона, та Равенна, которая, быть можетъ, изъ всѣхъ городовъ Италіи была для него особенно дорога, — до того, что онъ не сразу могъ съ нею разстаться даже послѣ вынужденнаго выѣзда Терезы и настояній Шелли поселиться возлѣ

него. Равенна была свидѣтельницей его личнаго счастья, его оживленной поэтической дѣятельности, разгара его карбонарства. Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ Дантовой гробницы, въ скромной локандѣ, уцѣлѣвшей до сихъ поръ <sup>1)</sup>, съ очень неприхотливымъ „Café Byron“ въ партеррѣ, провелъ онъ первые восемь мѣсяцевъ своего равеннскаго житія, невдалекѣ отъ массивнаго и мрачнаго палаццо графовъ Гвиччіоли (на нынѣшней Via Savour). Разсчитывать на полную уступчивость мужа Терезы еще нельзя было; тягостная семейная распря, восходившая до папскаго разбирательства (Равенна принадлежала къ Церковной Области), своими тревоженіями, двуличной ролью графа, толками и сплетнями общества, мучила и раздражала <sup>2)</sup>; изъ своего одинокаго убѣжища Байронъ появлялся на свиданіе, точно похититель супружескаго счастья, хотя разрывъ постылаго брака не былъ ни для кого тайной. Наконецъ мужъ уступилъ, оставилъ Равенну и не мѣшалъ болѣе,—Байронъ покинулъ бѣдный пріютъ, гдѣ онъ мечталъ, восторгался и унывалъ, уходя иногда думать и грустить цѣлыми часами у Дантовой гробницы, и переселился, освѣженный счастьемъ и успѣхомъ, въ палаццо къ Терезѣ. Жизнь пошла инымъ ходомъ, полнѣе, сложнѣе прежняго, и въ ней обозначилось нѣсколько теченій. Завязаны были отношенія съ свѣтскимъ обществомъ Равенны, съ лицами правящими, напр. съ папскимъ легатомъ, особой важною въ городѣ; оживилась литературная работа, переводы изъ „Ада“ (эпизодъ о Франческѣ да-Римини), написано „Пророчество Данта“, окончена первая трагедія на

---

<sup>1)</sup> На ней красуется мраморная доска, воздвигнутая какимъ-то Джузеппе Дзирардини изъ Парижа (?) въ шестидесятыхъ годахъ, съ витіевой надписью, которая по неумѣлости напоминаетъ стихи въ Лермонтовскомъ гротѣ въ Пятигорскѣ, сочиненные невѣдомымъ фанатикомъ поэта, черноземнымъ помѣщикомъ.

<sup>2)</sup> Порою у Байрона вырывались въ перепискѣ рѣзкія выраженія, изъ которыхъ можно бы вычитать недовольство собою, досаду на то, что дѣло такъ далеко зашло, ироническое отношеніе къ своей роли въ домѣ графа, даже ропотъ на Терезу, которую онъ вдругъ начинаетъ обозначать „своей Дамой“ или „графиней Гвиччіоли, урожденной Гамба“. Разумѣется, это были только временныя первныя вспышки, вызванныя дѣйствительно тягостнымъ положеніемъ дѣлъ.



итальянскій сюжетъ,—„Марино Фальеро“,—а совсѣмъ подъ спудомъ началась страстная агитація конспиратора <sup>1)</sup>

И теперь еще стоятъ крѣпкія и уродливыя ворота Porta San Mamante, въ которыя, по преданію, записанному у одного изъ равеннскихъ старожиловъ <sup>2)</sup>, Байронъ выѣзжалъ по ночамъ на совѣщанія съ главами карбонаровъ; но уже снесена старинная Osteria Boracina, гдѣ происходили эти свиданія. Со временемъ, какъ видно и изъ Байроновской переписки, стали мѣнять мѣста и сѣзжаться, напр., подъ деревьями Пинеты, придавая переговорамъ характеръ случайной встрѣчи двухъ кавалькадъ, что было легко сдѣлать вслѣдствіе замѣченной всѣми привычки Байрона скакать верхомъ (какъ бывало въ Венеціи на Лидо) цѣлыми часами по лѣсу и вдоль моря. Вскорѣ Байронъ не только былъ посвященъ во всѣ тайны начавшагося движенія, но даже избранъ главой одной изъ самыхъ дѣятельныхъ секцій карбонарства, принявшей довольно фантастическое прозвище „Американцевъ“ (Americani) или „Американскихъ стрѣлковъ“ (Cacciatori americani), хотя въ числѣ вступившихъ въ нее иностранцевъ не было, кажется, вовсе выходцевъ изъ Америки <sup>3)</sup>. Папскимъ согладатаямъ удалось узнать, что онъ велъ обширную шифрованную переписку по дѣламъ движенія и на-

---

<sup>1)</sup> Нѣкоторые изъ слѣдившихъ за Байрономъ тайныхъ агентовъ высказывали предположеніе, что романическія отношенія его къ Терезѣ были только благовиднымъ объясненіемъ его пребыванія въ Болоньѣ и Равеннѣ, необходимаго для политической агитаціи. *Misteri di polizia*, 138.

<sup>2)</sup> Разсказъ каноника Антоніо Тарлацци м-ру Ричарду Эдгембу. Даже въ перепискѣ (V, 194) Байронъ осторожно сообщаетъ, что *встрѣтилъ* въ лѣсу карбонаровъ, которые были вооружены, пѣли революціонныя пѣсни и приѣхтствовали его громкими криками.

<sup>3)</sup> Не менѣе оригинально прилагавшееся къ нимъ названіе „романтиковъ“ (romantici), произведенное не отъ романтизма, а отъ Roma antica—древній Римъ. Въ тайно-полицейскомъ мемуарѣ, составленномъ для папскаго государственнаго секретаря, кардинала Консальви, цѣлью „Societa romantica“ выставляется „внушеніе ея членамъ основнаго правила не подчиняться ученіямъ религіи и нравственности и слѣдовать только влеченіямъ своей природы“. Центръ общества—въ Миланѣ. Вѣтъ его основалъ въ Болоньѣ лордъ Байронъ. Для „романтиковъ“ онъ будто бы написалъ уставъ, озаглавивъ его „Statuti della gioiosa truppa“, „уставъ веселой братіи“. *Misteri di Polizia*, 1890, стр. 135—6.—Любопытно видѣть, какъ австрійскій шпионъ разъяснялъ начальству различіе романтизма литературнаго и политическаго.

мѣтитъ во всѣхъ главныхъ городахъ средней Италіи его агентовъ, съ которыми передъ глазами свѣта онъ имѣлъ будто бы лишь литературныя сношенія. Австрійскіе же шпіоны раздобыли потомъ разные ключи къ шифрованному письму и катехизисы различныхъ сектъ, сходныхъ съ „Американцами“<sup>1)</sup>).

Вѣсти о революціонномъ движеніи въ Испаніи и вызвавшіе еще большій энтузіазмъ слухи о первыхъ успѣшныхъ попыткахъ возстанія въ Неаполитанскомъ королевствѣ, казалось, требовали немедленнаго приступа къ дѣлу и въ Романѣ. Байрону приходилось, повидимому, сдерживать нетерпѣніе товарищей, рвавшихся въ борьбу раньше времени и не подготовивъ всего необходимаго,—но зато несомнѣнно, что онъ дѣятельно помогалъ приготовленіямъ, что въ его палаццо былъ тайный складъ оружія и военныхъ запасовъ, что неприкосновенностью жилища пѣра Англіи онъ покрывалъ пріютъ и убѣжище для гонимыхъ и заподозрѣнныхъ. Лиризмъ политическаго воодушевленія<sup>2)</sup> и вѣра въ конечный успѣхъ наполняютъ всѣ его письма изъ той поры. То сообщаетъ онъ съ живымъ сочувствіемъ, что вся почва вокругъ него взрыта, какъ въ Германіи, тайными обществами; то говоритъ о безчисленныхъ революціонныхъ надписяхъ, которыя за ночь появляются всюду въ Равеннѣ: „да здравствуетъ республика!“—„долой папу!“; то перечисляетъ рядъ политическихъ убійствъ въ городѣ и окрестностяхъ; то ставитъ начало всеобщаго возмущенія въ связь съ предстоявшимъ появленіемъ въ средней Италіи австрійскаго отряда, который предназначенъ былъ выручить неаполитанскаго короля, принужденнаго уступить народной волѣ,—и со дня на день ждетъ великой минуты. Взрывъ неизбеженъ, на его взглядъ: „слишкомъ долго попирали итальянцевъ!“ И мнимый скептикъ,

---

<sup>1)</sup> Этими документами особенно богатъ сборникъ „*Carte segrete della polizia austriaca*“, I, 89—116.

<sup>2)</sup> Свойственное тогда всему, что было свѣжо и чутко, воодушевленіе это захватило даже грустнаго, больнаго и задумчиваго юношу Леопарди. Въ числѣ новыхъ фактовъ, добытыхъ въ самое послѣднее время его біографами и комментаторами, въ особенности Giovanni Mestica, „*Studi leopardiani*“, 1901, одинъ изъ наиболѣе цѣнныхъ—искреннія симпатіи поэта движенію, въ которомъ участвовалъ и Байронъ.

или безучастный свидѣтель человѣческой трагикомедіи восклицаетъ съ горячностью истиннаго идеалиста: „подумайте только,—*Италія будетъ свободна*“!

Мѣстное правительство и тѣсно сплотившіяся для солидарной работы лучшія силы тайной полиціи папской, австрійской и тосканской, хорошо знали, какое важное значеніе имѣло для революціи содѣйствіе Байрона. „Они думали, да и продолжаютъ думать, что весь планъ и детали возстанія выработаны мною, что я же далъ средства и т. д.“, писалъ Байронъ въ маѣ 1821 г.; „три мѣсяца тому назадъ выпустили листокъ, въ которомъ меня называютъ Главой Либераловъ (The Chief of the Liberals), и въ то же время подсылали людей, чтобъ убить меня“ (Letters V, 297). Последнее не было преувеличеніемъ: преданные Байрону люди дали ему знать, чтобъ онъ пересталъ ѣздить въ Пинету, потому что тамъ готовится нападеніе на него. Предостереженіе, конечно, не подѣйствовало. Онъ тутъ-то и участилъ свои поѣздки (запасшись только стилетомъ и парой пистолетовъ) по лѣсу и на морской берегъ въ дождь, и въ туманъ, и въ лунныя ночи. Бывало, какъ говорилъ онъ потомъ Роджерсу <sup>1)</sup>, воображеніе рисовало ему въ полумракѣ лѣса фантастическія картины, внушенныя былою поэзіею, появленіе рыцаря-призрака, адской охоты, отголоски Боккаччо, Драйдена; теперь передъ нимъ изъ чащи могли появиться не грозныя тѣни, а вооруженные сбирь... Еще небезопаснѣе стало его положеніе послѣ того, какъ политическое убійство совершено было въ нѣсколькихъ шагахъ отъ его жилища. На поворотѣ отъ нынѣшней Via Savona, гдѣ жили Гвиччіоли, въ узкій и короткій переулокъ, который замыкается великою археологическою драгоценностью, византійской базиликой San Vitale, темнымъ вечеромъ былъ убитъ начальникъ отряда карабинеровъ; пять мѣтко направленныхъ ранъ (одна—въ сердце) положили его на мѣстѣ; звукъ выстрѣловъ всполошилъ окрестное населеніе, разбѣжавшееся въ ужасѣ,—одинъ только Байронъ, вмѣстѣ съ преданнымъ ему венеціан-

---

<sup>1)</sup> См. прекрасныя строфы, посвященныя воспоминанію о Байронѣ въ его стихотворномъ описаніи Италіи („Italy“, by Samuel Rogers, перепеч. London, 1890), къ которымъ мы еще вернемся.

цемъ Тита (прежнимъ его гондольеромъ) поспѣшилъ на мѣсто убійства; умирающаго принесли въ домъ къ Байрону, который окружилъ его заботой, оповѣстилъ властей и т. д., и впослѣдствіи ссыался на эту заботливость, какъ на доказательство безпристрастія <sup>1)</sup>),—но никогда не могъ опровергнуть подозрѣнія въ томъ, что убитый, одинъ изъ ненавистныхъ народу полицейскихъ клеветовъ, былъ застрѣленъ по приказанію поэта-демагога.

Наблюденіе и выслѣживаніе устроено было въ широкихъ размѣрахъ. Слѣдили и за тѣмъ, что выходило изъ-подъ пера Байрона, если только его стихи имѣли какое-либо отношеніе къ Италіи. Уже четвертая пѣснь „Гарольда“ съ ея вызовомъ къ возрожденію былой независимости выставилась въ донесеніяхъ агентовъ, какъ доказательство явной неблагонадежности автора, присутствіе котораго въ странѣ во время броженія не можетъ быть терпимо. Но въ Равеннѣ тотъ же поэтъ, вдохновленный постоянною близостью къ гробницѣ Данта, осмѣлился написать еще болѣе возмутительное и политически опасное произведеніе — „Пророчество Данта“, и когда въ мнимо-парижскомъ, въ сущности итальянскомъ изданіи перевода ея, вскорѣ послѣдовавшаго за лондонскимъ изданіемъ, эта поэма проникла въ Италію, ярости охранителей не было предѣловъ. Авторъ уже упомянутаго выше тайно-полицейскаго дневника, находившій, что „если бы не было дознано всѣми *безуміе* Байрона (*se non fosse stato riputato pazzo*), онъ заслуживалъ бы соединеннаго надзора всѣхъ полицій Европы“ <sup>2)</sup>), обращался къ австрійскимъ блюстителямъ народнаго спокойствія, ожидая вмѣшательства, которое прекратило бы распространеніе „Пророчества Данта“, написаннаго противъ всѣхъ итальянскихъ правительствъ и назначеннаго увеличить волненіе въ массѣ, безъ того уже достаточно возбужденной. Кажется, готовы были въ своей ненависти и боязни „выстрѣлить по первому стиху“ Байрона, если бы только можно было наложить руку и на мі-

<sup>1)</sup> Нѣсколько строфъ въ пятой пѣснѣ *Д.-Жуача* (31—38) остались живымъ отраженіемъ всей сцены внезапнаго убійства и гамлетовскихъ размышленій Байрона на тему о жизни и смерти надъ недвижимымъ трупомъ энергическаго и грознаго человѣка.

<sup>2)</sup> Tribolati, Saggi critici, 157—158.

ровую его репутацію, и на твердую охрану его личности англійскимъ закономъ.

„Prophesy of Dante“—и теперь одинъ изъ лучшихъ показателей политическаго воодушевленія Байрона въ первое время его карбонарства. Къ нему и подходитъ нужно съ этимъ ~~мѣриломъ~~. Цѣль созданія этого своеобразнаго стихотворнаго памфлета говорить сама за себя. Не одинъ только культъ Данта опредѣлили ее. Когда Байронъ торопилъ Мэррея изданіемъ своего новаго произведенія и объяснялъ ему, что именно въ данный моментъ, переживаемый Италіею, поэма эта необходима, онъ указывалъ на прикладное назначеніе ея. Далекая старина должна была влить свой ~~духъ~~ въ уснпленный неволей народъ; великій поэтъ средневѣковья долженъ былъ явиться руководителемъ новыхъ поколѣній, ~~чуть~~ не пророкомъ карбонаризма, какъ отплаты за все содѣянное зло, какъ почина всеобщаго возрожденія. Автору полюблилась мысль открыть передъ вѣщимъ взоромъ творца *Божественной Комедіи*, разсѣвающимъ непроглядную даль вѣковъ, всю послѣдующую исторію его страны и надѣлать его предвѣдніемъ, предсказаніемъ всѣхъ ея несчастій. Мильтоновскій приемъ этотъ вполне пригоденъ былъ бы для сильной, сжатой и выразительной лирической импровизаціи, и со стороны Байрона было, конечно, ошибкой распространить свой сюжетъ на *четыре* пѣсни, раздробляя по этимъ перегородкамъ многовѣковую обличительную картину, которая отъ приостановокъ и паузъ только можетъ утратить мощь впечатлѣнія. Сатирическіе удары, точно такъ же, какъ слишкомъ подробно разработанныя видѣнія будущей славы Италіи (передъ Дантомъ проходятъ образы Колумба, Петрарки, Тасса, Микель Анджеоло) придаютъ монологу поэта мѣстами характеръ стихотворнаго обзора итальянской исторіи,—но искренности и силы чувства нужно искать не въ этихъ стихахъ, а тамъ, гдѣ устами великаго флорентинца говоритъ его потомкамъ самъ Байронъ, укоряя ихъ за разрозненность, проповѣдуя единство, показывая, до какого униженія, граничащаго съ полнымъ мракомъ и летаргіею, дошли они (поразительнѣе всего грозное заявленіе: „сами стихи ждуть теперь лишь единого велѣнія—*да будетъ Тьма!*—и Италія станетъ могилой“...), и бичуя многочислен-

ныхъ тирановъ, поработившихъ страну. Предисловіе автора скромно называетъ поэму „метрическимъ экспериментомъ“, такъ какъ она если не впервые (какъ полагалъ Байронъ), то удачнѣе чьихъ бы то ни было **прежнихъ попытокъ** привила къ англійской **поэзіи** Дантовскую терцину,—но въ этихъ двухъ, трехъ сотняхъ сжатыхъ, суровыхъ и архаическихъ куплетовъ скрывалась живительная сила. Не даромъ же съ такой ненавистью отзывались о нихъ враги народного дѣла.

Трудно объяснить, почему издатель не исполнилъ желанія поэта и запоздалъ съ печатаніемъ „Пророчества Данта“,—когда же выпустилъ его въ свѣтъ, то приложилъ къ нему историческую трагедію Байрона: „Марино Фальеро“. На первый взглядъ кажется страннымъ, что трагедія эта была также поэтическимъ результатомъ равеннского житія, современницей политическихъ бурь и волненій,—тогда какъ вмѣсто революціоннаго лиризма въ основѣ ея лежалъ протестъ противъ искаженія республиканской свободы. Между тѣмъ въ сюжетѣ, намѣченномъ Байрономъ, какъ мы знаемъ, послѣ перваго же посѣщенія дворца дожей и съ тѣхъ поръ не выходившемъ у него изъ памяти, при всей необычности завязки,—глава государства составляетъ заговоръ противъ освященнаго вѣками его строя и гибнетъ на плахѣ, какъ бунтовщикъ,—были черты, выдвинуты которыя было вполне уместно въ данное время, когда всѣ лучшія силы направлялись къ добыванію свободы. Безнаказанное и зловѣщее самоуправство венеціанскихъ олигарховъ, захватъ вѣковыхъ вольностей аристократіею и безправное положеніе народной массы, представляя бытовой фонъ трагедіи, выставлены были Байрономъ съ рѣзкостью и силой, которой не ожидали встрѣтить у него тѣ, кто привыкъ считать его сторонникомъ аристократизма, вліятельной роли избранниковъ, лучшихъ людей. Мрачное сказаніе старыхъ временъ, поразившее его раньше его политическаго возбужденія, могло пригодиться и для новой цѣли, служа урокомъ, предостереженіемъ. Покрытый военной и государственной славой, старецъ Фальеро встаетъ не только на защиту своей семейной чести отъ какого-то ничтожнаго обидчика, но и на оборону истинной республики отъ узурпа-

торовъ. И въ промежутокъ между тайными совѣщаніями и сѣздами, на которыхъ самъ Байронъ игралъ роль заговорщика, онъ набрасывалъ, сцену за сценой, драматическую фабулу заговора, имѣвшаго мѣста въ 1355 году, усиленно вчитывался въ старыя хроники, особенно въ разсказъ Марина Санудо <sup>1)</sup>, перенесся мыслью въ венеціанскую среду, которую такъ недавно покинулъ, и придалъ своей пьесѣ тотъ яркій національный и мѣстный колоритъ, который приводилъ потомъ въ истинное изумленіе Гёте.

Новѣйшія изслѣдованія <sup>2)</sup> показали недочеты въ исторической вѣрности характера героя и хода событій, имъ вызванныхъ,—недочеты вполне естественные, такъ какъ Байрону были недоступны открытые лишь впоследствии документы. Съ другой стороны, неудача трагедіи на сценѣ <sup>3)</sup> указала на *театральные* недостатки ея,—хотя Байронъ съ величайшимъ негодованіемъ встрѣтилъ извѣстія о самовольной постановкѣ ея въ Лондонѣ какимъ-то спекуляторомъ-антрепренеромъ, въ нѣсколько пріемовъ, въ письмахъ, даже въ газетныхъ заявленіяхъ протестовалъ, утверждая, что писалъ лишь для чтенія, не примѣняясь къ сценическимъ требованіямъ. Но ни историческія неточности, ни несогласія съ театральной рутиной не въ силахъ умалить достоинства трагедіи,—и въ новѣйшей агитаціи въ пользу Байрона, какъ драматурга, замѣтной среди англійскихъ и нѣмецкихъ байронистовъ (Gerrard, Westenholz, Krause), безпристрастный разборъ „Марино Фальеро“—одинъ изъ самыхъ надежныхъ аргументовъ.

Принявъ совѣтъ Monk Lewis'a, предостерегавшаго его отъ разработки мотива ревности, которымъ достаточно уже злоупотребляли, Байронъ выдвинулъ въ своемъ героѣ сложный рядъ двигательныхъ причинъ, побуждающихъ его къ перевороту, причинъ личныхъ и общихъ, семейныхъ и государственныхъ; оскорбленный супругъ, безправный правитель,

---

<sup>1)</sup> Въ его „Vitae Ducum Venetorum“, которыя онъ нашелъ въ коллекціи „Итальянскихъ историковъ“ Муратори.

<sup>2)</sup> Труды Vittorio Lazzarino въ „Nuovo Archivio Veneto“.

<sup>3)</sup> Ее не спасло впоследствии и исполненіе знаменитою мейнингенской труппой. Сюжетъ Байроновскаго „Фальеро“ обработанъ былъ Доницетти и для оперной сцены въ пьесѣ того же имени.

уязвленный въ своемъ достоинствѣ и гордости носитель великаго имени идетъ навстрѣчу народному недовольству, принужденъ брататься съ нимъ, и въ то же время невольно чувствуетъ брезгливость отъ соприкосновенія съ плебеями; роковое рѣшеніе стѣбитъ ему тяжелой борьбы съ собой, разрыва съ прошлымъ; всѣ старческія силы напряжены къ той желанной и страшной минутѣ, когда съ высоты Самраніле раздастся неурочный звонъ, знакъ къ возстанію. Внезапный разгромъ заговора глубоко потрясаетъ его зачинщика, на краю могилы подпавшаго неукротимому честолюбію, но съ достоинствомъ и силой воли онъ взглянетъ въ лицо смерти. По мѣткому замѣчанію Вестенгольца, чѣмъ дальше отходитъ Байроновскій дождь отъ *исторіи*, тѣмъ *трагичнѣе* становится его образъ,—одинъ изъ наиболѣе правдивыхъ, реальныхъ характеровъ, которые когда-либо создавалъ Байронъ. Рядомъ съ нимъ стоитъ его жена, догаресса Анджьолина, лицо совсѣмъ не историческое, всецѣло принадлежащее фантазіи поэта, очерченное немногими, но мѣткими штрихами, безъ приторной идеализаціи самоотверженія и преданности, но проникнутая уваженіемъ къ супругу-старцу, глубокимъ, но немногословнымъ горемъ при видѣ его позора и гибели, строгой выдержкой воли, изумляющей самихъ судей. А дальше стоятъ народные типы, выхваченные изъ венеціанской вольницы, горячіе, страстные, шумливые, задорные, завистливые, измѣнчивые, богатый бытовой фонтъ, набросанный рукой мастера. Когда онъ самъ говоритъ намъ, что ставилъ себѣ образцомъ Альфіери, что хотѣлъ воскресить слишкомъ несправедливо забытыя „драматическія единства“ и т. д., эти теоретическія разсужденія и намѣренія напоминаютъ иногда неудачные эстетическіе капризы Пушкина,—но и тѣ, и другіе, къ счастью, разбивались на дѣлѣ творческимъ порывомъ, который заставлялъ, напр., Байрона нарушить на первыхъ же порахъ важнѣйшую изъ „unités“, единство мѣста, или далеко выходить въ горячности своей драматической психологіи за твердые предѣлы, указанные правилами классической трагедіи.

Такъ сплетались у него съ тревогами политики писательскіе замыслы; такъ вождь карбонарской секты превращался въ истолкователя Данта, въ лѣтописца старой Венеціи,—или



подвигалъ впередъ своего „Донъ-Жуана“, въ которомъ, правда, померкли нѣжныя краски идилліи героя съ Гайдэ, но для того, чтобъ дать мѣсто выпуклымъ, бойкимъ, безцеремонно реальнымъ сценамъ на невольничьемъ кораблѣ, въ султанскомъ гаремѣ, съ неподражаемымъ юморомъ и Боккаччѣвской непринужденностью описаннымъ похождениямъ Жуана въ женскомъ платьѣ и его подневольной интригѣ съ султанской фавориткой... На разстояніи нѣсколькихъ строфъ тутъ сходятся удивительныя крайности: благоговѣйное описаніе гробницы Данта, окруженной народнымъ уваженіемъ; въ контрастъ къ ней поучительная картина обросшей сорными травами, всѣми забытой колонны, воздвигнутой когда-то въ память необузданнаго истребителя людей <sup>1)</sup>,—и гаремная вариация на тему о женѣ Пентеффія. Капризы фантазіи и своеправность мысли писателя гениальнаго!

Но тревожная злоба дня оставляла мало досуговъ для творчества; агитация въ Романѣ, сношенія съ неаполитанскими инсургентами, заготовка оружія, собранія военнаго совѣта, внезапныя вѣсти о томъ, что въ такой-то день и часъ предположены повальные обыски и аресты, таинственные исчезновенія и возвращенія людей компрометированныхъ, и въ особенности трепетъ ожиданія рѣшающей минуты, которую призывали всѣми силами, прислушиваясь къ дальнему звону оружія такъ же страстно, какъ Марино Фальеро къ набату съ Санъ-Марко, придавали жизни нервную возбужденность. Зато стоило жить *такою* жизнью!

Очнуться послѣ столькихъ грезъ и надеждъ, увидеть, что все разбито и разсѣяно, разочароваться въ людяхъ, чуть не въ самой идеѣ, изъ-за которой боролся,—мучительно. Но такое пробужденіе, такое жестокое разочарованіе и случилось... Часто вспоминалось потомъ, и съ великой грустью, основан-

---

<sup>1)</sup> Въ четырехъ километрахъ отъ Равенны по дорогѣ въ Форли стоитъ одиноко столбъ, воздвигнутый въ память полководца французскаго короля Людовика XII, Гастона De Foix; его соорудили на полѣ кроваваго сраженія 1512 г., въ концѣ котораго, при яростномъ преслѣдованіи бѣжавшихъ противниковъ онъ былъ убитъ. Странное впечатлѣніе производитъ среди равнины, заросшей виноградниками, этотъ никому ненужный *monumento del francese*, какъ зовутъ его въ своемъ невѣдѣніи крестьяне.

ное на опытѣ изреченіе Сильвіо Пеллико: „для того, чтобъ возстановить Италію, нужно разрушить секты“ (a rifare l'Italia bisogna disfare le sette). Неудача движенія 1820—21 гг. — одинъ изъ убѣдительныхъ аргументовъ въ пользу этого мнѣнія. Несмотря на видимую общность цѣли, не было полной солидарности между отдѣльными тайными союзами и конспираціонными группами. Территоріальныя и государственныя различія, несходство въ темпераментѣ, слѣды застарѣлыхъ историческихъ пристрастій, грезы о величіи и первенствующей роли того или другого города или области въ будущей Италіи, связи однихъ съ радикальными ученіями современности, другихъ съ католицизмомъ, — все способно было отдалить другъ отъ друга людей, которые, казалось, согласились выступить подъ *однимъ* знаменемъ, и не карбонарства только, а итальянскаго единства. Но какъ среди масоновъ, рядомъ съ выдающимися, самоотверженными дѣятелями гуманности и братолюбія встрѣчались упорно ограниченные фанатики, вѣрные девизу: „масонство для масонства“, такъ въ пестрой смѣси мелкихъ тайныхъ приходовъ, „Адельфовъ“, „Гвельфовъ“, „Защитниковъ отчизны“, „Рѣшившихся“ (Decisi), „Дельфійскаго Общества“, — и т. д., скрывавшейся подъ общимъ именемъ карбонарства<sup>1)</sup>, было много людей, неспособныхъ даже заглянуть дальше предѣловъ ближайшей къ нимъ организаціи, одержимыхъ кружковою узкостью, кружковыми и партійными самолюбіями. *Общаго плана не было*, — и въ перепискѣ Байрона начинаютъ вырыватья недовольные или печальные возгласы, указывающіе на это. Желанный призывъ все запаздывалъ, — и такъ и не раздался никогда. Въ разладѣ и промедленіяхъ ушло время въ Неаполѣ; вызванныя у короля уступки удержались лишь

---

<sup>1)</sup> Въ необычайномъ размноженіи политическихъ сектъ въ Италіи того времени соединенная тайная полиція часто видѣла слѣды вѣстныхъ интригъ. Такъ заподозрѣвали Англію, которая будто бы, пользуясь близостью Ионическихъ Острововъ, находившихся подъ ея протекторатомъ, мстила оттуда умы въ „республиканскомъ“ духѣ. Съ другой стороны въ I томѣ „Carte secrete“ находимъ любопытную возню венеціанскихъ шпіоновъ изъ-за русскихъ интригъ. Слѣдили за либеральнымъ русскимъ консуломъ Naganzi (въ свое время знакомцемъ Байрона), за пріѣздомъ въ Венецію Капо Д'Истрии и т. д.

нѣсколько мѣсяцевъ; австрійцы быстрыми переходами очутились на югѣ, и по пути ихъ не остановили ни народное возмущеніе, ни сколько-нибудь организованные отряды. Неаполитанскій корпусъ, попытавшійся встрѣтить ихъ и отбросить, былъ одушевленъ лучшими патріотическими чувствами, и во главѣ его былъ искренній, вскорѣ даже легендарный боецъ за свободу, генералъ Пепе; но онъ не устоялъ передъ натискомъ регулярной арміи, сраженіе при Ріэти было потеряно,—и началась жестокая расправа.

Байронъ, стоя выше мелкихъ партійныхъ, кружковыхъ и сектантскихъ счетовъ, былъ до-нельзя возмущенъ ихъ губительнымъ вліяніемъ на дѣло. Когда же изъ Неаполя пришли вѣсти о томъ, что все кончено, сдавлено и погублено, онъ съ негодованіемъ заклеилъ неаполитанцевъ страшнымъ приговоромъ. „Они кричали:—жить свободными или умереть!—и эхо горъ отвѣчало имъ: умереть! Напрасные восторги, минутный, легкомысленный энтузіазмъ! Какая кровавая насмѣшка обрушилась теперь на ихъ головы! Несчастные!.. Они отнынѣ навсегда осуждены испытывать всю горечь осмѣянія и позора. Умереть? Нѣтъ, вы не умрете; суровая и грозная свобода, чье святое дѣло вы погубили, измѣна народу, чье сочувствіе вы обманули, чьи надежды вы разбили, не дадутъ вамъ ни покоя могилы, ни забвенія“... „Жестокія и не вполне справедливыя слова“,—воскликаетъ по поводу этого приговора одинъ изъ современныхъ намъ изслѣдователей раннихъ революціонныхъ движеній въ Италіи <sup>1)</sup>:—„они могутъ найти оправданіе лишь въ томъ, что вырвались изъ души, жаждавшей свободы и не умѣвшей прощать никому нанесеннаго ей вреда“.

Оставалась надежда на помощь съ сѣвера, на революцію въ Пьемонтѣ; но первыя же ея удачи и провозглашеніе конституціи по испанскому образцу скоро смѣнились отместкой оправившагося правительства и появленіемъ австрійцевъ, которые и здѣсь безпощадно выполнили свою роль блюсти-

---

<sup>1)</sup> Francesco Nitti, „Sui moti di Napoli del 1820“, въ сборникѣ „La vita italiana nel risorgimento“. 1898, II, 167.—Не всѣ дѣйствительно заслуживали осужденія. Вожди, Морелли и Сальвати, мужественно взошли на эшафотъ; были также люди, взводившіе на себя вину, чтобъ избавить отъ гоненія настоящихъ виновныхъ.

телей стараго порядка или, вѣрнѣе, палачей. Все крушилось; просвѣта не откуда было ждать, по крайней мѣрѣ въ близкомъ будущемъ. То, что внесло въ жизнь Байрона свѣтъ и воодушевленіе, то, ради чего онъ не жалѣлъ никакихъ жертвъ <sup>1)</sup>, было подавлено, уничтожено. Въ первые дни у него являлась мысль все бросить, и — *возвратиться въ Англію*, чтобы возобновить дѣятельность на родинѣ. Но онъ не отрекся отъ итальянскаго народа, не покинулъ его, не пересталъ въ него вѣрить; „изъ хаоса Богъ создалъ вселенную, изъ горячихъ страстей долженъ создаться народъ“, говорилъ онъ (Letters, V, 152), и послѣ временнаго упадка духа снова вернулся къ работѣ, сказавъ себѣ, что съ такими богатыми племенными задатками и при начавшемся броженіи можно достигнуть цѣли, что безумно было ожидать этого въ короткій промежутокъ времени, и что много усилій и настойчивой пропаганды должно быть затрачено, прежде чѣмъ побѣда будетъ одержана. Записи въ дневникѣ поэта показываютъ, что *R* (революція) должна была вспыхнуть въ Романьѣ въ октябрѣ 1820 года, потомъ срокомъ назначено было 7 или 8 марта 1821; но и черезъ годъ послѣ того нельзя было ничего начать среди общей подавленности. Нужно, стало быть, ждать и работать... У Байрона возникаетъ мысль о необходимости основать, на его средства, органъ для распространенія и защиты идей карбонаризма. Онъ еще изъ Равенны развивалъ Томасу Муру свой планъ періодическаго изданія съ широкой программой (но непременно съ литературнымъ отдѣломъ, стихами обоихъ редакторовъ и т. д.); его можно назвать „Tenda rossa“ (красный флагъ) <sup>2)</sup> или „Gli Carbonari“, или иначе какъ-нибудь, по вкусу Мура. Издавать его можно въ Лондонѣ, или, подѣливъ редакціонный

---

1) Въ приложеніи къ V тому „Писемъ“ напечатано обращеніе Байрона къ неаполитанскимъ инсургентамъ, которымъ онъ посылалъ денежную помощь въ тысячу лундоровъ и выраженіе готовности активно помогать дѣлу. Мнимый депутатъ конституціоннаго правительства, съ которымъ онъ при этомъ вступилъ въ сношенія, оказался шпиономъ.

2) Мысль, взятая у сатирика XVII вѣка, Тассони, который въ борьбѣ съ противниками „усвоилъ себѣ легендарный пріемъ Тамерлана, выставлявшаго будто бы бѣлый флагъ въ знакъ прощенія, красный — какъ предвѣстіе кровопролитія“ и т. д.

трудъ между двумя главными руководителями, изъ которыхъ одинъ, находясь въ Италіи, постоянно былъ бы въ сношеніяхъ съ вождями движенія, а другой поддерживалъ бы связи съ литературными силами Англіи, сдѣлать небывалый опытъ международнаго журнала.

Но для такого предпріятія время было слишкомъ неудобно. Ожидаемыя репрессаліи начались. Внезапно было изгнано изъ Церковной Области болѣе тридцати лицъ, заподозрѣнныхъ въ революціонныхъ убѣжденіяхъ, и въ числѣ ихъ отецъ Терезы и братъ ея Пьетро. Старанія Байрона добиться относительно ихъ отмѣны декрета были безуспѣшны, и столь близкіе ему люди покинули его, ища убѣжища въ тосканскихъ предѣлахъ, гдѣ еще сохранились болѣе или менѣе сносныя условія жизни. Опасаться за свою личную неприкосновенность Байронъ не могъ, но во власти правительства было до того отравить ему пребываніе въ Равеннѣ, чтобъ онъ самъ принужденъ былъ покинуть ее. Начатое слѣдствіе должно было рано или поздно раскрыть, до какой степени велико было его участіе въ агитаціи („если мы когда-нибудь встрѣтимся,—писалъ онъ теперь Муру,—я расскажу вамъ о моихъ собственныхъ приключеніяхъ, изъ которыхъ инныя, быть можетъ, были *нѣсколько рискованными*“). Оба Гамба выѣхали,—а высылки все продолжались, и число изгоняемыхъ росло; въ іюлѣ 1821 года ихъ насчитывали около тысячи во всѣхъ папскихъ владѣніяхъ. Тереза мучилась заботой о судьбѣ своихъ высланныхъ родныхъ, и въ то же время хотѣла бы увлечь Байрона въ безопасное убѣжище, гдѣ всѣ они могли бы снова собраться. Одно время шла рѣчь о Швейцаріи, дѣлались развѣдки и разспросы, гдѣ лучше устроиться. Съ своей стороны, Пьетро, въ которомъ неудачи не охладили свободолюбія, вызывалъ Байрона исполнить планъ, возникшій у нихъ послѣ плачевнаго фінала неаполитанскаго и пьемонтскаго возстанія,—отправиться въ Грецію, гдѣ національное движеніе уже поднималось. Но не состоялись ни возвратъ въ Швейцарію, которая казалась теперь Байрону самою романтической страной въ мірѣ, но съ грубымъ населеніемъ и съ еще худшимъ пришлымъ англійскимъ контингентомъ, ни греческая экспедиція, для которой время еще не назрѣло. Тереза уѣхала во Флоренцію на свиданіе съ сво-

ими и склонялась уже къ мысли поселиться гдѣ-нибудь въ Тосканѣ; намѣчена была Пиза, наконецъ нанять тамъ домъ,— но Байронъ словно не въ силахъ былъ покинуть Равенны <sup>1)</sup>, той Равенны, гдѣ онъ такъ много вынесъ тревогъ!..

Онъ былъ совсѣмъ одинъ. Около него не было теперь и порхающей, щебечущей Аллегры. Сколько разъ, во время напряженной карбонарской дѣятельности, его преслѣдовала мучительная мысль о томъ, что онъ не позаботился о судьбѣ дѣвочки, о ея воспитаніи, о ея безопасности въ случаѣ его собственной гибели! Не звѣсивъ вполнѣ условій, въ которыя онъ ее введетъ, онъ остановился на педагогическомъ планѣ, неожиданномъ и странномъ у такого независимаго мыслителя, какъ онъ. Невдалекѣ отъ Равенны, на пути въ Болонью, въ захолустномъ городкѣ Vagnasavallo при женскомъ монастырѣ за нѣсколько лѣтъ передъ тѣмъ открытъ былъ интернатъ для воспитанія дѣвицъ изъ „общества“, собравшій немало представительницъ мѣстной аристократіи. Считать подобное учрежденіе вполнѣ желательнымъ Байронъ не могъ (обращаясь къ венеціанскому своему другу Гоппнеру, отправлявшемуся тогда въ Швейцарію, онъ просилъ его высмотрѣть тамъ для Аллегры хорошую школу), но лучшаго пока ничего не представилось, довѣрить воспитаніе сумасбродной матери было невозможно, и, успокоивая себя софизмами въ родѣ того, что „католицизмъ все же *элегантная* религія“, подходящая будто бы къ женской натурѣ, онъ разстался съ дѣвочкой, отдавъ ее — монахинямъ. Вѣроятно, тревоги политики помѣшали ему лично отвезти ее въ пансіонъ, и четырехлѣтнюю крошку доставилъ туда какой-то равеннецъ <sup>2)</sup>; она скоро стала всеобщей любимицей, удивляла

1) Популярность поэта въ Равеннѣ, и въ особенности въ бѣднѣйшихъ слояхъ ея населенія, доказывается всего лучше тѣмъ, что при первыхъ же слухахъ о его намѣреніи покинуть городъ, равеннскіе нищія подали коллективную просьбу кардиналу-легату, умоляя его сдѣлать ихъ благодѣтелю возможнымъ дальнѣйшее пребываніе въ Равеннѣ. Объ этой петиціи упоминаетъ и Байронъ въ своей перепискѣ.

2) Несмотря на трудность собиранія данныхъ при мѣстныхъ условіяхъ (школа давно не существуетъ; ея бумагъ приходится искать въ монастырѣ San Giovanni), грустный эпизодъ объ Аллегрѣ разработанъ теперь провинціальнымъ итальянскимъ байронистомъ-любителемъ Emilio Biondi, „La figlia di L. Byron“. Faenza, 1890.

своей мечтательностью, своими радостно-мистическими снами на яву, при первой возможности посылала поклонны и поцѣлуи отцу, — и черезъ годъ скончалась вдали отъ него.

Тереза также была далеко, и Байронъ не видалъ ея нѣсколько мѣсяцевъ. Это не было слѣдствіемъ охлажденія; привязанность все еще была сильна и выражалась въ горячей и оживленной перепискѣ, о которой впослѣдствіи Тереза вспоминала съ благоговѣніемъ <sup>1)</sup>. Но, по ея же словамъ, какое-то непреодолимое чувство не позволяло ему покинуть Равенну, — „какъ будто ему казалось, что, съ его отъѣздомъ, начнутся для нихъ обоихъ и для людей имъ близкихъ невзгоды и бѣдствія“. Репрессалии, наконецъ, остановились, лично ему ничего не грозило, — и онъ жилъ одинокій въ громадномъ палаццо Гвичіоли, жилъ полною жизнью, потому что давно не чувствовалъ такого прилива творчества, какъ теперь, когда схлынула волна политики. Вѣрный данному слову, хотя испытывая глубокое сожалѣніе, онъ не притрогивался, правда, къ „Донъ-Жуану“, зато послѣдніе мѣсяцы равеннского періода — пора появленія „Сарданапала“, „Двухъ Фоскари“, „Каина“, „Видѣнія Суда“, „Неба и Земли“...

Творенія неравной силы, то поднимаясь до крайняго, потрясающаго напряженія лиризма и смѣлой философской мысли, то спускаясь до уровня сценическаго переложенія исторіи или разработки душевныхъ состояній или настроеній, чуждыхъ глубокаго драматизма, то сверкая гнѣвомъ и безпощадной насмѣшкой, — они въ своей совокупности свидѣтельствуя о поразительной возбужденности фантазіи (а въ проектѣ намѣчено было еще нѣсколько трагедій, „Франческа да Римини“, „Тиверій“). Библейскія преданія, вене-

---

<sup>1)</sup> Переписка Терезы съ Байрономъ сохранена была ею послѣ его смерти и перешла къ ея наслѣдникамъ, но не будетъ, повидимому, никогда оглашена. Любопытная ея часть, письма къ поэту во время греческой экспедиціи, была передана, по словамъ одного изъ участниковъ въ ней, итальянца Антоніо Моранди, ему Байрономъ, для возвращенія Терезѣ, въ случаѣ его гибели на войнѣ. Отвѣты свои Тереза, будто бы, писала красными чернилами между строками Байроновскихъ писемъ, и въ такомъ видѣ возвращала ихъ. Моранди, взятый въ плѣнъ австріяками, утратилъ ящичекъ съ письмами. „Il mio giornale dal 1848 al 1850“, Modena, 1867.

ціанская старина, страницы ассирійской исторіи, отголоски англійской современности и борьба съ вождями реакціи, — все возбуждало къ дѣятельности, все оживало, олицетворялось. Для этого приходилось преодолевать трудности драматической формы; на время излюбленной Байрономъ, но никогда не подчинившейся ему вполне, вмѣщать сложные перипетіи и душевные изгибы въ рамки эллинскихъ или альфіеріевскихъ единствъ, — и рядомъ съ подобными опытами находить въ своеобразной свободѣ *мистеріи* широкіе горизонты для мысли и просторъ для психологической правды. Вслѣдъ затѣмъ драматургъ превращался въ геніальнаго памфлетиста, и его презрительный хохотъ отзывался всюду, гдѣ только оставались честные люди, способные возмущаться и порицать.

Въ „Фоскари“ вторично и съ привычнымъ автору искусствомъ набросанъ тотъ бытовой фонъ, который удался ему въ „Марино Фальеро“; мы снова въ краю свинцовыхъ тюремъ, Пьяццетты, Дворца дожей, площади Санъ-Марко, видимъ борьбу честолюбій, соревнованія, зависти патриціевъ, и поодавъ — безправную народную толпу. Но ненависть, свирѣлое, ненасытное мщеніе — плохой драматическій узелъ, и когда изъ венеціанской среды, въ частности изъ олигархіи, выдѣляются сводящіе между собою старые счеты Лоредано и дряхлый дожъ Фоскари, когда изъ акта въ актъ передъ нами раскрываются крупныя и мелкія оскорбленія, которыя нагромождаетъ на старика и его сына жестокій противникъ, встрѣчая лишь слабое сопротивленіе, пока въ послѣдней сценѣ трагедіи, въ виду смерти обоихъ Фоскари, онъ не запишетъ въ памятной своей книгѣ съ ѣдкой ироніей, что „теперь долгъ уплаченъ сполна“, — скудость и односторонность основного трагического мотива становятся очевидными. Мрачное прошлое Венеціи, вызванное фантазією поэта для „Фальеро“, должно быть, слишкомъ неотвязно удручало его чтобы онъ могъ воздержаться отъ новаго его воспроизведенія; его не остановила простота и несложность сюжета (въ своихъ поясненіяхъ онъ даже указываетъ на нее, какъ на нововведеніе, идущее въ разрѣзъ съ сценической рутиной); сковавъ себя его предѣлами, онъ, несмотря на это, попытался придать особенное развитіе характеристикѣ, изученію



игры страстей, въ Лоредано создалъ, дѣйствительно, живое лицо, но историческая картина не превратилась въ драму; онъ и самъ это понималъ, и сочувственная ему критика подтвердила его сомнѣнія.

Иная участь, иное значеніе—у „Сарданапала“. Но искать ихъ нужно не тамъ, гдѣ, съ легкой руки Эльце, довольно значительная группа объяснителей Байрона старается искусственно добывать комментарий къ пьесѣ <sup>1)</sup>. По этому толкованію, ассирійская трагедія Байрона—сплошная автобіографія. Въ безпечномъ, легкомысленномъ и безвольномъ царѣ-сластолюбцѣ авторъ вывелъ себя, въ Миррѣ—Терезу Гвичіоли, въ покинутой Сарданапаломъ женѣ, Заринѣ, — свою жену... Странная близорукость! Даже оставляя въ сторонѣ признаніе самого поэта, что судьба Сарданапала поразила его еще въ дѣтствѣ, когда ему было всего двѣнадцать лѣтъ, и съ той поры дѣйствовала на его фантазію (стало быть, взятыя за перо могла побудить не потребность въ исповѣди, а давно назрѣвшая у него фабула), несоотвѣтствіе реальныхъ и драматическихъ лицъ, по истинѣ, бросается въ глаза. Байронъ-карбонарь, поэтъ политическій и авторъ міровой сатиры „Донъ-Жуана“, оставившій далеко за собой послѣднюю вспышку чувственности въ Венеціи, двойникъ Манфреда въ титаническомъ протестѣ, вскорѣ авторъ „Каина“ съ его мятежнымъ духомъ независимости, и—увѣнчанный розами, окруженный наложницами, самъ женственный, равнодушный къ народному благу, способный лишь въ минуту опасности выказать и волю, и храбрость, просвѣтленный только геройскимъ самоубійствомъ ассирійскій царь; гречанка Мирра, полная мужества, самоотверженія, заражающая, временами, Сардавапала своею энергіею,—и воздушная, кокетливая Тереза, которую, конечно, брату-заговорщику и Байрону приходилось вовлекать въ глубину политической борьбы; наконецъ, Зарина, къ которой, по пьесѣ, передъ роковой развязкой повлекло Сарданапала, тронутаго ея нравственной силой, всепрощеніемъ, незлобивою, — и леди Байронъ, „моральная Клитемнестра“, „математическая Медея“, осы-

---

<sup>1)</sup> Новѣйшую попытку въ этомъ родѣ представляетъ диссертация „Ueber Lord Byron's Sardanapal“ von Hermann Nieschlag. Halle, 1900.

паемая въ перепискѣ съ друзьями всевозможными колкостями и не дававшая ни повода, ни возможности невѣрному супругу вернуться на брачное лоно <sup>1)</sup>, — что можно найти болѣе разнороднаго, несходнаго!.. Пусть въ инныя минуты Сарданапалу влагаются въ уста рѣчи, въ которыхъ слышится какъ будто душевный анализъ поэта, укоры себѣ въ двойственности, неровности, недостаточной твердости воли, — но такія невольно вторгающіяся въ вымыселъ лирическія черты встрѣчались намъ въ большей или меньшей степени во всѣхъ Байроновскихъ произведеніяхъ, которыя въ остальномъ кореннымъ образомъ расходились съ подобными изліяніями. Можно найти даже въ „Марино Фальеро“ рѣчи престарѣлаго дожа, которыя умѣстны были бы въ устахъ Манфреда или самого Байрона (напр., актъ V, сц. 3: „I speak to Time and to Eternity“ и пр.).

Для оцѣнки „Сарданапала“ не нужно преувеличивать автобіографической роли трагедіи и видѣть въ ней странный ассирійскій маскарадъ съ подлинными англійскими и итальянскими дѣйствующими лицами, — сама по себѣ пьеса выдѣляется искуснымъ изученіемъ того, что, казалось бы, несомѣстимо съ драматическимъ *дѣйствіемъ*: нерѣшительности, душевной мягкости, брезгливо чуждающейся борьбы и зла, ищущей самозабвенія и нѣги, — не преступной, не чуждой человѣчнымъ движеніямъ, но для всѣхъ бесполезной, — способной разгорѣться и изумить энергіею, но только передъ концомъ. Во всей своей шаткости, приводящей въ негодованіе такія сильныя натуры, какъ Саламенъ, въ нѣжной, чуть не поэтической игривости, столь странной на мрачномъ фонѣ заговоровъ, мятежей и войнъ, и въ героическомъ разставаніи

---

<sup>1)</sup> Не лишень интереса отголосокъ семейнаго раздора Байрона, относящійся къ равеннскому періоду. Съ возвращавшимся въ Англію туристомъ, м-ромъ Мауманомъ, Байронъ послалъ Муру, вмѣстѣ съ исправленіями типографскихъ грубыхъ ошибокъ въ первомъ изданіи 3, 4 и 5-й пѣсень „Донъ-Жуана“, двѣ записныя книги, въ которыхъ, между прочимъ, находилась неоконченная повѣсть (сто страницъ) изъ испанскихъ нравовъ, гдѣ, отъ лица героя, рассказана двуличная интрига его жены, доньи Хозефы, и ея отца, донъ Хозе ди-Кардозо, чтобы разорвать бракъ, пригрозивъ даже инквизиціей. Въ отрывкѣ изъ повѣсти, приведенномъ Муромъ въ его біографіи поэта, легко разгадать подъ испанскими псевдонимами дѣйствующихъ лицъ семейной распри Байрона.

съ жизнью Байроновскій Сарданапалъ — законченная, художественно очерченная личность, съ своей сверстницей Миррой (всецѣло какъ Анджелина въ „Фальеро“ созданной Байрономъ <sup>1)</sup>), выпукло выдѣляющаяся изъ драматическаго плана, въ которомъ стремленіе отгадать духъ древняго Востока парализуется лишь неотступно преслѣдовавшей Байрона мыслью о классической стройности трагедіи <sup>2)</sup>. Оба главныхъ лица съ свободнымъ, можно бы сказать романтическимъ, освѣщеніемъ ихъ душевнаго міра, рвутся изъ классическихъ колодокъ на волю, возвращая насъ къ прежнему Байроновскому творчеству.

Невозможно было надолго сковать оживлявшій Байрона духъ свободы, при помощи разсудочно навязанной теоріи, чья строгая правильность такъ мало шла къ взволнованному настроенію поэта; послѣ „Сарданапала“ и „Фоскари“ классическія вериги упали, и снова вырвался на волю титаническій, непокорный, мятежный духъ—въ „Кайнѣ“, этомъ полнѣйшемъ выразителѣ Байроновскихъ стремленій и думъ въ равеннскій періодъ. Время и мѣсто дѣйствія, библейская обстановка, архаическая форма мистеріи, персоналъ, составленный изъ людей, демоновъ и ангеловъ, фабула, сосредоточенная вокругъ перваго убійства и первой смерти, казалось, не давали простора для провозглашенія принциповъ и требованій новаго челоуѣчества, хотя бы въ основѣ ихъ и лежали идеи безсмертныя, переживающія вѣка и тысячелѣтія. Мозаическая работа, которую, въ видѣ фундамента для драмы Байрона, подвели подъ нее пытливые комментаторы <sup>3)</sup>, указанія на заимствованія и отголоски изъ

---

<sup>1)</sup> Въ остальномъ его источникомъ для обрисовки времени, быта и характеровъ было повѣствованіе Діодора Сицилійскаго.

<sup>2)</sup> Въ новѣйшее время извѣстнымъ драматическимъ артистомъ нѣмецкимъ, украсившимъ теперь своимъ вступленіемъ вѣнскій Burgtheater, Іосифомъ Кайнцемъ, страстнымъ поклонникомъ Байрона, выполненъ „вольный и приспособленный къ сценѣ“ переводъ „Сарданапала“. Исполненіе трагедіи, однако, не имѣло особаго успѣха.

<sup>3)</sup> Въ особенности обстоятельны разысканія Альфреда Шафнера (Lord Byron's *Cain* und seine Quellen, v. Albr. Schaffner. Strassburg, 1880), который указалъ, между прочимъ, на точки соприкосновенія съ Гетевскимъ „Фаустомъ“ и „Освобожденнымъ Прометеемъ“ Шелли. Сравни также статью Laurenz Müllner „Lord Byrons *Cain*“, Neue Freie Presse 1900, 24 Juni.

„Потерянного Рая“ Мильтона, изъ „Смерти Авеля“ Гесснера, даже изъ средневѣковой духовной драмы англійской „Mastacio Abel“ <sup>1)</sup>, могли бы навести на мысль о томъ, что „Каинъ“—такая же попытка сценической реставраціи Библии, какъ „Сарданапаль“—оріентальной исторіи, какъ венеціанскія трагедіи—лѣтописей старой республики; что дѣломъ поэта было вложить жизнь въ завѣщанныя традиціею тѣни дѣйствующихъ лицъ, раскрыть ихъ психологію, мотивировать ихъ разногласія, борьбу, сомнѣнія, разладъ, объяснить кровавую развязку. Знаніе Библии и живой интересъ къ ней, какъ къ поэтическому памятнику, сопровождавшіе Байрона съ дѣтства во всю жизнь, могли бы оправдать подобный замыселъ.

Онъ и явился у него, какъ несомнѣнно руководилъ и Мильтономъ при созданіи его поэмы. Но, вполне сходясь въ этомъ съ авторомъ „Потерянного рая“, <sup>2)</sup> Байронъ слилъ съ сценической иллюстраціей Библии идеи и мотивы, указанные не легендой, а духомъ времени и запросами освобождающейся личности. Въ его мистеріи нельзя не отдѣлать красотъ художественныхъ отъ мѣткихъ и сильныхъ философскихъ и соціально-политическихъ заявленій. Гёте <sup>3)</sup> одинъ изъ первыхъ оцѣнилъ мастерство изображенія душевнаго міра Каина до появленія Люцифера, проблесковъ раздумья, тревоги, переходящей въ мятежное недовольство, и страстное желаніе заступиться за весь родъ людской, несправедливо и навѣки осужденный на страданія,—то мастерство, которое преобразило мелодраматическую фигуру мрачнаго и своекорыстнаго братоубійцы въ друга людей, съ задатками и влеченіями Прометея, но съ роковою участью, которая *случайно*, въ минуту запальчивости, дѣлаетъ его

---

<sup>1)</sup> Сходство любопытное, но трудно объяснимое, такъ какъ въ ту пору собранія англійскихъ мистерій еще не были изданы.

<sup>2)</sup> Ссылка Байрона на своего предшественника, чью поэму, говорилъ онъ, нужно также признать кощунственной, если грѣховенъ *Каинъ*, вызвала тогда же гнѣвную брошюру какого-то анонима, заступившагося за „царственное“ созданіе Мильтона,—„A Vindication of the Paradise Lost from the charge of exculpating *Cain*, a mystery“. By Philo-Milton. London, Rivington, 1822.

<sup>3)</sup> Въ статьѣ о Байроновскомъ „Каинѣ“ въ „Kunst u. Alterthum“ 1824.

преступникомъ и томить его ужасомъ и раскаяніемъ. Онъ сталъ олицетвореніемъ пробудившейся человѣческой мысли, обреченной на вѣчное исканіе истины, свѣта, правды, свободы, и на мучительное сознаніе безысходности зла,—мысли, не удрученной горемъ и не смиряющейся, но, вопреки всему, протестующей и непокорной. Далеко позади Каина остаются люди, составляющіе его первобытную среду, родители, жена, братъ, подчинившіеся, послушные, безличныя, обрисованныя немногими, но типическими чертами; его мысль унеслась въ даль вѣковъ, къ будущимъ поколѣніямъ людей; въ своемъ полетѣ среди міровъ и стихій онъ увидалъ все, что ждетъ въ будущемъ человѣчество,—и не можетъ покорно принять этой участи. Въ его жилахъ кипитъ кровь титана, но подобный титанъ—уже не горделивый богатырь-великанъ, величающійся надъ толпой, а превышающій всѣхъ силою заступникъ и вождь; его горе—не эгоистическое, и приводитъ оно не къ пессимизму, а къ борьбѣ.

Открыть ему глаза, пробудить его къ сознательной жизни призванъ Люциферъ. Не легенда только о первыхъ людяхъ, а древній мифъ о духѣ зла потревоженъ, чтобы добыть этотъ образъ, одинъ изъ поразительнѣйшихъ въ Байроновской поэзіи. Какъ Каинъ сталъ въ ней символомъ рвущейся изъ оковъ человѣческой мысли и переросъ свой легендарный прототипъ, такъ въ демонъ не осталось слѣда зловѣщаго искуателя. Это—существо высшее, съ безконечными стремленіями и божественной проницательностью, низвергнутый, но не покорившійся ангелъ, смѣло ставящій передъ лицомъ челоуѣчества цѣли, которыхъ оно не достигнетъ, если поддается. Это не духъ отрицанія и сомнѣнія, но виновникъ отважнѣйшихъ подвиговъ разума и воли челоуѣка, тотъ Сатана, который воспѣтъ былъ впослѣдствіи съ молодою горячностью маститымъ теперь и успокоившимся Кардуччи <sup>1)</sup>:

Salute, o Satana,  
O ribellione,  
O forza vindice  
De la ragione!

<sup>1)</sup> Levia—Gravia di Giosue Carducci (1861—1867). Bologna, 1888, 155.

Такъ нѣкогда Мильтонъ въ Сатанѣ своего „Потеряннаго Рая“, тоже съ немалымъ трудомъ примѣняясь къ правовѣрной легендѣ <sup>1)</sup>, олицетворилъ тотъ духъ независимости и самоопредѣленія, который привелъ англійскую жизнь XVII-го вѣка къ величайшему перевороту. Байронъ пошелъ по слѣдамъ Мильтона, но, раздѣливъ призваніе проповѣдниковъ самоопредѣленія между задумчивымъ Каиномъ и пламенно негодующимъ Люциферомъ, онъ смѣлѣе и полнѣе выразилъ, для своего, казалось, погрязшаго въ безличности и рабствѣ вѣка, основную мысль. И поводъ, и силу для того онъ нашелъ во всемъ недавно имъ пережитомъ,—и безъ живого вліянія современности, быть можетъ, ветхая библейская тема не дала бы такихъ свѣжихъ ростковъ. Ея религіозный колоритъ, мотивъ послушанія божественной воли, борьбы духа тьмы противъ свѣтлаго божества, получили въ подобной окраскѣ отгѣнокъ еретическаго вольнодумства, и тотъ возмущенный, негодующій приѣмъ, который встрѣтилъ „Каина“ въ чопорной Англіи тѣхъ временъ <sup>2)</sup>,—приѣмъ, мѣтко сравненный Брандесомъ съ тѣмъ, что выпалъ въ Германіи на долю „Das Leben Jesu“ Штрауса <sup>3)</sup>,—закрѣпилъ надолго толкованіе Байроновской мистеріи въ анти-клерикальномъ духѣ. Но, какъ бы тонко и искусно ни разрисовалъ поэтъ тѣхъ узоровъ, которые были необходимы, какъ бытовая рамка, такъ какъ онъ имѣлъ передъ собой библейскій сюжетъ,—ничто не было такъ далеко отъ его цѣлей, какъ намѣреніе написать что-то въ родѣ богословской трагедіи съ вольнолюбивымъ освѣщеніемъ. Его замыселъ былъ шире и вѣковѣчнѣе,—и, потрясенные этой широтой и смѣлостью, склоняли голову въ благоговѣніи люди, искушенные жизнью; сильные талантомъ и мыслью, хотя дотолѣ чуждые подоб-

<sup>1)</sup> Относительно художественныхъ ея переработокъ сравн. сводъ у Arturo Graf, „il Diavolo“. Milano, 1899, 431—453.

<sup>2)</sup> Была выпущена гнѣвная брошюра, укорявшая Байроновскаго издателя Мэррея за то, что онъ является пособникомъ въ такомъ безнравственномъ дѣлѣ. Авторъ скрылъ себя подъ псевдонимомъ „оксфордца“. „A remonstrance addressed to mr J. Murray respecting a recent publication“ by Oxoniensis“. На нее послужила отвѣтомъ брошюра Letter in answer to the Remonstrances etc. by Harroviensis.

<sup>3)</sup> Die Hauptströmungen der Literatur des 19 Jahrhunderts. 1876, IV, 478.

ному радикализму,—такіе вожди современной словесности, какъ Гёте, Вальтеръ Скоттъ, даже тѣ, кто, въ родѣ Джеффри, не могли сладить съ еретической стороною дѣла, но должны были все же признать, что, по мощи, „Каинъ“ превышаетъ всѣ драматическія произведенія Байрона.

„Было время, когда меня называли Наполеономъ въ царствѣ риѣмъ,—иронически шутилъ впослѣдствіи Байронъ (XI пѣснь „Донъ-Жуана“), коснувшись измѣнчивости людской молвы,—„но Жуанъ былъ для меня Москвой, Фальеро былъ Лейпцигомъ, а Каину, кажется, суждено сдѣлаться въ моей судьбѣ вторымъ „Mont Saint-Jean“. Но сознаніе рѣзкаго диссонанса между его новымъ произведеніемъ и настроеніемъ большинства читателей въ Англіи,—быть можетъ, и во всей Европѣ,—не могло уже парализовать смѣлости его дальнѣйшихъ заявленій. Да и возможенъ ли былъ для него иной выходъ? Запросы, протесты и вызовы „Каина“ были бы тогда ходульной декламаціей, а они написаны были „кровью сердца“; тотъ, кого въ публикѣ уже корили (и продолжаютъ корить) *демонизмомъ*, въ человѣконенавистническомъ смыслѣ этого слова, устами своего Люцифера не даромъ звалъ впередъ, на ту борьбу, въ которой и самъ принималъ такое горячее участіе... Но вотъ весь ядъ волюнопрактикующихъ доносовъ и клеветъ сосредоточился въ открытомъ нападеніи на поэта со стороны его злѣйшаго врага, Соути. Въ задорномъ и гнѣвномъ предисловіи къ хвалебной одѣ въ память короля Георга III, клеймя тѣхъ, кто лжеученіями и безнравственностью опозорилъ блаженное правленіе великаго короля, Соути прямо называлъ Байрона главой сатанинской школы, которая „у Веліала научилась сладострастію, у Молоха—отвратительнымъ картинамъ звѣрствъ и ужасовъ“, которая потрясаетъ общественные устои, подрываетъ основы вѣры, сознательно губить своихъ сторонниковъ, заражая ихъ язвой, развѣдающей ихъ души“; свой извѣтъ Соути предлагалъ особому вниманію законодательства и побуждалъ къ репрессаліямъ. Байронъ не могъ и не умѣлъ молча сносить подобныя обвиненія. Мысль о разладѣ, вызванномъ уже „Каиномъ“, не остановила его, и онъ отвѣчалъ однимъ изъ украшеній своей полемической литературы, „Видѣніемъ Суда“.

Соути самъ подсказаль ему заглавіе, — потому что такъ именно назвалъ свою полную лести, раболѣпныхъ преувеличеній, преклоненій, злобной хулы, оду, воспѣвавшую вступленіе умершаго короля въ царство тѣней. Соути казалось, что положеніе его, какъ поэта-лавреата, совсѣмъ забывшаго свои юношескія революціонныя и коммунистическія бредни, прямо обязываетъ его къ такому поступку, но онъ не сдержалъ своего усердія, и непомѣрно переложилъ краски; не побоялся онъ и угрозы, высказанной Байрономъ (едва появилась ода) въ послѣсловіи къ трагедіи о „Фоскари“, — и въ газетной замѣткѣ самъ вызвалъ его на объясненіе, почему-то требуя, чтобъ оно было въ стихахъ. Онъ и дождался его, и рядомъ съ Соутиевскимъ „Vision of judgment“ явилось безпощадное, въ конецъ уничтожившее и Соути, и напыщенно раздутую имъ репутацію короля, и заклеившее прославленный лавреатомъ, прогнившій оффиціальныи строй — Байроновское „Видѣніе Суда“. Поэтъ заимствуетъ у своего соперника мысль и форму, но придаетъ имъ такой своеобразный оборотъ, что онѣ служатъ цѣлямъ обличенія и насмѣшки. Ему припомнились переведенныя еще въ серединѣ XVII-го вѣка по-англійски шесть „Видѣній“ или „Сновъ“ испанскаго сатирика Франсиска Кеведо, причудливая смѣсь возвышенныхъ и комическихъ, желчныхъ и забавныхъ, реальныхъ и фантастическихъ картинъ и сценъ, — гдѣ мѣсто дѣйствія то въ аду, то на землѣ, напоминающей собою адъ, то въ обстановкѣ Страшнаго Суда, среди поднимающихся отовсюду мертвецовъ, — гдѣ привычными дѣйствующими лицами являлись клеветникъ, доносчикъ, наглый взяточникъ, — и захотѣлось ему принять псевдонимъ „воскресшаго Кеведо“ (какъ будто изъ числа современныхъ писателей можно было заподозрѣть въ остроумнѣйшемъ „Quevedo redivivus“ кого-либо, кромѣ Байрона!). Обстановка первыхъ куплетовъ могла бы стать рядомъ съ бойкой картиной, набросанной въ старой русской (пересаженной съ Запада) повѣсти, переносящей читателя въ сѣни рая, гдѣ привратникъ, Петръ, зорко наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы черезъ священный порогъ не переступала ни одна недостойная тѣнь. Но съ какимъ юморомъ набросано здѣсь настроеніе блаженства, скуки и бездѣятельности! Самъ ключарь задремалъ, склонившись



надъ связкой райскихъ ключей. Но вотъ къ его уху прикоснулось чье-то крыло, и херувимъ вызываетъ его очнуться и приготовиться къ приему новаго гостя, только-что умершаго. „Это—Георгъ Третій“,—говоритъ онъ.—„Какой Георгъ, отчего третій?“—спрашиваетъ Петръ, которому припомнился почему-то послѣдній его постоялецъ изъ королей, Людовикъ XVI, и узнаетъ, что это весьма обыкновенный англійскій король, никогда не сознававшій, что и почему онъ дѣлалъ, какъ кукла послушный проволокъ, которая приводила его въ движеніе, и теперь подлежащій суду на общемъ основаніи. Едва произнесена эта бѣглая аттестація, какъ уже къ вратамъ приблизился караванъ тѣней, и среди нихъ—„старый человѣкъ съ старою душой, оба удрученные полнѣйшей слѣпотой“ (Георгъ умеръ слѣпымъ и впалъ въ идіотство). Но вмѣстѣ съ жалкими тѣнями примчался и страшный, гордый, полный ненависти, ихъ проводникъ, сатана, и все вокругъ оцѣпенѣло отъ ужаса; онъ не изъ тѣхъ, что безъ бою уступаютъ свою добычу. Навстрѣчу ему изъ горныхъ селеній выступаетъ лучезарный архангелъ Михаилъ, и на „нейтральной почвѣ“, передъ вратами рая, нѣкогда близкіе другъ другу духи вступаютъ въ споръ изъ-за души несчастнаго смертнаго. Сатана говоритъ первый и требуетъ ее себѣ, раскрывая длинный списокъ дѣяній во вредъ, на зло людямъ. „Онъ вѣчно воевалъ съ свободой и вольнодумцами; народы ли, или отдѣльныя лица, свои подданные или чужеземные враги, едва только возглашали: свобода!—какъ видѣли въ Георгѣ Третьемъ перваго своего противника. Онъ лишилъ пять милліоновъ коренныхъ жителей страны права пользоваться вѣротерпимостью“... Петръ, перебивая, клянется ни за что не пропустить такого человѣка,—впрочемъ, лучше допросить сначала свидѣтелей.

Цѣлыя толпы призраковъ явились на призывъ, наполнивъ гуломъ своихъ разнохарактерныхъ, англійскихъ, ирландскихъ, французскихъ, голландскихъ рѣчей всю атмосферу. Изъ нихъ выдвигаются впередъ одинъ за другимъ обвинители,—главнѣйшія лица минувшаго царствованія; это—вождь радикаловъ Джонъ Уильксъ; это—Фрэнсисъ, авторъ таинственныхъ „Юніевыхъ Писемъ“; за ними должны показаться: Вашингтонъ, Франклинъ, Горнъ Тукъ,—но, расталкивая всѣхъ и не

давая никому говорить, выдвигается впередъ какая-то назойливая фигурка,—пока еще не тѣнь, не призракъ, хотя Люциферъ и вызывается ускорить ея конецъ; это—Соути. Обрадовавшись тому, что у него есть аудиторія, онъ начинаетъ ораторствовать, почти все стихами, и черезъ нѣсколько мгновений уже приводитъ въ содроганіе слушателей,—но его остановить нельзя. Въмѣсто защиты короля, онъ хочетъ все рассказать про себя: какъ смолоду былъ вольнодумцемъ и республиканцемъ, какъ сдѣлался потомъ анти-якобинцемъ выворачивалъ наизнанку свою одежду и готовъ былъ бы ради выгоды вывернуть и свою кожу,—громилъ войны и прославлялъ побѣды,—написалъ „Жизнь“ методиста Уэслея, но готовъ написать біографію самого сатаны въ двухъ томахъ in 8<sup>о</sup>, съ примѣчаніями и предисловіемъ. Но чего же лучше: онъ всему сонму прочтетъ сейчасъ свое „Видѣніе“. Уже развернута рукопись, послышалась декламація, но полная лжи, лести и подлости ода возмущаетъ и ангеловъ, и ихъ противниковъ. Духи свѣта затыкаютъ уши, складываютъ крылья; бѣсы, оглушенные, проваливаются въ адъ; призраки разлетаются во всѣ стороны, привратникъ связкою ключей спшибаетъ стихотворца съ ногъ; „онъ падаетъ,—какъ его произведенія,—но снова всплываетъ на поверхность, какъ самъ это много разъ дѣлалъ. А что-жъ король? Среди всеобщей суматохи онъ проскользнулъ на небо, и когда тревога, наконецъ, улеглась, онъ уже произносилъ сотый псаломъ Давида...

„Toll! Ganz grob! Himmlisch! Unübertrefflich!“—восклицалъ старикъ Гёте въ восхищеніи, когда ему читали „Видѣніе Суда“ <sup>1)</sup>,—и врядъ ли найдется изъ поздняго потомства кто-либо способный остаться безучастнымъ къ этой смѣлой, злой, безгранично безцеремонной <sup>2)</sup> и въ то же время неподражаемо забавной сатирѣ, и не повторить восклицаній, вырвавшихся невольно у того, кого обыкновенно считаютъ

<sup>1)</sup> Показаніе посѣтившаго его въ 1829 г. Генри Крабба Робинзона, автора любопытнаго *дневника* (Diary, reminiscences, etc. 1872), но изъ непечатавшейся еще его части.

<sup>2)</sup> Издатель Байроновскаго „Видѣнія“, Джонъ Гонтъ, подвергся судебному преслѣдованію. Такъ какъ печатаніе очень замедлилось, то приговоръ суда объявленъ былъ послѣ смерти Байрона.

безстрастнымъ и величавымъ олимпійцемъ. Возможность появленія такой сатиры подъ перомъ Байрона среди данныхъ условій времени и среды не менѣе поразительна. Карбонарь, итальянскій агитаторъ не могъ забыть среди космополитической дѣятельности свою страну; достаточно было одной искры, перваго вѣскаго повода, и въ немъ снова сказался дѣятель національный, писатель политическій, хранитель лучшихъ преданій гражданственности. Такъ сильно было охватившее его возбужденіе, что черезъ нѣсколько дней послѣ отсылки „Видѣнія“ въ Англію уже готова была новая сатирическая импровизація, не смягченная ни малѣйшею долею комизма, полная „горечи и злости“. Могъ ли Байронъ остаться безучастнымъ свидѣтелемъ только что разыгравшихся въ Ирландіи сценъ раболѣпія и униженія, вызванныхъ пріѣздомъ въ Дублинъ новаго короля, ненавистнаго еще со времени его регентства, и на памяти у всѣхъ опозорившаго жену свою, скончавшуюся всего за десять дней до дублинскихъ торжествъ? Забывъ обо всѣхъ его личныхъ дѣяніяхъ, объ усердно хранимыхъ имъ традиціяхъ англійской нивеллирующей политики относительно ирландцевъ, нарушая завѣты прежнихъ своихъ вождей въ борьбѣ за свободу, и зная, и толпа, и ихъ спутница— печать, предавались ликованіямъ, чествуя въ Георгѣ IV, какъ это говорилось публично, нисшедшее къ людямъ воплощеніе принципа. Сравнивъ эту своеобразную мистику съ древне-индійскими представленіями о сходящихъ къ людямъ и воплощающихся богахъ, Байронъ надписываетъ надъ своимъ стихотвореніемъ „The Irish Avatar“, изображаетъ торжественное появленіе въ поработченной странѣ „мессіи роялизма“, переплывшаго, подобно Левіаѳану, морской проливъ и встрѣченнаго „легиономъ поваровъ и арміею рабовъ“, и начавшуюся вслѣдъ затѣмъ „пляску въ цѣпяхъ“. Народъ, способный такъ унижаться, не родной поэту, но онъ привыкъ цѣнить его вѣковую любовь къ независимости, выставившую столько благороднѣйшихъ ея подвижниковъ, Граттана, Кэррана, Шерида-на; блестящая характеристика этихъ народныхъ вождей стоитъ рядомъ съ плачевными сценами изъ жизни обезличеннаго ихъ потомства,—и, какъ въ Италіи Байронъ ратовалъ за благо чужого ему народа, такъ съ еще большею силой, чѣмъ

политическіе поэты самой Ирландіи (напр., его другъ Томасъ Муръ), онъ устремляется въ борьбу, чтобы спасти лучшее достояніе ирландскаго народа <sup>1)</sup>. И въ горячности своей онъ ни передъ чѣмъ не останавливается; „Avatar“ могъ появиться въ печати лишь послѣ его смерти, сначала съ большими смягченіями, и затѣмъ лишь въ тридцатыхъ годахъ въ подлинной редакціи, съ такими неслыханными въ тогдашней Англіи выраженіями, какъ эпитеты короля—„Георгъ презираемый“ (George the despised), или „Четвертый изъ числа глупцовъ и притѣснителей, носившихъ имя Георга (the Fourth of the fools and oppressors called George)“.

Такъ итальянское національное дѣло встрѣчалось у Байрона съ злобой дня его отечества, растравлявшей старыя раны; такъ отъ мрачныхъ сюжетовъ своихъ историческихъ трагедій переходилъ онъ къ не менѣе тяжелымъ, по своей сущности, сюжетамъ своихъ сатиръ. Равеннское одиночество, вызвавшее давно небывалый приливъ творчества, направляло мысль и фантазію къ печальному, гнѣвному, обличительному. Единственный просвѣтъ — попытка уйти въ совсѣмъ иную область, призвать на помощь лиризмъ, заговорить снова о любви и страсти, окружить вымыселъ картинной обстановкой древнѣйшей легенды, сблизить во имя любви безплотныхъ духовъ и земныхъ женщинъ,—мистерія „Небо и Земля“. Съ виду это такое же вторженіе въ библейскую старину, какъ „Каинъ“; повторенный и здѣсь терминъ — „мистерія“—какъ будто указываетъ на намѣреніе разрабатывать отнынѣ эту приглянувшуюся форму. Но за библейскими покровами „Каина“ скрыта глубокая, искони волнующая человѣчество идея;—„Небо и Земля“ не знаетъ ея и вмѣсто того изображаетъ первый трепетъ земной любви, первыя грезы о ея безграничной свободѣ, первый мятежъ и отпаденіе свѣтлыхъ духовъ отъ божества ради личнаго счастья. У поэта уже обрисовались два страстно увлеченныхъ женскихъ характера,—дочери Каина,—рядомъ съ ними (какъ наглядное переложеніе текста изъ VI главы „Книги Бытія“) избравшіе ихъ себѣ

---

<sup>1)</sup> Шелли съ своимъ юношескимъ заступничествомъ за постороннее для него ирландское національное дѣло былъ прямымъ предшественникомъ Байрона.

подругами и столь же взволнованные страстью ангелы,—измученный ревностью, тоской и неудовлетворенностью Іафетъ. Фономъ картины избраны грозныя предвѣстія всемірнаго потопа; слышатся ликующіе хоры „духовъ земли“, съ злорадствомъ ожидающихъ того дня, когда она избавится отъ людей и станетъ снова пустынно и свободна,—раздаются вопли первыхъ жертвъ потопа,—дерзкія рѣчи мятежныхъ небожителей, скрывающихся въ безконечномъ пространствѣ вмѣстѣ съ своими возлюбленными,—но на этомъ обрывается мистерія или, точнѣе, первая ея часть, за которой никогда не послѣдовало продолженія <sup>1)</sup>. Попытка найти успокоеніе въ обработкѣ такого нейтральнаго сюжета была несвоевременна и потому не развилась, но общей постановкой его и проблемами большихъ красотъ (сколько глубины, напр., въ обрисовкѣ чувства Аны къ Азавіэлю: она не можетъ его пережить, но при мысли, что онъ, бессмертный, будетъ крылами своими осѣнять могилу, гдѣ скрыто бѣдное земное существо, такъ горячо любившее его, какъ самъ онъ обожаетъ Верховнаго Бога,—при этой мысли сама смерть уже не такъ ужасна...) мистерія вызывала не разъ поэтовъ на подражаніе и послужила однимъ изъ источниковъ Лермонтовскаго „Демона“ <sup>2)</sup>.

Затрачивать такъ много энергіи на поэтическую и общественную дѣятельность, какъ это дѣлалъ Байронъ въ Равеннѣ, въ особенности къ концу своего пребыванія въ ней, значило жить полной жизнью. Шелли, посѣтившій въ сентябрѣ 1821 г., послѣ долгаго промежутка, своего друга, изумленъ былъ новою перемѣной въ немъ, еще болѣе значительной, чѣмъ тотъ поворотъ отъ грусти и упадка душевныхъ силъ, который такъ порадовалъ его въ послѣдній прїѣздъ его въ Венецію. Первую ночь напролетъ проговорили они обо всемъ, что ихъ волновало, влекло или возмущало, что было надумано или только-что окончено. Шелли пораженъ былъ смѣлымъ замысломъ „Каина“, который сильнѣе, чѣмъ когда-либо, сблизилъ Байроновскую поэзію съ

---

<sup>1)</sup> О частныхъ вопросахъ, связанныхъ съ этой пьесой, сравн. диссертацию Майна, „Byron's *Heaven and Earth*“. Breslau, 1887.

<sup>2)</sup> Вмѣстѣ съ юношеской поэмой Альфреда де-Виньи „Елоа“.

тѣми идеалами, которые выше всего чтить Шелли. Онъ не приписывалъ личному своему вліянію этого новаго направленія у Байрона и привѣтствовалъ самостоятельное добываніе имъ истины. Когда до него дошелъ слухъ о томъ, что видимо отстававшій отъ быстрого поэтического прогресса своего друга Т. Муръ, порицавшій „кошунство“ и религіозное свободомысліе „Каина“, не переставая удивляться его художественной силѣ, винить Шелли,—онъ просилъ общаго знакомаго, Гор. Смита, увѣрить Мура, что „еслибъ онъ дѣйствительно имѣлъ возможность вліять, онъ, конечно, воспользовался бы этимъ, чтобъ искоренить въ великомъ умѣ Байрона тѣ заблужденія, которыя, несмотря на его проникательность, постоянно даютъ о себѣ знать, словно скрываясь въ засадѣ до дней его болѣзни и отчаянія“. Услышавъ въ чтеніи новыя, ненапечатанныя строфы „Донъ-Жуана“, онъ сказалъ себѣ, что „не можетъ болѣе соперничать съ Байрономъ“; привыкнувъ „съ точностью анатома“ наблюдать за малѣйшими движеніями своей души, онъ въ письмѣ къ женѣ сѣтовалъ на то, что порою „демонъ недовѣрія и сомнѣнія вкрадывается въ отношенія между нимъ и Байрономъ, и отравляетъ ихъ свободу“<sup>1)</sup>. Но, несмотря ни на какія мимолетныя ощущенія, свиданіе двухъ друзей было въ высшей степени знаменательно и полезно; обаяніе идеалиста снова дѣйствовало, смягчая и облагораживая; невоздержныя, даже прямо пристрастныя и предубѣжденныя сужденія, вырывавшіяся иногда у Байрона въ перепискѣ и, конечно, въ разговорѣ съ близкими, смолкали и уничтожались передъ гуманной терпимостью Шелли, передъ его удивительной способностью отгадывать, уважать и щадить чужой душевный складъ. Такъ несомнѣнно Шелли удалось отучить Байрона отъ непонятно высокомернаго, порою насмѣшливаго отношенія къ даровитѣйшему, преслѣдуемому критикой, смертельно больному Китсу,—которое, какъ своенравный капризъ (напоминающій личныя усмотрѣнія Байрона изъ временъ „Англійскихъ Бар-

---

<sup>1)</sup> Shelley's Letters ed. by R. Garnett, 165. Шелли казалось, что вина была не на его сторонѣ. „Надѣюсь, что на томъ свѣтѣ всѣ такія дѣла будутъ лучше устроены“, печально острилъ онъ.

довъ“), неприятно поражаетъ читателя <sup>1)</sup>), — и довести его до состраданія, съ которымъ онъ потомъ встрѣтилъ вѣсть о безвременной кончинѣ Китса.

Начались постоянныя прогулки и поѣздки обоихъ друзей. Какъ прежде на Лидо, они каждый день уѣзжали верхомъ въ Пинету, и много хорошихъ часовъ было проведено вмѣстѣ. Шелли съѣздилъ въ Bagnacavallo, свидѣлся съ Аллегрой, приласкалъ ее. Когда онъ долженъ былъ наконецъ покинуть Равенну, онъ оставилъ послѣ себя впечатлѣніе яркаго солнечнаго луча, необыкновенно живительно блеснувшего.

Онъ звалъ Байрона за собой въ Пизу. Стараніями его съ женой, говорилъ онъ, уже найденъ тамъ для поэта прекрасный домъ. Этотъ совѣтъ поддержалъ постоянныя настоянія Терезы, не перестававшей звать Байрона въ Пизу и затруднявшейся объяснить себѣ его медлительность. Наконецъ съ Равенною пришлось проститься. Крѣпко сжился онъ съ древнимъ, заснувшимъ городомъ, гдѣ такъ много было пережито, передумано и создано. Сжилась и съ нимъ Равенна, не оффиціальная или клерикальная, а демократическая, бѣдная, привыкшая видѣть въ немъ своего друга, благодѣтеля. Вѣсть о предстоящемъ его отъѣздѣ вызвала такое движеніе въ народной массѣ, что даже власти были озабочены... Наконецъ отъѣздъ насталъ, и къ ближайшему перевалу черезъ Апеннины направился фантастическій караванъ, — онъ описанъ очевидцемъ и участникомъ, старымъ лондонскимъ знакомцемъ Байрона, поэтомъ Роджерсомъ <sup>2)</sup>), встрѣтившимъ его въ Болоньѣ. Во главѣ ѣхалъ Байронъ; „кудри его поѣдѣли, и онъ не напоминалъ болѣе отважнаго юношу, когда-то переплывшаго изъ Сестоса въ Абидосъ <sup>3)</sup>), но голосъ былъ сладостенъ, рѣчь лилась потокомъ, и изъ очей свер-

---

<sup>1)</sup> Также какъ и возможность, хоть ненадолго, повѣрить сплетнѣ о Шелли, такъ высоко имъ цѣнимомъ, — отъ чего остались печальные слѣды въ перепискѣ (V, 86).

<sup>2)</sup> Clayden, „Rogers and his contemporaries“ 1889, I, 320; также Italy“, Роджерса, строфа „Болонья“.

<sup>3)</sup> Ли Гонтъ (Recollections, 1828), вскорѣ послѣ того встрѣтившійся съ Байрономъ, нѣсколько дополняетъ это описаніе: онъ очень пополнилъ въ Италиі; шея, какъ прежде, была открыта, надъ кудрями красовалась бархатная шляпа; во время поѣздки онъ носилъ синій верховой костюмъ.

кала мысль "... А позади виднѣлся цѣлый звѣринецъ,—вѣрный другъ Байрона, догъ Моретто, сопровождавшій его въ послѣдствіи въ Грецію, другія собаки, кошки, соколъ, подъ охраной стараго венеціанскаго гондольера <sup>1)</sup>,—живучій, съ годами все усиливавшійся обычай юности Байрона, искавшіаго въ дружбѣ животныхъ возмездія за людскую вражду и фальшивость. Выступили въ походъ передъ восходомъ солнца, и едва взошло оно, „уже поднимались по суровымъ склонамъ Апеннинъ, среди лѣсной чащи, озаренной золотыми лучами“.

Наконецъ вдали показалась Пиза, мимо нея протянулась къ морю лента Арно, въ сторонѣ залегли грядами нѣжные контуры Monti Pisani; миновавъ городскую заставу Porta alle Piagge, всего въ нѣсколькихъ сотняхъ шаговъ отъ нея караванъ достигъ цѣли,—стараго палаццо Ланфранки, на набережной (теперь—Lung'Arno Mediceo). Строго простой и стройно красивый, воздвигнутый по чертежамъ Микель Анджело, онъ свободно пріютилъ у себя всю странствующую свиту Байрона; широкими сѣнями, крестъ-на-крестъ, онъ вводилъ по лѣстницѣ, выдавшей нѣкогда блестящіе приемы, въ анфиладу обширныхъ палатъ, встрѣчая входившаго прежде всего колонной залой съ лѣпнымъ плафономъ, и манилъ потомъ въ цѣлый лабиринтъ всевозможныхъ помѣщеній. Внизу было словно отдѣльное царство—обособленные уголки, какъ будто предназначенные для изолированія, для работы въ сторонѣ отъ всего. Но шума не откуда было ждать. Подъ окнами катились желтоватыя волны Арно, и плескалась, точно въ Венеціи, домовая гондола; по набережной и теперь лишь изрѣдка раздаются днемъ шаги прохожаго,—а по другую сторону дома былъ садъ, да стѣны такихъ же забытыхъ остатковъ прежняго пизанскаго величія... Обстановкой горячей личной жизни и творчества, свободно носившагося надъ землею мелкотой, снова являлась жизнь небольшого, захудалаго, дремлющаго города. Берегъ рѣки съ ея барками и плотами, по вечерамъ оживлявшійся гуляющими кучками, былъ самой шумной частью города; стоило углубиться въ

---

<sup>1)</sup> Шелли засталъ въ Равеннѣ этотъ звѣринецъ состоявшимъ изъ „восьми огромныхъ собакъ, пяти кошекъ“ и т. д. Shelley, Letters, 166.



его центръ,—и далекая старина, и безмолвіе надвигались на человѣка. Вотъ Башня Голода, гдѣ изнываль Уголино (которому, по преданію, принадлежалъ старый дворецъ, впоследствии перестроенный Ланфранки, — жилище Байрона); вотъ Площадь Рыцарей (Piazza dei Cavalieri) и церковь ихъ капитула; вотъ наконецъ несравненный палладіумъ Пизы— заросшая травой, беззвучная, странная среди новой жизни, площадь, гдѣ высится въ своемъ мраморномъ убранствѣ величавый соборъ, несется къ небу куполь баптистерія, и навѣки склонилась въ своемъ ожерельѣ изъ безчисленныхъ точеныхъ колонокъ Падающая Башня Campanile. Дальше некуда идти,—путь преграждаетъ старое Campo Santo, городъ мертвыхъ, полный статуй и могильныхъ плитъ, даже со стѣнъ своихъ, нѣмою, но краснорѣчивою живописью стародавнихъ фресокъ говорящій о страшномъ судѣ, о торжествѣ смерти.

Но развѣ вокругъ не раскинулась благословенная природа Тосканы, развѣ Средиземное море, съ ранней молодости Байрона сохранившее для него необыкновенную прелесть, не манило къ себѣ своею близостью, развѣ не сошлись снова вмѣстѣ всѣ близкіе поэту люди, и гоненія и невзгоды не замѣнились терпимыми и приличными житейскими условіями, въ странѣ, наиболѣе выдѣлявшейся изъ всей Италіи своею культурностью, чуть не либерализмомъ?

Первые же шаги Байрона въ Пизѣ показали, въ какой степени онъ захотѣлъ воспользоваться преимуществами своей новой обстановки, съ тѣмъ, чтобы не ослабить среди надвигавшейся отовсюду на него археологіи, но усилить свою дѣятельность. Быть можетъ, смягченная свиданіемъ съ своимъ другомъ, Тереза взяла назадъ свой запретъ продолжать „Донъ-Жуана“,—только подъ условіемъ не оскорблять цѣломудрія,—и полились снова блестящія импровизаціи. Проектъ основанія журнала, который служилъ бы пропагандѣ карбонарства, также приблизился къ осуществленію, завязаны литературныя сношенія въ Англіи, найденъ второй редакторъ, и вскорѣ собирается уже матеріалъ для перваго выпуска. Въ то же время, несомнѣнно, продолжалось общеніе Байрона съ партіею дѣйствія, болѣе осторожное и скрытое, чѣмъ прежде, не тѣшащее себя надеждами на скорую побѣду, но рассчитан-

ное на продолжительную, настойчивую и сначала по прежнему подземную войну. За прїѣзжимъ зорко слѣдили съ перваго же дня его появленія въ Пизѣ. Несмотря на репутацію болшей культурности, тосканское правительство не отставало отъ своихъ коллегъ въ тайномъ наблюденіи и допускало у себя, кромѣ того, самостоятельную полицейскую работу австрійскихъ агентовъ. Рукописный дневникъ одного изъ нихъ, изъ котораго выше были уже сдѣланы выдержки, наглядно изображаетъ безпокойство, причиненное прїѣздомъ Байрона и возросшее, когда затребованныя изъ Равенны свѣдѣнія о немъ раскрыли ужасающія вещи: еще бы! онъ позволилъ себѣ тамъ однажды (подробность, только этимъ источникомъ указанная) вывѣсить съ балкона свсего палаццо революціонное трехцвѣтное знамя!

Мраморная доска, украшающая прежнее Байроновское жилище (теперь—palazzo Toscanelli), упоминая о томъ, что поэтъ провелъ въ немъ время отъ осени 1821 года до лѣта 1822-го, съ особеннымъ почетомъ указываетъ, что „здѣсь онъ написалъ шесть пѣсенъ своего *Донъ-Жуана*“. И было чѣмъ гордиться! Эти пѣсни (VI—XI)—одно изъ главныхъ украшеній поэмы, и вмѣстѣ съ тѣмъ — великая заслуга Байрона передъ культурой и гуманностью. Покинувъ (хоть и не сразу) поставленную ему даже такимъ ласковымъ судьбою, какъ Тереза, въ вину фривольность, онъ перешелъ къ другой, прямо противоположной темѣ, съ такимъ же правомъ входившей въ планъ его произведенія. Въ пересмотрѣ застарѣлыхъ воззрѣній на то, что вполне нравственно, послѣ картинъ узаконеннаго разврата настала очередь для сценъ воинственныхъ, кровопролитныхъ, для грандіозной бойни, массоваго истребленія людей, почитаемаго, покрываемаго славой,—приводящихъ къ протесту противъ войны, освященной всеобщимъ сочувствіемъ и, стало быть, по сущности своей вполне *нравственной*. При помощи двухъ, трехъ книжныхъ источниковъ,—„Исторіи Новороссіи“ маркиза Кастельно <sup>1)</sup>, воспоминаній одесскаго губернатора герцога Ришелье,—справокъ въ старыхъ историческихъ сочиненіяхъ Дмитрія

---

<sup>1)</sup> Essai sur l'histoire ancienne et moderne de la Nouvelle Russie, par le marquis Gabriel de Castelnau. Paris, 1820.

Кантемира и Де-Тота,—и свѣжихъ еще въ памяти самого поэта воспоминаній и впечатлѣній изъ современной Турціи сложилось художественно цѣльное и трагически сильное повѣствованіе, искусно обставленное въ началѣ и въ концѣ легкими, непринужденными, въ Боккаччѣевскомъ вкусѣ прежнихъ пѣсень, картинками. Засыпающій гаремъ, изумленное пробужденіе Дуду въ объятіяхъ мнимой *Жуанны*, мщеніе ревнивой султанши, бѣгство несчастныхъ—смѣняются надолго лагерными сценами, боями, ужасами осады Измаила, яростью штурма, жестокостей и грабежа,—а миновали они—читатель переносится, словно въ волшебной сказкѣ, въ Петербургъ, ко двору, и остроуміе, соль, игривость разсказа вступаютъ опять въ свои права.

Звено, соединяющее всѣ эти разнородныя части, легко нашлось. Спасшійся чудомъ въ челнокъ по Черному морю Донъ-Жуанъ вполнѣ послѣдовательно, какъ вѣчный иска-тель приключеній, пристаеъ къ русской дѣйствующей арміи; совсѣмъ въ духѣ вѣка, его принимаютъ на службу, какъ принимали всевозможный разноплеменный сбродъ. Въ его способной, на всѣ руки, натурѣ нашлась и храбрость. Онъ дерется какъ левъ, на хорошемъ счету, вездѣ замѣшанъ, все видитъ. Онъ—тотъ мелкій очевидецъ и участникъ событій, который такъ необходимъ бываетъ иногда для историка-романиста (особенно когда ему приходится превращаться въ батальнаго живописца). Незамѣтно, безсознательно разгораются въ немъ боевыя инстинкты, и волна опустошенія увлекаетъ его,—но поэтъ отрекся бы отъ героя, такъ легко примирившагося съ жестокимъ своимъ ремесломъ. Жуанъ „въ пылу сраженія, какъ въ пылу любви“, увлекается, но кровь, стоны, насиліе поднимаютъ все честное со дна его души; онъ сжалился надъ осиротѣвшей турецкой дѣвочкой, Лейлой, вывелъ ее изъ огня, увезъ потомъ съ собою на сѣверъ<sup>1)</sup>. Если

---

<sup>1)</sup> Судьба послала въпослѣдствіи Байрону возможность лично повторить почти весь этотъ Донъ-Жуановскій эпизодъ. Одну изъ жертвъ греко-турецкой войны, девятилѣтнюю турчанку Гато (или Natagé), онъ пріютилъ у себя въ Мисолонги и хотѣлъ отправить ее въ Англію, гдѣ бы она воспитывалась вмѣстѣ съ его дочерью. Дѣвочка была необыкновенно бойкая и красивая. Въ послѣднемъ письмѣ къ сестрѣ Августѣ, 23 февр. 1824 г., онъ спрашивалъ, согласится ли леди Байронъ сдѣлать Гато товаркою Ады, почти

не его устами, то не въ разрѣзъ съ мыслями, которыя зародились въ его головѣ, Байронъ могъ выступить грознымъ судьей всеобщаго культа войны:

„Let there be light!“ said God, and there was light!

„Let there be blood!“ says man, and there's a sea!

„Да будетъ *свѣтъ*!“—раздался голосъ Бога,—и былъ свѣтъ. „Пусть прольется *кровь*!“—возглашаетъ человекъ,—и она разливается цѣлыми морями“. Передъ читателемъ проходитъ галерея главнѣйшихъ, прославленныхъ жрецовъ войны въ XVIII вѣкѣ, и во главѣ ея—живой, сходный съ оригиналомъ, эпическій, гротескный, суровый Суворовъ, съ его стихотворными реляціями о побѣдахъ, съ его желѣзной волей и безтрепетностью, и, въ видѣ контраста, тяжелыя картины разореннаго, измученнаго долгимъ голодомъ города, усѣяннаго трупами, оглашаемаго воплями дѣтей и матерей. Нельзя противостоятъ ни трагизму разсказа, ни тяжелой правдѣ безжалостно нагроможденныхъ сценъ ужаса, ни силѣ и убѣдительности протеста, который для автора былъ выраженіемъ давно накипѣвшаго гнѣва. „Я знаю, что иду навстрѣчу грозному отпору,—говорилъ Байронъ Муру въ примѣчательномъ письмѣ изъ Пизы (8 авг. 1822) <sup>1)</sup>, но борьба неизбежна; она должна послужить на пользу человечеству, какъ бы тяжелъ ни былъ ея исходъ для отдѣльной личности, которая отважилась бы взять ее на себя“.

И вслѣдъ за такимъ энергическимъ призывомъ къ человечности, тотчасъ послѣ печали и мрака, идетъ полная юмора картина Екатерининскаго Петербурга,—новая страница изъ поучительной исторіи нравственности. „Вольность“ рассказчика легко связала осаду Измаила и батальную живопись съ придворнымъ міркомъ на берегахъ Невы. Жуана отправили вѣстникомъ побѣды въ столицу,—этой перемѣны декораціи достаточно, чтобы на сцену хлынула толпа царедворцевъ, фаворитовъ, чтобы всѣ помыслы дѣйствующихъ лицъ

---

однихъ лѣтъ съ нею,—но подъ конецъ передумалъ и поручилъ дѣвочку попеченіямъ Кэпнеди. Послѣ смерти поэта ее вмѣстѣ съ матерью послали въ Патрасъ къ отцу, Гуссейну-Агѣ, который былъ безконечно растроганъ гуманностью Байрона.

<sup>1)</sup> См. послѣдній томъ переписки (Letters, VI, 1091, 101).

направились къ состязанію и соперничеству изъ-за милостей и царственной ласки, почитаемому чѣмъ-то вполне нормальнымъ—и, стало быть, нравственнымъ. Свѣжая, юная и экзотическая красота Жуана производитъ эффектъ; для него настаетъ пора необычайной удачи; онъ отстраняетъ всѣхъ претендентовъ. Удача подъ конецъ пресыщаетъ, изнуряетъ его; авторъ не постѣснится сообщить рецептъ лѣкарства, которое должно вернуть ему силы, — какъ не пожалѣетъ онъ красокъ для анекдотически прянаго усиленія разсказа (напр. выводя какую-то фрейлину Протасову, прозванную по ея профессіи „l'Erprouveuse“), — но долго настаивать на этой темѣ не будетъ, — вѣдь она имѣетъ для него лишь частное значеніе. „Впередъ, впередъ его исторія!“ — и въ XII пѣснѣ герой уже въ Англіи, куда его любезно удалили по минованіи его *случая*, такъ какъ оказалась необходимостью обмѣна мыслей русскаго кабинета съ британскимъ правительствомъ по торговлѣ въ Балтійскомъ морѣ, по вывозу сала, лѣса...

Съ небывалой широтой раскидывался сатирическій міровой обзоръ, и Байронъ видѣлъ теперь, съ какою робостью, нерѣшительностью, чуть не враждебностью встрѣчали его близкіе ему прежде люди. Онъ не находилъ теперь издателя. Мэррей, давно уже колебавшійся предпочитавшій анонимныя изданія, совсѣмъ отстранился; нападки на „Каина“ снова наложили на поэта ту репутацію отверженнаго, развращеннаго искуителя, которая тяготѣла надъ нимъ въ первое время послѣ изгнанія. Снова отъ него сторонились, какъ отъ прокаженнаго и опаснаго человѣка. Когда въ пересмотрѣ народныхъ кодексовъ морали, начатомъ *Донъ-Жуаномъ*, очередь дошла до Англіи, авторъ очутился наконецъ на близко знакомой ему, родной бытовой почвѣ, и во всю ширь воспользовался своимъ правомъ обличителя!...

Длинной вереницей стали проходить передъ читателемъ разнообразнѣйшіе представители вліятельныхъ общественныхъ слоевъ. Политическіе круги, чопорная знать, пошлая и пресмыкающаяся литература, царство сплетень и лицемѣрія, сцены въ парламентѣ, комическіе силуэты бездарнаго стараго короля и „совершеннѣйшаго джентльмена“ принца-регента, лондонскія и провинціальныя бытовые сцены,—на ихъ фонѣ

неотразимый баловень судьбы Жуанъ, окруженный цѣлымъ цвѣтникомъ свѣтскихъ женщинъ, поклонницъ наслажденія, но съ виду сдержанныхъ, холодныхъ и недоступныхъ,—и съ юношеской бойкостью обрисованная завязка новой пикантной интриги, когда влюбленная въ Жуана герцогиня является къ нему ночью въ видѣ призрака Чернаго Монаха,—какой широкій размахъ картины, какая пестрота, какое богатство соціальной сатиры! <sup>1)</sup>

Байронъ могъ считать себя счастливымъ, что нашелъ въ лицѣ брата его лондонскаго радикальнаго знакома, публициста Ли Гонта, Джона Гонта, предприимчивый человекъ, который не побоялся ожидавшихъ его штрафовъ и судебныхъ приговоровъ, издавая все, что ни присылалъ Байронъ, и взявъ на себя даже печатаніе его журнала.

Необходимость подобнаго органа для пропаганды карбонаризма, правда, тѣмъ временемъ представлялась Байрону не такою настоятельною, какъ въ Равеннѣ, когда его мысль не поддержали. Чѣмъ больше накоплялось разочарованій, тѣмъ непрогляднѣе становилось будущее итальянской революціи. Но Байронъ не отступалъ отъ своего плана, сильно рассчитывалъ на сотрудничество Шелли, и когда тотъ указалъ ему, какъ на необыкновенно пригоднаго соредактора, на Ли Гонта, онъ выписалъ его изъ Англіи, отвелъ ему низъ своего дома въ Пизѣ—и подавилъ въ себѣ неблагоприятное впечатлѣніе встрѣчи съ прежнимъ политическимъ мученикомъ, котораго онъ когда-то демонстративно навѣщалъ въ тюрьмѣ и который обрушился теперь на него съ большимъ семействомъ, массою буйныхъ дѣтей, малъ-мала меньше, умирающею женою, съ уязвленнымъ самолюбіемъ, невѣроятными притязаніями, болѣзненной мнительностью и упадкомъ таланта. Байрону пришлось вскорѣ содержать всю эту орду, но ради дѣла онъ и это выносилъ. Будущему журналу онъ принесъ въ даръ свое „Видѣніе суда“, все еще не напеча-

---

<sup>1)</sup> Кстати,—среди этого богатства, кажется, скрывается одинъ изъ источниковъ сюжета пушкинскаго „Скупого Рыцаря“, — именно, изображеніе поэзіи скупости и образъ скупца, созерцающаго въ подвалахъ свои богатства, подавившаго въ себѣ всѣ прихоти и влеченія чувственныя, и считающаго себя всемогущимъ повелителемъ, „the intellectual lord of all“. Пѣснь XII, 8—10.

танное. Прежній титулъ „Карбонара“ или „Карбонаровъ“ былъ измѣненъ на „Либерала“ (The Liberal), и между Пизой и Лондономъ засновали рукописи и корректуры.

Но не долго пришлось Байрону пользоваться удобствами пизанскаго затишья для нормальной, настойчивой работы. Цѣлый рядъ помѣхъ, сначала ничтожныхъ, но докучныхъ и назойливыхъ, вскорѣ роковыхъ и тяжелыхъ, разстроилъ всякое подобіе гармоніи. Первою изъ нихъ было сумбурное, странное, но все же уголовное „дѣло сержанта Мази“, какъ оно значится въ судебномъ архивѣ Пизы. Возвращавшаяся подъ вечеръ изъ загородной поѣдки кавалькада, съ Байрономъ во главѣ, подверглась столкновенію и оскорбленію со стороны какого-то кавалериста, который у самой заставы delle Piagge затѣялъ съ нею ссору, буянилъ, не давалъ никому опередить себя и пытался велѣть арестовать своихъ противниковъ. Байронъ поскакалъ впередъ, чтобы изъ своего дома послать предупредить власти; возвращаясь къ своимъ спутникамъ, онъ опять встрѣтилъ уже отставшаго отъ нихъ, но все бушевавшего сержанта, съ трудомъ отстранилъ его,—зато, едва Мази отѣхалъ отъ него на нѣсколько шаговъ, какъ чья-то рука нанесла ему тяжкія, казалось, смертельныя раны,—кинжаломъ ли, или изъ духового ружья,—осталось невыясненнымъ. Невозможность вмѣнить Байрону въ вину это „убійство“, какъ тогда говорили <sup>1)</sup>, была слишкомъ очевидна. Сторонній, поздній наблюдатель не можетъ отдѣлаться отъ мысли, что Мази, быть можетъ, переложивъ усердія, имѣлъ, однако, въ виду замѣшать Байрона въ компрометирующее происшествіе и сдѣлать его дальнѣйшее пребываніе въ Пизѣ невозможнымъ. Байрону и его близкимъ пришлось подвергнуться допросамъ; нѣкоторые изъ его слугъ (въ томъ числѣ его вѣрный Тита) были изгнаны по подозрѣнію; вмѣшательство англійскаго посланника во Флоренцію, къ которому обратился поэтъ, выгородило его

---

<sup>1)</sup> Мази, отправленный въ госпиталь, выздоровѣлъ, при чемъ не безъ фанфаронства отвергъ денежную помощь и заботливость Байрона. Это не помѣшало возникнуть легендѣ, будто Байронъ *убилъ* его. Наиболѣе эксцентричную форму приняла она въ очеркѣ „Una notte di Lord Byron“, помѣщенномъ въ венеціанскомъ журналѣ „Dottor Fausto“, 1885; противъ него выступилъ R. Cecchini въ брошюрѣ „Pro Byron“, Pisa, 1885.

личную невиновность и безопасность, но какъ только начались судебныя и полицейскія шиканы, можно было уже предвидѣть, что мирному житію въ Пизѣ будетъ положенъ конецъ. Когда же обоимъ графамъ Гамба было предъявлено предписаніе выѣхать изъ предѣловъ Тосканы, Байрону (котораго при этомъ и имѣли въ виду) оставалось лишь послѣдовать за ними.

Но какъ ничтожны были эти дразги сравнительно съ тяжкими ударами, которые готовила Байрону судьба! Изъ Баньякавалло пришла сначала вѣсть о болѣзни Аллегры, а вслѣдъ затѣмъ крошка угасла. Терезѣ выпало на долю сообщить о ея смерти отцу,—и онъ, который когда-то, въ Венеціи, увѣрялъ, что не вѣдаетъ никакихъ родительскихъ чувствъ, а потомъ привязался, по-своему, къ ребенку, былъ сраженъ, какъ громомъ. Изъ осторожныхъ намековъ Терезы онъ сразу все понялъ; смертельная блѣдность разлилась по его лицу; силы измѣнили, онъ упалъ въ кресло; взгляды застыли въ такой неподвижности, что Тереза опасалась уже за разумъ своего друга. Лишь на другое утро онъ пришелъ въ себя, и первыя слова были: „она счастливѣе насъ“. Безконечная душевная усталость, которую онъ по временамъ испытывалъ, трогательное впечатлѣніе, произведенное на него на Campo Santo мольбами простыхъ людей на могильныхъ своихъ крестахъ о вѣчномъ *покоѣ*, побуждали его находить счастьемъ долю тѣхъ, кому уже въ юности достается этотъ покой и миръ. Не фарисейскимъ истолкованіемъ всякаго горя въ смыслъ высокаго благодѣянія человѣку, но печальнымъ подъемомъ пессимизма звучать эти слова. Сожалѣніе и раскаяніе поднялись со дна души, жалость, что онъ не видалъ въ послѣднее время своей маленькой дочки <sup>1)</sup>. Онъ рѣшилъ похоронить ее въ Англіи, выбралъ для этого мѣсто въ церкви того колледжа въ Гарроу, гдѣ когда-то учился и гдѣ на кладбищѣ въ глубокой задумчивости проводилъ долгіе часы,—придумалъ надгробную надпись (изъ пророка Самуила): „я приду къ ней, но она никогда не возвратится

---

<sup>1)</sup> Авторъ уже цитированной брошюры объ Аллегрѣ доискался слѣдовъ таинственнаго появленія въ монастырѣ иностранца, прибывшаго инкогнито, и видитъ въ немъ Байрона. *La figlia di Lord Byron*, 27.



ко мнѣ“, назвалъ Аллегру въ проектѣ надписи *своею дочерью*, — и долженъ былъ перенести новое оскорбленіе, когда мѣстные святоши и фарисеи рѣшительно отвергли подобную эпитафію для *побочной* дочери и надѣлили ее безмолвной гробницей...

Отъ горя о смерти Аллегры Байронъ никогда не могъ оправиться. „Пока она жила, ея существованіе не казалось мнѣ необходимымъ для моего счастья, — но едва умерла она, мнѣ представилось, что я жить больше не могу безъ нея“, говорилъ онъ, годъ спустя, лэди Блессингтонъ<sup>1)</sup>. Печальный осадокъ разочарованій, вынесенныхъ во время агитаціи, — частые приступы меланхоліи, о которыхъ говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Тереза Гвиччіоли<sup>2)</sup>, — былъ теперь превзойденъ еще болѣе глубокимъ потрясеніемъ. Но впереди, вблизи, на разстояніи нѣсколькихъ недѣль, было другое, тяжкое горе.

Когда наступило лѣто, оба поэта выселились на морской берегъ. Байронъ выбралъ романтически красивую возвышенность Монтенеро надъ Ливорно; съ террасы занятой имъ вилы Дююи открывался видъ на острова Эльбу и Корсику, а „старый другъ его, Средиземное море плескалось у его ногъ“. Шелли поселился на виллѣ Маньи, — не въ городкѣ Леричи, какъ обыкновенно говорится въ біографіяхъ, а напротивъ его, въ рыбацьемъ мѣстечкѣ Санъ-Теренцо, среди обширнаго парка, подходившаго къ самому морю. Снова были они близко другъ отъ друга, но событія послѣдняго времени охладили преданность Шелли. На него сильно подействовали и смерть бѣдной Аллегры, и суровость Байрона по отношенію къ ея матери, которой онъ рѣшительно отказывалъ въ свиданіи съ дѣвочкой, и начинавшійся разладъ его съ Гонтомъ. Онъ старался рѣже встрѣчаться съ поэтомъ — и въ то же время не переставалъ преклоняться передъ его геніальностью. Все же это былъ печальный диссонансъ передъ близкою и роковою разлукою навсегда...

Страстный любитель морскихъ поѣздокъ, Шелли цѣлые дни проводилъ на водѣ; движеніе и плескъ волнъ, колыхав-

<sup>1)</sup> Journal of conversations etc., стр. 27.

<sup>2)</sup> My recollections of L. Byron, 1869, II 385.

шихъ его яхту, по его словамъ, служили часто прекраснымъ ритмомъ для зарождавшихся въ эти минуты стиховъ. Одна изъ подобныхъ экскурсій была предпринята черезъ Ливорно въ Пизу, на свиданіе съ Ли Гонтомъ; Шелли съѣздила туда и уже возвращался вмѣстѣ съ морякомъ, капитаномъ Вильямсомъ, и однимъ англійскимъ мальчикомъ, когда поднялась непогода. Это было въ виду урочища Il Gombo<sup>1)</sup>, прекраснаго лѣса пиній, который тянется вглубь страны до Санъ-Россоре. Навсегда останется неразгаданнымъ, что случилось съ пловцами<sup>2)</sup>: разбила ли буря ихъ судно, натолкнулось ли оно на другую барку и пошло ко дну, было ли при томъ чье-то злостное намѣреніе напасть и ограбить ѣхавшихъ въ яхтѣ и въ особенности предполагавшагося въ числѣ ихъ Байрона, котораго въ народѣ считали богачомъ<sup>3)</sup>. Яхта Шелли „Аріэль“ не вернулась; тѣла погибшихъ найдены были лишь десять дней спустя, послѣ усиленныхъ поисковъ по всему берегу.

Письма Байрона, вслѣдъ за катастрофой, говорятъ о силѣ его горя. Оно не многогѣчиво, но поражаетъ своею неутѣшностью. „Вы всѣ безчеловѣчно ошибались въ сужденіяхъ о Шелли, — пишетъ онъ Мэррею: — это былъ *лучшій* и наименѣе себялюбивый изъ всѣхъ людей, кого я только зналъ. Я не встрѣчалъ *человѣка*, который въ сравненіи съ нимъ не казался бы жалкимъ животнымъ...“ „Еще одного не стало изъ тѣхъ, въ комъ свѣтъ злобно, невѣжественно, жестоко ошибался. *Теперь*, быть можетъ, ему воздадутъ справедливость, но зачѣмъ это ему?“ — говоритъ онъ въ письмѣ Т. Муру<sup>4)</sup>. Онъ едва владѣлъ собой и во время поисковъ за тѣлами, и передъ тризной, и тогда, когда все окончилось. Очевидцы передаютъ, что въ виду тѣлъ Шелли и Вильямса Байронъ вдругъ воскликнулъ: „я хочу испытать силу волнъ, кото-

---

<sup>1)</sup> Iens Weile. „Pisa“ 1893. 54.

<sup>2)</sup> Этому вопросу посвящена книга G. Biagi, изданная по-итальянски, затѣмъ съ дополненіями въ англійскомъ переводѣ, „The last days of P. B. Shelley. New details from unpublished documents“. London, 1899.

<sup>3)</sup> Такова фантастическая версія, пущенная въ ходъ газетами „Times“ и „Daily Telegraph“ 1875 года, и опровергнутая статьею F. Tribolati въ газетѣ „Nazione“ (февраль 1876).

<sup>4)</sup> Letters, VI (1901), 98 и 99.

рыя ихъ погубили“, бросился въ воду, и уплылъ вдаль,— настолько далеко, какъ (думали тогда) заѣхалъ Шелли; проплывъ мило, онъ почувствовалъ утомленіе, повернулъ назадъ—и въ послѣдствіи, отдавая себѣ отчетъ въ ухудшеніи здоровья, видѣлъ одну изъ причинъ въ этой болѣзненно-фантастической выходкѣ.

Къ любопытной во многихъ отношеніяхъ книгѣ воспоминаній Трелони, одного изъ участниковъ въ погребальной церемоніи, приложенъ рисунокъ, наскоро сдѣланный на мѣстѣ. Берегъ моря близъ Віареджіо; вдоль воды—длинная линія лѣса, за нею—горы; на пескѣ пылаетъ костеръ; спереди стоятъ Байронъ и Трелони, сбоку—два солдата береговой стражи; у лѣса, въ повозкѣ—Ли Гонтъ <sup>1)</sup>. Описывая обстановку этой знаменательной минуты, Трелони набрасываетъ въ видѣ фона картины нѣжно голубую пелену моря, теперь успокоившагося и словно чествовавшаго своего пѣвца...

Похороны Шелли—конечно, самый эффектный примѣръ кремации, когда либо совершенный,—только мысль о *такомъ* способѣ погребенія все-же не зародилась въ умѣ Байрона, и съ смѣлой „языческой“ его идеей приходится въ этомъ случаѣ разстаться. Санитарное состояніе побережья было тогда плохо, карантинный уставъ сталъ строже обыкновеннаго, и пограничная стража объявила, что допустить только *сожженіе* тѣлъ. Но, узнавъ объ этомъ, Байронъ съ увлеченіемъ усвоилъ себѣ мысль, которая показалась ему и необычайною, и достойною его друга; она облегчала его дальнѣйшій планъ тризны—перенесеніе праха въ Римъ, введеніе его въ сонмъ великихъ.

Когда Байронъ возвращался съ Гонтомъ въ экипажѣ въ Пизу, противоположная крайность нервнаго возбужденія овладѣла имъ и заразила его спутника. Они смѣялись, пѣли, кричали; поѣздка походила на „сцену изъ нѣмецкой баллады“; „неизвѣстно, что подумалъ о насъ возница“,—замѣчаетъ Гонтъ <sup>2)</sup>. Но нервы не слушались, равновѣсіе было потеряно, сознаніе обострявшагося одиночества угнетало; ни одна идея, казалось не въ состояніи была бы привлечь

<sup>1)</sup> Trelawny. „Records of Shelley, Byron and the author“. London, 1875.

<sup>2)</sup> Autobiography, 1850, III, 18.

и возродить слишком много испытывающего человека. Снова замелькали (какъ прежде въ подобныя минуты) необычайные проекты,—бросить все въ Старомъ Свѣтѣ и выселиться въ Южную Америку, туда, гдѣ, благодаря Боливару, водворилась свобода, и т. п. Оставаться въ Пизѣ, во всякомъ случаѣ, было немыслимо. Когда же подоспѣлъ и внѣшній поводъ,—когда послѣ междоусобія среди прислуги графовъ Гамба, дошедшаго до нанесенія ранъ (увѣряли, будто Байрону пришлось кинуться, навстрѣчу боровшимся, съ пистолетомъ въ рукѣ), тосканскія власти предъявили семьѣ Гамба приказъ о немедленномъ выѣздѣ не только изъ Пизы, но и изъ государства, — Байронъ послалъ губернатору Ливорно протестъ противъ высылки и вмѣстѣ съ тѣмъ заявленіе, что „и онъ уѣдетъ также съ изгоняемыми, не желая оставаться въ странѣ, гдѣ преслѣдуютъ его друзей и отказываютъ въ убѣжищѣ несчастнымъ“ <sup>1)</sup>. Онъ переселился въ Геную, послѣдній этапъ его итальянскихъ кочеваній.

Широко, во всѣ стороны, раскинула по горамъ, охватившимъ ее, словно уступы громаднаго амфитеатра, свои передовые посты Генуя. Это—лѣтніе дворцы ея баловней, ея прежнихъ владыкъ; раскроется ли съ моря ея живописный горизонтъ, извивы ли сухопутной дороги станутъ при каждомъ поворотѣ открывать надъ глубокими долинами орлиныя гнѣзда, господствующія надъ окрестностью,—всюду, на лучшихъ по кругозору точкахъ высятся старыя резиденціи патриціевъ. Внизу кипитъ жизнь. Городъ вѣчныхъ контрастовъ, съ цѣлыми улицами роскошныхъ и художественныхъ зданій, украшенныхъ чудными портиками, статуями, но и съ дѣловой суматохой народныхъ кварталовъ, полныхъ жужжащей толпы, тѣсно застроенныхъ высочайшими, уродливыми, до крайности запущенными домами, съ немолчнымъ оживленіемъ и цѣлыми лѣсами заморскихъ кораблей въ гавани, Генуя—нѣкогда столица Доріевъ и вмѣстѣ съ тѣмъ родина Мадзини, очагъ барской узурпаціи республиканства и исходный центръ самоотверженнаго служенія итальянской свободѣ, теперь рѣ-

---

<sup>1)</sup> Раскрытіе ближайшихъ причинъ къ выѣзду Байрона сдѣлано было по офиціальнымъ документамъ Tribolati въ его статьѣ „Byron a Pisa“, Nuova Antologia 1874, июль.

пительно склонившаяся ко второй, демократической своей цѣли, не по днямъ, а словно по часамъ растетъ и вширь и вверхъ, покрыла уже всѣ ближайшіе холмы свѣтлыми, здоровыми, обильными зеленью кварталами новаго типа, подошла ко многимъ, прежде загороднымъ, вилламъ вельможъ и богачей, и обложила ихъ своей трезвой простотой. Такова, конечно, черезъ десятокъ, другой лѣтъ будетъ участь одного изъ красивѣйшихъ уголковъ надъ Генуей,—*collina d'Albaro* (или, по имени прихода, *San Francesco d'Albaro*), выбраннаго Байрономъ для своего жилья; дома предмѣстья подошли совсѣмъ къ подножію холма, но еще не покрыли его склоновъ сплошными своими рядами. При Байронѣ поселокъ Альбаро былъ отдаленъ отъ города на двѣ мили. Если и теперь съ большой террасы *palazzo Brian* (прежде—*casa Saluzzo*) открывается красивый видъ на громады городскихъ зданій, гряды горъ и полосу моря,—то въ старые годы, когда ни одна вилла не загораживала панорамы, когда поля, перелѣски и виноградники покрывали собой непрерывную теперь территорію новаго города, и море „безконечной пеленою“ разстилалось вдали, эстетическая обстановка Байроновскаго жилища не оставляла желать ничего лучшаго. Она могла бы напоминать поэту его любимую нѣкогда виллу Діодати, еслибъ стѣсненный кругозоръ Женевскаго озера могъ выдержать сравненіе съ просторомъ моря.

Условія жизни въ этомъ красивомъ уединеніи были необыкновенно удачны. Вдоль пролегающей передъ домомъ Байрона большой дороги, ведущей на *Riviera di Levante*, время отъ времени показывались изъ зелени парковъ или затѣйливыхъ садовъ, со статуями и увитыми лозою ажурными галлереями, другія виллы,—на противоположномъ краю Альбаро, за церковью, надъ морскимъ заливомъ, вилла Негрото (теперь *Cambiaso*),—выше Байроновскаго жилища, на самомъ гребнѣ, легкій, изящный палаццо Бомбрини, прозванный за приволье его „*il Paradiso*“. Въ первой поселились вдова Шелли и Гонтъ; второй заняла культурная англійская семья,—совсѣмъ новые для Байрона люди, сумѣвшіе, однако, во многомъ скрасить послѣдніе мѣсяцы его итальянскаго житія, графъ Блессингтонъ, его умная, блестящая и (судя

по недавно воспроизведенному <sup>1)</sup> портрету, кисти извѣстнаго Т. Лоуренса) замѣчательно красивая жена, и признанный „другъ дома“, неразлучный ихъ спутникъ, молодой comte d'Orsay, что-то въ родѣ Байрона въ молодости, такой же увлекающійся и увлекательный, насмѣшливый, неотразимый и изящный „второй Антиной“. Въ Альбаро жилъ (нѣсколько дальше) вѣчный обличитель „тирановъ“, поэтъ-мыслитель Ландоръ <sup>2)</sup>. Часто появлялся эксцентрическій, съ фигурой неаполитанскаго бандита, горящими глазами и густою шапкой черныхъ кудрявыхъ волосъ, другъ Шелли, Трелони, въ вѣчномъ ожиданіи подвиговъ и геройской борьбы, которая избавила бы его отъ постылой житейской прозы. Цѣлая англійская интеллигентная колонія, вполне подѣ съ стать требованіямъ Байрона, образовалась вокругъ него.

Но Байрона это не занимало болѣе; прошло время для оживленнаго, развлекающаго общенія съ людьми, даже для совмѣстной съ ними работы. Единственное, что скрашивало еще жизнь изо дня въ день,—это были встрѣчи съ Блессингтонами. Искусная собесѣдница, графиня умѣла всегда направлять разговоръ на темы художественныя, литературныя, политическія, на неясныя для нея вопросы изъ біографіи поэта, даже на самое больное мѣсто,—отношенія его къ женѣ,—запоминала всѣ подробности отвѣтовъ и составила изъ нихъ цѣнную запись своихъ „Разговоровъ съ Байрономъ“ <sup>3)</sup>. Въ характерѣ и сужденіяхъ d'Orsay Байронъ узнавалъ близкія ему черты, съ интересомъ читалъ ѣдко-насмѣшливыя его очерки англійской жизни <sup>4)</sup>, даже ввелъ нѣсколько ихъ отголосковъ въ позднѣйшія главы „Донъ-Жуана“. Иногда вмѣстѣ съ новыми друзьями онъ предпринималъ поѣздки верхомъ; тогда цѣлью ихъ былъ поразившій Байрона своею красотой Нерви, съ роскошью тропической растительности, съ стѣною скалъ, омываемыхъ голубыми волнами.

<sup>1)</sup> При пятомъ томѣ „Писемъ“, изд. Мэреемъ, 1901. Это—одно изъ украшеній изящнаго изданія.

<sup>2)</sup> Байронъ не прощалъ ему, дѣйствительно странныхъ при его образѣ мыслей, связей съ Соути; Ландоръ, безъ того нелюдимъ, зналъ это и избѣгалъ Байрона.

<sup>3)</sup> Ея „Journal of conversations with Lord Byron“ нѣсколько разъ переиздавался; послѣднее изданіе 1894.

<sup>4)</sup> Они остались въ рукописи.

Но все это были случайные просвѣты. Ничто не захватывало, не наполняло жизнь, не брало верхъ надъ ѣдкой грустью. Мысль о журналѣ не была покинута, и первые выпуски уже стали выходить,—но со смертью Шелли какъ будто отлетѣлъ духъ, способный еще вдохновить это изданіе. Редакціонная часть сосредоточилась въ рукахъ Гонтя; Байронъ называлъ теперь въ перепискѣ своей „Либерала“ *его* органомъ; видя, *какъ* онъ принимается за дѣло, наблюдая, какъ его мелкая, самомнящая, завистливая натура съ каждымъ днемъ прорывается наружу, какъ уязвляетъ его денежная поддержка, какъ ропщетъ онъ на сдержанное недовольство, испытываемое Байрономъ при видѣ очутившейся на его попеченіи большой семьи, Ли Гонтъ сталъ для него невыносимымъ, совмѣстный съ нимъ трудъ тягостнымъ. Журналъ былъ богато обставленъ новыми произведеніями Байрона (тамъ наконецъ явились „Vision of judgement“, „Heaven and Earth“), давалъ политическія сатиры (напр. The monarchs, an ode for Congress, ироническое описаніе эпохи конгрессовъ), переводы изъ итальянскихъ поэтовъ, очерки Италіи, Шеллиевскія переложенія изъ „Фауста“ Гёте, бойкія критическія статьи, нападавшія на старое поколѣніе въ Англіи, этюды о Шекспирѣ и т. д. Но съ перваго же нумера англійская печать яростно ополчилась противъ новаго журнала, рѣшивъ не допустить отверженному поэту стать однимъ изъ руководящихъ публицистовъ; во второмъ выпускѣ пришлось уже протестовать противъ нетерпимости лицемѣровъ, сплотившихся противъ Либерала,—но журналъ такъ и не пошелъ, оставившись на четвертомъ выпускѣ <sup>1)</sup>. Раздраженный и неблагодарный Гонтъ не простилъ Байрону этой неудачи и

---

<sup>1)</sup> The Liberal. Verse and prose from the south. London, John Hunt, 1822—1823. Изданіе теперь рѣдко находимое. Я пользовался экземпляромъ Британскаго Музея. Предисловіе указываетъ, что цѣль изданія не политическая, оговариваясь, однако, что въ наше время всякое проявленіе литературной дѣятельности не можетъ отрѣшиться отъ связей съ политикой. Журналъ будетъ стоять за широкое развитіе испытующей мысли и *вполнѣ* солидаренъ съ мнѣніями истинно либеральной партіи,—не тѣхъ мнимыхъ либераловъ, которые готовы допустить извѣстное вольномысліе, но „подъ условіемъ не трогать ни короля, ни Веллингтона, ни Кэстльри“ и т. д.

отплатилъ ему въ послѣдствіи полной клеветъ и инсинуаціей книгой „Воспоминаній“ <sup>1)</sup>).

Не давала удовлетворенія и творческая работа. Странно видѣть Байрона занятымъ, послѣ могучаго размаха „Донъ-Жуана“, такими драматическими упражненіями, какъ сенсационная драма „Вернеръ“, — новѣйшая редакція еще въ Англіи набросаннаго имъ переложенія мелодраматическаго разсказа миссъ Ли „The German's Tale“, — или неоконченная (два акта и хоръ изъ третьяго) пьеса, составленная изъ обломковъ старой (1803 года) повѣсти Дж. Пикерсгиля и Гетевского „Фауста“, — „The Deformed Transformed“. Старые счеты поэта съ судьбой, будто бы надѣлившей его уродствомъ, счеты, давно порѣшенные поклоненіемъ женщинъ и блескомъ общественнаго пріема, опять ожили зачѣмъ-то въ послѣдней драмѣ; изъ дальняго угла памяти возстали попреки матери хрому мальчику за его уродство. Изъ трагедіи Гете взять мотивъ чудеснаго превращенія и введенъ въ число дѣйствующихъ лицъ призракъ, онъ же дьяволъ; личность героя раздваивается, — красивый и безобразный продолжаютъ жить, устремляются на міровую арену, ведутъ насъ въ Римъ, въ разгаръ схватки лютеранъ съ католиками, — и замолкаютъ, едва намѣтивъ контуры любовной стороны сюжета. Нѣсколько прекрасныхъ хоровъ едва искупаютъ блѣдность замысла, и сужденіе Шелли (знакомаго, правда, лишь съ первымъ наброскомъ, начатымъ въ Пизѣ), смѣло заявившаго, что это — худшее изъ написаннаго Байрономъ (послѣ этихъ словъ поэтъ сжегъ на глазахъ у Шелли свою рукопись) невольно приходитъ на память... Среди работъ подобнаго рода является вдругъ пережитокъ старой лирической манеры юношескихъ поэмъ, — картины моря, жизнь корабельщиковъ и пиратовъ, сцены возстанія и мятежа, пригрезившіяся поэту послѣ чтенія старинной (еще XVIII-го вѣка) флотской реляціи, — „The Island“. Снова — въ послѣдній разъ — поэтъ является увлеченнымъ живописцемъ природы, разукрасивъ ее радужными оттѣнками южнаго, тихо-океанскаго

---

<sup>1)</sup> „Lord Byron and some of his contemporaries“. Стананія Гонта очернить великаго поэта возмущили друзей Байрона, и Том. Муръ зло осмѣялъ пасквильанта въ своемъ стихотвореніи „Мертвый левъ и живой щенокъ“.



климата; послѣ сценъ злобы и мятежа онъ съ особенною любовью останавливается на придуманной имъ идилліи,—новомъ пересказѣ эпизода Донъ-Жуана и Гайдэ,—и послѣ тревоженій, перенесенныхъ нѣжно любящими другъ друга юношей-англичаниномъ и дикаркой, соединяетъ ихъ навсегда на лонѣ природы и патріархальнаго быта какихъ-то острововъ Тонга. Въ его описаніяхъ, въ лирическихъ движеніяхъ героевъ есть прелестныя частности; на всемъ разсказѣ лежитъ особый отпечатокъ, побудившій Nichol'я признать, что въ этой поэмѣ болѣе душевнаго мира, нежели въ чемъ-либо написанномъ Байрономъ <sup>1)</sup>. Но этотъ миръ—лишь временный душевный отдыхъ, мало соотвѣтствовавшій господствовавшему настроенію Байрона въ ту пору. Старанія нѣкоторыхъ изъ новѣйшихъ объяснителей Байрона найти въ „Островѣ“ доказательство обрѣтенной имъ наконецъ гармоніи разбиваются объ тотъ характерный фактъ, что въ Генуѣ же написанъ былъ—„Бронзовый Вѣкъ“...

Здѣсь-то поэтъ нашъ дѣйствительно въ своей истинной стихіи, Онъ—гнѣвный политическій сатирикъ, обличитель „эпохи конгрессовъ“, суровый оцѣнщикъ внутренней и внѣшней политики импер. Александра <sup>2)</sup>, заступникъ за права греческаго, испанскаго, польскаго народовъ, бичующій англійскую реакцію и главныхъ виновниковъ ея. Какъ бы ни старался онъ отклониться въ сторону мелодрамы, фантастики, тихо-океанской идилліи, потокъ времени увлекалъ его снова съ собою, и онъ возвращался къ своему призванію.

Съ его собственныхъ словъ одинъ изъ его сотрудниковъ въ греческой экспедиціи, Финлей, передаетъ, что къ концу генуэзскаго житія жажда дѣятельности на народную пользу, не удовлетворяемая болѣе подавленной и едва тлѣвшеею итальянскою агитаціею, стала такъ велика и настоятельна, что онъ уже былъ наканунѣ отъѣзда въ Испанію, гдѣ, слышалъ

---

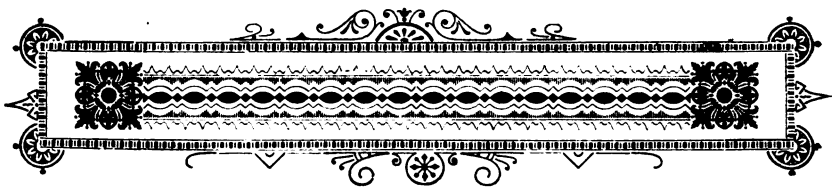
<sup>1)</sup> Byron (English men of letters), by John Nichol. 1880, 171.

<sup>2)</sup> Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ нашелъ живыя краски для прославленія отпора Москвы Наполеону и изображенія московскаго пожара 1812 года (Age of Bronze, строфа V). Онъ называетъ пылающую Москву—„sublimest of Volcanoes“.

онъ, снова поднималось революціонное движеніе. Задолго до извѣстнаго Бисмарковскаго изреченія онъ въ одной изъ статей „Либерала“ формулировалъ руководящій современный политическій принципъ: „Сила выше права“ (Might before right), и считалъ своей обязанностью выступать противъ этой торжествующей идеи всюду, гдѣ только представится къ тому возможность.

Въ это-то время передъ нимъ появились депутаты отъ греческаго народа...

---



## VI.

Юношескія симпатіи къ подавленной и страждущей Греціи никогда не ослабѣвали у Байрона. Переписка его то-и-дѣло свидѣтельствуеъ о живомъ интересѣ, съ которымъ онъ слѣдилъ за проблесками ея возрожденія, за частичными успѣхами возстаній и вспышекъ, предвѣщавшихъ всеобщее движеніе 1822—23 годовъ. Сколько разъ возникала у него мысль устремиться на помощь освобождающемуся народу, какъ искренно онъ сознавалъ, что всегдашнее заступничество за него должно рано или поздно перейти отъ словъ къ дѣлу,—что его поэтической проповѣди суждено стать вдохновительницей народнаго возстанія <sup>1)</sup>! Послѣ крушенія итальянской революціи, когда Пьетро Гамба (какъ мы уже знаемъ) рѣшилъ лично для себя активное вмѣшательство, съ трудомъ удержанный Байрономъ, возможность подобнаго исхода вполне опредѣлилась. Соприкосновеній съ эллинской партіею дѣйствія было не мало до открытаго перехода на сторону грековъ. Такъ Шелли былъ въ Пизѣ (раньше пріѣзда туда Байрона) очень близокъ съ однимъ изъ выдающихся греческихъ эмигрантовъ, Маврокордато, который оттуда и направился въ отечество, чтобы внести въ революціонное броженіе твердыя основы и цѣли. Живя въ Генуѣ, Байронъ не могъ не слышать о томъ, что филэллинскіе комитеты начинаютъ возни-

---

<sup>1)</sup> Такъ смотрѣлъ на его призваніе Пушкинъ въ наиболее страстный періодъ своего байронизма. „Возстанъ, о Греція, возстанъ! восклицалъ онъ... Расторгни рабскія вериги при пѣвѣ пламенныхъ стиховъ Тиртея, Байрона и Риги“.

катъ въ главныхъ городахъ Англіи и остальной Европы <sup>1)</sup>, собирая вокругъ себя тѣ свѣжія силы, которыхъ не удалось сломить реакціи, и давая имъ въ этомъ альтруистическомъ порывѣ выходъ изъ томительнаго застоя. Онъ не могъ не знать, что англійскіе либералы уже организовывали время отъ времени митинги для выраженія греческихъ симпатій, что на митингахъ вождями бывали такіе единомышленники его, какъ Гобгаузъ. Принятое послѣ такой прелюдіи окончательное рѣшеніе вытекало, стало быть, и изъ многолѣтней, можно сказать, поэтически окрашенной преданности Греціи, и изъ зрѣло обдуманной политической программы, въ которую равноправно входило освобожденіе всѣхъ угнетенныхъ, и изъ того потрясеннаго душевнаго состоянія, которое испытывалъ, послѣ ряда потерь и разочарованій, Байронъ въ Генуѣ, тоскуя о подвигѣ, способномъ всецѣло захватить его. Старанія Эльце <sup>2)</sup>, съ которымъ на этотъ разъ расходится новѣйшій нѣмецкій біографъ Байрона, обыкновенно до смѣшного вѣрный указкъ своего предшественника <sup>3)</sup>,—попытки объяснить рѣшеніе, принятое поэтомъ, мелкими эгоистическими цѣлями, желаніемъ обратить на себя вниманіе всего міра и т. д. (увѣрялъ же Эльце, что тѣми же мотивами руководился Байронъ и при основаніи „Либерала“, чувствуя охлажденіе публики и желая слова завладѣть ея вниманіемъ!), неправдивы, безконечно сухи и черствы, и силятся—хоть и совершенно тщетно—уничтожить тотъ ореолъ, которымъ кончина Байрона въ Греціи окружила память его во мнѣніи всей современной ему Европы, почти безъ различія партій.

Въ началѣ апрѣля 1823 г. два эмиссара постучались въ Альбаро къ Байрону; одинъ былъ англійскій грекофилъ Эдвардъ Блэкберъ, другой—природный эллинъ Андрей Луріотисъ, посланецъ инсургентовъ къ друзьямъ въ Англію, возвращавшійся въ отечество. На пути къ Ионическимъ Остро-

---

<sup>1)</sup> Colonel Leicester Stanhope, „Greece in 1823 and 1824, стр. 29, говоритъ, что въ Москвѣ такой комитетъ существовалъ съ 1817 г., основанный Николаемъ Паксимальи. Одинъ изъ членовъ, Анастасій Горголи, пожертвовалъ на дѣло 25.000 руб.

<sup>2)</sup> Karl Elze, „Byron, eine Biographie“.

<sup>3)</sup> Richard Ackermann, „Lord Byron“. Heidelberg, 1901, 136.

вамъ они сдѣлали изворотъ въ Геную, заручившись поддержкой Трелони, и предваривъ о своемъ прїѣздѣ письмомъ къ Байрону, написаннымъ (по мнѣнію Трелони) съ большою затратой идеалистическаго паѳоса и декламации. Усердіе было однако, излишне. Краткая записка поэта (Letters, VI, 185—6), которая пригласила ихъ въ „villa Saluzzo“, прямо говорить о томъ, что онъ „не въ состояніи даже выразить, до какой степени сочувствуетъ ихъ національному дѣлу, что только надежда стать свидѣтелемъ освобожденія Италіи могла удержатъ его отъ желанія содѣйствовать, насколько это возможно для отдѣльной личности“ и т. д. Личныя объясненія съ греческими агентами могли только разжечь это желаніе. Байронъ слышалъ подробный рассказъ о положеніи дѣлъ, — о томъ, что подорванное, подкопанное ~~отовсюду~~ и частью свергнутое турецкое владычество накануне ~~губели~~, но страшно въ своихъ предсмертныхъ издыханіяхъ и способно, собираясь по временамъ съ силами, мстить рѣзней и массовыми истребленіями, что раздоры греческихъ вождей между собой, Ипсиланти съ Маврокордато, послѣдняго съ популярнымъ въ восточной Греціи Одиссеемъ, губятъ дѣло, что успѣшно начатая организаціонная работа „національнаго собранія“ въ Эпидаврѣ, установившаго республиканскую форму правленія, съ президентомъ во главѣ, парализуется интригами себялюбцевъ, что народныя силы, всюду готовые къ дружной борьбѣ, нуждаются для успѣха ея въ возможности сплотиться вокругъ *одного*, великаго, безкорыстнаго, глубоко всѣми почитаемаго вождя, передъ которымъ смолкнуть ссоры и народъ объединится. Чье же имя выше и величественнѣе пѣвца свободы, друга Греціи, вызывавшаго ее воспрянуть, когда еще влачила она свое рабство!

И Байрону представилось, что это обращеніе къ нему — воля судьбы, что уклониться онъ не можетъ и не долженъ, что такой выходъ — единственный для него. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, его подхватила и понесла волна энтузіазма въ окружавшей его средѣ. Ничто не могло теперь остано- вить молодого Гамба, въ бой рвался Трелони, въ греческій комитетъ поспѣшилъ вступить родственникъ Шелли, Медвинъ, незадолго передъ тѣмъ появившійся въ Италіи, и, какъ когда-то Босвелль у Джонсона или впослѣдствіи Экermannъ у Гёте,

подстерегавшій малѣйшія частности разговора великаго человека, чтобы ихъ оттиснуть въ книжкѣ <sup>1)</sup>; въ Англіи греческимъ дѣломъ бредили такіе близкіе люди, какъ Гобгоуэзъ или Киннэрдъ. Никого не останавливала мысль о возможности неудачи, или воспоминаніе о плачевной участи прежнихъ волонтерскихъ отрядовъ, за два года раньше Байрона являвшихся со всѣхъ концовъ Европы въ качествѣ сотрудниковъ греческаго освобожденія,—„выходцевъ изъ Франціи, Германіи, Италіи, Польши, людей всѣхъ возрастовъ и состояній, военныхъ, моряковъ, богатыхъ и бѣдныхъ, хорошихъ и дурныхъ,—иногда очень талантливыхъ и полныхъ добрыми намѣреніями“, о которыхъ Байронъ говоритъ въ найденной теперь запискѣ „о положеніи Греціи“, составленной незадолго до его смерти <sup>2)</sup>. Когда въ Генуѣ появились изнуренные отъ голода, прошедшіе всю Италію пѣшкомъ съ четырьмя лирами въ общей казнѣ нѣмцы изъ разбитаго при Пергѣ легіона графа Нормана, это подѣйствовало на Байрона, только вызвавъ состраданіе и заботу объ ихъ дальнѣйшемъ пути, не охладивъ его намѣреній.

Но необходимая для его „греческой экспедиціи“, безсрочной, непроглядной, ломка жизни требовала не только ликвидаціи собственности, разрыва съ сложившимися привычками и обычаями, съ Италіею, съ которой онъ такъ сроднился,—нужно было самому совершить ликвидацію личной жизни, семейной связи, счастья. Не разъ возникалъ вопросъ о томъ, *было* ли что порывать въ данную минуту, удержались ли до нея и связи, и счастье. Лицомъ къ лицу стоятъ такія противоположныя мнѣнія, какъ поэтическое возвеличеніе любви Байрона къ Терезѣ Гвиччіоли и самаго ея образа, доведенное до крайняго экстаза въ этюдѣ Энрико Ненчюни <sup>3)</sup>, и съ другой стороны полный скептицизмъ Джэфрсона, портретъ суетной, себялюбивой интригантки, ко-

---

<sup>1)</sup> Помимо способности Медвина къ вымысламъ, лишающей его книгу той достовѣрности, которою отличаются, напр., показанія Экерманна, теперь не подлежитъ сомнѣнію, что Байронъ, предупрежденный Трелони и другими, что Медвинъ какъ будто собираетъ матеріалы для книги, часто забавлялся тѣмъ, что мистифицировалъ его.

<sup>2)</sup> The present State of Greece, помѣчено 26 февраля, 1824.

<sup>3)</sup> Enrico Nencioni, „Medaglioni“. Roma, 1883.

торый даетъ Къярини <sup>1)</sup>, или, казалось бы, авторитетное заявленіе свидѣтеля ранняго періода Байроновской связи, Гошпнера <sup>2)</sup>, который утверждалъ, подѣ старость, ссылаясь на „лэди Г., которую Байронъ часто видѣлъ въ Генуѣ“, и даже на „Madame Guiccioli“, что онъ уѣхалъ въ Грецію, чтобъ разойтись съ Терезой, такъ какъ прожилъ съ нею цѣлыхъ четыре года, т.-е., по его же словамъ, втрое дольше, чѣмъ онъ въ состояніи былъ прожить съ какою бы то ни было женщиной. Истины нѣтъ ни въ одномъ изъ этихъ крайнихъ мнѣній. Романтической страсти давно не было (онъ не переставалъ, однако, признавать красоту и изящество Терезы и залюбовался бюстомъ ея, сдѣланнымъ скульпторомъ Бартолини въ Пизѣ), но ее смѣнила привязанность, многолѣтняя привычка, дружба, способная на такія уступки, какъ недавняя пріостановка „Донъ-Жуана“.

Героическій эпилогъ тревожной жизни, греческая экспедиція назрѣла, видѣли мы, изъ глубокихъ и сложныхъ причинъ высшаго порядка; когда Байронъ принялъ свое рѣшеніе, первая его забота (какъ показала теперь переписка) была о томъ, чтобъ склонить, уговорить Терезу дать свое согласіе, отпустить его. Уѣзжалъ онъ вмѣстѣ съ любимымъ ея братомъ,—и снова какъ въ періодъ итальянскихъ заговоровъ, она была свидѣтельницей того, что принимала неукротимая энергія двухъ близкихъ ей людей.. Приведенный выше разсказъ итальянца Моранди, которому поручено было, въ случаѣ смерти поэта, возвратить Терезѣ ихъ переписку за время греческаго похода, говорить о необыкновенной нѣжности ея тона. Наконецъ, нѣсколько отрывковъ, которые чопорный въ такихъ вопросахъ Томасъ Муръ позволилъ себѣ привести изъ дошедшихъ до него писемъ Байрона къ подругѣ изъ Греціи <sup>3)</sup>, показываютъ желаніе дѣлиться вѣстями и въ то же время успокаивать, смягчая краски, ссылаться на хорошіе дни, проведенные вмѣстѣ,

---

<sup>1)</sup> Giuseppe Chiarini, Studi e ritratti letterari, 1900. „L. Byron e Teresa Guiccioli“, 435—61.

<sup>2)</sup> Athenaeum, 1869, May 22, „Byron at Venice“, by R. Belgrave Hoppner.

<sup>3)</sup> Moore, Life of Byron, стр. 601. Сравни также въ письмѣ къ Чарльзу Барри (Letters, VI, 291) 10 дек. 1823 просьбу передать Терезѣ успокоительныя извѣстія о ходѣ дѣлъ.

мечтать о возвращеніи въ Италію, когда можно будетъ вспоминать о недавно пережитомъ. Прошла, конечно, та пора, когда ему казалось, что онъ жить безъ нея не можетъ,—но все же правы были тѣ, кто, какъ Гверрацци, любовался подвигомъ человѣка, который „полетѣлъ на освобожденіе страждущаго народа, вырвавшись изъ объятій любимой женщины“.

Никогда въ такомъ блескѣ не проявлялась энергія и *деятельность* Байрона, какъ съ начала его приготовленій къ отплытію и до послѣдняго сознательнаго его часа. Какъ кипитъ въ его рукахъ дѣло, какъ предусматриваетъ онъ всевозможныя случайности, военныя, санитарныя <sup>1)</sup>, продовольственныя, дипломатическія, какъ широко раскидываетъ онъ сношенія и переписку, бойко вербуетъ и подбираетъ себѣ сотрудниковъ и волонтеровъ,—и какъ щедро, обрѣзая себя во всемъ (Тереза, не оставшаяся послѣ него въ Альбаро, уѣхала къ отцу въ Болонью), онъ къ затратамъ своихъ силъ самоотверженно присоединяетъ столь значительную денежную помощь, что по временамъ онъ, единолично, несъ на своихъ плечахъ все финансовое бремя войны! Карбонарство было только пробой, намекомъ,—теперь же въ Байронѣ открылись такія надежныя дарованія народнаго дѣятеля и вождя, что у него могла промелькнуть мысль, не была ли главной ошибкой его жизни поэзія и истиннымъ призваніемъ—„политика“.

Продано было все сколько-нибудь цѣнное въ убранствѣ и обстановкѣ его дома, полученъ весь литературный гонораръ, который можно было получить, взяты авансы подѣ обезпеченіе годовой ренты, посланы обычнымъ дѣловымъ агентамъ въ Англію настоянія ускорить продажу послѣдняго родового достоянія, рочдальскихъ каменноугольныхъ копей. Все обращено было въ деньги,—или превращалось въ деньги въ ближайшемъ будущемъ, по приказамъ Байрона, посылавшимся изъ его главной квартиры, въ Кефалоніи или подѣ Мисолонги. Ничто не останавливало, не охлаждало. Сколько

---

<sup>1)</sup> Онъ обратился къ знаменитѣйшему тогда въ Италіи доктору Андреа Ваккѣ съ просьбой указать медиковъ для экспедиціи. Вакка готовъ былъ бы самъ поѣхать съ Байрономъ и глубоко сожалѣлъ, что семья и разнородныя житейскія отношенія мѣшаютъ ему это сдѣлать.



бы неудачъ и разочарованій ни готовила ему судьба, онъ ни на шагъ не отступилъ отъ великодушно начатаго подвига и донесъ до конца свой идеализмъ. Никогда еще исторія человѣчества не видѣла такой героической роли вдохновеннаго поэта; она знала короля Вольтера, верховнаго заступника за справедливость и гуманность, стража научной свободы, пророка испытующаго разума, но не ожидала, что „властитель думъ“, чарующій художникъ, станетъ отважнымъ подвижникомъ народной свободы, главнокомандующимъ народнаго войска. Явленіе было такъ необычайно и величаво, что привлекло во всей Европѣ симпатіи даже въ тѣхъ слояхъ и партіяхъ, которые неблагоклонно или равнодушно относились къ поэтическимъ дѣяніямъ Байрона или фарисейски судили его личную жизнь. Когда бригъ „Геркулесъ“ отплылъ изъ Генуи (16 іюля 1823 г.) съ Байрономъ, Гамбой, Трелони, въ *послѣднее* путешествіе великаго „пилигрима вѣчности“, всѣмъ стало ясно, что настали міровыя событія.

Во все время долгаго плаванія, пока корабль огибалъ итальянскій полуостровъ, направляясь къ Іоническимъ Островамъ, Байронъ испытывалъ постоянную смѣну энергіи и упадка, вѣры въ дѣло и скептицизма. Говорятъ, одною изъ книгъ, которыя онъ читалъ въ пути, были „Максимы“ Ларошфуко (остальное чтеніе его было тоже подъ одну стать—Свифтъ, Вольтеръ, Монтань). Отдаваясь влеченію чисто идеальному, онъ вливалъ въ себя отраву крайняго сомнѣнія этого извѣрившагося, все развѣнчивавшаго моралиста... Ему не мало говорили о томъ, что его пріѣзда всѣ страстно ждутъ въ Греціи, что все готово сплотиться вокругъ него; еслибъ вѣрить оптимистамъ, ему предстояло триумфальное шествіе. Къ нему придутъ закаленные въ бояхъ суліоты, созданный временнымъ національнымъ правительствомъ греческій флотъ будетъ поддерживать съ моря дѣйствія сухопутныхъ войскъ. Но въ воображеніи вставалъ призракъ междоусобій и раздоровъ между греками, чудилась нестройность инсургентскихъ отрядовъ, возникалъ вопросъ, сумѣетъ ли онъ при неопытности въ военномъ дѣлѣ явиться организаторомъ и стратегомъ. Отступать нельзя, судьба зоветъ впередъ... Мысли роились и сплетались,—а тутъ же,

рядомъ съ Байрономъ, ихъ старались подстеречь два при-  
мкнувшіе въ Ливорно грека, — турецкіе шпіоны.

Раздумье и осторожность проявились въ томъ, что вмѣ-  
сто высадки прямо на греческій материкъ рѣшено было  
сначала остановиться на одномъ изъ Іоническихъ Острововъ  
и ждать, пока не придетъ отъ національнаго правительства  
вѣсть о томъ, что все готово и настала пора дѣйствовать.  
Избрана была Кефалонія. Дологъ былъ путь, слишкомъ де-  
вятнадцать дней, но море освѣжило и подняло Байрона,  
впечатлѣнія далекой юности стали всплывать вереницами,  
едва онъ вошелъ въ воды Іоническаго архипелага, и когда  
корабль бросилъ, 4-го августа, якорь въ гавани Аргостоли,  
на сушу вступилъ бодрый, готовый къ дѣлу человѣкъ, какъ  
будто не перенесшій въ недавнемъ прошломъ столько по-  
трясеній. Но *дѣла* ему долго пришлось ожидать! Мѣсяцы  
проходили, и желаннаго призыва не раздавалось... „Мертвые  
встаютъ—могу ли я предаваться сну?“—восклицалъ Бай-  
ронъ (сент. 1823) въ стихотворномъ введеніи къ начатому  
имъ (и теперь вполне напечатанному), но скоро прерван-  
ному дневнику. „Во всемъ мірѣ настала борьба противъ ти-  
рановъ—могу ли я уклониться отъ нея? Жатва созрѣла—  
могу ли я промедлить съ работою жнеца? Каждый день раз-  
дается трубный призывъ и будить отзвукъ въ моемъ сердцѣ“. Но  
„трубнаго звука“, который призывалъ бы *его* на бой, не  
слышно было. Вмѣсто того приходили вѣсти о новыхъ раз-  
дорахъ между греками, о партійной враждѣ, превращав-  
шейся не рѣдко въ междоусобіе. Лондонскій комитетъ пору-  
чилъ Байрону быть его представителемъ передъ народнымъ  
правительствомъ, — но правительство это было ненаходимо.  
Онъ велъ оживленную переписку съ главными дѣятелями  
комитета, въ особенности съ его секретаремъ Джономъ Бо-  
урингомъ, энтузіастомъ освобожденія, знатокомъ греческой и  
русской литературы (употребившимъ время ареста своего  
въ Булони, вызваннаго распоряженіемъ французскихъ вла-  
стей, заподозрѣвшихъ въ немъ филэллинскаго агента, для  
составленія хрестоматіи „Образцовъ русской поэзіи“<sup>1)</sup>), пи-  
салъ и греческимъ вождямъ, особенно Маврокордато, взялъ

1) Specimens of russian poets. London. 1821—23.

въ свою личную службу отрядъ изъ сорока суліотовъ, и вмѣстѣ съ близкими людьми обсуждалъ и обдумывалъ въ деталяхъ планъ дѣйствій. чтобъ не быть застигнутымъ врасплохъ. Вокругъ него образовалась теперь довольно многочисленная и далеко не бездарная группа международныхъ, — впрочемъ, главнымъ образомъ англійскихъ, — волонтеровъ освобожденія. Гамба, Моранди, молодой докторъ Бруно, представляли собой итальянскій элементъ, но въ числѣ соотечественниковъ Байрона рядомъ съ фантастомъ Трелони, который со временемъ покинулъ его, находя, что онъ „недостаточно романтиченъ“, и кинулся въ противоположный уголь Греціи, гдѣ дѣйствовалъ партизанскій вождь съ громкимъ именемъ Одиссея<sup>1)</sup>, явились молодой и талантливый Финлей, впоследствии извѣстный историкъ Греціи, сохранившій въ своемъ капитальномъ трудѣ<sup>2)</sup> память о своихъ отношеніяхъ къ Байрону, — бывшій офицеръ индійскихъ войскъ Стэнгопъ, искренно убѣжденный либераль старикаго типа, ученикъ Бентама (входившаго, на старости лѣтъ, также въ составъ лондонскаго комитета), выше всего ставившій просвѣтителное вліяніе на грековъ и введеніе у нихъ, едва выходившихъ изъ одичанія и завоевывавшихъ себѣ самую элементарную свободу, политической прессы и разумной конституціи, — шотландецъ Гамильтонъ Броунъ, сердечно привязавшійся къ Байрону и оставившій любопытныя записки объ этомъ періодѣ его жизни<sup>3)</sup>, — врачъ Миллингенъ, также авторъ подобныхъ воспоминаній, особенно цѣнныхъ благодаря его неотлучному присутствію до послѣднихъ минутъ Байрона<sup>4)</sup>, — ревностный проповѣдникъ строгаго протестантства, Кэннеди, раздававшій между солдатами Библію и нравоучительныя книжки, задавшійся цѣлью спасти ве-

<sup>1)</sup> О немъ и объ отношеніяхъ къ нему Трелони, который дѣлилъ съ этимъ авантюристомъ послѣ смерти Байрона всѣ опасности и одно время жилъ въ пещерѣ на Парнасѣ, см. статью F. Sanborn, „Odysseus and Trelawny“, Scribner's Magazine, 1897, апрѣль.

<sup>2)</sup> History of Greece from its Conquest by the Romans to the present time. 1864, VI.

<sup>3)</sup> Blackwood Magazine, 1834, I, Voyage from Leghorn to Cephalonia and a narrative of a visit in 1823 to the seat of war in Greece.

<sup>4)</sup> Memoirs on the affairs of Greece, 1830.

ликую душу Байрона отъ заблужденій и со временемъ наполнившій цѣлую книгу рассказами о своихъ религіозныхъ бесѣдахъ съ поэтомъ <sup>1)</sup>, который, мягко относясь къ нему и щадя его убѣжденную горячность, дѣлалъ иногда видъ, что сдается.

Въ общеніи и бесѣдахъ съ этими товарищами, въ поѣздкахъ по Кефалоніи или экскурсіяхъ на ближайшіе острова (напр. на прославленную Гомеромъ Итаку) проходило время. Невольный досугъ, повидимому, не скрашенъ былъ литературною работою, и утверженіе Терезы, будто Байронъ, находясь въ Кефалоніи, написалъ *нѣсколько* пѣсень „Донъ-Жуана“, не подтверждается ничѣмъ. Найденныя среди его бумагъ въ Мисолонги первыя строфы семнадцатой пѣсни, пока еще не обнародованныя въ окончательномъ изданіи Байроновскихъ сочиненій,—единственный осязательный результатъ его работъ надъ поэмою въ послѣдніе мѣсяцы <sup>2)</sup>. Вступленіе въ какую-то доселѣ неизвѣстную поэму „Аристомень“, доставленное редакціи названнаго изданія лэди Дорчестеръ и помѣченное Кефалоніей, 10-го сент. 1823 г. <sup>3)</sup>, останавливается на одиннадцатомъ стихѣ. Когда все рѣже писавшій теперь Байрону Муръ передалъ ему съ неожиданнымъ у такого человѣка усердіемъ сплетника непріязненные толки о поэтѣ, „устремившемся спасти Грецію и вмѣсто того проводящемъ время въ безпечности, среди нѣжнаго климата и за сочиненіемъ новыхъ сатирическихъ картинокъ „Жуана“, Байронъ, отвѣчая съ неудовольствіемъ, отрицалъ *всякое* писательское занятіе въ Кефалоніи. Какъ бы любезно ни относились къ нему англійскія власти, какъ бы тѣсно ни спланивался вокругъ него кружокъ приверженцевъ, гложущая мысль о праздно уходящемъ времени и о вѣро-

---

<sup>1)</sup> Conversations on religion with L. Byron and others, 1830.

<sup>2)</sup> Рано стали являться подѣльные продолженія *Донъ Жуана*. Таково напр. „The seventeenth canto of D. Juan in continuation of the unfinished poem by L. B., intended as the first canto of the remaining eight“ etc. London, 1829. Были и французскія продолженія поэмы.

<sup>3)</sup> Works, Poetry, IV (1901), 566. Въ рукахъ лэди Дорчестеръ, дочери Гобгоуза, находятся и теперь ненапечатанныя письма Байрона къ ея отцу, къ Кинвэрду и др.

ятности предстоящей неудачи портила хорошія впечатлѣнія неожиданнаго досуга.

Призывъ раздался лишь въ *декабрь* 1823 г., и тотчасъ же по уговору съ агентами греческаго правительства, Байронъ направился въ сторону Мисолонги. Несмотря на всевозможные подходы со стороны различныхъ партій, онъ твердо выдержалъ принятое рѣшеніе помогать *народу*, а не лицамъ, и двинулся въ путь, когда произошло хотя временное соглашеніе между соперниками. Переправа черезъ узкій морской проходъ, отдѣляющій островъ отъ материка, была для него переходомъ черезъ Рубиконъ <sup>1)</sup>, и роковое значеніе ея онъ вполне созналъ. Передъ отплытіемъ написалъ онъ Муру, сравнивая свое двойственное положеніе поэта и воина съ ролью тѣхъ предшественниковъ и современниковъ его во всемірной литературѣ, изъ которыхъ многіе поплатились при томъ жизнью, и вспоминая объ испанцѣ Гарсилассо де ла Вега, объ Эвальдѣ Клейстѣ, Теодорѣ Кернерѣ, Терсандрѣ и— о „русскомъ соловьѣ“ (russian nightingale) *Жуковскомъ* <sup>2)</sup>, съ чьей поэзіей его познакомила антологія Боуринга. Но,—говоритъ онъ подъ конецъ письма,—„я надѣюсь, что дѣло восторжествуетъ“.

Первые шаги въ серьезно начавшейся теперь кампаніи были, однако, необыкновенно неудачны. Греческій корабль, на которомъ находились Гамба, всѣ припасы, присланныя комитетомъ бумаги, много денегъ, былъ окруженъ турецкими фрегатами и взятъ; легкая барка, на которой плылъ Байронъ, только чудомъ избѣжала такой же участи, въ туманѣ ночью наткнувшись на непріятельскія суда, откуда ее окликнули, но, не получивъ отвѣта, вѣроятно, приняли ее за „брандеръ“, побоялись и дали ей уйти. Уже гавань Драгоместри была въ виду, и въ ней можно было укрыться, но осторожность требовала не сходить на берегъ, и Байронъ съ своими спутниками провелъ пять дней на палубѣ, не раздѣ-

<sup>1)</sup> Онъ употребилъ самъ это сравненіе въ письмѣ къ Киннерду — (Notes and Queries, 1869, Sept. 25): „Пусть боги пошлютъ намъ удачу,—кончается онъ. Итакъ, en avant или, какъ звучитъ боевой кличъ суліотовъ, Dettah, Dettah!—что въ переводѣ значитъ—впередъ, впередъ“!

<sup>2)</sup> Онъ имѣлъ, конечно, при этомъ въ виду „Пѣвца въ станѣ русскихъ воиновъ“.

ваясь и вынося всякія переменныя погоды. Показался греческій военный корабль, чтобы принять ихъ, но волненіе было такъ сильно, что барку дважды бросало на камни, и Байронъ доплылъ до берега, неся на своихъ плечахъ греческаго мальчика, котораго обѣщалъ доставить къ роднымъ. Наконецъ, совершилось торжественное вступленіе въ Мисолонги. Очевидцы въ одинъ голосъ свидѣтельствуютъ о необыкновенномъ энтузіазмѣ народной встрѣчи и искренности симпатій; Маврокордато съ главарями и старшинами вышли впередъ; греческіе и европейскіе офицеры составляли блестящій штабъ; массы народа, мужчины, женщины, воины, оглашали воздухъ кликами; слышался грохотъ салютовъ изъ пушекъ и ружей. Байронъ, вступившій на берегъ въ красномъ военномъ нарядѣ, имѣлъ вполне здоровый и бодрый видъ, и видимо былъ тронутъ народнымъ восторгомъ <sup>1)</sup>).

Прошли первыя свѣтлыя минуты, настала суровая дѣловая дѣйствительность,—и черезъ три недѣли послѣ этихъ торжественныхъ сценъ Байронъ могъ написать 22 янв. 1824 г. свое послѣднее, глубоко печальное стихотвореніе: „Сегодня мнѣ исполнилось тридцать шесть лѣтъ“... Пора моему сердцу перестать биться, если оно уже не въ силахъ возбуждать другія сердца“, восклицаетъ онъ. „Все поблекло, цвѣты отцвѣли, плоды отпали, тлѣетъ лишь погребальный огонь.. Но здѣсь можно умереть съ честью, Греція уже пробудилась,—пусть же пробудится и духъ поэта“!..

Ликовавшая при его встрѣчѣ „soldatesca“ при ближайшемъ изученіи оказалась мало дисциплинированной и плохо вооруженной ордой. Единственнымъ надежнымъ отрядомъ казались суліоты, число которыхъ теперь возросло до 500 человекъ, взятыхъ Байрономъ на личное иждивеніе. Между туземными войсками и иностранными волонтерами возникали частыя несогласія, кончавшіяся иногда стычками, драками и кровопролитіемъ. Въ одномъ изъ такихъ столкновеній былъ убитъ шведскій офицеръ. Уровень честности также былъ очень низокъ, и случаи воровства нерѣдки,—тогда какъ отсутствіе правдивости, твердости даннаго слова доводило Байрона до

---

<sup>1)</sup> Pietro Gamba. A short narrative of L. B.'s last journey to Greece. 1825, 84.

гнѣвнаго обобщенія, что „греки—величайшіе изъ лжецовъ, когда-либо существовавшихъ на землѣ со времени изгнанія прародителей изъ рая“. Жадность къ деньгамъ и вымогательство ихъ подѣ предлогомъ національныхъ нуждъ не замедлили также обнаружиться. Но дѣйствовать, бороться нужно было несмотря ни на что,—не ради этихъ отдѣльныхъ, раздражавшихъ своей мелкотой и ничтожествомъ лицъ, но ради всего народа, виднѣвшагося въ неопредѣленной дали, ради общей свободы. Въ письмахъ Байрона чувствуется скрытое горе, разочарованіе, и въ то же время мужественная рѣшимость все подавить въ себѣ ради дѣла. Положеніе его было въ полномъ смыслѣ слова трагическое. „Чудная Эллада, грезившаяся ему въ мечтахъ,—замѣчаетъ справедливо и мѣтко одинъ изъ новѣйшихъ историковъ греческой революціи <sup>1)</sup>,—потускнѣла въ рѣзкомъ сѣромъ освѣщеніи безпощаднаго реализма. Но передъ его глазами была другая Эллада, совсѣмъ людская, жалкая, истекающая кровью отъ многихъ ранъ,—и не могъ онъ, задрапировавшись своей поэтической тогой, пройти брезгливо мимо нея“. Напротивъ, онъ усугубилъ свою заботливость и самоотверженіе. Теперь ему лично ничего не нужно, и все, что только онъ можетъ собрать, онъ отдаетъ на народныя нужды. Его расходы дошли наконецъ до ста тысячъ піастровъ. Но и этихъ затратъ стало недостаточно, и онъ повелъ переговоры съ англійскими финансистами о займахъ для Греціи, далъ поручительство свое и сочувствующихъ ему лицъ, и смогъ осуществить *два* займа (одинъ въ 800.000 фунтовъ, другой въ 2 милліона), все время тревожась опасеніемъ, чтобъ эти деньги не были расхищены и присвоены греческими „патріотами“.

Находилъ ли онъ настоящую поддержку въ окружавшихъ его сподвижникахъ? По строгой справедливости слѣдуетъ отвѣтить отрицательно. Головорѣзъ Трелони, искренній и въ рѣшительныя минуты неоцѣненный, отозванный на югъ Греціи по дѣламъ возстанія, былъ далеко; Маврокордато, котораго Байронъ сначала очень цѣнилъ, не былъ свободенъ отъ дипломатическаго лукавства; Стэнгопъ заботился теперь объ

---

<sup>1)</sup> The war of greek independence, 1821—1833, by W. Alison Phillips. Lond., 1897, 139.

устройствъ типографіи, объ основаніи греческой <sup>1)</sup> и англійской <sup>2)</sup> газетъ, которыя проводили бы въ народъ просвѣтительныя идеи, и Байронъ, иронизируя надъ доктринерскими приёмами, неприложимыми среди неграмотной массы, хотя сначала и оказалъ денежную поддержку греческой газетъ, принужденъ былъ остановить ея выходъ послѣ запальчивой статьи, обрушившейся на австрійскую политику и грозившей испортить внѣшнія, пока еще благопріятныя, условія греческой войны. Чисто военная молодежь рвалась въ бой, но открытіе дѣйствій все откладывалось по какимъ-то тонкимъ соображеніямъ правительства; войско стояло въ низинѣ, окружающей Мисолонги, болотистой и крайне вредной для здоровья, — „въ сравненіи съ которой, — грустно острилъ Байронъ, — голландскія болота могутъ показаться чѣмъ-то въ родѣ аравійской пустыни“. Обѣзжая позицію во всякую погоду, дыша заражающими испареніями, Байронъ постоянно подвергалъ себя опасности заболѣть и отъ переутомленія, и отъ климатическихъ условій.

Но первый и грозный приступъ болѣзни вызванъ былъ нравственнымъ потрясеніемъ. Когда рѣшенъ былъ и объявленъ походъ одной части отряда къ Лепанто для взятія этой крѣпости, тѣлохранители Байрона и надежнѣйшіе, казалось, его воины, суліоты, отказались идти „противъ каменныхъ стѣнъ“. Это переполнило мѣру, и съ Байрономъ сдѣлался (впервые, говоритъ онъ, во всю его жизнь) сильнѣйшій припадокъ, по признакамъ похожій на эпилепсію. Мало опытный молодой докторъ-итальянецъ хотѣлъ, по обычаю его національной медицины, пустить больному кровь, потомъ замѣнилъ это пиявками, которыя возбудили обильнѣйшее кровоизліяніе, едва не вызвавшее синкопъ. Послѣ полноты, замѣтной у Байрона въ началѣ его житія въ Болоньѣ и Равеннѣ, онъ строгимъ режимомъ довелъ себя снова до поразительной худобы; напряженія и терзанія довершили изнуреніе организма, въ которомъ только горѣлъ энтузіазмъ, пы-

1) *Ελληνικά χρονικά*; листки in 4<sup>o</sup>, очень миниатюрные; редакторомъ былъ швейцарецъ Мейеръ; эпиграфъ въ Бентамовскомъ вкусѣ: „the greatest good of the greatest number“. Изданіе рѣдкое; въ Британскомъ Музеѣ есть только №№ 1825 г., послѣ смерти Байрона.

2) *Greek Telegraph*; редакторомъ былъ mr. Hodges.



лала воля. Убавлять физическія силы было немыслимо,— между тѣмъ въ этомъ варварскомъ приѣмѣ и состояло лѣченіе, какъ въ первый приступъ болѣзни, такъ и въ роковые послѣдніе дни. Оправившись, Байронъ снова принялся за усиленную дѣятельность. Его убѣждали уѣхать, хотя на время, и возстановить здоровье, но онъ „предпочелъ умереть, дѣлая хоть что-нибудь, чѣмъ жить въ праздности“. Несмотря на неблагоприятныя условія, онъ не могъ не видѣть, что приноситъ немалую пользу. Распустивъ съ негодованіемъ суліотовъ,<sup>1)</sup> онъ своимъ твердымъ и безстрашнымъ поведеніемъ въ рискованныя минуты такъ подѣйствовалъ на остальную массу, что она крѣпче спланивалась теперь вокругъ него. Въмѣстѣ съ тѣмъ онъ былъ среди нея носителемъ гуманныхъ идей. Тотъ, кто съ такою силой описывалъ ужасы войны въ „Донъ-Жуанѣ“,—допускалъ обращеніе къ оружію только для защиты народной вольности, и энергически возставалъ противъ жестокостей, обычныхъ въ военное время; когда онъ нашелъ въ Мисолонги турецкихъ плѣнныхъ, взятыхъ давно, забытыхъ и доведенныхъ до крайняго истощенія, онъ отослалъ ихъ турецкому пашѣ при письмѣ, полномъ достоинства и гуманности. „Когда вопросъ касается челоѣчности,—говорилъ онъ въ бумагахъ, съ которою направилъ несчастныхъ сначала къ англійскому консулу въ Превезу,—для меня нѣтъ различія между греками и турками“. Но выступать въ походъ къ Лепанто все-же было необходимо, и рѣшено было, что Байронъ пойдетъ во главѣ двухтысячнаго отряда. Въ это время неожиданно присланъ былъ отъ Стэнгопа, Одиссея и другихъ вождей восточной Греціи настойчивый вызовъ Байрону прибыть съ Маврокордато въ Салону, на съѣздъ представителей *всей* страны, для объединенія дѣйствій и примиренія личныхъ счетовъ. Цѣль была такъ важна, что выступленіе было отсрочено, поѣздка въ Салону рѣшена и задержалась только благодаря бурной непогодѣ, затруднившей поѣздку черезъ горы.

---

<sup>1)</sup> „Я не хочу болѣе имѣть никакого дѣла съ суліотами. Они могутъ пойти къ туркамъ, и къ самому чорту, они могутъ разрѣзать меня на множество кусковъ,—больше, чѣмъ есть между ними раздоровъ и несогласій, но я не переѣню своего намѣренія“, читаемъ въ бѣгло набросанной карандашомъ запискѣ.

Ей не суждено было состояться, и Байрону не пришлось выполнить на національномъ конгрессѣ благородной роли апостола примиренія и объединенія. 9 апрѣля онъ, казалось, успокоился; пришли хорошія вѣсти съ Ионическихъ Острововъ и изъ Англіи; ему сообщили о здоровьѣ Ады, прислали портретъ ея. Но поѣздка въ дождь верхомъ вокругъ Мисолонги для осмотра позиціи была для него очень вредна. 11 апрѣля онъ снова почувствовалъ крайнюю слабость, на совѣты уѣхать на Занте, перемѣнить воздухъ и обстановку, отвѣчалъ уже согласіемъ; день отъѣзда былъ назначенъ, но жаръ, бессонныя ночи и бредъ явились такими грозными предвѣстіями конца, что тревога овладѣла всѣми близкими. За два дня до смерти онъ еще, пересиливая нездоровье, могъ писать дѣловыя письма, но на слѣдующій день его видъ, его „замогильный“ разговоръ такъ потрясли Гамбу, что слезы градомъ полились у него, и онъ въ отчаяніи выбѣжалъ. Снова сдѣлано было кровопусканіе, и больному временно стало лучше, но ночью поднялся бредъ, и сцены войны все время удручали страдальца. 18-го апрѣля явилось опасеніе воспаленія мозга; предложенное опять (третье) кровопусканіе было отвергнуто Байрономъ, и медики прибѣгли къ аптечнымъ средствамъ. По показанію (безыменнаго) „свидѣтеля послѣднихъ минутъ Байрона“,—очевидно, Бруно,—сбереженному сестрою поэта въ рукописи вмѣстѣ съ другими повѣствованіями о его болѣзни и смерти <sup>1)</sup>, которыхъ она потребовала отъ очевидцевъ,—больному дали „спиртной тинктуры хины, отчего у него начались судороги, потомъ стаканъ хинной настойки и нѣсколько капель лауданума съ эфиромъ; тогда судороги превратились въ летаргическое онемѣніе, изъ котораго Байронъ не вышелъ болѣе“.

Былъ первый день Пасхи. По греческому обычаю, послѣ полудня праздникъ слѣдовало отмѣтить пушечными и ружейными выстрѣлами и звономъ колоколовъ. Гамба и другіе военачальники распорядились увести войско за городъ, чтобы шумъ и выстрѣлы не беспокоили больного; жители так-

---

<sup>1)</sup> Réponse à examiner sur les derniers moments de lord Byron, par une personne qui vivait avec lui et qui l'assistait dans sa dernière maladie. Рукопись Британскаго Музея (Addition. Manusc. 31, 037).

же были извѣщены о тяжкомъ его состояніи. Сначала у одра умирающаго находились только его старый слуга Флетчеръ, эксъ-гондольеръ Тита и докторъ Миллингентъ; потомъ самъ Байронъ потребовалъ къ себѣ артиллериста Парри, которому хотѣлъ передать волю свою,—но ни Флетчеръ, ни Парри не могли уловить ничего опредѣленнаго въ продолжительныхъ и неясныхъ рѣчахъ. Явился наконецъ Гамба,—и всѣ присутствовавшіе запомнили тѣ обрывки фразъ, которые или обращены были сознательно къ нимъ, или прорывались сквозь бредъ <sup>1)</sup>. Разсказъ Гамбы, записанный для Августы Ли, всего полнѣе. „Онъ восклицалъ: „Бѣдная Греція, несчастный городъ, несчастная семья моя!.. Зачѣмъ я раньше не понялъ этого! Теперь поздно“. Говоря о Греціи, онъ сказалъ: „Я ей отдалъ мое время, мои деньги, здоровье; что я могу ей еще дать? Теперь отдаю жизнь“. Часто повторялъ, что радуется смерти, и только жалѣетъ о томъ, что поздно созналъ это; называлъ по именамъ разныхъ людей, говорилъ о какихъ-то деньгахъ, но трудно было распознать, что онъ имѣлъ въ виду. Онъ назвалъ по имени свою дорогую дочку, сестру, *жену*, Гобгоуза, Киннэрда. „Зачѣмъ я не поѣхалъ въ Англію прежде, чѣмъ прибыть сюда!—воскликнулъ онъ подъ конецъ:—я покидаю то, что было для меня такъ дорого... но я готовъ умереть (*Perche non passai in Inghilterra prima di venir qua... io lascio qualche cosa di caro nel mondo... per il resto son contento di morire*)“. Послѣ 6 часовъ 19-го апрѣля 1824 г. онъ не страдалъ болѣе. „Теперь я засну“—сказалъ онъ,—и забылся вѣчнымъ сномъ среди разразившейся внезапно оглушительной грозы.

Глубокое горе овладѣло всѣмъ греческимъ лагеремъ. Даже старые воины плакали навзрыдъ; безъ приказа посылались выстрѣлы въ честь умершаго вождя,—а съ той стороны залива, съ турецкихъ укрѣпленій, гдѣ поняли, что означала эта несвоевременная стрѣльба, и обрадовались избавленію отъ опаснаго врага, раздалась привѣтственная канонада. 22 апрѣля, въ церкви св. Николая, избѣгая вся-

---

<sup>1)</sup> Разсказъ Гамбы, или собственно дневникъ, только что напечатанъ въ VI т. переписки въ англійскомъ переводѣ. Я пользовался болѣе надежнымъ итальянскимъ оригиналомъ въ Британскомъ Музеѣ.

кой торжественности, отпѣвали набальзамированный трупъ Байрона <sup>1)</sup>; гробъ былъ грубой работы, изъ массивнаго дерева, покровомъ служилъ черный плащъ, на который положены были шлемъ, сабля и лавровый вѣнокъ. Надъ гробомъ произнесъ искреннюю рѣчь молодой Трикупи (впослѣдствіи историкъ греческой революціи). Не приняты были во вниманіе настойчивыя просьбы грековъ отвезти тѣло въ Аѣины и похоронить его въ храмъ Тезея, <sup>2)</sup> забыто было грозное закліаніе поэта не отвозить его тѣла на родину, гдѣ не найдутъ покоя его останки, и 25 мая англійскій корабль повезъ гробъ въ Лондонъ. Въ послѣдній разъ Гарольдъ совершилъ то плаваніе по волнамъ океана, которое обезсмертилъ своей юношеской поэмой <sup>3)</sup>.

А затѣмъ... затѣмъ началась замогильная расплата за все содѣянное, вольное и невольное,—мало кѣмъ замѣченное пребываніе великаго покойника сначала въ *Докахъ*, подъ Лондономъ, потомъ (цѣлыхъ десять дней) въ чьей-то квартирѣ въ Great George Street, Westminster, интриги духовенства и свѣтскихъ Тартюффовъ, закрывшихъ ему доступъ въ „Уголокъ поэтовъ“ Вестминстерскаго Аббатства, скромная процессія, направившаяся по проселочнымъ дорогамъ къ приходской церкви Ньюстада, въ бѣдномъ мѣстечкѣ Hocknall-Torkard, тихія похороны <sup>4)</sup>.

<sup>1)</sup> Недавно (Nuova Antologia, 1900, 1 дек.) сообщалось, что въ Мисолонги начата реставрація церкви св. Спиридона (?), гдѣ хранилась урна съ *сердцемъ* Байрона. Разрушенная турками церковь лежала съ тѣхъ поръ въ развалинахъ, подъ которыми погребена была и урна. Теперь употребляютъ всѣ усилія, чтобы открыть ее... Но—Гобгоузъ, одинъ изъ распорядителей похоронъ, прямо говоритъ о гробѣ и о ящикѣ, гдѣ было сердце!

<sup>2)</sup> Въ названномъ выше рукописномъ сборникѣ хранится необыкновенно сердечное письмо Маврокордато къ Августѣ Ли. „La privation du corps de leur bienfaiteur est après sa mort un second malheur pour eux, et ils implorent la permission de retenir une partie des restes de leur concitoyen“ etc., писалъ онъ.

<sup>3)</sup> Оно внушило Гейне грезу, выразившуюся въ стихотвореніи „Eine starke schwarze Barke segelt trauervoll dahin... Toter Dichter, stille liegt er mit entblösstem Angesicht“ etc.

<sup>4)</sup> Въ родныхъ поэту мѣстахъ обстановка перемѣнилась. Изъ Ноттингэма вышли навстрѣчу мѣръ и корпорація, присоединился и народъ, такъ что процессія растянулась на четверть мили. Церковь Гэкнолла и кладбище вокругъ нея были переполнены. Народъ не расходился до вечера.

„Тотъ, кто со славою палъ въ крестовомъ походѣ за свободу и человѣчность, казалось, могъ бы тѣмъ искупить гораздо болѣе мрачныя проступки, чѣмъ тѣ преувеличенныя клеветой слабости, которыя приписывались Байрону“—сказалъ Вальтеръ Скоттъ въ своей задушевной характеристикѣ поэта,—и въ отвѣтъ на это горячее заступничество соотечественника, довольно одинокаго въ этомъ случаѣ среди своего племени <sup>1)</sup>, послышались съ европейскаго континента неисчислимыя голоса потрясенныхъ горемъ почитателей великаго художника-гражданина. Глубоко опечалился старецъ Гёте и возвеличилъ во второй части „Фауста“ появленіе Байрона на горизонтѣ человѣчества въ фантастическомъ, полубожественномъ образѣ Эвфоріона. Въ его глазахъ это—сынъ любви Фауста и Елены, лучезарное, небывалое сочетаніе античнаго идеала красоты и испытующей мысли новаго человѣчества; когда чудесный ребенокъ съ безумной отвагой хочетъ подчинить себѣ все неизвѣданное, проникнуть въ заповѣдныя міры, вознестись на высоты, недоступныя для людей, трепетъ за него сливается съ невольнымъ восхищеніемъ, и зрѣлище гибели глубоко потрясаетъ столь много пережившаго мыслителя. Тоской охвачена была передовая нѣмецкая молодежь; Гейне совершилъ поэтическую тризну по своему могучему единомышленникѣ <sup>2)</sup>, Вильгельмъ Мюллеръ сложилъ, въ ряду своихъ „Греческихъ пѣсень“, задушевную элегію на смерть Байрона. Тоскою сжалось сердце Пушкина, среди одиночества второй ссылки, когда его настигла роковая вѣсть и, конечно, если бъ не тяжелыя условія печатнаго слова, онъ сумѣлъ бы поэтически прославить не только власть надъ думами, воспѣваніе моря, или „неукротимость“ того, кому былъ обя-

---

<sup>1)</sup> Роджерсъ посвятилъ въ своей *Италіи* прекрасную строфу памяти Байрона, „блеснувшего какъ метеоръ на небосклонѣ“. Авторъ примѣчательной статьи въ *Edinburgh Magazine* (май 1824) назвалъ Байрона въ благороднѣйшемъ смыслѣ поэтомъ освобожденія, который при всей кажущейся его мизантропіи неустанно легѣялъ въ себѣ вѣру въ возрождающее вліяніе свободы“ и т. д. (стр. 612).

<sup>2)</sup> Слѣды великой грусти, вызванной у Гейне смертью Байрона, видны и въ недавно напечатанномъ письмѣ къ его другу Христіани (*Deutsche Rundschau*, 1901, іюнь).

занъ своимъ духовнымъ пробужденіемъ. Итальянцы, поляки, французы, русскіе въ сотняхъ стихотвореній, некрологовъ, характеристикъ, возгласили ему хвалу.

На противоположной сторонѣ не одни только турки подѣ Мисолонги, но и всѣ, кто вопреки знаменіямъ времени поддерживалъ старый порядокъ, всѣ вдохновители Германскаго Союза, англійскаго торизма, аракчеевщины, клерикальнаго бурбонскаго режима, и во главѣ ихъ злой геній Европы, Меттернихъ, ликовали, избавившись отъ опаснѣйшаго врага.

„Зачѣмъ такъ прилежно разслѣдовать, гдѣ *жилъ* поэтъ? Узнайте лучше, *иде* онъ умеръ“,—эти стихи Prati недавно мѣтко приложены были къ судьбѣ Байрона однимъ итальянскимъ эссеистомъ. Эпическая развязка дѣйствительно бросила яркій отблескъ на всю предшествовавшую жизнь и дѣятельность поэта,—и въ сужденіяхъ массы осталось надолго впечатлѣніе чего-то необыкновенно нестройнаго, необузданнаго, бурнаго, полнаго гордыни, своеволія, чувственности, злорадства, безправственности, облеченныхъ въ чарующія поэтическія формы,—но смѣнившагося подѣ конецъ примиряющимъ зрѣлищемъ великодушія, самоотверженія и гибели за идею. Легіоны болѣе или менѣе неудачныхъ подражателей, „байронистовъ“, расплодившихся во всѣхъ литературахъ, не мало содѣйствовали укорененію этого взгляда. Они усваивали себѣ всего чаще мелочи, частности, слабости, временныя и пережитыя настроенія, видѣли сущность байронизма то въ уныніи и разочарованности, словно не вѣдая титанизма „Каина“, политической проповѣди „Пророчества Данта“, отважной сатиры „Донъ-Жуана“,—то въ аристократизмъ избранной натуры, не сумѣвъ замѣтить непрерывнаго роста общечеловѣческихъ симпатій и народолобія у поэта,—то въ пристрастіи къ восточной пестротѣ и экзотизму, наперекоръ безподобному реализму и отзывчивости на нужды современности,—то въ рано пережитомъ Байрономъ болѣзненномъ капризѣ фантазіи, искавшей таинственнаго, зловѣщаго, ужаснаго, прежде чѣмъ захватила она своимъ полетомъ *всю* стороны жизни,—то въ театральномъ „демонизмѣ“ героевъ, великой напраслины, взведенной на поэта, у котораго въ спеціально бѣсовскомъ персоналѣ найдутся лишь жалкіе демоны, не сумѣвшіе овладѣть Манфредомъ, или конвойный

бѣсъ на судбищѣ о королѣ Георгѣ у воротъ рая, тогда какъ Люциферъ требуетъ себѣ мѣста въ ряду характеровъ положительныхъ, носителей идеи, въ мнимо же демоническомъ смѣхѣ *Д. Жуана* основная цѣль не въ глумленіи или ѣдкомъ цинизмѣ, а въ призывѣ къ терпимости, гуманности, справедливости... Всѣ эти разнообразныя, на историческомъ отдаленіи кажушіяся теперь порою странными, отклоненія вкуса, фантазіи и мысли давно пережиты. Исторія ихъ по большей части эффектнаго существованія, конечно, должна была найти мѣсто въ точномъ и правдиво-научномъ обзорѣ литературной эволюціи за 19 столѣтіе, и такіе труды, какъ прекрасное по полнотѣ изслѣдованіе краковскаго профессора Эдѣховскаго <sup>1)</sup> о байронизмѣ на западѣ и у славянъ, стремятся къ полезной цѣли. Но ни въ „гарольдовскихъ“, ни въ печоринскихъ маскахъ, ни въ какихъ бы то ни было вычурныхъ слѣпкахъ съ великаго человѣка сущность его непреходящаго вліянія, его завѣтовъ потомству. Въ чемъ была ихъ сущность, во что вложилъ онъ все лучшее, святое, великое, заключавшееся въ геніальной, но наследственно больной, измученной людьми и отравленной натурѣ, я старался показать въ настоящемъ моемъ очеркѣ...

Со временъ Байрона многое измѣнилось и въ литературномъ, и въ политическомъ достояніи человѣчества. Въ недавнемъ прошломъ (въ особенности на родинѣ поэта) установилось было что-то въ родѣ высокомѣрнаго отношенія къ Байроновской поэзіи, какъ къ чему-то устарѣлому, пережитому, эксцентрическому. Карлейль, бывало, съ наставительнымъ рвеніемъ внушалъ читателю: „закрой своего Байрона, и открой своего Гёте!“ Другой критическій авторитетъ, Мэтью Арнольдъ, склонялъ вѣсы въ сторону Вордсворта <sup>2)</sup>. У ихъ преемниковъ въ наше время можно встрѣтить demonstra-

---

<sup>1)</sup> Byron i jego wiek. 1894—7. Для контраста можно вспомнить заважную книжку Отто Веддигена „Byron's Einfluss auf die europäischen Literaturen der Neuzeit, 1901, второе изданіе, гдѣ набросано много безпорядочныхъ свѣдѣній, при чемъ произведенія водевилиста Байрона тоже идутъ въ счетъ

<sup>2)</sup> Противъ этого взгляда рѣзко возсталъ авторъ критической статьи „Matthew Arnold, Byron and Wordsworth“, Quarterly Review, 1883, июль.

тивное предпочтеніе Теннисона <sup>1)</sup> или осужденія неправильностей слога, недочетовъ въ стихотворной технику, — осужденія, всего менѣе способныя найти сочувствіе въ русской литературѣ, справедливо возвеличившей Пушкина и Гоголя вопреки такимъ же неровностямъ и недочетамъ...

Но, если въ Байроновской поэзіи поблекли инныя краски, если ушли въ туманъ формы, образы, картины изъ ранняго періода жизни поэта, если иные его подражатели размѣняли на мелочь его протестъ и его терзанія, придавъ имъ театральность и вычурность, — никогда не умреть выдающаяся художественная сила, соединенная съ титанической смѣлостью мысли, отважное проявленіе личности и въ то же время героическій альтруизмъ, идущій на смерть ради общаго дѣла. *Истинный* байронизмъ — одинъ изъ лучшихъ завѣтовъ, которые умственно возбужденная пора могла передать потомству. Слова одного изъ проповѣдниковъ обновленія германской поэзіи: „Werdet wieder Byronreif“ могли бы быть обращены ко всей современной намъ поэзіи. Если замѣтный съ конца 19-го вѣка и все усиливающийся поворотъ снова къ Байрону знаменуетъ собой желаніе припасть къ животворному источнику, — это лучшая посмертная отплата многострадальному великому человѣку.



---

<sup>1)</sup> Men and letters, by Herbert Paul, Lond., 1901. Горячо написанная статья американскаго рецензента, въ New York Tribune, 1901, 18 авг., дала параллель обоимъ поэтамъ, — красоты одного напоминаютъ прекрасный, изящно-воздѣланный садъ, тогда какъ другой проносится съ орлиной отвагой, разсѣкая тучи надъ горами и океаномъ.





**Авгерьянъ** (Aucher), отецъ Паскаль, 182—184.

**Альбрици**, графиня, 177, 178, 181—2.

**Александръ I**, 282.

**Альфьери**, 127, 158, 185—6, 188, 241.

**Али-паша**, 48—50.

**Амброзио**, 226.

**Анакреонъ**, 27.

**Андерсенъ**, 187.

**Д'Анкаона**, 174, 231.

**Антонини**, 188.

**Anton, H. S.**, 159.

**Аріостъ**, 179, 186, 217.

**Аристидъ**, 85.

**Аристофанъ**, 203.

**Арнольдъ**, Мэтью, 304.

**Артуръ**, король, 203.

**Байронъ**, леди, 113—116, 176, 211, 250, 268.

**Байронъ**, Ада, 109, 110, 152, 176, 189, 206, 268, 299, 300.

**Байронъ**, Аллегра, 116, 130, 206, 222, 247—8, 264, 273—4.

**Байронъ**, Вильямъ Джонъ, 12.

**Байронъ**, Джоржъ Гордонъ. Дѣтство, 1—19; ученическіе годы—въ школѣ Боуэрсъ, 8, въ Grammar School, 8—10, у доктора Гленни, 13, въ Гарроу, 10—19; Б. и Мэри Чэвортъ, 17—19; въ университетѣ, 19—23; жизнь въ Ньюстэдѣ, 22—24; „Часы Досуга“, 24—29; нападки „Эдинб. Обозрѣнія“, 29—32; „Англійскіе Барды“, 32—37; первое путешествіе, 39—57; въ Испаніи, 43—44, на Мальтѣ, 45—7, въ Албаніи, 48—50, въ Греціи, 50—52, 54, 55, въ Турціи, 52—4; смерть матери, 56; первыя главы „Гарольда“, 59—67; Б. въ парламентъ, 67; въ лондонск. обществѣ 68—72, 88, 89; „Гяуръ“ 73, 77, „Абидос. Невѣста“, 77—80, „Корсаръ“, 80—84, „Поездка дьявола“, 86—7, „Лара“, 90—95, исторія брака Б., 96—103, „Еврейскія мелодіи“, 104—

6, семейн. разладъ 106—110, 112—118, „Паризина“ 110—112, „Осада Коринѳа“, 110—112, разрывъ и отъѣздъ изъ Англіи, 118—120, стихотворенія, вызван. разрывомъ, 121—3; второе путешествіе: Бельгія, 125—6, Швейцарія, 126—165; Б. и Джэнь Клермонтъ, 129, 130; „Сонъ“, 18, 143, „Тьма“, 143, „Прометей“, 143—4, „Шильон. узникъ“, 145—151, третья глава „Гарольда“, 152—5, „Манфредъ“, 155—163. Переездъ въ Италію, 164—5, Венеція, 166—184, 189—224. Б. и армяне, 181—184. Поездка въ Римъ, 184—187. „Жалобы Тассы“, 187—8. Четверт. глава „Гарольда“, 189—197; Начало Д. „Жуана“, 197—9, 206, 208—18; „Беппо“, 203—206. Мемуары Б., 211—13. Встрѣча съ Терезой, 218. Б. въ Равеннѣ, 222, 231—264; Б. и карбонары, 229—38, 242—247. „Пророчество Данта“, 238—9, „Марино Фальеро“, 239—242, „Фоскари“, 248—50, „Сарданапалъ“, 250—52, „Каинъ“, 252—6, „Видѣніе Суда“, 256—60, „Avatar“, 260—1, „Небо и земля“, 261—2, Продолженіе „Д. Жуана“, 247, 267—271. Б. въ Пизѣ, 265—77. „Либералъ“, 272—280. Дѣло Мази 272—3. Смерть Аллегры, 273—4. Смерть Шелли, 274—6. Б. въ Генуѣ, 277—90 „Вернеръ“ и „Островъ“, 281—2. Греческая экспедиція, 290—301. Б. въ Кефалоніи, 291—4. Послѣдн. стихи, 295. Мисолонги, 295—301. Болѣзнь и смерть, 297—301. Заключение, 301—5.

**Байронъ**, Джонъ, 2, 3, 5, 7.

**Barbiera, Raffaello**, 175.

**Беатриче**, 222.

**Beers, Henry**, 62.

**Бембо**, кардиналъ, 164.

**Бентамъ**, 292, 297.

**Bentley**, 220.

**Бенцони**, графиня, 177, 219.

**Bernardi, Iacopo**, 177.

Бернардъ, лэди Анна, 106.  
 Бэрнсъ, 35.  
 Бѣджи, 275.  
 Biedermann, Wold. von, 162.  
 Binet, A., 142.  
 Бичеръ, пасторъ, 25, 28.  
 Блакеттъ, Джозефъ, 96.  
 Блейбтрей, Карлъ, 19, 141, 157, 217.  
 Blennerhasset, lady, 69.  
 Блессингтонъ, лэди, 148, 221, 274, 278—9.  
 Blümel, Magnus, 221.  
 Блэкьеръ, 285.  
 Boglietti, 154.  
 Боккачъ, 149, 186, 236, 268.  
 Бониваръ. Франсуа, 145—8, 150, 188.  
 Борджіа, Лукреція, 164.  
 Боркъ, 67.  
 Ботлеръ, 14.  
 Ботсвейнъ, 21—2, 28, 57.  
 Боурингъ, Джонъ, 291, 294.  
 Боуерсъ, 8.  
 Боярдо, 203.  
 Brandl, Alois, 86, 134, 143, 156—7.  
 Брандесъ, Георгъ, 67, 255.  
 Бриджесъ, Эджертонъ, 162.  
 Броммель, 69.  
 Броунъ, Гамилтонъ, 299.  
 Броутонъ, лордъ, 99, 120, 175.  
 Брумъ, лордъ, 30—32.  
 Бруно, докторъ, 292, 299.  
 Брѣме, монсиньоръ, 164.  
 Буало, 33, 37.  
 Де Буасси, маркиза, 220.  
 Бунзенъ, 14.  
 Бѣдекеръ, 192.  
 Бэкстонъ-Форманъ, 25, 196, 207.  
 Бѣллокъ, 4.  
 Бѣнъянъ, 18, 159.  
 Бѣртонъ, 155.  
**В**акка, Андреа, 289.  
 Вальполь, Горасъ, 157.  
 Вашингтонъ, 85, 258.  
 Веддигенъ, 304.  
 Вега, Гарсиласо де ла, 294.  
 Веласкецъ, 179.  
 Веллингтонъ, 22.  
 Вентвортъ, лоръ, 115.  
 Venables, 14.  
 Веселовскій, Юрій, 184.  
 Вестенгольцъ, 129, 240—1.  
 Вильямсъ, 275.  
 Wilmot, m-rs, 105.  
 Вини, Альфредъ де, 262.  
 Виргилій, 15.  
 Вольтеръ, 16, 135, 154, 217, 218, 290.  
 Вордсвортъ, 14, 33, 35, 65, 134, 304.

Вюлькеръ, 90.  
 Вяземскій, П. А., 138.  
**Г**алиньяни, 58, 131.  
 Гайемъ, Армандъ, 214.  
 Галилей, 185.  
 Гамба, графъ Пьетро, 220, 230, 246, 273, 277, 284, 290, 294—5, 299, 300.  
 Гансонъ, 7, 8, 12, 17, 19, 54, 208.  
 Гансонъ, младшій, 56.  
 Гарибальди, 226, 232.  
 Гарнетъ, Р., 131.  
 Гато, турчанка, 268.  
 Гвѣраци, 225—6, 289.  
 Гвиччіоли, графъ, 220, 222.  
 Гвиччіоли, Тереза, 17, 45, 91, 151, 200, 203, 218—19, 221—23, 229, 230, 232—4, 246, 248, 250, 266—7, 273, 287—9, 293.  
 Гейне, 141, 211, 301—2.  
 Георгъ III, 253—9.  
 Георгъ IV, 260—1.  
 Герфордъ, 65.  
 Геснеръ, 253.  
 Гете, 79, 132, 134, 156—7, 162, 227, 252—3, 256, 259, 280—1, 302.  
 Гиббонъ, 111.  
 Gillardou, Heinrich, 134.  
 Гиффордъ, 35, 72, 162.  
 Гленни, 13.  
 Гобгаузъ, Джонъ Камъ, 20, 42, 48, 50, 54, 58, 72, 99, 103, 117, 120, 121, 123, 136, 138, 167, 177, 185, 190—3, 200, 215—16, 285, 287, 293, 300—1.  
 Годвинъ, Вильямъ, 34, 88, 128—9.  
 Годвинъ, Мэри, 210.  
 Годгсонъ, Джемсъ, 103.  
 , Френсисъ, 5, 42—3, 54, 89, 103—4, 106, 117.  
 Гоголь, 198.  
 Голландъ, Лордъ, 34, 49, 67.  
 Головачевскій, С. 143.  
 Гольдсмитъ, 190.  
 Гольтъ, Джонъ, 45, 91.  
 Гомеръ, 41, 224, 293.  
 Гонъ, Вильямъ, 90, 122.  
 Гонтъ, Джонъ, 259, 271.  
 , Ли, 84, 177, 198, 264, 271, 274—6, 278, 280.  
 Гончаровъ, 100.  
 Гоппнеръ, 177—8, 180, 206, 247, 288.  
 Горацій, 36, 57, 194.  
 Гордонъ, 5, 204.  
 Горголи, 285.  
 Горнъ, Тукъ, 16, 258.  
 Гофманъ, Карлъ, 77.  
 Graham, William, 129.  
 Граттанъ, 260.

Грэхамъ, 35.  
Грибблъ, Френсисъ, 146.  
Грозный, царь Иванъ, 49.  
Грэй, Мэй, 7.  
„ „, поэтъ, 31.  
Guicciardini, Francesco, 49.  
Гуно, Шарль, 52.  
  
**Д**’Абрантесъ, герцогиня, 46.  
Даллуа, Жозефъ, 44.  
Дантъ, 149, 211, 222, 226, 229, 232, 233, 238—9, 241—2.  
Дармстетеръ, Джемсъ, 154, 192.  
Девонширъ, герцогиня Елиза, 71, 98.  
Джерси, лэди, 121.  
Джефрисъ, судья, 30.  
Джефри, 30—3, 35, 37, 91, 198, 256.  
Джоберти, 226.  
Джонсонъ, Самуель, 286.  
Джонстонъ, 122.  
Джордани, 226.  
Джорджоне, 179.  
Джэфрсонъ, 6, 19, 56, 101, 130, 201, 287.  
Дизраэли, 3, 4.  
Диккенсъ, 8, 44.  
Диодати, 127.  
Диодоръ Сицилійскій, 252.  
Дирксъ, Леонъ, 143.  
Дмитріевъ, И., 33.  
Долласъ, 57—8, 66, 71.  
Доннеръ, 7, 29, 196.  
Донничетти, 240.  
Дорчестеръ, Лэди, 293.  
Доуденъ, Эдуардъ, 128, 163, 208.  
Драйденъ, 35, 148—9, 236.  
Друри, Джозефъ, 14—15, 20, 26.  
„ „, Генри, 51.  
Дэффъ, Мэри, 11, 24, 39, 106.  
Дюпати, 192.  
  
**Edgar Pelham**, 133.  
Екатерина II, 16.  
Елизавета Петр., императрица, 161.  
Elton, Charles, 135.  
Elze, 61, 250, 285.  
Engländer, D., 218.  
  
**З**уковский, 150, 294.  
Zdziechowski, 83, 304.  
Zeluso, 61.  
Зороастръ, 89.  
  
**И**аковъ I, 6.  
Иаковъ II, 30.  
  
**И**гльстонъ, 56.  
Измаиль-паша, 48.

Ипсиланти, 286.  
  
**Ж**авуръ, 227.  
Казоттъ, 78.  
Кайнцъ, Иосифъ, 252.  
Кальвинъ, 146.  
Каннингъ, 36, 122.  
Канова, 179, 187.  
Кантемиръ, Дмитрій, 268.  
Капо д’Истрія, 243.  
Капони, Густавъ, 186.  
Карлуччи, 254.  
Карлейль, 31, 304.  
Карлъ XII, 218.  
Карпенгеръ, 227.  
Кассій, Діонъ, 73.  
Кастельно, Маркизь, 267.  
Кастелярь, 6, 127.  
Касты, 203—4.  
Де Квинси, Томасъ, 89.  
Кеведо, Франсискъ, 257.  
Кёльбингъ, проф., 19, 21, 144, 149, 192.  
Кернеръ, Теодоръ, 294.  
Кинъ, 69, 88.  
Кингъ, 109.  
Киннердъ, 104, 287, 293—4, 300.  
Кирѣевскій, И., 124.  
Китсъ, 37, 263.  
Clayden, R. W., 109, 123.  
Кларкъ, Гьюзонъ, 55.  
Клейстъ, Эвальдъ, 294.  
Клермонтъ, Джэнь, 116, 129, 130, 151, 163, 202, 206, 210.  
Клирмонтъ, Миссисъ, 98, 107.  
Клэръ, Лордъ, 17.  
Коббеттъ, 177.  
Коборнъ, 72.  
Ковалевскій, Максимъ, 173.  
Козловъ, Иванъ, 138, 159, 163.  
Кольриджъ, 34—5, 51, 68, 86, 143, 161, 217.  
Кольвинъ, Сидней, 44.  
Колумбъ, 238.  
Конфалоньери, Федерико, 174.  
Коньетти, 188.  
Конъи, Маргарита, 200—2.  
Корради, А., 188.  
Körnig, Franz, 160.  
Косцюшко, 228.  
Коттль, 35.  
Kraeger, Heinrich, 65, 91.  
Krause, Franz, 169.  
Кэмпбеллъ, Томасъ, 34, 143.  
Кэннеди, 269, 292.  
Кэрранъ, 2 0.  
Кэстльри, 176.  
Къярины, 288.

**Жамартинъ**, 5.  
**Ламъ**, Каролина, 70—2, 96—7, 101—2, 129, 135, 202.  
**Ламъ**, Чарльзъ, 32.  
**Ландоръ**, Вальтеръ Сэведжъ, 44, 279.  
**Ларошфуко**, 290.  
**Лафайеттъ**, 228.  
**Лейла**, 75—6.  
**Леопарди**, 186, 188, 226, 235.  
**Лермонтовъ**, 5, 9, 28, 60, 167, 214, 262.  
**Ли**, Августа 5, 10, 19, 58, 73, 96, 99, 110, 114—117, 124, 153, 157, 268, 300—1.  
**Ли**, миссъ (дочь Августы Ли), 116.  
 „ **Гарриетъ**, 78, 281.  
 „ **Натаніаль**, 158.  
**Ликрофтъ**, капитанъ, 25.  
**Lindsay**, 106.  
**Лонгфелло**, 144.  
**Ловлэсъ**, леди Ада, 116.  
**Локкъ**, 29.  
**Лоуренсъ**, Т., 279.  
**Дуриоттисъ** 285.  
**Людеръ**, Альбрехтъ, 227.  
**Людвикъ XII**, 242.  
**Людвикъ XVIII**, 86.  
**Льюзъ** (Монкъ), 134, 156, 206, 240.  
**Лэшингтонъ**, докторъ, 118.  
  
**Маврокордато**, 284, 286, 291, 295—6, 298.  
**Мадзини**, 226—7, 232, 277.  
**Мазепа**, 218.  
**Мази**, сержантъ, 272.  
**Макіавелли**, 185.  
**Маскау**, G. E., 182.  
**Маколей**, 123.  
**Максуэлль**, лордъ, 63.  
**Маври**, Тереза, 51.  
**Маннъ**, О., 144.  
**Марло**, 156.  
**Марсѳ**, 153.  
**Мартелаусъ**, 52.  
**Медвинъ**, 72, 97, 209, 286—7.  
**Менгальдо**, Анджело, 177—8.  
**Мерсеръ**, Миссъ (графиня Flahault), 121.  
**Мерль** д'Обинье, 146.  
**Местика**, Джованни, 235.  
**Микель** Анджело, 185, 238, 265.  
**Миллингтънъ**, 193, 299, 300.  
**Мильбанкъ**, Аннабелла, 96—101, 108, 113, 199.  
**Мильбанкъ**, сэръ Рольфъ, 98, 100.  
**Мильбанкъ**, леди, 104.  
**Мильтонъ**, 35, 127, 238, 253, 255.

**Мирабо**, 223.  
**Мицкевичъ**, 83, 175.  
**Мольментъ**, 172.  
**Мольеръ**, 213—14.  
**Монбронъ**, де, 217.  
**Монтанъ**, 290.  
**Монтескье**, 173.  
**Монти**, Винченцо, 165, 175.  
**Монтэгю**, леди, 53.  
**Моранди**, Антонио, 248, 288.  
**Морелли**, 244.  
**Моцартъ**, 213—14.  
**Мочениго**, 201.  
**Мурильо**, 179.  
**Муръ**, Джонъ, 61.  
**Муръ**, Томасъ, 8, 16, 32, 34, 35, 37, 50, 62, 68, 70, 75, 78, 84, 96, 99, 108, 113, 118, 123, 130, 157—8, 167, 180, 198, 205, 206, 211—12, 216, 220, 245—6, 251, 261, 263, 269, 275, 288, 293—4.  
**Мюллеръ**, Иоганнъ, 135.  
**Мюллеръ**, Вильг., 302.  
**Мюссе**, Альфредъ, 141.  
**Мэгонъ**, лордъ, 85.  
**Мальборнъ**, леди, 101.  
**Мэррей**, Джонъ, 32, 57, 61, 65, 72, 83, 85, 90, 107, 110, 122, 158, 169, 183—4, 187, 200, 205, 211—12, 216, 227, 238, 255, 270, 275.  
**Мэстерсъ**, Джонъ, 17.  
**Мэстерсъ**, миссисъ, 95.  
**Мэтьюсъ**, Чарльзъ Скиннеръ, 23, 56.  
  
**Натанъ**, Исаакъ, 104—5.  
**Наполеонъ I**, 44—6, 49, 86, 90, 153, 282.  
**Наполеонъ III**, 220.  
**Ненчѳни**, 287.  
**Николь**, 282.  
**Никколини**, Джузеппе, 226.  
**Ницше**, 141.  
**Норманъ**, графъ, 287.  
**Новъль**, Роденъ, 66, 99.  
  
**Одиссей**, 286, 292, 298.  
**Оксфордъ**, лордъ, 58.  
**Оксфордъ**, леди, 70, 72.  
**Омаръ-Хайямъ**, 194.  
**Д'Орсъ**, графъ, 219, 279.  
**Ортисъ**, Лкопо, 62.  
**Оссіанъ**, 29.  
**Д'Оссонвилъ**, графиня, 121.  
**Отвэй**, 35, 169.  
  
**Шамеръ**, профессоръ, 40.  
**Паркеръ**, Маргарита, 11, 56.  
**Парри**, 300.

Патрици, 188.  
 Пеллико, Сильвіо, 175, 243.  
 Пепе, генералъ, 244.  
 Перикль, 51.  
 Петръ Великій, 16.  
 Петрарка, 154, 186, 207, 223, 224, 238.  
 Пиготтъ, миссъ, 21—22.  
 Пиготтъ, Джонъ, 21.  
 Пикокъ, 145, 208.  
 Пиндемонте, Ипполито, 175.  
 Пиоцци, миссисъ, 96.  
 Питтъ, 36, 67.  
 Пишо, Амедей, 2.  
 Полидори, 127—8, 131.  
 Поль, Гербертъ, 305.  
 Да Понте, 214.  
 Попъ, 27, 29, 33.  
 Поссартъ, Эрнстъ, 161.  
 Прометей, 26, 79, 253.  
 Протеро, 5, 6, 14, 56, 120, 213.  
 Пульчи, 203, 217.  
 Пушкинъ, 24, 29, 34, 83, 100, 175, 189, 194, 197, 241, 271, 284, 302.

Рабле, 217.  
 Райтъ, Уоллеръ Родуэлъ, 41.  
 Рауберъ, докторъ, 214.  
 Рафаэль, 200.  
 Ришелье, герцогъ, 267.  
 Рихтеръ, Елена, 130.  
 Ромилли, Сэмюель, 118, 176.  
 Россетти, В. М., 128.  
 Россель, Джонъ, 212.  
 Рэтклифъ, миссисъ, 93.  
 Ригасть, Константинъ, 65, 284.  
 Ричардъ III, 88.  
 Робинзонъ, Генри Краббъ, 14—15, 108—9, 162, 259.  
 Роджерсъ, Сэмюель, 31, 35, 68, 70, 74, 90, 92, 109, 122—3, 135, 205, 212, 236, 264.  
 Руссо, Ж. Ж., 24, 29, 40, 62, 135, 137, 146, 154, 160.  
 Раштонъ, 41, 42.

Саади, 26, 79.  
 Сальвати, 244.  
 Де Сальво, маркизъ, 179.  
 Санудо, Марино, 240.  
 Sihel, W., 207.  
 Sweet, Henry, 133.  
 Свифтъ, 104, 106, 217, 290.  
 Сегати, Марианна, 170, 172, 175, 189, 199, 200—1.  
 Сеидъ-паша, 91.  
 Сидъ, 62.  
 Sinzheimer, 156.

Скоттъ, Вальтеръ, 33, 35, 37, 63, 68, 77, 80, 81, 95, 123, 205, 256, 302.  
 Скоттъ, туристъ, 278.  
 Скропъ, Дэвисъ, 57.  
 Слэйго, маркизъ, 74.  
 Смайльсъ, 72.  
 Смирдинъ, 35.  
 Сократъ, 109.  
 Сотеби, 161.  
 Соути, 5, 35, 68, 124, 209, 217, 256, 259, 279.  
 Спасовичъ, В. Д., 62.  
 Спенсеръ Смитъ, миссисъ, 47.  
 Спенсеръ, повтъ, 50, 62.  
 Спиноза, 133—4.  
 Сталь, г-жа, 69, 135, 148.  
 Стацій, 149.  
 Стифенъ, Лесли, 56, 223.  
 Стендаль (Бейль), 164—5, 175.  
 Стоттъ, 35.  
 Стоу, Бичеръ, 114—15.  
 Стэнгопъ, 285, 292, 296, 298.  
 Сулла, 85.  
 Сульпицій, Сервій, 64.  
 Суворовъ, 269.

Тамерланъ, 90.  
 Тассо, Торквато, 64, 186, 188, 229, 238.  
 Тассони, 245.  
 Теннисонъ, 305.  
 Терсандръ, 294.  
 Тибулъ, 27, 29.  
 Тимонъ, 61.  
 Тирза, 56, 57, 64, 65, 82, 104, 157.  
 Тирсо де-Молина, 213, 216.  
 Тиртей, 64, 284.  
 Тита, гондольеръ, 237, 272, 300.  
 Тицианъ, 179.  
 Торвальдсенъ, 164, 187.  
 Трелони, 109, 276, 279, 286, 290, 292, 296.  
 Трефузисъ, Э., 116.  
 Триболати, 231, 275, 277.  
 Трикупи, 301.  
 Тургеневъ, Ив., 4.  
 Тургеневъ, Александръ, 38.  
 Тюркъ, Герм., 141.  
 Тэнъ, 162.

Уаттсъ, Вильямъ, 216.  
 Уильксъ, Дж., 258.  
 Уингфильдъ, 56.  
 Уистлькрафтъ, 203.  
 Уольстонкрафтъ, Мэри, 128.  
 Уэддерборнъ, Уэбстеръ, 70.  
 Уэддерборнъ, лэди Фрэнсисъ, 70.

**В**апанни, 179.  
Фаринелли, Артуръ, 213.  
Fiegens-Gevaert, 141.  
Филикайя, 186.  
Финденъ, 216.  
Финлэй, 282, 292.  
Флетчеръ, 41, 127, 300.  
Флетчеръ, миссисъ, 107, 118.  
Флоренса, 46, 47, 65.  
Фоксъ, Дж., 28, 67.  
Фонбланкъ, 116.  
Форбсъ, лэди Аделаида, 96.  
Фордъ, 158.  
Форманъ, Бакстонъ, 25, 196, 207.  
Форнарина, 200, 201.  
Форстеръ, Джонъ, 44.  
Фосколо, Уго, 174, 226.  
Фостеръ, Августъ, 71.  
Фостеръ, Виръ, 98.  
Фризе, 41.  
Фриръ, Джонъ Гукгэмъ, 203.  
Франклинъ, 258.  
Фрудъ, 6, 130.  
Франсисъ, 258.  
Де Фуа, Гастонъ, 242.  
Фаркьюаръ, 157.  
Фэрстеръ, М., 25.  
  
**Ч**атамъ, 28.  
Чосеръ, 149.  
Чавортъ, 17, 18, 24, 27, 95, 143.

**Ш**арлотта, принцесса, 84.  
Шатобрианъ, 62.  
Шаффнеръ, А., 156, 252.  
Шекспиръ, 8, 13, 15, 35, 71, 165, 169, 224.  
Шелли, 3, 25, 128—134, 136, 137, 141, 144—5, 151, 154, 158, 163, 166—7, 174, 176—7, 195—6, 201, 206—8, 210, 221, 224, 232, 252, 261—4, 274—6, 280—1, 284.  
Шелли, миссисъ, 116, 130, 151, 206, 278.  
Шеппардъ, Сэмюель, 119.  
Шериданъ, 35, 68, 259.  
Шиллеръ, 73, 78—9, 87, 132.  
Шлегель, А. В., 135.  
Шмидтъ, Отто, 24.  
Шмидтъ, Эрихъ, 73.  
Шпурцгеймъ, 102.  
Штраусъ, Д. Ф., 255.  
Шуманъ, Роб., 161.  
  
**Ю**нгъ, 15.  
  
**Э**ккерманъ, 162, 286.  
Эмметъ, Робертъ, 121.  
Энгель, 214.  
Эразмъ Роттердамскій, 146.  
Эрвингъ, Вашингтонъ, 12.  
Д'Эсте, Леонора, 188.  
Эсхиль, 26, 143, 156.  
  
**Ц**ицеронъ, 64, 154.







## Того-же автора:

**СТАРИННЫЙ ТЕАТРЪ ВЪ ЕВРОПѢ;** историческіе очерки. М. 1870 (нѣтъ въ продажѣ).

**DEUTSCHE EINFLÜSSE AUF DAS ALTE RUSSISCHE THEATER.** Prag, 1876 (распродано).

**ЭТЮДЫ О МОЛЬЕРѢ. „ТАРТЮФФЪ“;** ИСТОРИЯ ТИПА И ПЬЕСЫ. М. 1879 (распродано).

**ЭТЮДЫ О МОЛЬЕРѢ. „МИЗАНТРОПЪ“.** Опытъ новаго анализа пьесы и обзоръ созданной ею школы. М. 1881. Ц. 2 руб.

**ЭТЮДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.** Джордано Бруно, легенда о Донъ-Жуанѣ, Мольтеръ, Вольтеръ, Дидро, Бомарше, Свифтъ, Гоголь, Грибоѣдовъ и др. М. 1894. Ц. 2 р. 75 к. (готовится второе изданіе).

**ЗАПАДНОЕ ВЛІЯНІЕ ВЪ НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРѢ.** Историко-сравнительные очерки. Второе изданіе. М. 1896. Ц. 1 р. 75 к.

*Складъ у автора: Москва, Чистопрудн. бульваръ, 19.*

**Цѣна 1 руб. 75 коп.**









A FINE IS INCURRED IF THIS BOOK IS  
NOT RETURNED TO THE LIBRARY ON  
OR BEFORE THE LAST DATE STAMPED  
BELOW.


95.363

ron.

ener Library

003764026



3 2044 086 785 839